

Юрий
Давыдов

«TERRA» - «TERRA»

Scan Kreyder - 29.12.2019 - STERLITAMAK



БОЛЬШАЯ
БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Юрий Давыдов

СОЧИНЕНИЯ
В ТРЕХ ТОМАХ

Том третий



СМУГЛАЯ БЕТСИ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РУССКОГО ВОЛОНТЕРА

НА ШХУНЕ

РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

ББК 84.Р7
Д13

Оформление художника
Е. Мухановой

Оригинал-макет подготовлен
Гуманитарным центром «ЭПРОМ»

Давыдов Ю. В.
Д13 Сочинения: В 3 т. Т.3: Смуглая Бетси, или Приключения русского волонтера; На шхуне: Повести. Рассказы. — М.: ТЕРРА, 1996. — 400 с. — (Большая библиотека приключений и научной фантастики).

ISBN 5-300-00486-3 (т. 3)

ISBN 5-300-00483-9

В книгу известного российского писателя входит повесть о просветителе, человеке энциклопедических знаний и интересов, участнике войны за независимость США Федоре Каржавине «Смуглая Бетси», повесть о русском флотоводце А.И. Бутакове «На шхуне» и рассказы о мужественных русских исследователях Африки.

Д $\frac{4702010000-257}{A30(03)-96}$ Подписное

ББК 84.Р7

ISBN 5-300-00486-3 (т. 3)

©Издательский центр «ТЕРРА», 1996

ISBN 5-300-00483-9

СМУГЛАЯ БЕТСИ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКОГО ВОЛОНТЕРА

Месье Лами жаждет обнять Смуглую Бетси.
Из беседы майора Эпинье с генералом Вашингтоном



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Поздним вечером стоял я в пустынном сквере близ Морского собора, смотрел сквозь метель на желтые окна старинного петербургского дома.

Там некогда жил Каржавин.

В сонме ушедших навсегда есть люди, тобой избранные. Духовно, душевно прильнув к ним, обретаешь как бы теневое соучастие в земных делах и днях этих людей. А взявшись за перо, словно бы предаешься воспоминаниям.

Мемуарное не всегда объективно, ибо память всегда субъективна. Она подобна железу, отклоняющему магнитную стрелку. Угол отклонения корабельщики называют девиацией, специалиста, исправляющего девиацию, — девиатором.

К девиатору от истории я и обратился с просьбой снабдить мою рукопись комментариями. Перелистнув несколько страниц, он поморщился:

— Бомарше и Каржавин? Ни один источник не подтверждает.

— А хоть один отрицает? — молвил я робко.

Он отрезал:

— Не навязывайте мне гипотез.

Я почтительно осведомился, приемлют ли гипотезы доктора наук.

— Приемлют, — кивнул он небрежно. — Но всякий раз прямо и ясно оговаривают.

— Вот и пожалуйста.

Он желчно молчал: «ученый малый, но педант». Наконец нехотя согласился, выставив условием безымянность. Объяснил:

— Паскаль... Был такой, философ, может, слышали? Паскаль прав: иные авторы бубнят — «моя книга», «моя история», «мои комментарии», а надо бы во множественном числе — «наша книга», «наша история», «наши комментарии», ибо

едва ли не у каждого из них больше чужого добра, чем собственного. — Он ухмыльнулся, тыча пальцем в рукопись: — Да и в этих ме-му-арах, полагаю, чужого добра с избытком. — Я смущенно потупился. Он заключил сухо: — Примечания помечу: «*Ст. Р.*» — «*Старый Разыскатель*».

Глава первая

1

Как сейчас вижу Отель де Голланд на парижской Вьей дю Тампль. Когда-то в особняке — старинный сочинитель изобразил бы его в подробностях, на пяти-шести страницах, — помещалось голландское посольство, позже находился торговый дом «Родриго Горталес и К^о».

Таинственная коммерция!

Его величество вложил в дело миллион ливров. Его сиятельство благословил дело. Г-н Дюран приступил к делу. Оно нуждалось в арсеналах и кораблях. Оно требовало сугубой осторожности. Малейшая оплошность — Людовик XVI и граф Верженн, министр, ведающий внешней политикой, умоют руки, а г-ну Дюрану достанется на орехи. Он отлично сознавал, что идет на риск достаточно серьезный, однако и не столь уж крутой, чтобы надолго переселиться в Бастилию.

Погожим днем позднего лета 1776 года в одном из покоев этого особняка на Вьей дю Тампль сидел за письменным столом статный господин с крупным, прямым носом и бровями вразлет. Это и был г-н Дюран, директор, или президент, торгового дома «Родриго Горталес».

Писал он набело, без помарок:

«Мы будем снабжать вас всем — одеждой, порохом, мушкетерами, пушками и даже золотом для оплаты войск и вообще всем, что вам нужно в благородной войне, которую вы ведете. Не ожидая ответа от вас, я уже приобрел для ваших нужд около двухсот бронзовых четырехфунтовых пушек, двести тысяч фунтов пороха, двадцать тысяч отличных мушкетов, несколько бронзовых мортир, ядра, бомбы, штыки, одежду и т.д. для войск, свинец для мушкетных пуль...»

Скрипнула дверь, секретарь доложил: в приемной — мсье Лами. Президент сделал жест, означающий: одну, мол, минуточку, и его легкое перо продолжало свой плавный полет. Г-н Дюран обладал точь-в-точь таким же почерком, как и знаменитый сочинитель «Севильского цирюльника», но вы, любезный читатель, взгляните, не теряя времени, на посетителя в приемной.

Тридцати от роду. Шатен. Лицо округлое. Глаза серо-голубые. Левую щеку метит шрам, наводящий на мысль о поно-

жовщине. Подбородок тяжеловат, что считается признаком волевых натур, хотя тяжелым подбородком одарены и слюнтяи. Высок, плечист, тонок в поясе. Так и веет... не скажу — упрямством, скажу — непреклонностью.

Лами не занимал ключевую позицию на шахматной доске Дюрана. Однако директор не сбрасывал его с этой доски: Лами выполнит опасные поручения «Родриго Горталеса». К тому же директору было на руку то, что поначалу казалось Лами пустячным: да, он сын купца, но проценты и дивиденды ничуть его не приманивают.

Сын купца! Вот это-то и устраивало Дюрана. Он убедил Лами сообщить отцу о своем намерении торговать за океаном — на «сахарных островах», а при случае и на американском материке. Убедил внушать это знакомым и полужнакомым, об этом же извещать и оттуда, из Нового Света, — словом, всячески поддерживать репутацию коммерсанта. Только, упаси бог, и звуком не обмолвиться о причастности к торговому дому на Вьей дю Тампль. (Когда г-н Дюран излагал какую-либо комбинацию, связанную с Отелем де Голланд, лицо его принимало выражение дерзкое.)

Лами понял: директор предлагает надежное прикрытие подлинной задачи, подлинной цели. Хорошо, он, Лами, не отказывается испещрять пухлые конторские книги четкой цифирью, звучными бухгалтерскими терминами. Сверх того он готов при каждом удобном случае устно и письменно рассуждать об экспорте-импорте.

Все было решено. Если... если не думать об окончательном объяснении с женой. Мне было жаль обоих. Может, Лотту больше — я помнил ее трогательную влюбленность в этого пылкого пособника лихого разбойника Мартена, потом грациозного кавалериста из аристократической школы Шеволетер, а затем преуспевающего ученика коллежа...

Итак, сентябрьским днем 1776 года человек с флибустьерским шрамом явился в Отель де Голланд отдать прощальный визит г-ну Бомарше, ибо под именем г-на Дюрана действовал не кто иной, как Пьер Огюстен Бомарше, автор «Севильского цирюльника».

Открыв один псевдоним, открою второй: Теодор Лами — это Федор Каржавин(1).

А теперь все по порядку.

2

В 1752 году шхуна, пропахшая тузлуком, шла к берегам Англии. Снежные хлопья носились, как чайки, а чайки кружились, как снежные хлопья. Свирепый норд играл на вантах, как на контрабасе. Красиво? Поправкой возьмем прозаизм:

Василий Никитич блевал. Мука мученическая! А семилетнего Феденьку качка миловала. Отец, морщась и охая, приговаривал: «Ты на корабле, что деды твои на облучке».

В ту пору не держал я обиды на купца Каржавина. Это уж потом, в Кронштадте, не только обиделся, но и порицал сурово. А тогда... Тогда он был мне симпатичен — представитель молодой российской буржуазии. Я ж на школьной скамье усвоил — буржуазия прогрессивнее феодалов. Ну вот, и был мне приятен этот Василий Никитич Каржавин.

Приписанный по рождению к московской ямщине, он ямскую повинность не отбывал. Год от году шел в гору. Вломился в питерскую первогильдейщину и возмечтал: «Очень меня к себе заморский торг волочет!» Смиренники возражали: «Помышления за морем, ай смерть-то за плечами». Василий Никитич, смеясь, отвечал, что думать о старухе с косою страшнее, нежели помереть, не думая о ней, и что, какие бы ни были помышления, от этой старухи все равно не отвяжешься.

На титуле приходно-расходных книг купечество выводило жирно: «Г. Б.» — господи благослови. Благословясь, вертелось мелким бесом. Василий Никитич ругался: «Ты в бочки с соломиной копыта пихаешь! Какой же тебе кредит!» Другого вразумлял, опалая темными горячими глазами: «Была у тебя мощна, что баба на сносях, да вдруг и проторговался до лопанцев. Отчего так? Понятия о генеральной коммерции нету! Ты, я, он — дробь, булавки. Иная песня — компанейски!»

У Василия Никитича был дальний прицел: учредить компанию с оборотом в пять-шесть миллионов; завести конторы в Гамбурге, Лондоне, Амстердаме; просить Адмиралтейскую коллегия — устройте за наш счет штурманскую школу, учите мужицких ребятишек навигации, а мы уж взбодрим славный купеческий флот, которому порадовался бы и царь Петр.

В этих мечтах-помыслах слышу отзвук ямщины. Его предки называли дорожные версты поприщем. Стреляя ременным кнутом, гаркали: «Дуй по пеньям — черт в санях!» Василию Никитичу поприще в морях распахивалось. Не кнут стрелял, а корабельная пушка, возвещая отплытие. Не кони роняли мыло, а форштевни срывали пену гривастых волн.

Он свечи палил дюжинами, сочиняя проект генеральной российской торговли. Другой проект — личный, семейный — клонился к тому, чтобы дать первенцу европейское образование да и пустить по коммерческой линии. И вот, прихватив кое-какой товар, повез Феденьку в город Лондон. Повез, не спросив дозволения властей.

В устье Темзы распогодилось. Тонко и четко прочертились корабельные мачты. Дегтем пахло и мокрыми канатами. Быстро, кратко струились узкие вымпелы. И влажно блестели лопасти весел, гребцы на баркасах были здоровенные, как

преображенцы. Солнце, прорежив тучи, раскинуло лучи свои; казалось, громадные корабельные ванты протянулись до небес, хоть сейчас вбегай, увидишь как на ладони весь мир.

Василий Никитич ожил, оглядывался зорко. Он и в Питере, бывало, любовался портом. Водил Федю к Малой Неве, где таможня, а ниже по теченью Пеньковый буян. Весело хлопал по спине: «Примечай, малый!»

Смеркалось. Лондон-город показал огни. На пристани дожидались пассажиров проводники-оборванцы. Старательно, до легкого пота Василий Никитич выговорил: «Чипсайд. Сент-Мэри-ле-Боу»...

Запалив факел, проводник, освещая дорогу, независимо застучал башмаками — сват королю, брат министру. Василий Никитич не без досады подумал: «А наш-то простолюдин шастает тараканьей побежкой, да еще и с оглядочкой».

3

Следуя за отцом и сыном, я думал о Петрухе Дементьеве. То есть не то чтобы думал именно о нем, а видел, как из дворов раскольничьей слободы выкатывают розвальни — мужики, бабы, ребятишки, узлы, веники, тазы. Славно за Яузой банились! А ребятишкам удовольствие — ну, баночки-кубышечки наливать, переливать, плескать друг на дружку. Потеха! Васёна Каржавин и Петрей Дементьев неразлучными были, всегда и везде вместе.

Входя в возраст, оба приохотились к мирскому чтению. А следом и брат-Васёнин, Каржавин-младший, Ерофей, по-домашнему — Ероня. Исподволь почувствовали они журавлиную тягу туда, туда, за горизонты. Не по зрелому размышлению, а по чувству долга Василий Никитич предпочел журавлю в небе синицу в руке: отец, дряхлая, передал ему дело. А Дементьев с Ерофеем взмахнули крыльями: жили на Яузе, проживем на Узе. Родственникам-свойственникам объявили: хотим, мол, на Ветку, а сами-то, Василий Никитич знал, не помышляли присохнуть на Ветке, нет, совсем другое в уме было.

На порубежье с Польшей, неподалеку от Гомеля, в местечке Ветке чисто и честно жили раскольники. В заповедном сосняке, у излучины омутистой Узы срубили Лаврентьевский монастырь, знаменитый во всем старообрядчестве. Вот туда и подались Петр Дементьев и Ерофей Каржавин. Однако и вправду не «присохли», благо кордонные стражники, падкие на мзду, глядели сквозь пальцы: ступай, брат, коли охота пуще неволи. Они и пошли вослед солнышку, клонящемуся к закату...

Дементьев угнездился на Чипсайде, улице ремесленников.

Был сперва учеником, потом подмастерьем; наконец стал мастером. Занимал верх краснокирпичного дома в три стрельчатых окошка. Внизу помещалась аптека, зеленый фонарь светил над дверями, обещая в полночь-за полночь целительные снадобья всем болящим и скорбящим.

Они списались загодя, Дементьев ждал Каржавина, однако удивился, увидев еще и мальчугана. Василий Никитич понизил голос:

— Можно сказать, тайком увез...

Дементьев прыснул:

— Здесь, Васёна, не таись.

И Каржавина опять, как давеча, завистью просквозило к заморскому. Он и потом, созерцая Лондон, испытывал нечто похожее — прикидывая на домашнее, сопоставляя с домашним. Спешу, впрочем, засвидетельствовать: не ударялся Василий Никитич в позорное низкопоклонство перед иностранщиной, грех для россиянина смертный.

Средневековый автор и тот дорожил терпением читателя — воскликнув: «много было удивительного», сам себя осадил: «но рассказывать долго». Обозначу лишь крохотный эпизод, ибо есть они, эдакие таинственные токи судьбы.

На Патерностер-роуд, где книжные лавки, Василий Никитич купил атлас. Гравированный, цветной, залобуешься. Курчавые младенцы, надувая щеки, символизировали ветры разных румбов. На волнах кувыркались дельфины. Корабли, похожие на китов, и киты, похожие на корабли, шли, переваливаясь, встречь друг другу. Грудастые бабы обнимали связки фруктов. А верхом да бочке сидел голый мужик и, задрав голову, пил из кубка пенное, сладкое и, должно быть, душистое.

Василий Никитич, приобняв Федины плечи, склонялся над атласом. Разглядывали они вест-индский остров. «Мартиник... Мартиник...» — повторял Каржавин-старший, оглаживая ладонью Федину голову. «Мартиник...» — что-то особенное чудилось Василию Никитичу в этом звуке, да, особенное, мелодичное и манящее, но он, понятное дело, не думал, не гадал, что сын-то его, Феденька, узрит воочию этот «Мартиник», увидит и в мирных буднях, и в ту страшную, погибельную ночь, когда от прелестного городка Сен-Пьер останутся одни руины.

Увлеченные Пространством, не слышали они то, что слушал Петр Дементьев, — стук морских часов с новейшим спусковым устройством, похожим на задние лапки кузнечика. Часы были далеки от шедевра, необходимого штурманам. Шедевр сулил премию в двадцать тысяч фунтов стерлингов.

Часы корабельные были мечтой; часы, так сказать, сухопутные — хлебом насущным. Механизмы, стрекоча, как цикады, казались пунктиром Вечности. И придавали ей вещ-

ность. Мерцала в металле загадка Времени. Материя физическая сливалась с материей философической. Дементьев восторгался: бог-вседержитель есть Часовщик Вселенной.

Василий Никитич ронял небрежно: «Враки!» Его атеистические «ха-ха» еще пуще злили Дементьева, когда Ероня приехал.

Тот явился словно призрак — при полуночном бое Сент-Мэри-ле-Боу. Впрочем, ничего потустороннего в этом не было: он жил по ту сторону Ла-Манша. Пролив штормил, пакетбот опоздал к дилижансу Дувр — Лондон, пришлось добираться, как сказали бы нынче, на попутках.

Бледен и худ был младший брат Василия Никитича. Они обнялись накрепко. Ласково облобызал Ерофей Никитич племянника. И Дементьева, давнего приятеля, тоже. Повяло московским детством, тихим плеском речки Язуы.

Неделю, другую длилась встреча на Чипсайде. Не бражничали братья, вели беседы-разговоры откровенные, нараспашку. Старший, намолчавшись во льдах петербургских, отворил шлюзы. Младший радовался единомыслию со старшим.

Петруха Дементьев уши не затыкал, но, повторяю, его коробили суждения-рассуждения Васены и Ерони. Не потому, что яростно потешались они над попами, обзывая дерьмом и православное, и католическое свящество, Петруха тоже не жаловал служителей алтарей. А потому, что напрочь отрицали Часовщика Вселенной. Нету, не существует, выдуман, басня. Вот так-то! А простаки-бедняки веруют и, страшась загробных мук, безропотно сносят земные муки от неверующих владык.

Не пощадили и власти предержажие. Старший высказывался в том смысле, что воры сидят вокруг трона, как вороны; государыня Елизавета, умом недальняя, потекает мздоимцам, а достойные люди во изгоне, челобитчики рыдают. Младший же высказывался в том смысле, что, ежели внести светоч знания в гущу простолудия, возникли бы из сей гущи великие правители, без корон на голове, а с головой на плечах и чувством справедливости в сердце.

Все это отозвалось впоследствии двойным эхом. И под тяжкими сводами приневского застенка, о чем речь еще будет. И в душе неотрывного слушателя Феденьки(2).

Не розно мыслили братья Каржавины и о делах купеческих. Торговля — мать вольности — пойдет в рост, обретет мощь да и положит на лопатки владык с гербами. Но едва старший попытался склонить младшего к содружеству — будешь-де моим «коррешпондентом», посредником в сделках с европейскими мануфактуристами, — младший отказался: он, мол, наукам предан до скончания живота своего; он-де намерен ученые трактаты писать и печатать, с русского на французский переводить, с французского на русский, передавая свет просвещения, как факел.

Василий Никитич вспылел. В его гневе бурлила обида — и на отказ Еронин, и на Еронино превосходство. Ведь и он, Василий Никитич, некогда прельщался науками, однако отклонился, ибо отцовский промысел возложил на загорбок, как поклажу, один из всего семейства несет, ровно каторжный.

Бурым, как бурак, был Каржавин-старший. А пишущий эти строки вопросительно поглядывал на него из темного уголка: кому сына-то поручаешь? Ты кого желаешь увидеть в наследничке? А? Знатока генеральной коммерции, чтоб в европах ворочал. Ну и какого же воздействия на мальчугана ждешь от Ерофея-то Никитича? Будешь потом волосы рвать, себя не помня, учинишь безобразия в Кронштадте...

Каржавин-старший тем временем переломил гнев свой. Стали рассуждать о будущем Федином ученье. Ерофей Никитич, вдохновясь, начертил программу, включившую не только коллеж, но и Сорбонну. И начертав, привлек к себе племянника. Тот смотрел на дядюшку с немим ликованием. Василий Никитич посветлел: «Будь по-твоему, Ерофей. И тебе и Федюшке каждый месяц по пятидесяти рублей».

Ерофей Никитич поклонился. Хотел было заверить старшего брата в искренней любви, но из давнего, детского всплыло — негоже младшему заверять в любви старшего. И парижанин завил старомосковским кренделем:

— Всегда, Василий Никитич, почту за счастье иметь оказию доказать преданность.

Василий Никитич растрогался, махнул рукой:

— Эва, «преданность»... Покамест нужда — «преданность», а вот вельможей станешь — забудешь. Зна-а-ем мы человек, знаем преданность — покамест до кука есть, забота, а нету — фью-и-ть...

— Вельможей не стану, — весело ухмыльнулся Ерофей.

Каржавин-старший справил гардероп и брату и сыну. Потом ходил с Ерофеем — тот толмачом-переводчиком — на Ломбард-стрит, к негоциантам и банкирам. Василий Никитич не без выгоды сбыв серебряный лом и скатный жемчуг, а с купцом Горном условился о постоянных закупках шеффилдских стальных изделий, пользующихся шибким спросом в Петербурге.

Подступил день росстанный. На почтовом дворе запрягали коней дуврского дилижанса. Федя расплакался, Василий Никитич, дрогнув скулами, молвил: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка...» Ерофей Никитич молитвенно прижал ладони к груди и, едва не всхлипнув, поклялся страшными клятвами беречь и холить племянника.

Пора было и Каржавину-старшему сниматься с постоя на Чипсайде. В последний вечер Дементьев, пряча глаза, покорнейше просил одолжить деньжонок. Ей-ей, вернет: работает

морские часы и получит двадцать тысяч фунтов. Василий Никитич почувствовал что-то вроде изжоги. Ох шаткий кредит, ох шаткий. Но не отказал, обещал выслать из Питера.

Простились на пристани. Было ясно, свежо, просторно. Дементьев всхлипнул. Потом долго махал шляпой. Горевал он, прощаясь с Васеной. Горюя, верил в скорую подмогу. Да и как не верить? Друг не обманет. А кто посмеется над другом, тот над собою поплачет — есть такая пословица.

4

Старый стилист указывал: иногда надо писать «Париж», а иногда — «столица королевства».

Завидуя тем, кто нынче ездит в Париж, полагаю, что и они могут позавидовать тому, кто ездил в столицу королевства.

Поселились Каржавины на антресолях. Зимой холодно, летом душно. Сырость, картограф бедняков, изукрасила стены контурами материков и морей. Да ведь зато вид на Пале-Бурбон! Блистают на фасаде площадки, подкатывают кареты, живописно галопируют всадники. И так красиво, красиво и мерно расхаживают по двору статные стражники.

Дядюшка Ерофей гасил восторг племянника:

— Они Мартена боятся, а мы нет.

Федя заряжал мушкет. Грозный Мартен склонился с седла: «Малыш, у тебя львиное сердце!» — и, пришпорив коня, мчался дальше. Во главе сотни храбрецов разбивал тюрьмы и грабил богачей. Говорили, вот-вот грянет на Париж. И тогда он, Федор — Теодор, приведет всех жильцов своего дома — туда, в Пале-Бурбон. И пусть они живут во дворце, а не в грязных логовищах. И пусть лакомятся котлетками из филе.

Пряча улыбку, дядюшка Ерофей вздыхал:

— Эти котлетки, дружок, не про наш роток.

— А пирожки вкуснее! — бойко отвечал племянник.

Мадам Жакоб мастерила шляпки. Но ее истинным призванием были пирожки с мясом. Упоительный запах повергал в исступление кошек, ютившихся на темных, от века немытых лестницах.

Упоминание о пирожках смутило Ерофея Никитича: не догадался ли Феденька? Ей было за тридцать, ему не было сорока... Говорят: сытое брюхо к наукам глухо. Ну а голод тоже не способствует постижению философических и математических истин.

Нет, ни о чем не догадывался племянничек. А пирожками его угощала Лотта — голубоглазая сиротка, ученица мадам Жакоб. Угощала тайком — мадам отличалась щедростью лишь на альковные ласки.

Обнаружив контрабанду, Ерофей Никитич задал воспитан-

нику взбучку. Можно было лопнуть со смеху, когда добрейший дядюшка напускал на себя строгость.

— Примером бери савояров! — заключил Ерофей Никитич.

Савояры жили в том же доме. Почти весь свой заработок, жалкие су, мальчики отсылали беднякам родителям в Савойю. Савояры чистили дымоходы. К их рукам чужое не липло. А ведь так легко прикарманить какую-нибудь безделушку — достало бы на прокорм деревенскому семейству. Очень легко похитить, когда выгребашь сажу из дворцовых каминов, из каминов роскошных особняков. Но никто никогда не приглядывал за савоярами. Их честность стала пословицей. И потому: «Примером бери савояров».

Пусть так. Но пирожков много у мадам Жакоб. И он, Теодор, отделяет толику савоярам. До чего же охота поспрошать, каково там, в этих пале-бурбонах. Савояры, принимая пирожки, от рассказов уклонялись — измученные, одеревенев всеми хрящиками, они едва ли не замертво валились на свои тощие тюфяки и засыпали мгновенно.

Вот Тимоха — другое дело.

Дворовый Воронцовых Тимоха сопровождал юного графа. Юный граф путешествовал. В Париже он отдавал визиты светочам наук и искусств. Ерофей Никитич застал его однажды в кабинете академика Бюаша. Метр лестно аттестовал мсье Каржавина. Юный Воронцов был любезен, но холоден. А Тимоха, слуга Воронцова, тянулся к землякам, что, по правде сказать, не больно радовало Ерофея Никитича — не по сердцу был ему этот воронцовский дворовый: тот, кто тщеславится богатством и знатностью своего барина, своего душевладельца, тот вдвойне раб, вдвойне холоп.

Повадившись на каржавинские антресоли, он утолял Федино любопытство. Выходило так, будто Тимоха был не слугой, а вторым «я» своего господина. Вместе числились они в Шево-Летер, кавалерийской школе; принимали туда лишь по приказу короля. Их сиятельство был зван повсюду. Ну, стало, и он, Тимоха, тоже. Они в Версале как дома, все двери настезь. Вот так-то, братец Феденька, живем, не тужим.

И братец Феденька уже не заряжал мушкет для храбрецов Мартена, а тоже числился в Шево-Летер. У него была дама сердца. Она ехала в карете, он рысил обочиной. Она грациозно улыбалась, он приподнимал шляпу. Впереди, на холме, стояла зубчатая башня, над башней вились флаги; еще минута — и блеснет золотая труба, горнист, раздувая щеки, возвестит всей округе об отважном рыцаре Теодоре. Там, в башне, он, кавалерист, поцелует даму сердца.

И он поцеловал ее на темной лестнице.

— Сударь, вы меня электризуете! — вспыхнула Лотта.

Господи, откуда она подцепила такое? То было светским признанием в любви. Может, слышала от клиенток шляпницы

Жакоб? Во всяком случае, девочка знала, что значит «электризация», а кавалерист не знал. И, потупившись, объяснил свой поцелуй тем, что Лотта очень похожа на его, Теодора, старшую сестру... Ах, и только-то? Лотта надула губки. И вдруг спросила, хороша ли сестрица мсье Теодора? «Очень!» — пылко воскликнул мальчик. И тогда Лотта, опустив реснички, жарко поцеловала очаровательного кавалериста из королевской школы Шево-Летер.

Обоюдная «электризация» осталась вне бдительного дозора дядюшки Ерофея. Ничего не подозревая, он сделал так, чтобы они часто оставались наедине. Дядюшка Ерофей велел племяннику ликвидировать Лоттину безграмотность. «Польза обоюдная», — сказал Ерофей Никитич богине пирожков. Толстуха подмигнула: «О да, обоюдная!» Ерофей Никитич покраснел. Он вовсе не выгадывал время для свиданий. А пишущий эти строки привел сей эпизод не ради игривости, а чтобы подчеркнуть желание дядюшки Ерофея просветить сиротку, его тонкую педагогику по отношению к племяннику: уца других, мы учимся сами.

Он был доволен Феодором-Теодором. Прилежен. Успехи быстрые. Латынь и французский, математику и географию, постигал легко, забирает в память прочно. Но племяннику говорил: «Не обольщайся! У каждого из нас знание ограничено. А то, чего каждый из нас не знает, — безгранично. Не к смиренню зову тебя, оставим его послушникам. Нет, к бунту зову, противу себя бунтуй, не давай потачки: *nulla dies sine linea*¹».

Феденька не обольщался, рапортовал в Петербург: «Государь мой батюшка, ты от меня трех грамоток на трех языках требуешь. Я повеление твое исполнить готов, но токмо во оном моем триязычном ответе разума, кроме письма руки моея, будет не весьма много...»

«Грамоток» из Петербурга ждали нетерпеливо; часто наведываясь в почтовую контору, искательно заглядывали в глаза сучного чиновника.

В тех «грамотках» Василий Никитич, лаская сына, нередко обижал меньшого брата. Еще в дни лондонского свидания срывались с языка грубости: «Я не князь, чтобы тебя кормить. Бедствуешь в Париже? А неча было с голой-то... столь далеко залетать». Теперь язвил: «Господин Ломоносов из бедной самой фамилии; никто об нем для пищи не старался; всегда хлеб сам доставал и обучаться сам 15 лет довольно имел. А нынче, я признаваю, по крайней мере 3000 р. и более в год достает; честию — Академии советником; всегда при милости императорской».

¹ Ни одного дня без черточки (строчки) — латинское выражение, означающее, что не следует и день пропустить без упражнений в своем искусстве, в своем ремесле.

Ерофей Никитич сокрушался:

— Ох, Василий, варварский нрав имеешь...

И, наливаясь гневом, грыз перо. Потом вонзал в чернильницу, как стилет. Выхватив, ронял на бумагу кляксу, это отбивало охоту к громоподобному письменному опровержению, и Ерофей Никитич ограничивался восклицаниями:

— Я учеными мужами поощряюсь!

Ерофей Никитич не упускал случая ввести племянника в их дома. (Тогда говорили не «дома», а «домы» — лучше!)

Барбо переводил с немецкого историю России. Ерофей Никитич помогал; перебеливать главу за главой усаживал Теодора: не столько для чистописания, сколько для запоминания — из кладовых памяти черпают материал для размышлений.

Зная увлечение мсье Каржавина еще и астрономией и географией, историк Барбо дудел, как в дуду, при этом его длинный галльский нос, казалось, ползал на полном лице, отчего физиономия профессора обретала трагикомическое выражение.

— Не волочитесь за Уранией, вы призваны служить Клио!

А старик Делиль фыркал:

— Клио! Я не питаю к этой потаскухе ни малейшего почтения. Она сожительствоует с любым сочинителем. — Астроном ронял пепел куда ни попадая; парик сидел на нем косо. — Звезды в небе и чувство долга в сердце, — патетически объявлял астроном, указывая на мраморную Уранию с небесным шаром в руках. И делал отстраняющий жест: — Все прочее — несерьезно. Ах, мой друг, жизнь без нее, — тут он опять указывал на богиню астрономии, — право, подобна смерти.

Мсье Каржавин величал старика Иосифом Николаевичем. Делилю это нравилось. О, в России он знал хорошие дни. Двадцать лет служил в Петербурге директором обсерватории.

Отвергая тягу к «потаскухе Клио», старик Делиль уступал мсье Каржавина коллеге Бюашу: картография — кузина астрономии. Конечно, младшая сестра, добавлял старик, снисходительно улыбаясь. Он был великолепен, этот жрец астрального храма...

В кабинете Бюаша сверкали огромные венецианские окна. Потоки света омывали ландкарты и глобусы. Сноп солнечных лучей, перемещаясь, придавали им мощь и праздничность.

Бюаш набрасывал абрисы морского дна. И устремлял на мсье Каржавина ясно-синие глаза:

— Взламывая тяжкие оковы, океан обнажает извечно сокровище.

Красно говаривали парижские метры; в звонком изяществе речений была двойкая, казалось бы, несовместная, точность — математическая и поэтическая.

Теодор-Феодор не знал, что же предпочесть? В библиотеке

историка Барбо он, вчерашний пособник разбойника Мартена и недавний кавалерист Шево-Летер, был ревностным поклонником Клио; любуясь мраморной Уранией — ее пажом; среди ландкарт и глобусов — вторым Колумбом.

5

Возвращались пешком.

Пересекая улицу, не угоди в сточную канаву. Щеголь оскользнулся и вот уж трясет манжетиной, брезгливо морщась на заляпанные башмаки. Смех! Колеса кареты мечут комья грязи, а парижская грязь хуже кислоты разъедает обувь и одежду. Не до смеха! Знай увертывайся. Утихнет гром кареты, услышишь скрип вывесок, вторящих голосу ветра: вывески качаются на кронштейнах. (Были и такие: «Окулист для глаз».) Услышишь не только скрип, но и вонь: Париж терзает обоняние чадом салотопен, коженных мастерских, скотобоев. Разве что переведешь дух на берегу Сены, любуясь на ялики. Но что это? Шорох саранчи: спешат, спешат нотариусы, судейские и прочие чиновники. Мир стоит на трех китах? Басня! Мир стоит на контрактах и кадастрах, апелляциях и кассациях, дарственных и приговорах, претензиях и контр-претензиях... Как же не спешить урвать свой кус?! Шорох черных мантий, шорох белых бумаг. Для одного в этом звуке — пастораль золотых луидоров, для другого — скрежет ворот старинной долговой тюрьмы, проклятой Фор-л'Эвек, куда сажают банкротов, а дабы не скучали, сажают и провинившихся в чем-либо актеров.

Смеркается, вечереет. Ерофей Никитич убыстряет шаг. На стражников он не надеется: ночные дозоры, известно, появляются либо до грабежа, либо после грабежа, но в минуту разбоя — шаром покати. Дядюшка убыстряет шаг, а племянник делает вид, что устал донельзя, — Феденька медлит нарочно: страсть охота поглазеть на вечерний Париж.

У, круговерть!

Слома голову несутся кабриолеты, берлины, коляски-визави. И вдруг — затор, водоворот. Никто никому не желает уступать дорогу. Ни министру, ни епископу. Хаос постромок, оглобель, задранных лошадиных морд; надсаживаются полицейские, кучера бранятся, зеваки хохочут. И так же внезапно, не сообразишь, каким манером, но вот все сдвинулось, все ринулось — и опять скоком, и опять сломя голову... У освещенных театральных подъездов — толчея; первые партии в трик-трак в трактирах; в танцевальных залах первые такты кадрили. Кадриль не отплясывают, о нет, кадриль вершат с такой глубокой серьезностью, с какой не вершат и судьбы Европы.

Основательный Ерофей Никитич не одобряет этих парижан:

— Лягушки-квакушки!

Версальские вельможи, стараясь уловить парижские пересуды, настороженно усмехались: «О чем квакает наш добрый Париж?» Ирония Ерофея Никитича была иной. Не осуждая соль парижского злоречия, он усматривал в ней подмену ума остроумием. Ему претили прожигатели жизни, те, кто свою душевную черствость маскирует флером пикантностей, пусть и политических. Они зубоскалят над персонами, чьи титулы, адреса и приемные часы указаны в «Королевском альманахе», а на другой день пресмыкаются в дворцовых сенях, клянча должность или подачку. Они не прочь съязвить и насчет короля — у его величества ни единой черты величия, у его величества велик лишь градус сладострастия, а на другой день вопят: «Да здравствует Людовик Возлюбленный!»

В час, когда городские фонарщики умеряли яркость уличных фонарей, а небесный фонарщик удваивал яркость Луны, дядюшка и племянник видели седьмой сон. А может, и не видели, спали крепко, ибо не было у них сонника для разгадки сновидений.

Они не слышали предрасветный рокот, похожий на рокот морского прилива. А тот, нарастая, дробился на стук копыт и колес, катил, катил в сторону Крытого рынка: левиафан заглатывал горы провизии. А сумрачные старьевщики отворяли лари, огромные, как кладбищенские склепы. И вот уже наперекор здоровым деревенским запахам парного мяса, солений и копчений стлался, как крался, темный душок городского тлена.

Рядом с рынком и дальше, в улочках и проулочках, дымилась жертвенники рассветного Парижа — большие посудины с подслащенным кофе. Выкладывая два су, пропусти кружечку и беги в кузнечную, столярную, кожевенную. На заставы беги или к набережной Сены — там всегда нужда в грузчиках, отравленных нищетой до полной покорности.

А савяров призывали трубы — безмолвно дымящие дымоходы Парижа. Деревянные башмаки-сабо выбивали дробь на лестнице. Еще четверть часа, и двери антресолей толкал старик водонос. Шелудивый песик семенил за стариком. Старик сказал однажды Ерофею Никитичу: «Если я его прогоню, то кто же будет меня любить?» — и, разведя руками, обнажил беззубые десны в ухмылке печальной и слабой.

Плеск воды из ведер, опрокинутых над бочонком, отзывался в душе Ерофея Никитича: «Если не будет Феда, то кто же будет любить меня?» Он поднимался и разводил огонь в камельке. Помешивая ложкой, разогревал вчерашнюю похлебку и думал о продолжении вчерашнего, то есть о рукописи, над которой трудился усердно и которая, как он надеялся, будет весьма полезной.

Россияне, залетев в Париж, пихали в сундуки вороха галантереи, охапки водевилей, выкройки последних фасонов. Пустельги! Ерофей же Каржавин сознавал свое назначение, никем не утвержденное. Именно он, Ерофей Каржавин, полагал себя посредником между учеными Парижа и учеными Петербурга. Он хотел, чтобы первые знали труды последних. На шатком, в кляксах столе лежала рукопись: «Заметки о русском языке и его азбуке»...

Так жили они в Париже, беды не чуя.

А беда близилась. Началось с того, что месяц, другой, третий не было ни писем Василия Никитича, ни денежных субсидий. Младший отписал старшему: дороговизна гнет в три погибели, пошто забыл нас, бедных? Ответа не последовало.

Стали жить в долг.

Но можно рукопись продать? Рукопись, удостоенную похвал Парижского университета, отвергли парижские типографы: надо заказывать русские литеры, без них учебник не учебник, а заказывать литеры — значит нести дополнительные расходы, не будучи уверенным в последующих доходах.

Барбо негодуяще дудел:

— Проклятые скряги! Они мечтают держать Вольтера взаперти и без штанов, чтобы не сбежал. Работал бы день и ночь, а они платили бы ему несколько су. Любая мода может овладеть Парижем, но только не мода на бескорыстие.

Ерофей Никитич грустно улыбался: он, Каржавин, принял бы и такие условия — без штанов и несколько су.

Делиль рычал:

— Мой друг, вы, как тот поэт... Он просил у министра денежной помощи, а министр поднял брови: «Зачем она вам?» Поэт вскричал: «Сударь! Мне же необходимо существовать». Финансист отрезал: «Не вижу в том необходимости». Делиль фыркнул: — Как вам это нравится? Не скупость, нет! Хуже. Господин министр и впрямь не видел «необходимости»!

Ерофей Никитич скорбно поддакивал.

Академик Бюаш сердился:

— Издатели-мерзавцы, лишь бы руки греть. Ваш труд не пропадет. Но прежде надо озаботиться хлебом насущным, и я этим займусь, клянусь честью, займусь.

Ерофей Никитич печально кивал.

Бюаш, лично известный его величеству, ходатайствовал — мсье Каржавин достоин отправлять должность библиотекаря Королевской библиотеки. Не удостоили.

Парижские метры сочувствовали москвиту, но не раскошеливались. Домовладелец, сочувствия чуждый, страшал выселением. Жилец просил: «А credit...»¹ Хозяин непреклонно

¹ В долг, в кредит (фр.).

вздергивал подбородок: «А bon droit...»¹ — Ерофей Никитич прощально смотрел на свои книги. О, запах голландской бумаги, сафьяна эльзасской выделки... Ужель букинисту? Непереносимой была мысль об утрате «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел». Как! Расстаться с детищем Дидро и Д'Аламбера?! Лишиться родников и светочей?! Прикидывал в отчаянии — не продать, а заложить? Пойти к ростовщикам... Они всегда сумрачны, всем своим видом внушают: наш промысел не из веселых, да ведь должен же кто-то спасать погибающих... Мысль о здешних, парижских гарпагонах соотносилась с мыслью о гарпагоне тамошнем, санкт-петербургском.

Ерофей и в Лондоне костил процентчиков. Это когда они с Василием Никитичем толковали о «генеральной коммерции». Старший настороженно спросил: «Кто таков Гарпагон?» Младший объяснил: дают на театре комедию господина Мольера про скупца Гарпагона, пускающего деньги в рост. Василий Никитич огрызнулся: я, мол, хоть и первой гильдии, а тоже процентщик, потому благонадежно; он, Ероня, в своем Париже в ус не дует, а ему, Василию Никитичу, хребет ломать: задарма из ямского сословия не выключат; вот тебе и гар-па-го-нов. И пусть этот... как, бишь, его?.. Пусть господин Мольеров ляссы точит, вольному воля.

И все же Ерофей Никитич отвергал «гарпагонство» Василия Никитича. Ну хорошо, говорил, будь я один. Да ведь Федя! Феденька! У Васьки скулы дрожали: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка». Легко сказать: оставаться спокойным среди бедствий. Стоик Катон, твой совет неисполним.

Не знал Ерофей Никитич, что делать, куда броситься.

6

Не знал и Василий Никитич.

Заарестовали его в Петербурге, на Адмиралтейской першпективе, где квартировал он с фамилией.

(Одновременное пребывание автора в разных эпохах мстит эклектикой словаря. Примером, и вероятно не последним, вот эти «заарестовали», «першпектива», «фамилия». Наперед предполагая раздражение читателей, автор просит о снисхождении, заверяя притом в своей чуждости нарочитой стилизации.)

Процедуру лишения свободы вершил служитель Тайной канцелярии, эдакая орясина с диковинной фамилией Золототрубов. Отродясь пороха не нюхал, а тут, выпятив брюхо, сотрясал воздух батальными Иерихонами. Каржавинские бу-

¹ С полным правом, законно (фр.).

маги укладывал в парусиновый мешок, как боевые трофеи. «Мясничья рожа», — мелькнуло Василию Никитичу.

Прощальным взглядом глянул он на жену, на детей, испуганно жавшихся друг к дружке, все вдруг померкло — будто горела свеча, да вот и насунули железный гасильник. Страшно стало, утратил он силы телесные, будто вся кровь из жил, утратил и силы душевные, будто душа отлетела.

Долго ли, коротко ли колтыхался крытый возок? Этого Каржавин сказать не сумел бы по причине едва ли не полного бесчувствия... Остановился возок, выпихнули арестанта на забеленный порошей двор, услышал он гром курантов — сплющило, словно кувалдой, побелел белее пороши.

В сводчатом помещении, сумрачном и гулком, шибало нечистым исподним, как в прачечных на Мойке. Какие-то оборотни, шишиги какие-то наскочили — шупают, шарят, раздевают, разувают... Он не противился, он повертывался, вроде бы торопился невесть куда. Щелк, щелк, щелк — падали пуговицы, отчекрыженные от кафтана. И вот уж, будто крюками зацепив, поволокли в каземат.

Старик унтер, дуб мореный, ухмыльнулся:

— Здесь келья — гроб, дверью — хлоп.

Мрак и стужа ознобили Василия Никитича.

Известна мыслишка новичка-колодника: сейчас поймут, что ошиблись, и дверь нараспашку — ступай, брат, домой, не поминай лихом, и на нас, брат, бывает проруха.

И точно — нараспашку! Шурхнула прелая шинелишка, шмякнулись разбитые сапожонки. Помедлив, Василий Никитич облачился в эту рвань да и сам будто в рухлядь обратился. Неверной рукой нашарил каменную осклизлую скамью, лег, подобрал ноги, подвернул полу шинельки. Помаленьку угреваясь, привыкая к темноте, усердно пригласил самого себя: разум-то собери в горсть, из малых ребят давно выбрел.

Собирая, выставил вопрос: не взят ли по делам раскольничьим? Помилуйте, давно уж отщепился от древлего благочестия, в потаенную молельню близ Сенной ни-ни... Не туда пялишься, сказал себе, на Гостиный двор оборотись — на одного доброхота по семи завидников. Перебирая недругов, примеривался к каждому поочередно. И ни единого, если по совести, не счел злодеем-доносчиком. Да и чего доносить? Языку воли не давал, мысли держал взаперти. Точь-в-точь как его самого держали теперь в крепости Петра и Павла. Ах, верное присловье: от сумы да от тюрьмы не зарекайся.

И так и этак прикидывал, пока не озарился надеждой. Меж прочих бумаг забрали в Тайную и проект генеральной российской коммерции. А Тайная, пусть и страшной сатаны, блюдет государственный интерес. Стало быть, какой бы ни был навет, а он, Василий Никитич Каржавин, предстанет словно бы в белой ризе.

Перед кем, спрашивается, предстанет? И тут другая надежда высветилась. Василий Никитич пуще ободрился, вообразив давнее, московское — дом близ Арбата, куда волею отца своего носил он барашка в бумажке... Нынче этого не понять. В наше время кто рассчитывает на знакомства? Каржавин рассчитывал.

7

Неохота встречаться с г-ном Шешковским, а ничего не поделаешь, надо. Ходить недалеко — он здесь, в крепости Петра и Павла. Но не в рavelинной темнице, а в своей канцелярии, где стелется тяжелый дух секретного делопроизводства — сургуча и свечного нагара пополам с паленой человечиною и сырых от крови опилок.

Был Степан Иваныч тщедушен, ростом мал; выглядел изможденным, будто сейчас из подземелья. Но этим мозгляком владело могучее, как похоть, желание — изобличать. Повторял как заповедь: «Несть тайны, иже не явлена будет».

Отец его, бывало, плакался: «Ох, всеконечная моя скудость, дневной пищи не имею». Подвизался отец в московских приказах. Притче всего в Ямскую гоньбу отправляли раскольники. Тверезые и смекалистые, они нередко выходили на торговую линию. А как стряхнуть ямскую повинность? Тащи барашка в бумажке. Тащили. В числе прочих и Каржавины.

Шешковский-отец, плачась о пропитании, поставил близ Арбата каменный дом. А детушек ставил на ноги. Степку совсем еще отроком сунул в хомут службы. В канцелярии розыскных дел побегушки да колотушки? Зато местечко, как нынче бы выразились, перспективное. Поначалу, значит, синяки и шишки, а потом уж пироги и пышки.

При Петре сыск вершил Ромодановский. Царь, случалось, жучил его: полно с Ивашкой Хмельницким знаться, быть роже драной. Ромодановский обижался: некогда, государь, винище дуть, беспрестанно в кровях омываемся... Копиист Степка Шешковский пером скрипел уже при генерал-аншефе Ушакове. Этот тоже не росой омывался. Потом Тайную канцелярию принял Шувалов. Его сиятельство благоволил Шешковскому-старшему, вняв просьбе, мановением перста переместил Шешковского-младшего из Москвы в Санкт-Петербург.

На Мойке, в доме близ Синего моста, у его сиятельства сновал Степушка часто. Год, другой — радость: «Во исполнении важных дел поступает добропорядочно и ревностно, почему и достоин он, Шешковский, быть протоколистом».

Медленно сплывали воды Мойки, а Степушка ходом шел — возвысили его в секретари Тайной канцелярии. Что сие значи-

ло? А то, что забрал он в кулачок весь имперский сыск. И не то чтобы формально, а натурально.

— Легко ли, сударь, — вздохнул Степан Иваныч и повел плечом, оправляя мерлушковый полушубочек внакидку; казна дров не жалела, но г-н Шешковский мерзляк был. Оправив полушубочек, опять вздохнул: — Прошу взять в соображение, каково достается.

В «соображение» следовало взять следующее.

— Прежде, судырь, каждый волен был донос отписать, а нынче опаска берет, ибо за ложный извет — плетьюми: «Имей впредь осторожность!» Грех на ближнего возводить напраслину, однако и без доносов хоть плачь... Прежде, судырь, стращали Тайной, а нынче запрет поминать ее всеу. Худо, когда у добрых людей костенит язык, а не хуже ль, когда язык-то лопочет, что хочет, чего не хочет, и то лопочет... Еще одно, судырь. Прежде не вникали, какое оно, дело-то, — все сюда, в Тайную. А нынче? Которые неважными сочтут, тем в губернии разбор, из чего, судырь, проистекает неустройство, то петь нерадения и упущения, а мне-с за всех ответ держать перед господом богом и государыней моей, да-с... — Он грустно покачал головой, будто сам себя жалел.

Прежде, когда начинал он службу, каралось только деяние, а теперь, при царице Елизавете, карался и умысел. Деяние-то и олух узрит. А умысел не звезда во лбу — по запаху угадай... С какой-то анафемской ловкостью спрыгнул он с креслица и вытянул указательный палец:

— Оне не могут, а я могу. Могу! — И кулачком, кулачком по стене — за стеной корпел штат всероссийского розыска, всего-навсего шестнадцать душ: копиисты, протоколисты, регистраторы, архивариусы.

На столе — сукно алое, синего фарфора чернильница, канделябр серебряный — белел на столе лист, исписанный крупно, а заголовок и вовсе вершковыми буквами: *«Вашего императорского величества к подножию всенижайший и последний раб с искренним благоговением и подобострастием полагаю доношение».*

Степан Иваныч проворно убрал бумагу.

— Каждый, кто служит в Тайной, — строго сказал г-н Шешковский, — обязуется держать в секрете, что видит, что слышит, что знает.

— Понимаю. А между тем вот это... Вот это напечатают.

— Чего? — он коротко, сухонько рассмеялся, как горох из кулька. — Никто не дозволит.

— Время дозволит!

Он опять рассмеялся, слезинку смахнул.

— Пушай, коли делать нечего.

— Но, согласитесь, шпионством и не пахнете — сказал я, сознавая бессилие апелляции к историческому возмездию.

— А богохульством? — Он мелко перекрестился. — А поношением государыни? — Он еще раз перекрестился. Объяснил назидательно: — Поношение иностранных государей есть неосторожность, не относящаяся к деяниям вредным и важным, посему подлежащее разбору в губернии. А тут?! — Г-н Шешковский трижды брякнул бронзовой дужкой потайного ящика. — Тут, судырь, всемиловитейшей государыни нашей, дщери Петра Великого, отца отечества! — И г-н Шешковский перст воздел.

Будто повинуюсь его жесту, там, на дворе, высоко ударили куранты. «Осанна державе», — изрек секретарь розыскной канцелярии. Экая сволочь, подумалось мне, ведь совсем иные звоны слышит.

— А на Москве благолепнее, — сказал я, как бы заходя с тыла.

— Да-а-а... — Он покивал. — Бывалоче, ко всенощной в Ризположенскую.

— Я не о том.

Он кончиком языка лизнул губы. И посмотрел вопросительно — о чем, дескать, изволите?

— Все о том же... — Я опять показал глазами на ящик с «доношением». — Каржавины-то — земляки ваши, вот что. И с колодником, зарестованным на Адмиралтейской першпективе, вы знакомы. В Москве еще. И не только деньгами Каржавины от вашего батюшки откупались, а и лесом. Дом-то каменный ставили, но без дерева не обойтись.

— У-у... Ну, так, так. А что из того, судырь? Присяга мне всего на свете дороже. Службу служить, душой не кривить. Клятвенное обещание дадено — не щадя живота своего, до последней капли крови.

Я это мимо ушей, я ему седьмой пункт царицыного указа — о взятках: «Ежели кто хоть в малом чем обличен будет, тот бы не надеялся ни на какие свои заслуги, ибо, яко вредитель государственных прав и народной разоритель, по суду казнен будет смертию».

— Э-э, старые дрожжи чего поминать, — осклабился г-н Шешковский.

Опять он прав был: грозные указы против лихоимцев — кимвал бряцающий; пожалуй, ни один закон не обходят такой естественной, всем понятной и приятной легкостью, как именно закон-то, воспреещающий взяточничество; поначалу, правда, подождут хвост, а невдолге и распустят бойчее павлиньего.

Но, спрашивается, где же они, наши-то домашние правдолюбцы? Помню Михайлова, сенатского канцеляриста: неутомимо извещал начальство о тех, кто на руку нечист. И что же? Угнали в полунощный край, дабы «своими дерзкими словами глупостей не мог наделать». Или вот отставной поручик

Ампилонов, в Нижнем жил, тоже обличитель и тоже, как и Михайлов, отправился созерцать северное сияние. Не велик труд и других назвать, да больно уж грустно.

— Не в силах ты, судырь, переменить черед событий, — победительно заключил г-н Шешковский и поплыл в богомерзкой ухмылочке.

8

В тот же день Василия Никитича призвали к г-ну Шешковскому.

— Здравствуй, Каржавин. Прошу со вниманием слушать... — И пауза: донеслись стенанья, в пытошной камере орудовал рябой Малафеич. Печально вздохнул Степан Иваныч: — Деяния твои, Каржавин, известны, запирательство твое, Каржавин, тщетно. Кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет.

— Единственно о державе, — прошелестел Василий Никитич.

— Слушай со вниманием, — повторил секретарь Тайной канцелярии, веером распуская по алому сукну белые листы доношения, но сказал о других бумагах, о каржавинском проекте заморского торга: — Читал. Одобряю. — Изможденное лицо его приняло мечтательное выражение. — В бо-ольшую разживу воспарял, да вот, соколик, пришла беда, отворяй ворота. Верная пословица. И другая тоже: любишь кататься, люби и саночки возить. От речей тебе, брат, никуда не деться. А речи здесь такие: пытошные и расспросные, то исть окромя Малафеича которые. Выбирай! Выбор предоставляю, как-никак мы с тобою... Кому другому нипочем бы мирволить не стал, а тебе... Ах, Москва, Москва-матушка... Совсем молоденький ты был, совсем молоденький...

— Единственно о державе, — начал было Василий Никитич, но г-н Шешковский окрысился: «Молчи, дурак!»

— Решенье мое разумеи, — продолжил он тихо и даже с некоторой сладостью в голосе. — Ворочайся в келию и припомни город Лондон. Ты в Лондон-то ежживал в котором годе? И сыночка воровски умыкнул... В котором годе, ась?

— В пятьдесят втором.

— Вот-вот. А на дворе пятьдесят шестой, издаля веревочка, а вот и кончик... — Г-н Шешковский ласково огладил доношение. Повторил: — Припомни хорошенько, об чем с братцем-то толковал запальчиво. Ась? Ну, ну... И думай, думай неотрывно, каково твоему кровному на чужбине да без твоей подмоги. Думай, Каржавин. А я подожду. И дождусь чистой твоей совести, не взыщи, Васенька. С меня спрос там, — он пальцем указал на потолок, — а с тебя там, — он пальцем указал на пол. — Ну, ступай с богом, ступай...

Не глыбы Петра и Павла давили Василия Никитича — злодейство, учиненное другом детства, Петрухой Дементьевым. Отписал он все, о чем рассуждали в лондонском доме братья Каржавины — непотребно поносили и государыню, и сенаторов, и митрополитов; бытие божие начисто отвергали; сетовали на покорность простого народа. Да еще и прибавил зазорное, несусветное: шпионствуют, дескать, в пользу французской короны.

По какой причине Дементьев макал перо в склянку с ядом? Годами дождался Петруха обещанной подмоги. Получив, глядишь, и сработал бы морской часомерный механизм высокой точности. Слава! Награда! А Васёна не то чтобы безвозмездно, но и в долг, на срок не ссудил ни копейки. И Петрей обмакнул перо в склянку с ядом... Все понять — все простить? Э нет, любезный читатель. Нет! Бывает, конечно, и так — жил человек в России, сознавал, что почем, а уехал и призабыл, другим аршином стал мерить. Но Дементьев... Он очень хорошо, отчетливо и ясно понимал, как слово его отзовется.

Не глыбы Петра и Павла давили Василия Никитича — ужасное виденье: голодной смертью помирает Феденька на далекой чужбине.

10

Казалось бы, призови Каржавина да и увенчай тонко задуманное, хорошо расчисленное. Но медлил Степан Иваныч, г-н Шешковский: серьезная помеха обнаружилась. Экая досада! А виною всему дубина стоеросовая Золототрубов.

Золототрубов (тот, что арестовал Каржавина), составляя перечень изъятым бумагам, открытие сделал: письма из Лондона от Петра Дементьева и анонимное доношение, поступившее из того же Лондона, — одна рука! Прибежал к г-ну Шешковскому, рожа — будто леденец за щекой.

Служебное правило гласило: коли доноситель известен, следует допросить его очно. Теперь, стало быть, что же? Пришлось Степану Иванычу трудить иностранную коллегия, коллегии — российское посольство в Англии. А там не торопились. Положим, не ахти как легко отыскать какого-то часовщика в огромном городе: иголка в стогу. Но, сдается, не очень-то потом обливались: за долами слабеет глас Тайной канцелярии. Ждал г-н Шешковский, нетерпенью своему находя исход в других расследованиях.

Наконец, дождался: беглый раскольник Петруха Дементьев преставился в городе Лондоне! Слава те господи, прости и помилуй.

Казалось бы, зови теперь колодника, зови Васеньку. Скрой, что его благоприятель помер, страшай и своего добейся. Но Степан Иванович поспешал медленно. Семь раз отмерь, один — отрежь.

Читатель, вероятно, не забыл, как г-н Шешковский уверял, будто от 7-го пункта не ежится. (Царицыного указа о смертной казни взяточникам.) Не лгал. По части мздоимства был еще чист, но, оглядываясь вокруг, завистью уязвлялся. Ка-акие куши срывают и генерал-прокурор, и губернаторы, и вице-губернаторы. Один высший сановник «вымучил денег до двух миллионов», повергнув народонаселение в «совершенное убожество». Другой жирел на восточносибирских хищениях. Третий сбывал за море казенный лес, нагружая сундук золотом заморской чеканки... А он, верный пес государыни, пробавляется лишь жалованьем. О детях надо иметь помышление али не надо? О благоверной Алене Петровне надо иметь помышление али не надо?

Так вот, задумав ступить на стезю ухватистых взяточников, Степан Иванович боялся слезшить. Примеривался, пока не углядел стотысячника Васеньку. Все в точку сошлось. И давнее московское знакомство, и привычные Каржавиным барашки в бумажке, и возможность похерить страшное дело — донощика-то Дементьева вынесли ногами вперед. А может, и головой, черт ведает, какие у них там обыкновения...

И все же, повторяю, г-н Шешковский поспешал медленно.

Каждую неделю гонял посыльного на Почтовый двор к приходу заграничной почты; тогда называлась «немецкой». Все письма от Ерофея Каржавина забирал себе. Прочитывал и злился: нет нужного известия. Такого, чтобы обуглило Каржавина, чтоб света не взвидел. А тут-то ему и милость, тут-то ему и дар небесный. А следствием — вековечная повинность Степану Ивановичу, г-ну Шешковскому, добросердечному секретарю Тайной канцелярии.

Ерофей Никитич письма номером метил. Когда пришли 36-е и 37-е, друг за другом пришли, теплой волной омыло Степана Ивановича. Он эти письма разглядывал не без радостного удивления: господи, сколь фортуна к нему благосклонна. И умиленно прочел — назубок знал — акафист Иисусу сладчайшему.

Письма были как вопли. Сообщал Ерофей Никитич об ужасной болезни племянника. Медики и аптекари дерут три шкуры; хирург предлагает ломать лицевую кость. А он, Ерофей, без гроша.

— Эй! — крикнул Степан Иванович. — Эй, кто там? Живо!

Письма отнесли в темницу. И свечу подали.

Василий Никитич, читая, рвал ворот рубахи, как в удушье.

Потом на колена рухнул: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка...» Еще не опамятовался, а его уж волоком, волоком в канцелярию г-на Шешковского.

Сказано было:

— Внимай, Каржавин!

Колодник, уронив руки, головой мотал.

Сказано было:

— Не тебе, во грехах погрязшему, сострадаю. И не братцу твоему, улизнувшему за кордон. Единственно сострадаю отроку. Кончается агнец середь чужих людей. А тут вот цидулка латинская приложена, какая, значит, болезнь. Еду к лейб-медику, испрошу консилиума. Тебе передам, что объявят, а ты поскорее отпишешь своему Ерофейке. Еще раз говорю: единственно отроку сострадаю. И смотри мне, чтобы деньги выслал. Не скупись по вашему купецкому обыкновению. Что на свете гаже скупости, а? С родного батюшки пример бери. Помнишь небось, сколь охотно и любезно он суму выпрастовал. Знал, умница: себе же во благо!

Колодник, медленно поднимая руки, слушал г-на Шешковского и точно пенье ангелов слышал. В словах же о купечкой прижимке расслышал укор. Относящийся, однако, не к парижскому прозябанию своих кровных, а к своей собственной несообразительности.

— Да-с, не скупись, — вразумляюще продолжал секретарь Тайной канцелярии. — Мне, голубчик, ведомо, ты из ямщины норовишь выскочить, сего ради нужным людишкам пригоршни золота сыплешь. Выходит, хорошо понимаешь, все-е-е ты, братец, смекаешь. Так али нет? — Не мигая, пристально глядел он на Каржавина.

Столп солнечный осиял Василия Никитича. Он руки клятвою воздел:

— По гроб...

11

И пошел Василий Никитич Каржавин на волю. За спиной крылья, в сердце песня. Легко шел, шалым шагом. Архангел-трубач на стремительной игле собора ласково кивал ему с горней высоты.

Небо над городом было аспидное. Душно и едко припахивало дальними лесными пожарами. А Василий Никитич улыбался так, словно витала над ним юная Аура, богиня нежного ветерка, взлетевшая из тростников на своем царственном лебеде.

Лодочник в белой рубахе налег на весла. Ялик уже достиг середины Невы, когда гроза грянула сухая, без ливня. Василий Никитич успел заметить — острым зигзагом ударила молния в крепость Петра и Павла. И вроде бы вспыхнуло там, задымилось. Почудилось даже, будто рушится что-то, тяжело, гибельно рушится.

— А! — вскрикнул Василий Никитич и в ладоши хлопнул. — Пришибло!

Но гроза хоть и небывалой ярости, а покорежила лишь шпиль крепостного собора. Что за притча? При любой грозе невредимы тайные канцелярии! Из сей притчи следовало: быть ему, Василию Каржавину, исправным данником Степана Иваныча, г-на Шешковского.

12

Он не остался глух к челобитьям своего данника.

С высоты трона простили Ерофею Каржавину «самовольное отлучение за границу», обещали службу в Петербурге. Пособили, конечно, ходатайства парижских академиков, но, право, ничего бы не стоили их просьбы, если бы г-н Шешковский дал надлежащий ход лондонскому доносу.

А Федору Каржавину разрешили остаться во Франции «до окончания начатых им наук». И определили студентом российской Коллегии иностранных дел, прикомандированным к нашему посольству.

Глава вторая

1

Лотта, ученица белошвейки, по-прежнему жила в ветхом, неопрятном доме на левом берегу Сены. И по-прежнему любила Теодора. Правда, Теодор переселился на улицу Сен-Жак — дядюшка Ерофей, прощаясь с Парижем, устроил племянника пансионером состоятельного букиниста г-на Гериссана. Правда и то, что г-жа Гериссан, ужасная злоюка, отпускала Теодора только в коллеж. Но Теодор ради Лотты сбежал бы даже из Бастилии. Лотта гордилась Теодором — крестик в петлице: знак победителя в классных состязаниях, происходивших каждую пятницу.

Федор считался не просто успевающим, а преуспевающим. Он подавал сочиненья на сорбонские конкурсы. Профессоры усматривали самостоятельность суждений и умелость изложения. Однако лаврами не венчали.

Лотта ошибалась, думая, что г-жа Гериссан никуда не пускает Теодора. Это не совсем так. Он бывал в особняке на тихой улице де Граммон. Обязанности нашего посла при версальском дворе отправлял Дмитрий Алексеевич, князь Голицын. Дидро говорил: князь не кичится значительностью своего положения и происхождения; не рассудочно, а душою верит в равенство людей всех состояний; из титулов чтит первый — титул человека... Серьезный дипломат был и серьез-

ным ученым; его занимали физика, астрономия, политическая экономия. Дмитрий Алексеевич привечал отпрыска московских ямщиков: «Из сего молодого человека может быть со временем искусный профессор». Лестная аттестация была по душе Федору; он мысленно показывал кукиш сорбонским метрам.

А в доме букиниста его не баловали.

Г-н Гериссан принадлежал к тем книгопродавцам, которые, слава богу, не переводятся, хотя и редчают: дорожил не столько красной ценой товара, сколько посильной помощью ученым мужам. Никому бы и в голову не пришло спросить в его лавке издания «Голубой библиотеки» — перелицовки ветхих рыцарских романов. Не могу, однако, утаить и позорное обстоятельство: букинист был из жалкого племени подкаблучников. Супруги боялся больше, чем вельзевула. Впрочем, что странного? В существовании вельзевула г-н Гериссан крепко сомневался; в существовании г-жи Гериссан сомневаться не приходилось. А Федор уподоблял хозяйку собаке г-на Вольтера — той, что рычала даже на собственную тень.

Тайком, не у себя, в Лоттиной комнатенке Федор писал родителю: свободные дни сижу дома, а с дядюшкой, бывало, осматривал библиотеки и кабинеты ученых; просил г-жу Гериссан заменить на моем черном камзоле шерстяную подкладку летней, но она этого не захотела; на деньги, присланные вами, купил книг по философии и физике, ботанике, хирургии, химии, остальные придется отдать г-же Гериссан; у нее сохраняется мой пенсион, но она никогда не дает мне отчета; словом, ничего не было бы лучшего, как избавиться от г-на и г-жи Гериссан.

И вдруг студент избавился от тирании.

Избавитель был высоколобый, плотный, плечистый. Книги выбирал тщательно, это нравилось букинисту. Держался с некоторой важностью, это нравилось супруге букиниста. Несмотря на молодость, состоял членом нескольких академий, это внушало почтение и букинисту и его супруге. Откажешь ли г-ну Баженову, желающему прогуляться со своим соотечественником? Извольте, мсье! Как вам будет угодно, мсье!

Берущие на поруки снисходительны; Баженов охотно отпускал Федора к Лотте. И, отпустив, провожал улыбкой завистливой. Право, он бы тоже отправился к возлюбленной. Увы, его солидность, его серьезность, видать, пугали Эрота, и этот шалун не решался натягивать свой гибкий лук.

Впрочем, Федор чем дальше, тем чаще устремлялся не к Лотте, а к Баженову. Он увидел Париж его глазами. Площадь Дофина прекрасна. Королевская площадь очень хороша? Несомненно. Но город, мой друг, надо зреть словно бы с высоты птичьего полета. Париж прелестен частностями. И плох в целом, у него нет капитальной идеи... Баженов импровизиро-

вал. Импровизации не витали над Сеной — витали над Москвой-рекой. Баженов был свободен в самом несвободном из искусств: оно требовало примирения, казалось бы, непримиримого — эфирной фантазии и грубого материала, вдохновения поэтического и вдохновения геометрического.

Слушая Баженова, Федор слышал звуки родной, позабытой речи. В устах Василия Ивановича была она величавой, подчас выпренной. Федор обладал, так сказать, филологическим слухом, но тут другое: в звуке был зов. Он ощутил свое житье в стороне, как бы на обочине, и это вызывало прилив тоски, внятной, как тонкий запах кипарисовых карандашей и теплый запах заготовок для архитектурных моделей, отдаленно напоминающий пасечный, смешанный и стойкий дух в тесной квартирке на улочке Фромантен.

Теперь уж Федор не просил избавления от Гериссанов — просил вызволения из Парижа: государь мой батюшка, ссудите деньгами на дорогу; даже и постель продал, на соломе сплю, а все не хватает; ссудите, батюшка, домой надо, хоть в солдаты, хоть в чистильщики сапог, кем угодно, куда угодно, лишь бы домой, в Россию.

Ему было трудно расставаться с Лоттой, но и тяжело оставаться в Париже. Есть любовь к женщине, но есть и любовь к судьбе. Последнее не всегда нечто фатальное, нет, иногда иное, совсем иное — неодолимое желание испытать судьбу.

Деньги были присланы. Пусть возвращается, решил Василий Никитич, знания у Феденьки достаточные, дабы успешно подвизаться в большой коммерции.

Каржавину исполнилось двадцать от роду. Уехал он в 1765-м, на одном корабле с Баженовым.

2

Маменька обнимала первенца:

— Ох, кожа да кости... Ох, чужбинка-то непотачлива...

Здесьнюю домашность Федор соизмерял с парижской. Там, в Париже, младшие держались вольно. Бывало, и главе семейства храбро подпускали шпильку. А тут... Василий Никитич шевельнет бровями, никто не смеет спросить: «Чего сердитесь?» — потупившись, шелестят: «Пошто изволите гневаться?» Принесет из Гостиного подарочек, не скажут: «Спасибо» — нет, в пояс кланяются: «Покорно благодарим за ваше пожалование»... Федор втихомолку посмеивался: ни дать ни взять «Наставление об учтивости благодетельных детей». (Так называлась инструкция иеромонаха парижского посольства; призабыв русский, Федор выпросил рукопись, читал с пером в руке, очень это было полезно в грамматическом и лексическом смысле.)

Благодушно посмеиваясь над домашними строгостями, Федор неулыбчиво слушал, как отец убеждает их степенства сплотиться в компанию. Все это не по душе было Федору. Один лишь из посетителей отца всерьез интересовал Каржавина-младшего: Гаврила Попов.

Родом из Торопца, Новгородского уезда, жил тот некогда в Кенигсберге, подвизаясь по торговой части. Василий Никитич «коррешпондировал» с Поповым. Да и позже, в годы службы Гаврилы Ивановича таможенным надзирателем, тоже встречался.

Наружность этого Попова совершенно не вязалась с его натурой. Был этот Попов неказист, рябенький, бороденка молчалкой; ходил бочком, будто робея, голосок имел слабенький и словно бы с трещинкой. Душевные же свойства решительно выдвигали его из общего ряда. Был он начитан, читал не только по-русски, а и по-немецки; читал не для приятной отрешенности от обыденных забот, а ради пушей сосредоточенности на предметах, по его разумению, наиважнейших — зло, исходящее от государственного правления, вожжи коего в руках жестокого барского сословия; неизбежность гибели последнего, ибо мужицкое терпение «исполнит свою меру»; необходимость личной свободы крестьян.

Судьбу Гаврилы Попова не так уж и трудно провидеть. Досталось ему заточение в Спаса-Евфимиевском монастыре, где содержали его «в одиночестве, под крепкою стражей, не дозволяя писать». Этого «рассеивателя вредностей» изъяли из мира дольнего годы спустя. А в год возвращения Каржавина-младшего Гаврилы Иванович жительствовавал в Москве и, наезжая в невскую столицу, наведывался в дом на Адмиралтейской першпективе.

Рассужденья свои зиждил Попов на заветах священного писания. По заповеди божией, говорил он, каждый обязан возлюбить ближнего, как самого себя. А выходит иначе: человек у человека стал изнуренным невольником. Невольников же несть числа; взбунтовавшись, сделаются фуриями и, пролив кровь, что опять-таки противу слова творца вселенной, превратят дворянство в ничтожество. Отселе непреложная необходимость убедить барство отказаться от рабов.

Федора ничуть не огорчало возможное превращение дворянства в «ничтожество»; обращение же крестьянина в «фурию» — ничуть не пугало; а благое желание убедить рабовладельцев перестать быть рабовладельцами — смешило. И если он не смеялся, то лишь из сердечной уважительности к собеседнику...

Между тем время шло, надо было думать, куда направить стопы свои. Федор полагал так: определюсь в иностранную коллегию, избавлюсь от родительской опеки и родительского кошелька, займусь переводами, как дядюшка Ерофей.

Ерофей Никитич уже выслужил чин поручика. Женился невыгодно, зато по любви. Не так, как старший брат. Не скажешь, конечно, что Василий из одной корысти, этого не скажешь, но Анна-то Исаевна купеческого корня, московских Тумборевых, весьма состоятельных. У Федосьи ж только и было что салопчик, полушалочек и колечко серебряное. А сердечко? Золотое сердечко, высшей пробы! Ни малейших посягательств на мужнин кошелек. Супруги исповедовали правило столь же необходимое, сколь и уныло-томительное: по одежке протягивай ножки.

Они нанимали скромную квартиру на Васильевском острове... После службы, в сумраке, при сальной свече дядюшка Ерофей переводил «Путешествия Гулливеровы». Не с английского — с французского. Французский текст гладок был, щеголеват. Дядюшка Ерофей чутьем угадывал подлинник, грубоватый и крепкий, будто сработанный корабельным бондарем. Жалел, что недостаточно владеет английским. Право, лучше, куда лучше было бы обойтись без изящного французского посредника.

За Невой, у старшего брата, Ерофей Никитич не появлялся. В споре о Феदिном будущем разверзлась пропасть. Кончилось тем, что Василий Никитич, гневно пеняя прошлыми денежными субсидиями, затопал ногами: «Неблагодарный ты змей, Ерошка! Сгинь!» Оскорбленный поручик заклеил брата тиранствующим гарпагоном, перед которым нечего метать бисер, и в сердцах хлопнул дверь, Василий же Никитич рывком отворил и засвистал вдогонку двупалым свистом.

Зная братнин характер, Ерофей Никитич не надеялся на исполнение Фединога желания. Скорбел: все мое тщание пойдет прахом. Господин Дидро, разумеется, прав: коммерсантов обвиняют в том, что они — космополиты; это равносильно обвинению воздуха и воды в том, что они полезны всем; упускается из виду общее благо всего мира. Да, господин Дидро прав, но только не Федя, только не милый Федя. Встречаясь, племянник и дядюшка обменивались как паролем и отзывом: «Не коммерция...» — насмешливо произносил племянник, «а служение обществу знанием», — торжественно произносил дядюшка. Они испытывали не просто обоюдную приязнь, а нежность, избегая, однако, внешнего изъяснения ее.

Отец не скрыл от сына разрыв с «Ерошкой». Сын не считал нужным скрывать от отца благодарность дядюшке Ерофею. Василия Никитича злили хождения на ту сторону Невы. Он, однако, не допускал возможности сыновнего бунта. Но смутные опасения возникали: угадывал в сыне свое — упор и напор. И пускался в рассуждения окольные.

Пусть вникнет в отцовский проект о российской коммерции. Пусть вникнет в суть новых времен. Зри поверх суши: российский торговый корабль бороздит Средиземное море —

мал почин, да дорог! Со дня на день государыня утвердит устав нижегородской купеческой компании. Распорядилась отпускать детей купеческих в заграничное учение. Слышишь: ку-пе-чес-ких! А ежели вострым умом проткнешь завесу годов, постигнешь, что власть помаленьку утечет от земли к деньгам. Гоже ли нам, Каржавиным, сиднем сидеть?! Негоже! Под лежачий камень, сам знаешь... И вот еще: мы, купечество, державу в гору подъемлем, а шапку ломаем перед каждым пустельгой, который при шпаге...

Слушал сын серьезно, это было хорошо. Нехорошо было, что слушал холодно. Похоже, душа Федора отнюдь не ликовала от этого «перетекания» — весьма, впрочем, неприметного — одной власти в другую.

Василий Никитич сам прочел и сыну на подушку положил философический роман из русской жизни с нерусскими именами в заглавии — «Письма Эрнеста и Доравры». Здешнего, петербургского сочинителя. Сообщил, словно подмигнул: этот господин Эмин — сослуживец и благоприятель твоего любезного дядюшки. Понимай, значит, так: романное у господина Эмина не чуждо и Ерофею Никитичу.

Не чуждым, понял Федор, была некоторая близость романиста к духу Руссо, к «Новой Элоизе». Да вот разница высветилась: превознося свободу негоциации, сочинитель отвергал капитальное у Руссо — чтоб все было общественное. Глумливо отвергал: мысль, мол, совершенно циническая... Гм, не чуждо и Ерофею Никитичу? Отец был прав. Дядюшка чтит Жан-Жака, высоко ставил, но как раз в этом пункте заминался и спотыкался. А он, Федор...

Промолчать бы сыну, промолчать. Нет, преступил границу: сия мысль, батюшка, мне свет в окошке, звезда в небе.

— Красно глаголишь, — с грозным сожаленьем в голосе ответил Василий Никитич, — красно, да глупо. Все для всех — это ничего ни для кого. Это... это дух святой.

Они молча смотрели друг на друга, будто грудь с грудью сошлись. И легла тишина, такая тишина, что мыши в подполе замерли.

Василий Никитич темной кровью налился, желваки напруг.

Сплыли годы, как ладожские льдины, истаяли годы, как петербургские дымы, а февральская поземка десятилетней давности курилась, курилась, курилась. Мясничья рожа. Тайной канцелярии служитель, батально рыкал, будто редут брал... В крепости Петра и Павла пуговицы, срезанные с кафтана, шелкали о каменные плиты... Старичина унтер, дуб мореный, шамкал под скрежет ржавого засова: «Здесь келья — гроб, дверью — хлоп»... Сплыли годы, истаяли, но нет, не выросла трава забвенья. Кто не был, тот будет; кто был, тот не забудет.

Дети — вот казнь наша. Не ровен час, с твоим кровным, с плотью от плоти злосчастье повторится. Нынче заграничное ученье не возбраняется, а завтра, глядишь, и такое лыко в строку; нынче книжники в чести, а завтра побьют камнями; нынче циническую мысль этого самого Руссо твердит, как «Отче наш», а завтра рябой Малафеич брякнет пыточным железом... Дети, дети, вот она, казнь наша...

И знобко думалось Каржавину-старшему.

Ерошка скорбит: ужель его старанья прахом пойдут? А его, Василия Никитича, застеночные муки, ужас при известии о Фединой болезни, это все для чего, зачем? Для чего и зачем Василий Никитич данником у г-на Шешковского, как у хана ордынского? Для чего и зачем дом г-ну Шешковскому своим коштом поднял на окраинной, тихой Коломне? Для того, выходит, чтобы родной сын предал родного отца! О-о, не только отца — сословие; не все поголовно, а самых разумных, тех, кто у него, первой гильдии Каржавина, в союзниках.

Так с непереносимой, жгучей обидой, с гневом, распивавшим горло, думал Каржавин-старший, напрочь перечеркнув то, в чем прежде себе признавался: все претерпел и все терпит не токмо ради сына, а ради себя. Но сейчас, когда сын, не потупливаясь, в бунте своем, в молодой гордыне своей смотрел на отца, на отцовские седины, Василий Никитич слова ронял, будто бабу-снаряд на сваю: из-за тебя, из-за тебя в кабале... «Батюшка, милый батюшка», вдруг прерывисто выдохнул Федор и облился слезами. Впервые так пронзительно вообразилось все, пережитое отцом в зловещей крепости Петра и Павла.

Без вины виноватость гнет подчас сильнее вины. Клонясь долу, клонился Федор к смиренью. А дядюшка Ерофей правоты за Каржавинным-старшим не усматривал. Когда он, Ерофей, заеденный парижской нуждой, едва не наложил на себя руки, Василий Никитич отписал, усмехаясь: в тебе, Ероня, страсти сильнее рассудка. Так ли, нет, да вот он-то, Ерофей, никого никогда не неволил. Федя ж в капкан попал, бьется, бедненький. А ведь не скажешь так: друг мой Теодор, батюшка и с тебя желает получать проценты, ты ему вроде капитала о двух ногах, перестань терзаться, у каждого своя стезя, не зарывай талант в мешок с деньгами... Не скажешь, а надо бы. Ерофей Никитич отводил глаза. И молчаньем своим выпрямил он племянника. Ну нет, тысячу раз нет, не станет confidentом отца своего, не нужен Федору телец золотой.

Опять налился темной кровью первой гильдии Каржавин, тяжело дыша, как топором отрубил: «С глаз долой! Попляшешь! Согнет беда в бараний рог, не вздумай простирать руки. Ты — сын блудный, не отец я блудному сыну».

Все в доме ходили точно в воду опущенные. Мать косилась на сына, как на отступника. Только Лизонька, сестрица, по-

ходя на Лотгу, украдкой поцелует в плечико и шмыгнет мимо. За семейным столом не было Федору куверта, места не было, кормили его отдельно, как зачумленного.

Сдается, не без потачки г-на Шешковского помешал Василий Никитич поступить сыну в петербургскую службу. Определили Федора учителем в семинарию при Троице-Сергиевой лавре, что под Москвой. Таил Василий Никитич злую надежду — изведется неумомный Федька монастырщиной — кинется в ноги, а Василий Никитич и бровью не шелохнет.

3

На парижских антресолях трескал пустое, постное. А тут и говядинка, и курятинка, уточки, индеечки, белужинка, осетринка. И «штей сколько потребуется». На день четверть ведра пива. Янтарь! Меды, крепко варенные. Золото!

В городе Париже бегал в сквозной одежде, башмаки каши просили; в столице королевства, пансионером, на соломе спал. А тут, в монастыре, на пуховиках нежился. Сшил мундир обыкновенный, сшил и мундир праздничный — тончайшее сукно, хоть младенца пеленать. И шпагу прицепил — знак светского звания. Жалованье? С дядюшкой Ерофеем вдвоем ста рублями обходились; в семинарии — одному сторублей положили.

Ох, не хлебом единым жив человек. (При достатке хлеба единого.) Последователя энциклопедистов мучила окружающая «клерикальность». В чужой монастырь он пришел со своим уставом, почерпнутым из «Философского словаря» г-на Вольтера, из книги «Об уме» г-на Гельвеция, из «Писем с горы» г-на Руссо.

Ему советовали: прими постриг, удостоишься прибавки жалованья. Он насмешничал: Париж стоил мессы, клобук не стоит прибавки жалованья.

Ему внушали: «Иночеством избавишься от мирской суеты и достигнешь горней премудрости». Он отвечал: «В мирской суете — корень познания сущего».

Ему говорили: «Служивый алтарю от алтаря и кормится». Он дерзко парировал: «Служивого солдата с розгой к семинаристам приставили — для унимания от резвости, а вас самих давно бы унять от поборов».

Старец-иеромонах приятность сообщил: «Помню, был у нас в Лужицкой обители Иосаф Каржавин, добротой славился. Не кровный ли тебе, сын мой?» А он отверз уста грубиянством: «Если бы и кровный — не велика честь. По крови и зверь в родстве. По духу — только человек».

Хранитель библиотеки, тощий монах с плаксивым лицом кающегося грешника, указал на лондонские и амстердамские тиснения, демонстрируя богатства лаврского книжного собра-

ния, и услышал презрительное: «Типографический станок тем плох, что ложь вперемешку с глупостью быстро множит».

Чернецы, забыв смирение, перстом грозились: парижанские ереси разводишь, епитимствовать тебе в Соловках. Он раздражался богохульным смехом. Рясоносцы каркали: смех в обители — кощунство. Учитель французского пронзал, как рапирой, французским: потерял тот день, когда мы ни разу не улыбнулись.

От мира сего монахи хоронились в кельях. Каржавин и в келье пребывал в мире сем. Не потому лишь, что читывал «Энциклопедический журнал»(3), а потому, что составлял прибавления к «Прибавлениям» и примечания к «Примечаниям».

Там — в «Прибавлениях» к московским и петербургским ведомостям, а также в журнале «Примечания на Ведомости» — публиковались отчеты о занятиях Комиссии. Занятия эти, Комиссия эта были Каржавину предметом пристального интереса, сперва восторженного, потом насмешливого, а затем и саркастического.

Комиссия созывалась и призывалась, дабы даровать стране новое Уложение, новые законы. «Наказ» Комиссии составила императрица — восемьсот страниц, обряженных в малиновый бархат. И малиновым звоном разливалась по всей Руси великой, по градам ее и весям: «Закон христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно, а всякого гражданина особо видеть охраняемого законами, которые не утесняли бы его благосостояния...»

В мартовский день — снег на припеке ноздреватый, в тени слюдяной блеск — у окна кремлевской Грановитой палаты стояла императрица; в ту минуту хороша была матушка — глаза голубизной сияли, грудь мерно вздымалась, щеки румянились. Свершилось! Московские депутаты шествовали в Успенский собор. Там, где витал призрак стародавней земщины, отслужили литургию, приняли присягу. Свершилось! Печатные заведения Европы, оттиснув листы «Наказа», явят миру мудрость российской монархини. И возликуют философы, узрев философа на троне.

А летом следующего года в Грановитой открылись занятия Комиссии; газеты и журнал публиковали отчеты. Каржавин испещрял листы пометками, острыми, как шило, краткими, как щелчок курка.

Напечатано: государыня желает блаженства всех и каждого. Гневным пером: *«пыль в глаза»*.

Напечатано: депутаты имеют счастье быть руководимы императрицей. Саркастическим пером: *«то-то и глупо»*.

Напечатано: депутаты призваны выказать гражданские добродетели. Ироническим пером: *«то ли у вас на уме?»*

Напечатано: занятия Комиссии временно прекращаются. Не пером, а словно ружейным беглым огнем: *«Распускают*

домой. Выгоняют вон! Чем меньше их будет, тем скорее сломают: а то заболтались, из десяти выберут по одному и прикажут им молчать». Убежденным повтором: «Пустили пыль в глаза; только всего и будет». И лапидарным итогом: «обман».

Какова трезвость! Никаких надежд на коренные перемены, дарованные с высоты трона, а ведь сам Дидро, великий Дидро верил и в благие намерения российской монархини, и в то, что Комиссия — начало представительного правления...

Монастырские же, семинарские будни гуськом шли, неразличимой чередой. Зимой в шесть, летом в пять начинались классы.

Что сказать об учительстве? Карал не розгой, карал насмешкой: «Ты, малый, с ленцой, не пылаешь жаждой знания, ну и незачем тлеть». Подчас изменяло терпение; недостаток существенный. Зато доставало изобретательности; достоинство важное. К чертям заскорузлый учебник Бюжо «Краткие правила французской грамматики!» Вот другой — «Вновь выработанный прием изучить французский язык смеясь, без серьезного усилия и в то же время играя». В книжке двести анекдотов, занятных, веселых историй. Забавно соединять анекдот с грамматическим разбором! Последний тупица и тот запомнит.

Любил ли он бурсаков? Не уверен. Но был благожелателен к этим мальчуганам в сермяжных камзолчиках, отпрыскам пахарей и солдат, деревенских дьячков и пономарей.

К двум из семинаристов испытывал Каржавин привязанность. Взявшись учительствовать, он обещал выпестовать воспреемника, а Харламов поразительно быстро овладевал французским, Федор возлагал на него особые надежды и в Харламове не обманулся. Паша Криницкий тоже зубрил вокабулы, но, обладая умом без зазубрин, тянулся к мирскому чтению, и Каржавин поощрял бурсака. В галоп не пускался, неспешно, наводящими вопросами. И ответами, уводящими с избитой тропы. Осторожничал, побаиваясь кары властей предрержащих.

А кары небесной не страшился. Высшее существо дало первый толчок развитию мироздания и больше уж не вмешивалось ни в сущность вещей, ни в ход вещей. Попы насчитывают миробытию несколько тысяч лет? Пустое! Морские песчинки сочти — вот тебе лишь мгновение. Бог создал человека по образу и подобию своему? Пустое! Человеки создают богов. Возьми чернокожих — бог у них черный, а дьявол — белый. Поп и пастор, раввин и мулла — все проповедуют рабское повиновение владыкам земным. А владыки земные в долгу не остаются, потакают попу и пастору, раввину и мулле.

Уподобляя богов самим себе, люди не уподоблялись друг другу. Изволь, вот пример, шутил Каржавин, — Пашка Кри-

ницкий не уподобился доносчику Петрухе Дементьеву. Вот уж когда пожалеешь, что нет в мироздании геенны огненной — очень подходящее местечко для доносчиков.

И верно, Криницкий крепко держался бурсацкого правила: пашквилей и подметных писем не писать. Были и другие правила, они тоже нравились учителю Каржавину. Вот, скажем, такое: товарищам жить братски, не ссорясь, а стараясь переносить неудовольствия. Или такое: подарков из дому не принимать, дабы равенства не потерять. По душе были Каржавину эти правила. Ах, если бы на таких китах обосновалось взрослое человечество.

Учительство, Харламов с Криницким — продушины в душевной монастырщине, но Федор тосковал: ему был нужен не звон монастырских колоколов, а захлеб поддужных колокольчиков.

Рядом с лаврой находился ямской стан. Федор смотрел вслед тройкам. «Дуй по пеньям — черт в санях!» Тройки, истаявая в снежной пыли, летели в Москву.

4

Москву изобразить — не поле перейти.

То мелкие строения, сбившиеся тесно, будто сошлись посудачить; то раскидистые усадьбы, хоть зайцев травы; то пепелища, взявшиеся лебедой. На высоких дворовых воротах с крышами-навесами прибиты медные восьмиугольные кресты. По колдобинам влекутся дроги, запряженные одрами. В обгон переваливаются экипажи, лоснятся вороные, а на запятках, по-тогдашнему сказать, букет: красный камзол великана-гайдука, белая чалма черного арапа в желтой куртке. А впереди пара скороходов в высоченных шапках с узкой тульей и широким козырьком.

Желаете единым взглядом окинуть «общество»? Поезжайте за Москву-реку, поезжайте в Сокольники. Ехать не на чем? Это уж точно, извозчиков не сыщешь днем с огнем. Но, может, кто-нибудь пригласит вас в свою карету.

Замоскворецкие гулянья? Извольте.

Бархат, атлас, скатный жемчуг на купеческих женах. Сразу видно, знать не знают о диетическом питании. Не оттого ли щеки-то маком цветут? Ошибаетесь — румянятся, без румян показаться на людях — «сделать невежество». Бородачи в глухих кафтанах гамбургского или английского сукна. Тупорылые «степенства»? Опять не так. Лица дышат жаждой деятельности. Вот уж второй десяток лет отменены внутренние таможенные сборы, и эти ворочают всероссийской коммерцией. Не путайте с мелкотой, что на торжищах вскрикивает, подвизгивая на первом «и»: «Ниточки! Ниточки!», а с подвиз-

гом на «и» концевом выпевает: «Платочки! Платочки!» И не путайте с приказчиками, что за полы хватают: «Шляпы фундаменталь-ная!», «Шинели обстоятель-ная!», «Ленты презентабель-ная!», «Хомуты subtilь-ная!».

Гулянье сокольническое? Извольте.

Спозаранку шатры разбиты, снедь и вина припасены. Прикатывают господа в синих кафтанах и снежных жабо, барыни в шелках и кисее, в атласных туфельках. Все знают друг друга; знают друг о друге все. Украдкой от маменек и тетушек зефирный шепот: «О, мой болванчик...» — уморительная трансформация французского: *idole*, кумир... Старушки, тряся чепцами и прыская в ладошку горстью, пеняют забавнику-рассказчику: «Ах, монкёр, совсем уморил...»¹ И эти восклицания: «Бесподобно! Бесподобно!» И чье-то насмешливо-носовое, но и не без завистливости: «Быть не может: три го-о-ода женат и все еще во блаженстве?» И уже задействована (так, кажется, нынче говорят?) особая знаковая система: мушки задействованы. Эти крохотные кружочки из черного пластыря на ланитах и подбородках щеголих, они ведь, мушки-то, хитро расположены: если так, значит, указывают время и место секретного randevu, а если этак, то — градус чувства, и еще и еще по-разному для разного рода сигналов. Забавно! А там, на поляне, слышите, там уж дуэт сладился: «Не кидай притворных взоров и не тщишь меня смущать».

А чаепития, московские чаепития? Летние, когда млеет закат. Зимние, когда изразцовые голландки колышут комнатный воздух мягкой теплыню своей. Нет, невозможно представить без чаепитий первопрестольную, златоглавую, белокаменную. Однако осторожнее. А то вот романист напишет: «чаепитие» — и тотчас: «самовар», «позвякивание серебряных ложечек»... Э, за самоварами тогда не сиживали, медные чайники были, на жаровни ставили, на алые уголья с бысролетней голубизной. А чайные ложечки — тогдашний дефицит. У какого-нибудь богача пять тысяч душ, а ложечек чайных знаете сколько? Две! В особой готовальне сохраняются.

Но полно! Негоже демократу усладиться кущами Сокольников, чай гонять в хоробах. Назвался демократом, полезай в демос. Благо недалеко ходить: в господских домах людей содержалось множество. Лакеи выездные и невыездные; повара и официанты, дворники, парикмахеры, камердинеры, музыканты и певчие, девки-пряхи и девки-скотницы, сторожа и псари, а то и медвежатники, нет, не поводыри, что косолапого напоказ водят, а те, что приглядывают за домашним Топтыгиным.

Как расхожей рифмы, ждет читатель суждений о барском своеволии, о барской жестокости. И скулами мелко подраги-

¹ Монкёр — от *фр.* *mon coeur* — мое сердце.

вает, подавляя зевоту. Что так? Оскомину набили школьные прописи? Неохота держать в памяти страдания минувших времен? Посвист батожья да крутость рекрутчины, да куплю-продажу, когда оптом за тридцать рублей, а в розницу — не меньше сотни... Потянувшись всеми хрящиками, не худо бы и задуматься. В конце-то концов, барское своеволие, барская жестокость — очевидность. А вот соль холопства...

В городском господском доме челяди жилось вольготнее однодеревенцев. Не только кус с барского стола, не только кафтанец с барского плеча. Холоп ташил что ни попадя: от барина не убудет. И ленился, отлынивал: ничо, сойдет, больно мне нужно. И льстил, и лукавил, и ябедничал: а как иначе? — не ровен час, в деревню отошлют. А ежели кого и уважал душевно, то разве что угрюмого ярославца Герасима, победителя кулачных боев на москворецком льду.

Слышу: клеветет мемуарист, ни почвы у него, ни корней. Помилуйте, речь-то о рабстве. Несчастливы холопы не оттого, что холопы, а оттого, что не сознают своего холопства. Тут он, корень-то.

Императрица Екатерина серчала: многовато на Москве бездельников дворовых. Заботило же, тревожило иное: безрассудное, по ее мнению, заведение фабрик с чрезмерным количеством работного люда, который страсть любит ум свой питать росказнями о всяческих бунтах. Гневалась: вранья на Москве без конца и счету. И вот изобрела указ, прямо скажу, курьезный: о молчании. Не оговорился! Вот так в одно слово все вместилось — молчать!

Удалили барабаны, стабунивая толпы; полицейские офицеры, надрывая глотки, объявляли указ. Действо! Любо-дорого глядеть, как уста запечатывают. Не скрытно, а громогласно: нишкни и ни звука. Между нами сказать, это еще полдела. Один из римских цезарей, забыл, как звали, тот и в молчании порицание себе чуял; повелел не молчать, а денно-нощно восхвалять; и, понятно, восхваляли, куда денешься. А Екатерина II, или, если угодно, Великая, она, значит, указом возвестила — нишкни и ни звука, а нето батогами, батогами, и притом публично, на площади.

Труд, выпрямив обезьяну, одарил человека речью. Не отменяя труд, указ отменял членораздельность. Если на то пошло, следовало учинить всеобщую ампутацию голосовых связок. Да где ж возьмешь прорву лекарей? И «вранье» продолжалось.

Петербург командировал г-на Шешковского. Особливый дар имеет допрашивать простолюдинов. Так говаривала государыня, прибавляя, чтобы не обижать Степана Иваныча, он, мол, любое самое трудное разбирательство доведет до точности; лучше бы, пожалуй, выразиться — до точки, после которой нет ничего, кроме отходной.

Его карету, запорошенную пылью петербургского тракта, увидел я на Лубянке. Там, где она переходит в Мясницкую, помещалась московская контора Тайной экспедиции. Духовная консистория — это потом, позже, а тогда, в годы, о которых речь, здешние «духовники», принимая «исповеди», губили души.

Степан Иваныч выпростался из кареты; его поддерживал под локоток верный Золототрубов, орясина, производившая некогда заарестование Каржавина-старшего. Как шилом кольнули меня востренькие глазки г-на Шешковского, усмехнулся презрительно: отмщение за мое давнее, шестьдесят второго года, злорадство. Не отрекаюсь, злая была радость, руки потирал.

Да, в начале шестьдесят второго, зимою. Императрицу Елизавету отпели, воцарился Петр III. Он, известно, пьяницей был. Не слыхивал, чтобы хоть единый сказал: пьян да умен, два угодья в нем. И вдруг разнеслось благовестом: ка-а-кое чувствительное сердце!

А началось с того, что государь явился в Сенат. Тотчас крепко, как в гвардейской караульне, запахло табаком-кнастером. Но спиртным не отдавало, тверезым явился. Возвестил: отныне Тайных розыскных дел канцелярия быть не имеет. И повелел изготовить высочайший манифест, имеющий быть объявленным со всех амвонов от моря Балтийского до моря Охотского.

Вообразите, что случилось с г-ном Шешковским: тьма в глазах, во тьме искры огненные. Гибель! Вообразите канцелярию: нос на квинту, мозги набекрень. Гибель!

Ужас и горе г-на Шешковского не были сугубо личными. Он знал твердо: упразднение тайного розыска есть ослепление державной власти. А уже возглашали манифест — Тайная канцелярия уничтожается. Г-н Шешковский страдал, его ужас тешил меня.

Увы, ни атмосферная гроза, ударившая в шпиль крепости Петра и Павла в тот день, когда Каржавин-старший вышел из застенка, ни даже божия гроза не испепеляет тайный розыск. Еще не улеглось ликование, еще скакали курьеры с манифестом, а брюхатый Сенат уже разрешился от бремени: быть отныне Тайной экспедиции.

Это что же? Выходит, надули россиян? Отнюдь. Манифест упразднял канцелярию. Но не сам по себе розыск. Тайная канцелярия, умирая, приказала долго жить Тайной экспедиции. Г-на Шешковского из секретарей переименовали в сенатские секретари. Переименование учреждения ничего не переменило. Переименование должностного лица давало майорский ранг и потомственное дворянство. Праздник!

Екатерина упрочила его положение. Пребывая формально в ведении Сената, он теперь важные дела докладывал только

императрице. Она так рассудила: неблагопристойно многим знать многое. Не глупо! Степану Иванычу отвели в Зимнем укромный покой для «особливых занятий».

Как сейчас вижу, царица-матушка в кресле чулок вяжет, а Степан Иваныч стоит, уронив руки, кажутся эти руки непомерно длинными, словно пришитыми. Солнце катится за Неву, льется червонный отсвет. Вдумчиво улыбаясь, говорит Екатерина Алексеевна:

— Ты, батюшка, помни, чем тягчайше приносится обвинение, тем глубочае исследовать надлежит. Глубочае, инако безвинно осуждение может быть.

— Всегда помню, матушка, — вздохнув, отвечает Степан Иваныч. Она, рассмеявшись, грозит ему пальцем.

Он душевно желал своей ровеснице многая лета. Сердцем ловил ее тревогу, ее пасмурные, косые взгляды, брошенные в сторону наследника. Государыня и секретарь майорского ранга отлично понимали друг друга. Ни в намеках, ни в попункании нужды не было: Степан Иваныч не упускал из виду тех, кто окружал цесаревича Павла, кто с ним сблизился, кто к «ему приближался...

Когда на Мясницкой, у Рязанского подворья, остановилась казенная карета, запорошенная белесой, подзолистой пылью петербургского тракта, шел я в Садовники, При виде г-на Шешковского, вылезавшего из кареты, подумалось о покамест слабенькой, как паутинка, ниточке, которую, среди прочих, уже ухватил секретарь тайной экспедиции, ухватил и осязал с каким-то особенным, ему свойственным сладострастием...

Вернувшись из Франции (если читатель не забыл, на одном корабле с Каржавиным), Баженов некоторое время жил в Петербурге. Ему поручили возвести дворец на Каменном острове. Каменный остров императрица подарила сыну. Мальчику, живому и любознательному, понравился и зодчий, и его чертежи — хорошо «расположены», хорошо «вымышлены». Баженов стал бывать у Павла, «приглашался к столу». Презентовал он наследнику книгу архитектора Патта, обстоятельную сводку работ французских мастеров, прекрасный фолиант, приобретенный на улице Сен-Жак.

Ну и что из того, скажете вы, Павел-то был подростком. Справедливо. Но руководить — значит предвидеть. Г-н Шешковский руководил тайным сыском, а посему каждое лыко ставил в строку. Он заприметил благоволение наследника к Баженову. И сие упрятал в долгий ящик. Авось пригодится. Всеу свой черед. «Несть тайны, иже не явлена будет».

А нынче г-н Шешковский пожаловал в белокаменную не ради архитектора, полюбившегося цесаревичу, а ради натаски московской конторы Тайной экспедиции в противодействии нарушителям указа «о молчании».

Черт с ним, надо идти за Москву-реку, в Садовники — уз-
нать, когда ж наконец наш Федор избавится от монастырско-
го плена? Бывал он в Москве лишь краткими наездами, гос-
тил у Баженова, охотился за старинными книгами на развале
возле Кремлевской стены. И возвращался в лавру пасмурный,
ничуть не радуясь великолепным звонам колоколов, содер-
жавших в металле своем изрядную долю серебра.

5

Садовники, вернее, Средние Садовники начинали застра-
гиваться. У Баженова дом был каменный, с молоденьким яб-
лоневым садом. Василий Иванович жил семейно. Папенька и
маменька, если память не изменяет, родом были калужские.
Простые, приветливые, милые. В жены Баженов взял сироту.
И правильно сделал — ни фанаберии, ни тещи. Пример, до-
стойный подражания.

Оставляя Петербург, он слез не пролил: душа Москве при-
надлежала. Он любил город любовью зрячей и вместе мечта-
тельной. Многое мысленно видел иным, нежели очно. И
прежде всего то, что картонно и пестро открывалось по ту
сторону неширокой, неглубокой Москвы-реки.

Открывался Кремль, памятный с детства: родитель служил
псаломщиком в одной из тамошних церквей, очень ласкала
она взор своей скромной, тихой красой.

Где б ни был Баженов, смотрел он в сторону кремлевского
холма; так правоверный смотрит в сторону Мекки. Но право-
верный не желает перемен, и Мекка пребывает неизменной.
Баженовский Кремль кутали пестрые туманы. Исполдволь, ак-
кордами, возникало Нечто, никому, кроме Баженова, не зри-
мое; так из глубоких вод, зыбясь и покачиваясь, всплывает
град Китеж. А Кремль зримый, Кремль реальный мучил Ба-
женова хаосом пристроек, достроек, перестроек. Лишенные
общей идеи, они, как стихия, увековечили вечное и вешнее, то
есть живое.

Робею изложить замысел зодчего. «Грандиозно», «колос-
сально», «гениально» — не пятаки ли давней чеканки? Внятно
ли уподобление: мощь Баженова равна мощи Державина? И
каждому ль понятно, что задуманное Баженовым превосходи-
ло храм Соломона или форум Трояна?

Он мыслил Кремль единством старины и новизны. Стари-
ны, освобожденной от сработанного на злобу повседневного.
Новизны не заемной, не суетной, а вольно и гармонично объ-
единяющей старину. Он мыслил кремлевский треугольник не
пирамидой во славу монархии (хотя об этом твердил), а на-
циональным символом (о чем, кажется, не обронил ни слова).

Но тут надо признаться, что не сам по себе проект — со-

вокупность строгого расчета и пылающего воображения, не это брало за сердце, а бурный, мятущийся дух тридцатилетнего человека с темными густыми и легкими волосами, человека, весь облик которого... Понимаете ли, не в Париже, не в Санкт-Петербурге, а именно здесь, в Москве, вся сущность Баженова казалась мне насквозь русской. Отчего так? Да потому, что проект — уже одобренный, уже моделируемый из покорного рубанку и резцу мягкого липового дерева — проект этот не дарил зодчему величавого покоя. Снисходило, бывало, усталое удовлетворение; чувствовал, случалось, удовольствие; отступив и прищурившись, скрестив руки на груди и раскачиваясь на носках, бормотал: «Неплохо, неплохо... Даже и очень недурственно», этак тоже бывало. Но покоя — свершил, сотворил — не было.

Видели бы вы Баженова в предвечерний домашний час, когда, сняв форменный зеленый кафтан с черными отворотами, облачившись в красный шлафрок, он придвигал кресло к окну и устремлял взгляд на Кремль. День мерк, ласточки реяли, река журчала, позванивала, все звало к отдохновению, а он испытывал и трепет сомнений, и отчаянную тревогу, и унижительное бессилие. Пляска нервов, зигзаги капризов? Другое! Страждущий дух, мука недостижимости и непостижимости идеала, неизбежное недовольство достигнутым и постигнутым — вот это и было истинно драгоценным в натуре Василия Ивановича Баженова, драгоценным и редкостным, присущим лишь истинным творцам, зиждителям, как говорится, милостью небес.

Он служил в Экспедиции. Не пугайтесь, не в костоломной тайной, а в Экспедиции кремлевского строения. Начальствовал генерал и камергер, коего за ненадобностью оставляю безымянным. Генерал вольготно княжил, Баженов рачительно правил. Правление обрушивало лавину хлопот. Начиная от устройства кирпичного завода и поисков строительного камня где-нибудь у Девичьего перевоза на Оке или близ дремотного Зарайска, на берегу Осетра, и кончая укомплектованием архитекторской команды опытными геодезистами и лепщиками, искусными краснодеревцами и скульпторами, усердными мастерами и подмастерьями каменных дел.

— Уповаю, — сказал он, — уповаю видеть Феодора Васильевича. Вчерашнего дни писал в Петербург — присмотрел-де отличного помощника... — Баженов улыбнулся и слегка руками развел, означало это, что объяснять не нужно: он, Баженов, давно «присмотрел», еще в Париже уговор был. — Горяч Феодор Васильевич, — продолжал Баженов, — не перечил бы батюшке, набрался терпения, глядишь, из Петербурга да в Москву. А пришлось из Парижа чуть ли не напрямки да в лавру. Ну какое ему житье в обители? Он мирской, беспокойный, закваска крамольная. Страшусь, не угодил бы в худые

композиции. Уж больно Федор Васильевич неоглядчив, я его знаю. Кругом, говорит, лжебратия. Ковы на бедного Федора моего, ковы!

Собственно, ковы, коварные замыслы, были словесными, в поступки еще не материализованные, однако не велик был труд понять, как душно и уныло Каржавину в лавре.

Впрочем, Баженов надеялся, что ходатайство возымеет действие. «То-то будет восхитительно!» — заключил Василий Иванович.

6

Бабые лето стояло необыкновенное. В баженовском саду молодые яблоньки едва не зацвели. Гуси и утки вброд пересекали Москву-реку, плоскодонки, груженные дровами, сидели на мели. Ветер-тепляк, то южный, то восточный, выметал заблудшие тучки.

Похолодало внезапно, но снег еще долго не ложился. Лег только в декабре. И будто в тождество праздничному блеску пороши, совершилось формальное, с записью в журнале, назначение коллежского актуариуса Каржавина помощником архитектора Баженова.

Василий Иванович предложил кров в Садовниках. Федор благодарил и отказался. Ему отвели комнаты в Кремле, во втором этаже бывшего Потешного дворца, внизу помещалось что-то казенное, если не запамятовал, ревизион-коллегия. Отсюда рукой было подать до Модельного дома — мастерской, где работали громадную модель будущих кремлевских строений: в медных тазах кипел, пузырясь, рыбий клей, плотен был шорох александрийской чертежной бумаги, и плавно, как струги, скользили двойные рубанки, те, что берут мелко и чисто.

Сказать: Федор охотно приступил к делу — ничего не сказать. Такая радость бурлила, что допоздна сон не брал, а спозаранку ото сна поднимался, приоткрыв окошко жаркой горницы, всей грудью забирал молодой, снежистый воздух и смеялся невзначай.

Не буду вдаваться в его «рассуждения математических и физических правил». Еще на школьной скамье проникся к ним отвращеньем, в чем и каюсь, краснея, читателям эпохи НТР. Да и архитектурные трактаты — Федор переводил с латинского и французского — не будят любознательность. Нельзя, однако, не отметить, что наш актуариус еще и безвозмездно обучал баженовскую команду алгебре и механике. И словарь составил, словарь архитектурных речений. Каков Каржавин!

Так жил он на кремлевском холме.

А с плоских невских берегов Каржавин-старший, словно

бы привставая на цыпочки, шею вытянув, хмуро поглядывал на Каржавина-младшего.

Из монастыря Федор писал почтительно, но прощения не просил. Куда-а-а! Холодом несло, как от железа, стылого на морозе. Из Москвы — в том же духе. Должно быть, и вовсе нос задрал фаворит академика Баженова. То-то они с ним еще в Питере все это шу-шу. И вот извольте, академик выцарапал Федьку из Троицкой лавры.

Жене не сказывая и как бы прячась от самого себя, Василий Никитич от времени до времени наводил справки.

К заяузским Каржавиным Федор не навевывался. То были люди древлего благочестия, привечали странников из дальних скитов. Небреженье родней, казалось бы, давало повод к вящему неудовольствию. Василий Никитич, однако, не сердчал. Враждебный расколу любого толка, а равно и православию, он не жаловал московских свойственников. Исключая разве что Ивана, Федькиного ровесника. По своим торговым делам тот изредка наезжал в Питер; Василии Никитич любил состязаться с ним, как на ристалище; сутулый, смуглый родственничек слыл тонким буквалистом и крепким начетчиком, в перекрестных спорах о бытии божием Василию Никитичу доставалось, коса находила на камень, что и прельщало.

Через третьих лиц этот Иван Каржавин вызывал про Каржавина Федора. И сообщал на Адмиралтейскую першпективу. Примером можно привести такое: «Сын ваш погряз во блюде с молодой Лукерьей, стряпухой Троицкого подворья». Новости такого рода ничуть не задевали Василия Никитича: быть молодцу не в укор. Задевало, злило другое: взял свое, предается наукам. Потом узнал, что «Федька-подлец» всех положил на лопатки, приняв участие в университетском конкурсе. Открылась вакансия на должность преподавателя французского! языка; набежало множество московских французов; первенство досталось Каржавину Федору(4). Василий Никитич испытал досаду пополам с гордостью. Эва, подумал, словно бы руками разведя, катается, неслух, как сыр в масле.

Но едва невских берегов достиг страшный слух о моровом поветрии, Василий Никитич почернел. Когда-то просил Ерофея: бога ради не утратить ребенка. А теперь кому поклоны бить? Ни чинов, ни званий не разбирает моровое поветрие, ни дитя не щадит, ни старца не милует, а взятку не берет.

7

Чума!

Богатые фамилии спешно отъезжали в подмосковные. Фабрики закрывались. Церкви не вмещали молящихся. Полицейские солдаты волокли мертвецов к скрипучим фурам; фуры, глухо и страшно стуча колесами, волокли мертвецов к

яминам, вырытым на неосвященной земле. Никто не желал укрыться в наспех сооруженных карантинах; лекарей били — злодеи они, отродье дьявола.

Модельный дом опустел. Караульных отпустили к семьям, в Преображенское, будто и там, за Яузой, не гуляла беспощадная зараза. Мастеровые мерли, шум работ смолк. Баженов и Каржавин угрюмо супились: существуем между животом и смертью.

В Модельный нередко приходил старец Амвросий — серебряная борода, тяжелые, иссиня-черные очи, мягкие, южные; интонации, наследие нежинской родины. Он был знатоком церковной архитектуры. Его строгим присмотром возобновлялась лепота кремлевских соборов. Архангельский уже воссиял, но Благовещенский с Успенским еще нет, и старец сокрушался, боясь, что не успеет завершить богоугодное, сердцу любезное дело.

Архиереев называли смиренными. Амвросий же вовсе не был смирен. Священство питало к нему неприязнь, многие — ненависть. Возлюбишь ли, коли из рук мошну выдрал? Амвросий, архиепископ Московский и Калужский, воспретил попам публичный торг требами — исстари рядились они с мирянами на Красной площади, предлагая платную обедню иль панихиду. А тут — шабаш...

Баженов любил старца, текли собеседования об архитектуре. Каржавин держался в стороне. Отдавая должное познаниям преосвященного, разве что терпел Амвросия, да и то ради баженовской приязни.

И не вытерпел.

Старец знай себе сетовал на мирскую власть. Вот-де наместник генерал-фельдмаршал Салтыков воинские команды из города вывел и сам схоронился за тридцать верст от белокаменной, в своем Марфине. Это было так. Но Каржавин, блеснув глазами, взорвался — нет у нас, нет иерея, подобного Франсуа Бельзену: славный марсельский епископ в чумную годину изо всех сил помогал горожанам, в первую голову беднякам, ничуть не заботясь о собственном здравии.

Смиренный смолчал. Громко стуча посохом, ушел в сопровождении послушника, белый клобук, казалось, подрагивал от негодования. К себе ушел, в Чудов.

Баженов укоризненно взглянул на Федора, хотел что-то сказать — не успел: вбежал мальчонка, сын сторожа, задыхаясь от восторга пополам с испугом, крикнул — со стороны Варварки валит на Кремль тьма-тьмушая. И, не сдержав бурного прилива чувств, повернулся на одной ножке и был таков.

Слитный гул нарастал, приближался. На дворе заплясали факелы, колыхалась толпа, вооруженная дубьем, топорами, рогатинами, вилами. Бунтовщики не тронули капище Баженова: «Э, там одни щепки!» И косматый вал, обтекая Модельный дом, покатил к Чудову монастырю.

В Чудовом бросились искать архиерея. Старец надел мужицкий армяк и скрылся. (В намерении разделаться с Амвросием — явное наущение попов: они не прощали ему запрет поповского торжища на Красной площади.) Исчезновение преосвященного плеснуло маслом на огонь. Окна и мебели — вздрызг... В ризнице слепли иконные лики — ножами в глаза, ножами... Взлетели, трепеща, клочья древних манускриптов, реяли, вспыхивая в желтых языках факелов, оседали черными мягкими хлопьями... Клочья манускриптов умирали покорно, беззвучно, винные же бочки трещали и словно бы даже повизгивали. Клубились винные пары под сводами подвала, факелы с шипением и чадом гасли, как драконы, на склизких от вина каменных плитах. И этот плотный плеск ячменного английского пива, и этот обвал водочных штофов и полуштофов, этот тяжелый, будто чугунный, стук бутылей венгерского шампанского. И этот рев, как на пожаре: «Дружней, братцы!» Клубились винные пары, шел буреломный гул. Гуляли уже во дворе Чудова, гуляли на площадях Кремля, по темным окнам метались, как лисы, отблески огней. А звезды стояли ясные, высокие, серебряной чеканки звезды золотой изначальной осени.

И там, вдалеке от Кремля, они были высокие и ясные — над Донским монастырем. Единой грудью выдохнул народ: «Святое место! Здесь нельзя!» Старика в мужицком армяке подхватили, легок был старик, пушинка. Понесли, пихаясь, каждый норовил ухватить за армяк, несли, голова моталась.

За монастырскими воротами, где место уж не свято, бросили старца наземь. Преосвященный медленно поднялся, губы вздрагивали, он искал отрока-послушника. Бедный вьюнош, ты, испугавшись, крикнул этой бессмысленной черни: «Архиерей на хорах!» Отыскали на хорах, волоком, волоком вниз и вот... Фабричный в опорках упоенно взмахнул дубиной и, хэкнув, как дровосек, хряснул смиренного по хребту. Охнув, осел старец, словно в безмерном удивлении. На него кинулись, изорвали в клочья. И отступили, попятились, ошеломленно втягивая головы в плечи. И вот уж, не оглядываясь, подались прочь, быстро растекаясь, быстро рассеиваясь.

Петухи пели в Донском.

Пели на Остоженке тож, на дворе генерала Еропкина.

Сказывали, человек простой и добрый. Судить не могу, однако отмечу: императрица пожаловала генералу орден Андрея Первозванного и тысячу душ; от ордена Еропкин не отказался, тысячу душ не принял — я, мол, сам друг с женой, всего хватает. Уникум!

Высокий, сутуловатый, мерно подрагивая икрами, он выхаживал по зале с навощенными половицами и штофной мебелью. В петушином распеве слышал боевой клич; шурил глаз, как прицеливаясь... Сберегая служивых от морового по-

ветрия, Салтыков, фельдмаршал, переместил большинство воинских команд в Бронницкий уезд. Пока вернутся, голь обратит Кремль в руины.

Еропкин действовал быстро. С бору по сосенке сколотил воинскую команду. Послал за Тверскую заставу приказ пушкарям — везите пушки. Те повезли, да не довели: охальники из ямской слободы не пустили. Ладно. Генерал раздобыл пушки на Пресне. И двинулся к Боровицким воротам.

У Кремля бунтовщики преградили дорогу. Еропкин ласково, как детям, приказал солдатам:

— Коли!

Пехотинцы ошетились штыками, бунтовщики расступились. Еропкин подал знак кавалеристам:

— Руби!

Конница, дружно цокая, полетела к кремлевской Ивановской площади, запруженной бунтовщиками. На скаку офицер отменил генеральское «руби» — блеснув шалой улыбкой, крикнул:

— Опохмеляй эфесами!

Толпа слитно шарахнулась и откатилась, побежала; «опохмеляй» недолго — впереди были пушки. Кавалеристы осадили коней, кони запылали, роняя пену с мундштуков.

Послышался тонкий, дерущий ухо, металлический визг картечи. Со всех колоколен сорвалось воронье, плотной стаей, треща крыльями, заходило кругами над Ивановской, предвкушая обильную тризну. Пало под картечью человек пятьсот; десятки, сотни, отчаянно стеноя, ползли, брели, зажимая раны, кто пятерней, кто шапкой, кто полой.

Пехотная команда тем временем приблизилась к Чудову монастырю. Регулярная, мундирная сила и силушка бунтовская, холопская и фабричная, словно бы покачивались на незримых весах. Тихо было, тяжело дышали.

Но вот, как из лесу, грянуло атаманское:

— Бей солдат до смерти!

Громадный, косматый мужичина, кулачный боец Герасим, Москве известный по кличке Кобыла, грудью попер на штыки. Может, в последний миг ощутил за спиною зияющую пустоту, никто за ним не последовал, но нет, не задрожал, как не дрожал на гладком москворецком льду, когда стенка пятилась под ударами встречной стенки.

Штык достал Герасима трижды. Он взревел и, нагнув косматую голову, обрушил кулак-кувалду на здорового унтера. Тот повалился бездыханным, но и Герасим тоже — с распоротым брюхом, четвертый штык прикончил. И тогда воинскую команду бросило, как из пращи, на бунтовское скопище...

Чудово побоище угасло впотьмах. Спасские куранты, совсем еще новехонькие, чистым, без трещинки звоном отыгра-

ли десять пополудни. Крепкие караулы кряжисто встали у кремлевских башенных ворот.

Всю ночь, однако, бухал набат. Едва развиднелось, толпы, как волны, залили Красную площадь. Караульные надсаживались: «Расходись, хуже будет!» Бунтовщики, бойчась друг перед другом, во всю глотку требовали: «Еропкина-убивцу давай!»

А тот тишком вершил обходной маневр: из Никольских ворот конницу вывел, из тех же ворот пушки выкатил. Крадучись зайдя в тыл несметных толп, внезапно охлестнул народ картечью и, как давеча, дал знак кавалерии: «Руби нещадно!»

И теперь уж рубили, рубили, а не эфесами шлепали. Свалка была скуловоротная, душа вон. Не бежали бунтовщики, нет, дрались с последним яростным отчаянием, успели даже пушку захватить, успели и развернуть к Спасской башне — эх, фитилей не было, фитилей не было...

В пять часов пополудни беглым шагом вступил в город Великолуцкий полк: восемьсот солдат, в сумке у каждого — сорок патронов. Час спустя сумки были пусты.

Полк встал биваком посреди Красной площади. Ни песен, ни смеха — молчание. И не зажглись в ту ночь ни звезды, ни месяц — тьма кромешная.

8

После Чумного бунта наехал на Москву г-н Шешковский со своими присными. В лубянскую контору Тайной экспедиции призвали «самовидцев бесчинства черни», Баженова и Каржавина тоже.

Осторожно ступая, будто боясь расплескать что-то, вышел к ним г-н Шешковский, оба дрогнули крупной дрожью — вурдалак! Голова была кроваво-красной, на лоб, на щеку текло что-то алое. Морщась, молвил домашним, жалобным голосом: «Очень она меня пользует...» Кто «она»? — оказалось, клюква. Маясь мигренями, Степан Иваныч повязывался тряпкой, вымоченной в густом клюквенном соку. Но хотя треклятая трескотня в мозгах отнюдь не способствовала отправлению служебных обязанностей, г-н Шешковский стоически превозмогал недуг.

Эти двое интересовали секретаря Тайной экспедиции. По разным причинам, но интересовали.

На Баженова хотелось взглянуть, каков из себя один из любимцев наследника престола. (Выше я уже приводил известную сентенцию: руководить — значит предвидеть.) Показания о «злодействе черни» дал Баженов нехотя, но с нажимом показал, что Модельный дом не тронули. Записали. Очередь была за Федором.

Г-н Шешковский смотрел на него с любопытством.

— Да-а-авно о тебе слышан.

Федора бросило в жар. Сызнова, как в Питере, но сильнее, сильнее проняло чувством без вины виноватости перед ба-тюшкой. Спасаясь от этого чувства, он, вопросов не дожидаясь, объявил, что, ежели здраво судить, московская власть причиною Чумного бунта... Странно, Степан Иванович хотя и пресек горячность молодого человека, однако не озлобился. Странно и то, что, выговаривая Федору за неисполнение отцовской воли, выговаривал опять же не злобно, а, скорее, благодушно.

Приоткрою душевную тайну секретаря Тайной экспедиции.

Он служил государыне истово, а не рабски, пусть и титулуясь неизменно рабом ее величества, но многих из столпов ее царствования презирал. За казнокрадство и взяточничество, за угодничество перед матушкой. Бояре! Он тоже брал взятки и тоже угодничал, да ведь не был же, не был потомственным дворянином, дед в денщиках ходил, отец — в приказных, не из благородных он, его высокоблагородие г-н Шешковский. И если берет, то сие столь же невинно, как прокорм халтурой, даровым угощением на поминках.

Так вот, он презирал «этих» — с младенчества все даром и все им мало. А «эти» презирали Шешковского. Он напугал на себя смирение, скрывая безбоязненность своего презрения. Но тут еще не вся задушевная тайна застеночного чародея...

В секретной сладости его отношения к вельможам бесшумно, как травка, проросло что-то похожее... Право, затруднительно определить отношение Степана Иваныча к людям третьего чина. Милосердие? Оно вообще не было ему свойственно. Снисходительность? Нет. Вот что, однако, примечательно. Бывало, «исследует» да и выставит резолюцию: признавая такого-то развращенным, уповаю, что оный по слабости духа не способен на пагубное деяние. И шабаш, не рвут ноздри, не гонят в Сибирь. Как прикажете понимать? Может, вроде кукиша «этим». Пусть в кармане, а все-таки кукиш. Тайная блажь секретаря Тайной экспедиции. Положим, так, но отчего благодушие в разговоре с Каржавиным-младшим? В пучок сошлось! Малый был первенцем Каржавина. А тот вроде был первенцем его, Степана Иваныча, нешуточного попрапия указа о взяточниках. Но если так, почему ж Степан Иваныч не приструнил ослушника отцовской воли? Мешало презрение к «этим»; своих щенков в Парижах холят, они оттель мартышками высказывают, а наши-то, такие-сякие, на черством хлебушке которые, соколами взлетают.

При всем том, отпускная Федора, назиданье сделал:

— А книжек-то больно много не чти, а то во ереси впадешь...

Ереси? То-то послушал бы Степан Иваныч, какие сюжеты обсуживают в Модельном доме и там, за Москвой-рекой, в Садовническом.

Московский бунт потряс душу. Баженов сокрушался: «Простолюдин подобен вепрю». Каржавин не спорил: «Кровавые нелепости». Тем и исчерпывалось согласие. Не потому лишь, что Каржавина восхищала отвага и удаль простонародья в яростной схватке на Красной площади, восхищал Герасим — Кобыла: «На штыки — грудью!» Нет, обнаружился водораздел. И размышления, как потоки, берущие начало на горном кряже, устремились в разные стороны.

Зодчий, созидающий зримое, как бы изнемогал под властью рационализма. И помышлял о созидании незримого Соломонова храма в душе своей. Каменных дел мастер тянулся к вольным каменщикам. Сущность масонства усматривал не в обрядности и даже не в филантропии. Полагал так: фундамент человеческого братства закладывается по кирпичику; общая гармония произрастет из гармоний «я», из гармоний личностей; начинай не призывом ко всем, начинай призывом к своему сердцу, живи жизнью духа, день без нее не имеет солнца, а ночь — звезд.

Каржавина рационализм не тяготил. День не имеет солнца, ибо солнце в тучах рабства. Ночь не имеет звезд, ибо звезды застит невежество. Рабство и невежество — сообщающиеся сосуды. Упразднив первое, упразднишь второе. Воспаряя в сферы духа, спускайся на грешную землю. Грешной земле нужны решительные перемены. Такие, чтобы заложили фундамент братства.

9

А фундамент Большого дворца закладывали в июне 1773 года. Толпы горожан, запруживая Кремль, теснились, рокоча, под высоким небом с неспешным наплывом обложных туч. Все московские сорок сороков благовестили. Рокот и колокольный звон накрывало, как шапкой, уханье пушек, и это мирное торжество Марса, казалось, останавливало тяжкий и плавный наплыв сизых, с рыжими подпалинами от солнца грозových облаков.

Архитекторская команда шла церемониально во главе с Баженовым. На массивном серебряном блюде нес зодчий кирпичи из снежно-белого мрамора: один с вензелем государыни, другой — наследника. Бледное лицо Баженова было в крупных каплях пота.

Каржавин знал распорядок. Василий Иванович произнесет речь, совместно сочиненную с поэтом Сумароковым, а потом колокола и пушки грянут, и его сиятельство главнокомандую-

ший Москву свершит «положение первого камня» в фундамент Большого Кремлевского дворца.

Да, помощник Баженова шествует вместе со всей Архитекторской командой, шествует посреди несметных толп, все наперед расчислено, но помощник зодчего думает: «Пустили пыль в глаза, только всего и есть». Так думает он не о позабытом «Наказе», нет, о нынешнем празднестве.

Государыня, изнемогая под бременем военных расходов, теперь пускала пыль в глаза. Внемлите, народы, покоритесь, языци — если мы ссужаем миллионы на украшение нашей древней столицы, стало быть, есть и золото в бочках, и порох в пороховницах. Кремлевская демонстрация была царскосельской мистификацией.

В крупных каплях пота прекрасное лицо зодчего Баженова. Вытянув руки, несет он напоказ всей Москве, всей России серебряное блюдо с беломраморными кирпичами. Баженову ли принять тайное известие о пресечении кредитов на строительство Большого дворца?

А помощник зодчего? Сердце сжимается при мысли о несчастье друга. Великий дар! И вот начало конца под этим июньским небом в обложных тучах. Душно!

Федор «держит шаг» в церемониальном шествии Архитекторской команды. «Пыль в глаза, обман», — беззвучно повторяет Каржавин. Как душно! Он рассеянно посматривает на толпы пеших и конных москвичей, замечает грузного г-на Демидова, восседающего в коляске. Прокофий Акинфович важно кивает и вдруг корчит рожу — один глаз, круглый и черный, выпучен, а внушительный нос непостижимым образом передвинут чуть ли не к уху. Черт знает что на уме миллионщика Демидова. А векселек-то, думает Каржавин, векселек-то на шесть тысяч гульденов на полу не валяется. Нечего медлить. Чужд ты и отчому дому, и нет тебе места в отечестве. Не приспели сроки грудью опрокинуть штыки, и еще не дано заложить на родине тот фундамент, о котором ты, Федор Васильевич, говорил Василию Ивановичу. Раз так, ступай объяви свое окончательное согласие.

10

Дворец был на Басманной, в Немецкой слободе: окна зеркальные, стены обиты рытым бархатом, цветастым шелком, мебелия черного и розового дерева, в листе заморских растений снуют пичуги величиной с мизинец. Принадлежал дворец миллионщику Демидову, как принадлежали ему и обширные вотчины в пяти российских уездах, заводы уральские и приволжские, земля и строения здешние, в белокаменной.

Чудодей, забавник! Право, не трудно потрафить любезным

читателям жанровыми сценками весьма динамичными: Прокофий Акинфович из конца в конец анфилады верхом на докучливом просителе скачет, наездившись, тотчас исполняет просьбу, сентенцией выставив латинское: вдвойне дает тот, кто дает быстро; Прокофий Акинфович, насмерть упоив полицейского офицера-пакостника, велит раздеть донага, обрить наголо, как басурмана, вымазать медом да и вывалить в перьях; у Прокофия Акинфовича пир, море разлитое, в одном из кресел — матерый хряк, а хозяин застолья почтительно величает борова «вашим сиятельством», и все понимают, что Прокофий Акинфович шельмует важную персону, чем-то его обидевшую.

Хорош? Всея Москве были известны «жанровые сценки», пестрой чередой возникавшие во дворце на Басманной, многих в Москве потешали они — ха-ха, достается от Прокофия Акинфовича офицерам да барам. А Каржавин сумрачно пожимал плечами: не нрав, а ндрав; не самостоянье, а холопство навыворот, деспотизм на карачках.

Но широк русский человек, широк, это давно замечено. Нету в Москве родовспомогательного, учреждения? Получите, господа, двести тысяч. Надо сиротам Воспитательный дом? Располагайтесь в одном из его, Демидова, домовладений, вот хоть на Донской, сделайте одолжение, всем места хватит. А в Нескучном саду он пышную «ботанику» учредил — оранжереи с ананасами, плодовые деревья, пальмы. И рогаток не выставил: пожалуйста, дорогие москвичи, заходите без различия чинов-званий.

Чадолюбием Прокофий Акинфович не отличался. Взрослых сыновей держал в черном теле. Дочкам воспретил выходить за дворян. Одна заупрямилась. Тотчас на воротах в Басманной, как дегтем: девица Демидова будет выдана за любого прохожего дворянина. Подвернулся некто Станиславский. (Кажется, офицером был. И притом из бедноватых.) Хочешь, братец, под венец, вот девка, берешь? Еще бы! И девицу Демидову окружили с первым встречным.

Все это про Демидова не к тому лишь, что в его доме на Басманной механик-француз, обладатель «снаряда» — прибора с толстыми стеклами и зеркалами, — демонстрировал объемные изображения ландшафтов, зданий, гаваней... Баженов с Каржавиным посещали сеансы в доме Демидова; их занимали «перспективные представления по правилам архитектуры». Между прочими картинами увидел Федор и бригантину, разбившуюся на скалах Мартиники. Увидев, улыбнулся давнему: географический атлас, купленный на Патернастер-роуд, отец, вожделенно-задумчиво повторяющий: «Мартиник... Мартиник...» Но и теперь, в Москве, как и тогда, в Лондоне, не шевельнулось в душе предчувствие очной встречи с Вест-Индией... Да, так вот, и про Демидова и про чету Станислав-

ских, подаривших миллионщику внука, — все это здесь неспроста.

Капризник, варвар, он был очень неглуп. Случалось, встретишься с ним глазами, едва не вздрогнешь: ах, бестия, так и проникает... Читал он много, в читанное вникал, тянулся к людям наук и искусств, год в Голландии прожил, с тамошней профессурой не чудил.

Проекты Баженова, грандиозная модель в Модельном доме живо интересовали Демидова. К тому же, думается, имел он виды на зодчего и для собственных строительных затей. Баженов во прахе перед Демидовым не елозил. «Больно амбициозен Василий Иванович», — ворчал миллионщик. Но худого в ту пору на уме не держал; это уж несколько лет спустя удрал наш забавник штуку: дал Баженову вексель, заверял, что беспроцентный, а потом и грянул громом с ясного неба — отдай сейчас!

Помощник зодчего казался Прокофию Акинфовичу дельным малым, но строптивцем: воротившись из чужих краев, не захотел споспешествовать отцовским негодиям. С одной стороны, полагал Демидов, оно и не худо: пусть упражняется в переводах архитектурных трактатов. С другой стороны, полагал Демидов, Каржавина-старшего надобно понять: давно пора россиянам обзавестись просвещенным купечеством. Ни одна чаша весов не перевешивала. И даже не колебалась — Федор и полфунтика не весил в мыслях Прокофия Акинфовича.

Правда, однажды всплыло в памяти замечание князя Голицына о будущем искусном профессоре... Незадолго до приезда Демидова в Голландию перевели Голицына из Парижа в Гаагу. Познания и простота обхождения посланника покорили Прокофия Акинфовича. Голицын-то и упомянул о Каржавине, упомянул вскользь, но очень лестно. Демидов недоверчиво хмыкнул: ученых соотечественников, исключая покойного Ломоносова, язвил он «шалберами» — болтающими пустяки. И все ж замечание князя Голицына, всплыв однажды, соотносилось с Кирюшей Станиславским. Прокофий Акинфович любил внука; так иногда холодность отцовских чувств как бы искупается полнотой и горячностью дедовских.

Демидов желал учить внука в Голландии. И знал, у кого именно. Демидов желал нанять внуку ментора-проводящего. И знал, кого именно... Тут надо оттенить упомянутую выше пронизательность Прокофия Акинфовича, а вместе и широту натуры. Угадал он душевное томление баженовского помощника. И захотел ему пособить. Но г-н Каржавин, думал Демидов, христорадно руку не протянет. Он не ошибался — Федор нипочем не принял бы даровщинку. А предложение отвезти Кирюшу в Голландию и на первых порах приглядеть за мальчонкой принял. Приняв, не отдернул руку от векселя на шесть тысяч гульденов.

Отцовской помощи Федор не ждал. Напротив, ждал отцовского гнева. Не принимал смиренно, но сострадательно понимал. Отцовская печаль была печалью державной: ни одного русского торгового дома ни в одном из городов Европы, ни одного банка, все банковые агенты — чужеземцы. Отцовская мечта была семейной: «Каржавин, сын и К^о» — холст и пенька, лен и железо, щетина и воск. Отказываясь служить Меркурию, он, Федор Каржавин, предавал отца. А тот ведь какие муки вытерпел в крепости Петра и Павла. И доселе ходил в покорных данниках г-на Шешковского.

Сострадательно понимая отца, Федор ждал отцовского гнева. Смириться? Никогда!

11

Дорога взяла двенадцать ден. Пара лошадей обошлась в двенадцать рублей. Рубль в сутки! А прокорм, а ночлеги? Вексель-то был крупный, но притом и демидовский выверт был: оплатит амстердамский банкир Говен, а до Голландии, как говорится, будь добр. Каржавин, злясь на благодетеля, считал гривенники, не пренебрегая и счетом копеек.

В Петербурге, за версту обходя родительский дом на Адмиралтейской першпективе, побывал он у сестры Лизоньки, навестил и вдовешую тетку.

Лизонька вышла за адъюнкт-профессора Козлова. Гаврила Игнатъевич служил в Академии художеств. Он принял Федора родственно, с первой минуты встали на короткую ногу, оба сразу поверили, что дружбу свою сохраняют на всю жизнь.

По соседству, на Васильевском же острове, вековала вдова Ерофея Никитича. Еще не увядшая Федосья была из тех женщин, которые во вдовстве не живут, а доживают, и это свое доживание ощущают как вину перед покойным супругом. Затрудняюсь объяснить холодность Федора к вдове своего дядюшки, утрата была тяжкой, а вот к Федосье, к этой невзрачной женщине с заплаканными глазами, Федор почему-то не умел расположиться. (Странно, добряк Козлов тоже не очень-то жаловал ее, что не мешало профессору живописи чтить память переводчика Свифта.) Капитала Ерофей Никитич, разумеется, не нажил. Первые две книги «Путешествий Гулливеровых» напечатали, Федосья получила двести тридцать рублей. А третья книга, а четвертая? Надо было что-то предпринять, надо было где-то хлопотать. Тем паче что подобные хлопоты следовало осуществить не из одних лишь родственных чувств, а и ради читающей публики, не владеющей ни английским, ни французским. К тому же именно в переводе покойного дядюшки сочинения Свифта ближе к подлиннику, нежели лощенное французское издание, а бли-

зость к подлиннику уменьшает дозу пресной нравоучительности, увеличивая дозу едко-сатирического...

Давно приманивало рассказать о знакомстве Каржавина с Николаем Новиковым. Но — усомнился: Новиков-то приезжал ли в Москву? Напрягая память, определил: приезжал до Чумного бунта, в шестьдесят девятом, в августе, а Каржавин был еще в Троице-Сергиевой лавре. Разминулись!

Зато теперь, в Петербурге, летом семьдесят третьего, Федору, озабоченному избавлением дядюшкиного наследства от мышей и тлена, теперь уж ему нельзя было разминуться с Новиковым.

Дело вот какое.

Лет пять как существовало «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг». Сказал бы: «творческий союз», если бы не весьма существенные недостатки этого «Собрания»: отсутствие штатных единиц и карет для всяческих разъездов; к тому же и собраний «Собрание» не собирало. Но, словно бы вопреки организационному несовершенству, старательные переводчики выдавали в свет трактаты философические, физико-математические и естественноисторические, сочинения древних авторов, греческих и римских. Каждый трудился в домашнем уединении. Ерофей Никитич тоже. Общение, конечно, было, но не протокольное, не официальное, а по взаимной склонности, по сходству увлечений.

Труды праведные оплачивались несправедливо — от пяти до восьми целковых за лист. Денежки капали из кабинета ее величества. С течением лет капали все реже, ибо у ее величества расходы росли, в том числе и альковные, на фаворитов.

Хиревшее «Собрание» ободрилось с появлением отставного поручика Новикова. Того самого, который, как сказывали, в день переворота стоял на часах не то у заставы, не то у моста и молодецки скомандовал: «Проезжай, государыня!» Я имею в виду день, когда Екатерина II выхватила скипетр из рук Петра III. Лейб-гвардеец Новиков волен был не пропустить ее карету, вышла бы заминка, из заминки — сумятица... Ну хорошо, отставной Новиков издавал журналы острые, колкие, сатирические. Государыня не мирволила бывшему лейб-гвардейцу: «Езжай, езжай, голубчик!» — напротив, исподтишка тормозила. Новиков не унимался. Его деятельным умом владели обширные замыслы. Завязав отношения с «Собранием, старающимся о переводе иностранных книг», он учредил «Собрание, старающееся о напечатании книг». Кто же, если не он, Николай Иванович, мог посмертно вызволить Ерофея Никитича? Да и как же иначе, если сатирическое куда действеннее нравоучительного, и уж кому-кому, а г-ну Новикову это очень хорошо известно.

Новиков жил тоже на Васильевском острове, возможно, Впрочем, что он поселился там несколько позднее, но сейчас важен не адрес: в прихожей у Новикова Федор рассеянно-

вежливо раскланялся с узколицим титулярным советником. Они лишь взглянули друг на друга. Жаль! Хорошо было бы обменяться рукопожатьями. Не потому, что титулярный служил обер-аудитором¹, а потому, что звали его Радищевым. Он состоял в том же «Собрании», что и покойный Ерофей Никитич. А к Новикову заглянул условиться, когда получать остаток за перевод «Размышления о Греческой истории» аббата Мабли.

Новиков и Каржавин были погодками. Погодками и, собственно, ровней; так, во всяком случае, и пожалуй самонадеянно, считал Федор. Нимало не робея, улыбаясь дружелюбно, он представился:

— Богодар Вражкани.

За этим шутивным представлением пламенело, как за каминным экраном, авторское самолюбие — назовешься и услышишь удивленно-почтительное: «Ах, это вы?!», «Ах, вот вы какой!» Бедный Федор получил щелчок по носу: восклицаний не последовало. Покраснев, он, словно задев притолоку, досадливо и втихомолку ругнул себя стоеросовой дубиной.

Новиков ставил Каржавина на место? Указывал дистанцию? Ручаюсь, это никому не пришло бы в голову, глядя на Николая Ивановича: открытое лицо с прекрасным лбом выражало неординарную доброжелательность — устойчивую и широкую. (Доселе не пойму, какая такая «тайна» его физиономии пугала непугливую княгиню Дашкову?) Нет, Новиков и не думал обливать холодной водой незнакомого посетителя. Помнил многих сотрудников журнала «Живописец», но Богодара Вражкани, убей, не помнил. Но, право, чего обижаться-то?

Во-первых, этот Богодар Вражкани был всего-навсего одноразовым корреспондентом «Живописца». Во-вторых, Богодар Вражкани сам определил свое сочинение — «грубая подмалевка». Наконец, Богодар Вражкани не бог весть на кого подъял секиру-сатиру: на купца Живодралова — до ста тысяч рублевиков в процентах ходят, а сын, в науках просвещенный, едва пишу имеет... Этот сюжетец Новиков тиснул в «Живописце»: хоть и подмалевка, однако обличительная. Тиснул и упустил из памяти какого-то Богодара, какого-то Вражкани. А тот сидел перед ним в кресле. Да-да, собственной персоной: Федор в переводе с греческого — «дар бога»; Каржавин анаграммой — Вражкани.

Пришлось все это, злясь на самонадеянность, сказать Новикову. Николай Иванович рассмеялся и, коснувшись лба кончиками пальцев, попросил Федора Васильевича явить

¹ Чиновник, исполнявший в военных судах обязанности прокурора и следователя.

снисхождение к его, Новикова, дырявой памяти. Лукавил! Но Федору Васильевичу ничего иного не оставалось, как «явить снисхождение» и приступить к переговорам о дядюшкином рукописном наследстве, подчеркивая необходимость полного издания «Гулливера».

Но Федор еще и не взял настоящего разбега, как Новиков уже достал корректурные листы: третьего дня принесли со стрелки Васильевского острова, из бывшего дворца царицы Прасковьи — там помещалась Академическая типография. У Николая Ивановича были добрые и прочные отношения с печатниками; они выдавали в свет его сатирические журналы. Типографское изделие в несколько сот страниц, которое Новиков сейчас подал Федору, представляло собою третью и четвертую книгу «Гулливера» в переводе Ерофея Каржавина. Минута! Давешней неловкости, раздражения как не было. Каржавин встал и растроганно, благодарно поклонился Николаю Ивановичу, Новиков тоже встал, словно и ему привиделся Ерофей Никитич Каржавин.

Возвращая корректуру пузатому шкапу, Николай Иванович говорил, что вообще-то распродажа книг ползет улитой, что он решил не довольствоваться лавочным торгом, а сыскал на Морском рынке купца, готового за десять процентов с выручки держать уличных разносчиков... Стали толковать о шрифтах, бумаге, тираже, об издательском промысле. Толкуя, ощущали симпатию, согласие, товарищество.

Узнав же о скором каржавинском отправлении за границу. Новиков словно бы чуть-чуть отстранился от собеседника. Каржавин между тем не без горячности объяснял свое намерение пополнить и расширить круг научного знания, изучить хирургию и фармацевтику, дабы здесь, дома, лечить престолюдинов. Объясняя, вдруг уловил в своей горячности что-то похожее на оправдание, и это было неприятно, досадно, хотелось сказать, что медициной не довольствуется, а будет по мере сил близить решительные перемены, столь необходимые России. Но именно об этом-то он не то чтобы опасался оказать Новикову, а медлил, не сознавая отчетливо причину своей нерешительности.

Новиков между тем отвечал, что науки любят свободу и распространяются более всего там, где свободно мыслят, милосердие же есть свойство истинного христианина. Ни единого упрека не молвил, но вялость тона слилась с неприятным, острым ощущением Каржавиным своего давешнего самооправдания. Все это было отзвуком старинного, корневого отношения к отъезду. Даже при искренней сердечности к отъезжающему, даже при понимании разумности и необходимости такого поступка отъезд все равно словно бы соприкасался с изменой. Чувство было стародавним, наследственным, возникающим вопреки вольнодумию.

Каржавин глядел в раскрытое окно, на дворе желтизною растекался июльский полдень. Можно было бы сказать, что первопричиной заграничных вояжей — домашний деспотизм. И сказав, повторить мысль Дидро.

Новиков рассеянно перебирал бумаги. Можно было бы сказать, что россиян Европа не наставляет, а развращает. И сказав, повторить банальность.

Нет, оба молчали, увеличивая духоту паузы.

12

Теперь даже у маринистов читаем: «парусник». И всем понятно: «парусное судно». А в те времена брякни кто-нибудь: «Поехал на паруснике», грянул бы хохот: вообразил бы каждый езду верхом на матросе; специалисте по шитью парусов. Нынешний читатель может возразить: моряки не ездят, моряки ходят на кораблях. Отвечаю: в те времена и корабельщики говаривали: «Поехал по морю».

Ехать предстояло на галиоте «Жанна и Питер» — шкипер Лоренс уходил из Кронштадта в Амстердам. Каржавин засвидетельствовал паспорт в конторе полицейской и в конторе адмиралтейской. Переправил багаж на борт двухмачтового суденышка. Переночевал в гостинице и ранним утром, когда так далеко и чисто слышны корабельные колокола-рынды, направился с белокуреньким мальчуганом, демидовским внуком, в Купеческую гавань.

Тусклая волна шлепала, как тряпкой, о сваи. Пристань гудела под тяжестью телег и бочек. Кричали чайки, отчаливали и причаливали баркасы. Хорошо! Хорошо, да не совсем ладно: из Ораниенбаума, с южного берега Финского залива мчалась шлюпка.

Четверть часа спустя наперехват Федору тяжеловесно ринулся Каржавин-старший. Лицо его, налитое кровью, было страшным, горячие, темные глаза метали молнии, голос срывался:

— Подлец! Ступай за мной! Бежать вздумал?

И с той же тяжеловесной стремительностью — в адмиралтейскую контору. Не оглядывался, ни разу не оглянулся. А Федор... Федор шел за отцом, сжимая руку перепуганного, плачущего мальчугана. Да, шел за отцом — не посмел послушаться. «Кто донес? — стучало в голове. — Кто ему донес?»

В конторе Каржавин-старший, раздувая ноздри, жестко попросил флотского офицера взять под караул «сего господина»: пачпорт фальшивый, вор и покуситель на жизнь родителя. Федор, серый, как холст, сказал: «Ложь». Каржавин-старший метнулся к железному ящику в углу... Стояли такие в

людских, в караульнях, на кухнях: огниво, кремень, трут, два-три сухих полешка на растопку, лучины для раскуривания трубок... Метнулся, выхватил полено, занес над Федором, но дежурный мичман грянул, как в рупор: «Суши весла!» — и захохотал, как дурак.

В ту минуту возник адмирал, грузно-тугой и грознозаспанный. Мичман пальнул рапортом. Его превосходительство с непонятной веселостью выдохнул: «Хо!» И, приблизившись к Федору, указательным перстом поднял его подбородок. Федор отшатнулся. «Хо?» — удивился его превосходительство. Приказал: «Связать!» — и спросил Каржавина-старшего:

— Покамест суд да дело, не угостить ли молодца порцией кошек?¹

Сжав кулаки, Федор отступил на шаг. Шрам под скулой багровел. В миг единый Василий Никитич ухватил взглядом и эти кулаки, и этот шрам. Руки повторяли отцовские — такие же крупные, сильные, с побелевшими сейчас крепкими костяшками; раскаленный шрам, казалось, обжег Василию Никитичу губы, некогда шептавшие: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка...» Он засопел, колупнул носком сапога половицу и отвернулся. «Хо!» — выдохнул адмирал и сделал знак мичману. Каржавины остались с глазу на глаз.

— Государь мой батюшка, — едва слышно, но очень отчетливо произнес Федор, — вот вы минуту тому едва не порешили меня, сладко бы вам жилось, окажись вы сыноубийцей?

— Ты меня, Федька, без полена убил, — трудно и хрипло отозвался Василий Никитич.

— А велика ли вам радость-то была бы увидеть в своем сыне рабский дух? Дух человека, рожденного под игом холопства?

— Не велика, Федька, радость, что вижу в тебе дух этого... как бишь? Руссо который, проповедник который: все общее. Знаю, не только противу отца бунтуешь, не только. Гляди, не сидеть бы на бобах.

— А сын ваш, — заключил Федор, будто не расслышав, — чадо ваше желает вам покоя и благоденствия. Статья может, никогда больше не увидимся.

— Будет! — отрезал Василий Никитич. — Аминь! Езжай куда хочешь. А только знай: нету у тебя отца. Нету!

День или два держали Федора под караулом. Удостоверились: паспорт нефальшивый, умысла на жизнь родителя не было. И Кронштадт медленно утонул за кормой галиота «Жанна и Питер».

¹ Канат, орудие телесного наказания нижних чинов.

1

По смерти бездетной вдовы Жакоб Лотте досталась крохотная мастерская. Если ты не ветришься, ветреность моды приносит доход.

Хорошенькая блондиночка могла бы стать гризеткой — содержанкой дворянчика на красных каблуках или нотариуса в черной мантии. Черта с два! Она была из тех, кого легко заподозрить в шашнях, но трудно склонить к ним. О да, уличные торговцы курятиной — по совместительству почтальоны Амура — доставляли то, что игриво называлось «цыплятками»: любовные записочки. И Лотта отправлялась на randevu. Но только тогда, когда хотела, и только с тем, с кем хотела.

Ей предлагали брачные контракты. Она отказывала весело, беспечно, претенденты не оскорблялись: такова была общая участь. Постепенно отказы стали огорчать самое отказчицу. Лотта не находила того, кого у нас называют суженым. А ей так хотелось развести огонь домашнего очага.

2

Пожив в Голландии, Каржавин приехал в Париж. Он поселился на набережной Августицев, у букиниста мсье Лами и сам называл себя этим именем — мсье Лами. Из осторожности? Избегая российских дипломатических чиновников? Объяснить не берусь.

Деньги были, Каржавин мог не служить — следственно, мог работать. Королевская библиотека принимала посетителей дважды в неделю. Ежедневно после полудня открывались кабинеты для чтения: четыре су — и пожалуйста. Федора привлекали история, физика, медицина. Круг интересов очерчивал и круг дружеских связей, включая знакомства давние, времен дядюшки Ерофея, и знакомства, сделанные вновь(б).

Читатель вправе сетовать на краткость предыдущего абзаца. Эта лапидарность объясняется просто, хотя и неудовлетворительно: Лотта на уме, Лотта...

Там, в России, Каржавин часто вспоминал Лотту. Разлука кормила его воображение отравленной пищей: он ревновал Лотту к безымянным и, разумеется, счастливым соперникам. Здесь, в Париже, словно бы отмщения ради, он не бросился со всех ног к Лотте. А случайная встреча в полумиллионном городе почти исключалась. Неслучайная тоже: он не посещал мастерские модисток, она — Королевскую библиотеку.

Да, они могли бы и не встретиться, если бы... если бы Кар-

жавин однажды не отправился в тот ветхий дом, который нашел бы и с завязанными глазами. Потянуло на антресоли, где мальчика Теодора растил и воспитывал покойный дядюшка Ерофей? Так. Но это не все. И коли честно, далеко не все. Если есть в любви странности, а странности в любви есть, то одна из них таится в мгновенном приливе чувства и чувственности, словно бы отдохнувших в разлуке.

И Теодор пришел к Лотте. О, какие объятия, какие поцелуи! Лопни от зависти или умились от слез.

Недели не минуло, Федор предложил ей свое сердце. Она согласилась, не раздумывая. И вдруг всплеснула руками: у нас разные вероисповедания! Он расхохотался, запрокинув голову и трагикомически разведя руками.

— Послушай, милая, — сказал он сквозь смех, — для брачных наслаждений нужна только любовь. Только любовь, моя милая!

Кюре остался бы недоволен прихожанкой: у мадемуазель Рамбур не нашлось контрдоводов. Впрочем, она была нерадивой прихожанкой. Что же до Федора, то он пребывал в безверии.

Года два Теодор и Лотта носили цепи Гименея, сплетенные из роз. Увы, розы без шипов цветут лишь в куцах мифологии. Даже цепи из роз — цепи. Они требуют выносливости. Оба были вспыльчивы. Вспыльчивы и неуступчивы. Признавая ученость Теодора, она не признавала его правоту всегда и во всем. Признавая достоинства Лотты, он отвергал ее право на замашки вольной парижанки. Шквалы страсти нежной перемежались вспышками черной ревности. Упреки прошлому смешили Лотту, упреки настоящему бесили.

Мои подруги отнюдь не монашки? — саркастически изгибались ее брови. Э, лишь дурочки дают обет целомудрия!.. Она скоротала вечерок в доброй компании? — Лотта вздергивала нос. Она строит глазки учителю музыки и танцев? Гастон смазливый малый, но она — и этот плясун? Оля-ля, сердито посмеивалась Лотта, придумайте что-нибудь получше... У нее нрав вольной парижанки? Лотта колола, как пикой: мечтая о воле народов, жаждете моей неволи! И опускала, как палицу: толкуя о всемирном равенстве, хотите домашнего неравенства!

Лотте не дана была сладость утраты независимости, Федору — отрада подчинения. Но оба, гневно умолкнув, испытывали потребность в примирении. Каждый принимался за свое; воцарялось если не примирение, то перемирие.

Дробно стучал кухонный нож. Надо нарезать свеклу кружочками, а потом тушить в оливковом масле, залив красным вином... Каков бы ни был Теодор, но все же нельзя оставить его без ужина.

Тем временем сторонник твердой домашней власти ловил запах стряпни и, нахмутив чело, перебирал газетные листы.

Кабинеты для чтения, Королевское книгохранилище, букинисты на улице Сен-Жак и набережной Августинцев, нет, все это не могло заменить Каржавину лавки с эмблемой горластого петуха — там нарасхват газеты, журналы, брошюры; торговля шла бойко, дверной колокольчик брякал поминутно.

Привычка к новостям, как и привычка к шпинату, была в Париже всеобщей. Текущую, как сказали бы теперь, информацию поглощали в мансардах и бельэтажах, в кофейнях и на бульварах, в антрактах спектаклей и опер. Читали дамы и кавалеры, ремесленники и горничные, конюхи и белошвейки. Представьте, даже в бане читали.

Когда г-н Ренодо, давным-давно покойный, основал «Газету», ее прозвали «курьером дьявола» — у сатаны только и забот что морочить новостями род людской. В лавках с эмблемой галльского крикуна Каржавин брал и эту парижскую «Газету», и бесцензурные — швейцарские и голландские. К нему, стало быть, сбегалось полдюжины «курьеров». Но в каржавинской алчности к новостям была особенность, парижанам не свойственная: нетерпеливо припадал он к сообщениям из «татарских степей», Оренбурга, Поволжья.

То были смутные, иногда и лживые сообщения о российской жакерии, о пугачевщине. Каржавин искал истину. Занятие изнурительное, если ты располагаешь лишь периодическими изданиями.

Все представлялось ему повтором Чумного бунта; Каржавин мрачнел. Мало-помалу проступили черты не бунта, а восстания, войны, и Каржавин, ощущая что-то похожее на вдохновение, вслух рассуждал об этом восстании, об этой войне. У него были внимательные, больше того — жадные слушатели, газет по неграмотности не читавшие.

Земляк земляка видит издали? Это так, но пойдика разгляди в кипящем, суетном Париже. Помогла случайность, если только считать случайностью закономерно возникающую потребность в починке обуви. По сей причине Каржавин наведлся в мастерскую.

Сапожник, подняв глаза на клиента, хватил молотком по пальцу и крепко выругался. Нет, не на французском диалекте... Каржавин вздрогнул: вот тебе и фунт! — сюрприз неожиданный. И, расплывшись в улыбке, завязал разговор.

В оны годы Тимофей тянул солдатскую ляжку. Не вынес и дал деру; бог весть каким ветром занесло его в Париж. Он женился отнюдь не на дурнушке. Обзаведясь семейством, обзавелся и родственниками, коих дивил отсутствием скарденной расчетливости и беспокойства за завтрашний день.

Радея земляку, Тимофей управился на совесть, отнес башмаки Федору Васильевичу. Тот усадил чаевничать. Очень понравилось Тимофею у Каржавина. Славно! Так славно, что захотелось привести Зарина.

Кто таков Зарин? Оказалось, бывший дворовый сиятельного Бутурлина. Барин, вояжируя из Петербурга в Париж, взял его камердинером. А вояжируя из Парижа в Петербург, обходился без камердинера: Зарин «потерялся». И служил теперь в доме его сиятельства графа Верженна, королевского министра иностранных дел(б).

Тимофей и Зарин держались с Федором Васильевичем почтительно — умственный господин, книг не счесть. А мадам хоть и бой-баба, но тоже к ним ласковая. И Тимофею и Зарину в удовольствие было беседовать с Федором Васильевичем. О чем? Вроде бы и ни о чем, лишь бы по-русски, и эта жажда родных звуков светло напомнила Каржавину такую же жажду при встрече с Баженовым здесь, в Париже.

Но вот Федор Васильевич объявил об огромном мятеже в России и газетными листами взмахнул, Тимофей и Зарин — безбородые, гладко выбритые — припали грудью к столешнице.

С того дня Каржавин все по порядку излагал. Радовался пугачевским успехам. Морщился, когда Тимофей и Зарин клонили к тому, чтобы «тех, которые засекают до смерти», поголовно, под самый, значит, корень, с чадами и домочадцами.

— А потом? — вопрошал Каржавин. — Ты, Зарин, барин, а Бутурлин у тебя в лакеях?

Они отвечали:

— Не то, Федор Васильевич. Мы да земля, чтобы рожала нам от трудов наших.

— Труды, известно, ваши, да земля-то не ваша. По закону, по уложению ведь не ваша, а?

Тайный умысел был у Каржавина: нуте-с, нуте-с, что на сие возразят? И не ему, нет, князю Дмитрию Алексеевичу...

(Когда-то князь Голицын предрекал Теодору ученую карьеру: будешь, мой милый, профессором. Такое услышать лестно из уст человека семи пядей во лбу, географа, физика, знатока политической экономии. Годы спустя встретились не в Париже — в Гааге, где князь вершил петербургскую дипломатию. О географии и физике не говорили. Речь шла о политической экономии, и притом не отвлеченная. «Отнять у помещика землю в пользу крестьянина? О-о, это было бы торжеством несправедливости. И к тому же, — тонко улыбнулся князь, — сильно понизило бы уровень патриотизма благородного российского дворянства. Между нами, мой милый, уровень нашего патриотизма зависит от нашей собственности. Но тот, кто не желает крушения дворянства, — продолжал князь без улыбки, — тот должен желать освобож-

дения крестьянства. — Он быстро взглянул на Каржавина и, словно бы упреждая, останавливая, поднял руку: — Но без земли. Без земли! Пусть мужики выкупят землю, сударь, пусть выкупят. И никакой спешки, да-с, торопиться нечего. Однако и не откладывая до греческих календ, ибо звероподобная жестокость селянина, следствие долгого рабства, вспыхнет в миг единый. — И опять повторил, как неукоснительное, непреложное: — Без земли, пусть выкупят».)

Нуте-с, что же они возразят, Тимофей, Зарин иже с ними? Возразили:

— Эх, Федор Васильич, Федор Васильич, ужель невдомек? Земля-то чья? Она, матушка, божия, а не барская. А мы, которые от трудов своих, мы дети божии, ну, станут, и земля-кормилица наша.

4

Узкие окна слезились, ветер слизывал мокрый снег. Каржавин огня не зажигал. «Женевский журнал» смутно белел на столе. Еще засветло прочел Каржавин о последних днях Пугачева.

Пугачевым «занимался» г-н Шешковский в подземелье Монетного двора. Поставили Пугачева на колена перед судьями — сенаторами, президентами коллегий, архиереями. Потом приговоренного увещевал священник, а на другой день ехали в санях Пугачев, священник, Шешковский. Пугачев держал в руках две зажженные свечи. Черны были улицы от черного народа. На Болотной площади солдаты взяли «на караул». В середину каре пускали только господ. Ждали указа о помиловании. Ожидая, прочитали сентенцию. Не дождалось и начали обряд смертной казни. Белый тулуп рухнул с Пугачева на белый помост, стоял Пугачев в малиновом кафтане. Разодрали кафтан, как рубаху на груди. Пугачев плечами повел, словно от всего на свете отрешаясь. Поклонился низко: «Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою...»

Зарин взял подсвечник, потом другой, поставил на подоконник. Тимофей поднес огонь. Две свечи горели — как в руках Пугачева на пути к эшафоту.

5

Федор изучал хирургию, изучал фармацевтику. Скальпель и аптечные весы обещали прочный достаток. Но Федором владело желание крутых перемен и нежелание пустынной обыденности. И вовсе не бурные столкновения с женой, не

унизительное ощущение Лоттиной телесной неудовлетворенности были тому причиной. Деда называли поприщем — версты дорожные; отец — мили морские; Федор полагал: поприще там, где трещат троны. Что правда, то правда, он написал однажды: мы, Каржавины, не Пугачевы. Но вот вопрос: куда написал? В Россию, помышляя о возвращении, пусть и не близком. А теперь он устремлялся мыслью по ту сторону океана, в Новый Свет: эхо повстанческих залпов, прогремевших близ Бостона, слилось в его душе с эхом пугачевского восстания, уже отгремевшего. Беллини — о ней позже, — Карло Беллини из колледжа Уильяма и Мэри называл Федора «гражданином вселенной». Беспачпортный бродяга в человечестве? Совсем иное! Невозможность оставаться глухим ко злу, где бы зло ни творилось. Натура Каржавина жаждала битвы со злом. Жить — значит действовать. Он хотел жить, а не применяться к обстоятельствам.

«Пунктом отшествия» называют штурманы начальную точку плавания. Таким пунктом была письменная рекомендация Баженова. Она привела Каржавина на По-де-Фер, в бывшую обитель иезуитов. Переступив порог, он попал в масонскую ложу.

Каржавин и масонская ложа? Да и при чем здесь московский зодчий? Отвечаю на последнее: Баженов состоял в московской ложе. Отвечаю на первое: посмеиваясь над масонской мистикой, Каржавин не глумился над масонским стремлением к нравственному совершенству. Главное же не только в том, что на По-де-Фер блистали философы, а в том, что они блистали вольномыслием.

На По-де-Фер восхищались бостонскими инсургентами — мятежники открыли огонь по отряду английской королевской армии. Некоторые из братьев ложи «Девять муз» имели представление о торговом доме «Родриго Горталес и К^о». Мсье Лами пришелся им по душе. И они проложили ему курс в «пункт пришествия».

Настал срок объяснить ситуацию, отмеченную на первых страницах этого повествования, — особняк Отель де Голланд, фирма г-на Дюрана, под именем которого энергически действовал Пьер Огюстен Бомарше...

Отвергая божественное право королей на скипетр, Каржавин признавал право народов восставать на королей. Спор решит оружие — возвести залпы близ Бостона. Ружьям вторила дробь копыт: в Филадельфию съезжались делегаты конгресса. Королевская Англия клеймила их главарями развращенной черни. Королевская Англия опубликовала «Прокламацию о подавлении бунтов и подрывной деятельности». Засим Георг III запинаящейся скороговоркой повелел объявить колонии в состоянии мятежа. Осенью семьдесят пятого артилле-

рия флота его величества сожгла Фалмут¹. В январе семьдесят шестого участь Фалмута разделил Норфолк. На помощь королевским гарнизонам в Америку доставили несколько тысяч рослых усачей в зеленой и синей униформе: немцев, проданных немецкими князьями единокровному Георгу. Больше всех прочих продал ландграф Гессен-Кассельский, оттого и говорили — гессенцы. Повстанцы отвечали набором добровольцев в континентальную армию. Ею командовал атлет с каштановыми волосами и большим, крепко сжатым ртом — уроженец Виргинии Джордж Вашингтон. Добровольцы, сотни тысяч их сограждан читали памфлет Томаса Пейна «Здравый смысл» — свободу травят по всему миру; тот, кто любит человечество и ненавидит тиранию, выходите вперед. Набат слышала и Европа. Федору ли Каржавину оставаться в стороне?

Торговый дом на Ввей дю Тампль учредили для тайной поддержки мятежников. «Мы будем снабжать вас всем — одеждой, порохом, мушкетами, пушками и даже золотом для оплаты войск и вообще всем, что вам нужно в благородной войне», — набело, без помарок писал статный человек с крупным, прямым носом и бровями вразлет. Писал тем же почерком, которым был написан и «Севильский цирюльник».

Прекрасно! Но ведь тайна фирмы Дюрана-Бомарше не была тайной для Версаля. Напомним: Людовик XVI вложил в дело миллион ливров, граф Верженн, ведающий внешними сношениями, благословил дело. Как же так? Мятежники подняли меч на законного владыку. Мятежники попрали его право на владычество. Куда ж девалось братство королей? О, в политике не рассчитывают на благодарность партнера. Даже партнера-союзника. А Франция и Англия жестоко соперничали. И на суше и на море. Умаление Англии было праздником Франции; потеря Англией заокеанских владений — вдвойне праздник. Но война в открытую еще не возгорелась. А скрытая продолжалась. Осторожный до боязливости Людовик XVI и осмотрительный до подозрительности граф Верженн при малейшей «неувязке» отrekliсь бы от Бомарше-Дюрана, столь же отважного, сколь и авантюрного, умного и остроумного, блестящего и гибкого; и — самое сейчас главное — убежденного поборника американской революции.

Что же до Каржавина-Лами, то его диспозиция, надеюсь, ясна: наконец-то, наконец получил он возможность делать, что должно!

Он отдал прощальный визит Дюрану-Бомарше. Все было решено — мсье Лами отправляется за океан, сначала в Вест-Индию, на Мартинику, а потом — к берегам Нового Света, поистине н о в о г о.

¹ Ныне Портленд.

Из Отеля де Голланд можно было выйти на людную Вьей дю Тампль, а можно было, пройдя садом, выскользнуть в пустынный проулок из железной калитки в каменной ограде. Калитку сторожил угрюмый малый: ни дать ни взять вчерашний жилец арестного дома. Черт побери, такие умеют держать язык за зубами.

В нескольких шагах от калитки Каржавин встретил молодого человека в черном дорожном платье. Приподняв шляпы, они раскланялись, как сообщники, ибо кто ж иной, как не сообщник, пользовался неприметной калиткой и садовой дорожкой под каштанами и вязами. Этот молодой человек по имени Джон Роуз возникнет на последующих страницах. А в тот день Каржавин лишь мельком раскланялся с Роузом.

Хмур и рассеян был Федор Васильевич. Казалось бы, ликуй — вот он, крутой поворот жизненной дороги. Но хмур и рассеян был Федор: предстояло решительное объяснение с Лоттой — она не хотела покидать Париж.

На следующее утро он уже был в пути. Лотты с ним не было. Ливень умыл кроны и кровли, Руанская дорога стелилась берегом Сены.

6

Кто-то (позабыл, кто именно) говаривал с апломбом: в канун дальнего плавания наш брат моряк весел бесконечно. Согласен, весел, но лишь в том случае, если сорвался с виселицы или покинул «лужок», как на воровском аргю тех времен, о которых речь, называлась каторга. Во всех иных случаях моряк сосредоточен, почти угрюм и разве что в последний вечер наедине со своей подружкой отпускает шуточки насчет дамской преданности тем, кто в море.

Во французском флоте тогда были две корпорации — синие и красные. Синие, выходцы из разночинцев, служили обычно на коммерческих судах; красные, дворяне, большей частью уроженцы приморских провинций, служили на военных кораблях, что, не в обиду будь сказано, не делало из них лучших навигаторов, нежели синие.

Капитан бригантины «Ле Жантий» Жюль Фремон, человек могучего сложения, с львиным лицом, тронутым оспой, был разночинцем, синим, и уже это одно пришлось по душе Каржавину. (Впрочем, и здесь, на бригантине, он числился под именем Лами.)

Моряк от макушки до пяток, Фремон не терпел первый понедельник апреля, второй понедельник августа и все пятницы чохом. Знающие люди утверждали, будто именно в эти роковые дни волны смыкаются над скитальцами морей. Так или не так, не имеет значения — на дворе не апрель и не ав-

густ, а сентябрь, в пятницу же Фремон не снимается с якоря даже под угрозой расстрела.

Фремон не раз ходил в Вест-Индию, зарубил на носу — океан пересечь — не джигу сплясать, все следует предусмотреть; под огромным небом, на огромной соленой воде ты предоставлен самому себе, а вовсе не господу богу. Но сейчас, в Гавре, капитан испытывал тревогу, прежде не испытанную: до нынешнего рейса на «Ле Жантий» ему не приходилось опасаться иностранных шпионов.

Хотя мистер Уолтерс уже сыграл в ящик, его вдова продолжала хорошо поставленное шпионство в пользу британской короны. Сидела, как сова, в Роттердаме и оттуда, из Голландии, надзирала за своими молодцами. А те шныряли в гаванях Франции, жгуче интересуясь импортом в Вест-Индию: с «сахарных островов» рукой подать до американских колоний. Донесения вдовы Уолтерс докладывали лордам Адмиралтейства. Кораблям его величества велено было топить суда под французским флагом, если в их трюмах — имущество военного ведомства, армейских и флотских arsenалов.

У Фремона не было желания пойти ко дну на радость акулам. У него было желание достичь берегов Нового Света на радость бунтовщикам-американцам и тем самым натянуть нос кичливым британцам.

Фрахтуя корабли, Бомарше сам назначал капитанов. Капитаны нанимали команду из матросов, знакомых по прежним плаваниям. Так поступил и Фремон. И так же, как другие, принимал груз под покровом ночи.

Наконец наступила минута, когда французский моряк произносит: «Кливер поставлен, за все уплачено!» Понимай: довольно болтать, счета с берегом кончены, я отрезанный ломоть, с меня взятки гладки.

Пепельным утром «Ле Жантий», лавируя, миновала обширную мель Ле-Гран-Плакар, потом внешний рейд Ла-Кросс и вот уже одевалась парусами, ложилась на генеральный курс, всем своим строгим, стройным видом бросая горделивый вызов судьбе, океану, небесам.

Глядя на команду, стороннему наблюдателю ничего не стоило заключить, что она работает спустя рукава. Ошибка! То была неторопливость людей, которые управляют с делом так, словно все предметы — железо, дерево, пенька — только и дожидаются повеления своих ухватистых хозяев. Каржавин сказал об этом Фремону. Капитан рассмеялся: «Наш матрос — ворчун, но работает на совесть...»

На бригантине были и другие пассажиры.

Один из них уже упомянут: мелькнул в саду Отель де Голланд. Как тогда, так и теперь, был он в черном дорожном плаще. Его звали Джон Роуз. Судя по имени, не француз. А судя по акценту, не англичанин.

Второй, тоже лет двадцати, может, чуть за двадцать, и своим именем — дез Эпинье, и быстрым, как ручеек по камешкам, парижским говором, и манерами был, позвольте сказать, стопроцентно французист, хотя отнюдь не сто процентов французов наделены холерическим темпераментом.

Ни Роуз, ни дез Эпинье не переступали порога конторы с гербом и флагом, где вербовщики, угощая простаков рассказами об армейской карьере, непременно цитировали какого-то именитого француза: «Первый, кто стал королем, был удачливым солдатом». Молодым людям очень хотелось быть удачливыми солдатами, но лишь для того, чтобы король перестал быть королем в американских колониях.

Тех, кто не занят делом — не стоит ходовую вахту и не спит праведным сном подвахтенного, — океан склоняет либо к бездумной созерцательности, либо к отвлеченным размышлениям; правда, чаще всего не столь глубоким, как сам океан. Но в кают-компании бригантины обсуждались сюжеты не философические, а политические, военные.

Эти размышления приняли характер откровенный после того, как собеседники убедились в наличии медальонов с изображением Юпитера-Странноприимца. Нет, их не предъясвляя нарочито, а предъясвляя как бы ненароком — поигрывая, словно брелоком. То был мандат торгового дома «Родриго Горталес»: обладатель сего деятельно сочувствует «благородной войне». Не знаю, автор ли «Севильского цирюльника» придумал этот опознавательный знак, но сама по себе, по-нынешнему сказать, придумка вторила трогательно-обыкновенному древности: медальон с обликом Странноприимца, разломив пополам, хранили в семьях, связанных узами нерушимой дружбы. Побратимы, названные братья. Разве что не крестами менялись, а полумедальонами. И притом не молясь на икону или, за неимением, оборотясь лицом к востоку.

Так вот, на «Ле Жантий» обсуждали положение в Америке, чаще прочего произнося: «Нью-Йорк».

Тогдашний Нью-Йорк — это всего-навсего три десятка тысяч островитян Манхэттена. Восставшие горожане, ликуя, низвергли статую короля Георга III. Свинцовая голова его величества угодила в огонь, расплавилась, получились из нее отличные пули для континентальной армии. Но летом семьдесят шестого нависла над Нью-Йорком погромная туча. Погромными зовут те, что градом чреватые; эта тоже грозила градобитием, да только не зернистым или орешковым, а ядерным.

Главкомандующий разутой армии в драных охотничьих рубахах и в шляпах, отвергавших претензию на моду, Вашингтон предвидел кровавое дело. Впрочем, особой проницательности не требовалось. Стоило только глянуть на мощную бри-

танскую эскадру — у всех кораблей были настезь порты артиллерийских палуб¹.

Генерал Хоу располагал двадцатью тысячами; генерал Вашингтон — пятью тысячами, вооруженных чем ни попадя, включая индейские томагавки. Хоу окружил мятежников. К центру их позиции двинулись немецкие наемники: мерно колеблющимися рядами, тяжеломерно, уверенно, с ружьями «на плечо», во весь рост.

Удерживая коня, Вашингтон видел, как его отряды попятись, дрожа от страха... Шесть суток в седле, обмороки от усталости, но спас, спас Вашингтон остатки разбитых, опозоренных отрядов.

Все это успели узнать напоследок в Старом Свете стратеги, заседавшие теперь в кают-компаниях бригантин «Ле Жантий».

Весьма туманно представляя театр военных действий, они заочно требовали от виргинца «сражаться до последней капли крови». Никто из них не понимал великого преимущества повстанческой армии: отступать, увлекая противника в глубь материка; увлекая, отсекая от могущественного флота; отсекая, наносить удары мгновенные и мгновенно исчезать. Нет, этого они не понимали. Впрочем, и Вашингтон, и его штабные покамест не осознали преимуществ «заманивания».

Французская бригантина еще не вытянулась из Гавра, когда британская эскадра протянулась вверх по Гудзону и опять обрушилась десантом. Повстанцами овладел ужас. Вашингтон плетью охаживал бегущих. Выхватил шпагу, выхватил пистолет. Вопил, молил, грозил. Тщетно! Он швырнул на землю шляпу: «Великий боже, что за армия!» Его губы тряслись: «И с этими я должен защищать Америку!» Нью-Йорк горел. По Бродвею, мимо постаментов без статуи короля Георга шли солдаты короля Георга...

Все кончено? Каждого, кто на палубе «Ле Жантий» произнес бы нечто подобное, выбросили бы за борт.

Спустя год или два майор артиллерии континентальной армии дез Эпинье напишет в Париж Пьеру Огюстену Бомарше: «Ваш племянник может быть убитым; но он никогда не сделает ничего такого, что было бы недостойно человека, имеющего честь принадлежать к Вашей семье».

Много лет спустя и за много миль от Америки, на эстляндской мызе Фелкс, отставной пехотный майор напишет: «Под именем Джона Роуза я вступил в континентальные войска...» И служил, прибавит майор, все годы войны за независимость.

А Неунывающий Теодор? (Он сам так себя окрестил, подчеркнув, что безунывность есть коренное свойство русского

¹ Порт — корабельная амбразура для ведения орудийной стрельбы.

духа.) Наш Теодор напишет попросту: «Видел огонь войны на суше и на море и вознагражден за невзгоды тем, что выучился английскому языку».

Да, и английскому, но позже. А на палубе французской бригантинны «Ле Жантий» — под парусами прямыми и косыми, на шкафуте и юте, у грот-мачты и бизань-мачты — Каржавин Федор, изучивший высшую математику и медицину, архитектурные трактаты и трактаты исторические, постигал науку кораблевождения, и надо было видеть, каким удовольствием светилось лицо капитана Фремона, львиное лицо, тронутое оспой: сметливый ученик попался, еще немного — и сумеет править вахтой.

Не без зависти отметим, что сообразительности Каржавина способствовало знание математики. А шепотом, чтобы Фремон не услышал, воздадим хвалу англичанину. И квадрант, сияющий медью, и секстант, поблескивающий зеркалами, изготовил Джон Берд. Знаменитый мастер Берд, это понимать надо: его изделия ценились на вес золота.

Бердовским секстантом Федор брал высоту солнца в тот ясный, ни облачка, день, когда на горизонте возникли очертания Мартиники.

Когда-то, в Лондоне, Каржавин-старший, разглядывая географический атлас и приобняв сына за плечи, повторял мечтательно-певуче: «Мартиник... Мартиник...»

Глава четвертая

1

Бригантина встала на якорь.

Зеленый склон вулкана пестрел красными, белыми, желтыми крышами городка Сен-Пьер. Не так уж много времени минет, и этот рай обернется адом: пушки и гробы пустятся в пляс, пучина заглотает корабли, разверстая суша — людей. Но в ноябрьский день семьсот семьдесят шестого года стояла тишь, озвученная стеклянным звоном мелких волн, шелковисто повитая бризом.

Едва рассвело, Каржавин съехал на берег. В мозжечке еще гуляла синусоида корабельной качки, но уже нежило душу и тело ощущение тверди земной. Струились запахи сухие и пряные. Дома с крутыми черепичными кровлями спали в садах, слышался мирный стук тележек: негры развозили воду.

Каржавин был бдителен. По соседству — британский остров Доминик. Островитяне непрестанно общаются друг с другом. Никаких проводников, любой может предать; по чести

сказать, Федор слишком уж осторожничал. Но и то правда, зачем проводник, если капитан Фремон начертал маршрут на клочке бумаги. «Друг мой, все это пустяки», — сказал он с морским презрением к передвижению на своих двоих.

За городком дорога еще круче взяла вверх. Дорогу затенял лес. Лес был тропический, следственно, — неизменный эпитет — буйный. Солнце, поднимаясь, не пробивало кроны, нагнетая сумеречную влажную духоту, теснившую грудь, Каржавин отирал пот: «Угораю, как в бане».

Но вот, слава тебе, придорожная хижина. Запахло фиалками, отчего и примерещилось нечто голубое. Но нет, фиалками благоухала розоватая древесина, нарезанная брусками. Старый негр, хозяин хижины, промышлял деревом, необходимым для изготовления красильного экстракта.

Передохнув в хижине, Каржавин пустился в путь. Перевала достиг он, высунув язык, как гончая после охоты. Сердце колотилось отчаянно, ноги подгибались, в ушах шумело. Ах, капитан Фремон: «Пустяки, всего-навсего несколько миль».

В имение г-на Полена пришел он поздним вечером. Если понятие «тропический лес» притягивает эпитет «буйный», то имени требуют миганья огоньков, собачьего лая, запаха дыма. Так оно и было.

Из чащи появился чернокожий геркулес, вежливо приподнял соломенную шляпу. Каржавин спросил, у себя ли г-н Полен? Оказалось, уехал к дядюшке на остров Доминик. А г-н Блондель? Этот, оказалось, дома. И, вероятно, еще не спит, хотя имеет обыкновение ложиться рано.

То был дородный человек, лет шестидесяти, рыжий, светлоглазый, похожий скорее на ирландца, чем на француза. Блонделю не терпелось вступить в беседу, но выжатый лимон — а Каржавин именно так и выглядел — вызвал у рыжего прилив милосердия. Европейцы, сказал он участливо, поначалу чувствуют себя скверно; однако взгляните на вашего покорного слугу, и вы убедитесь, что весь фокус — в привычке. Усмехнувшись, прибавил: «Охотно променял бы эту привычку на другую — к северным непогодам».

Расскажу о Блонделе то, что узнал по мере его общения с Каржавиным. Не в имени, а позже, в Сен-Пьере, когда они сделали, что называется, не разлей водой.

Еще в молодости Блондель, сын парижского кожевника, променял дубильный чан на чернильницу. Он жил в одной-единственной комнате, слуги у него не было. Те, кто считал перо предметом торговли, находили положение подобных литераторов плачевным.

Фортуна однажды бросила на Блонделя милостивый взгляд. Ему посулили место в ежемесьчнике, имевшем бешеный спрос. Франсуа отказался. Он писал так, как учил Вольтер: коротко и солоно. Сочинения Блонделя редко попадали

на типографский станок, они доставались переписчикам: копии украдкой разносили по домам, дважды в неделю сбывали из-под полы в кофейнях. Блондель был из тех, кого называли брошюристами. Из тех, чьи памфлеты палач испепелял на парижских площадях, и это можно считать прогрессом, ибо вместе с сочинением не сжигали сочинителя.

Вольтер советовал: пускайте стрелы, но не показывайте руки. Блондель, пребывая неизвестным читающей публике, стал, однако, известен полиции. Ему предложили... сотрудничать. Нет, не доносить, зачем же, доносчиков хватало, не хватало наемных перьев, способных черное изобразить белым, правду — грязной клеветой, а клевету — чистой правдой. Единомышленник Гудара и Лабомеля наотрез отказался.

Гудар и Лабомель? Каржавин лишь краем уха слышал эти имена. «Такова участь достойнейших», — горько усмехнулся Блондель. Он имел в виду некую непоследовательность в репрессивной последовательности правительства. Одно дело — взысканные европейской известностью, другое дело — незначительные. Вольтер и Мармонтель недолго гостили в крепости Бастилии, а Дидро — в Венсенском замке. В том-то и суть — го-сти-ли. Принимая посетителей и выражения сочувствия. А незначительные, непрославленные брякали галерной цепью или подышали в Кайенне¹, где кровь закипает в жилах, словно сера в котле, вокруг которого пляшут ведьмы.

Франсуа же Блондель... О, парижская полиция имела на него большой зуб. Отказавшись от сотрудничества, он не отказался от удовольствия сообщить об этом в своей очередной огнедышащей брошюре. Шестеро явились на рассвете, офицер коснулся Блонделя белым жезлом: «Вы арестованы!» Загремела карета, Блонделя увезли. Расправа была ужасной — не галера, а сумасшедший дом(7). В отделении буйнопомешанных провел он несколько лет; потом его выслали на Мартиник.

О своих мучениях Франсуа говорить не любил; Каржавин, разумеется, расспросами не докучал. Зато о Гударе и Лабомеле рассуждали они часто. Ни Гудар, ни Лабомель не верили в благие намерения монархов, даже если те баловались философией. Реформы сверху не стоили понюшки табаку. Гудар и Лабомель провидели неотвратимость революций, сметающих троны. Они утверждали: право и долг народа разносить деспотизм в щепы; если народ захочет, народ победит. Да, победит, объединившись, сомкнувшись, поднеся рдеющий фитиль к заряженным пушкам.

Лицо Федора принимало то напряженно-восторженное выражение, какое бывает у впередсмотрящего: «Вижу берег!»

¹ Кайенна — центр французской колонии в Южной Америке; место каторги и ссылки политических заключенных.

И он, и Блондель видели берег — от Мартиники недалёкий — материковый, американский.

— Оружие как последнее средство решает сейчас спор, — повторял Франсуа. — Никогда ещё солнце не светило более достойному делу(8).

2

Мартиника была транзитным пунктом: бригадине «Ле Жантий» предстояло достичь берега материкового, американского. А здесь, на острове, следовало учредить перевалочную базу для будущих поставок г-на Дюрана. Этим и озаботились Блондель и Лами.

В Сен-Пьере они поселились в комнатах трактира «Бургундия». Девять ливров поденно, хочешь парижской чеканки, а хочешь колониальной, с выразительной надписью, или, как говорят нумизматы, легендой: «Да будет благословенно имя Господне». Федор побряхтывал. А Франсуа пошучивал: «Обладатель таких сокровищ внакладе не останется». Франсуа имел в виду антиквариат, привезенный Каржавиным из Парижа. Распродажа в рекламе не нуждалась — спрос был достаточный(9).

Гельвеций писал: сахар Антильских островов смочен кровью рабов. Дидро сказал, что эти строки Гельвеция отравили весь сахар, который ему, Дидро, увы, придется есть до конца своей жизни.

Богачи Сен-Пьера, продавая сахар, покупали сочинения Гельвеция и Дидро. Покупали картины, книги, редкости. Сладкая жизнь была у плантаторов. Даже у изможденного Орвилье, хотя он и пробавлялся одной лишь молочной кашей — на этом настаивали лекари.

Дом Орвилье блистал той роскошью, что, вытеснив величавый стиль Людовика XIV, утвердила вычурный стиль Людовика XV — жеманная текучесть линий и ботанический орнамент резьбы, пасторальные сценки на шелках Гобелена или Вове, китайский лак и китайские пейзажи. Комнаты и мебель были голубые и золотистые, белые и зеленые. Здесь собирался цвет Сен-Пьера.

Они сходились у Орвилье поздним вечером. Обреченный на строжайшую диету, он задавал виртуозно-гастрономические пиршества, извлекая удовольствие из плотоядности гостей. Потом, покорный режиму, удалялся в спальню. Следом удалялась дежурная патронесса. Перстами легкими, как лунные блики, она нежила больного. И мурлыкала колыбельные песни. Все патронессы были свежи, как морской бриз, и гибки, как сахарный тростник. Они обожали Орвилье. О, милосердие в благородных отсветах ожерелий и брошек из шкапулок страстотерпца.

Обращаясь к вещам серьезным, седлаю коня и пускаюсь вдогонку за Каржавиным, за рыжим Франсуа, шляпа которого всегда съезжает на затылок, не поймешь, как держится.

В нескольких лье от Сен-Пьера голубела закрытая высокими горами глубокая бухта. Американцы еще до восстания доставляли туда свою контрабанду (торговля колонистов с французской Вест-Индией строго-настрого запрещалась британскими властями), в укромных уголках бухты издавна звучали трубные звуки ламби — морской раковины, употребляемой островитянами вместо сигнального рога.

Эту бухту и решено было использовать как якорную стоянку судов торгового дома «Родриго Горталес и К^о». Здесь же и перегружать оружие и боеприпасы, доставленные из Гавра, Бреста и Бордо, на суда, зафрахтованные бунтовщиками-американцами, — шхуны и бриги водоизмещением до двухсот тонн, на палубе две пушки крупного калибра и дюжина пушек калибром помельче для стрельбы с близкой дистанции.

Отчего же мрачен Каржавин?

Его удручали газетные известия. Собственно, не известия, а слухи. В Лондоне потирали руки: русские высадутся на берегу Нового Света и образуют проклятых бунтовщиков. В Париже нервничали: англичане намерены выложить три миллиона фунтов стерлингов за двадцать иль тридцать тысяч русских солдат, известных своей доблестью и терпением.

Блондель успокаивал Каржавина: реальные выгоды перевесят монархические сантименты; Екатерина, даже находясь в формальном союзе с Георгом, не найдет в восстании американцев *casus foederis*¹.

Он был прав, но Каржавин не мог избыть чувства гнетущей тревоги. Панин и Михельсон, победители Пугачева, мерещились ему усмирителями пугачевцев Америки. Не предложить ли свои услуги Континентальному конгрессу? Джентльмены, если британский флот привезет солдат императрицы Екатерины, вам, несомненно, будет полезен человек, владеющий русским языком(10).

Каржавин нетерпеливо поглядывал на рейд — «Ле Жантий» казалась ему лежебокой, Федор молил Фремона не медлить с постановкой парусов.

Обедая в общем зале «Бургундии», он, впадая в поддельное коммерческое вдохновение, объяснял, какой профит ожидает в Новом Свете. Здесь бочонок соли — пятнадцать ливров, в Америке — сорок пять! Здесь бочка вина — сто двадцать ливров, там — тысяча пятьсот! Все это объявлялось во всеуслышание.

Недругов сбивают со следа. От друзей ждут информации.

¹ Обстоятельства, обязывающие начать войну на стороне союзника.

Недруги оставались невидимками. Друзья явились, когда бриг «Провиденс», затравленный британскими фрегатами, укрылся в одной из бухт Мартиники.

Хроникер, находясь таковой в штате трактира «Бургундия», несомненно, отметил бы событие, имевшее место на вторые сутки после прибытия этого брига.

Прологом был требовательный стук в дверь комнаты Блонделя. Франсуа только что отужинал и, разоблачась, готовился к объятиям Морфея, одновременно испытывая легкую тоску по объятиям чернокожей подружки, оставленной, к сожалению, в имении г-на Полена.

— Что за дьявол? — не без досады воскликнул Франсуа, поднимая подсвечник с зажженной свечой, и, как был в одном исподнем, шагнул к дверям.

— По вашу душу, сэр! — с фальшивой мрачностью раздалось в коридоре.

Блондель тотчас узнал голос шотландца — они были не в долгом, но близком знакомстве. Узнал и рывком отворил дверь. Коренастый, смуглый моряк смотрел на Блонделя смеющимися, дерзкими глазами. Он был живописен, командир брига «Провиденс», — лихо заломленный шотландский колпак с блестящим золотым галуном и массивные рукоятки пяти пистолетов за широким шарфом-поясом, затянутым на туго.

Блондель позвал Каржавина. Сели за стол. Закатав рукава батистовой рубахи, шотландец рассказывал печальные подробности минувшего лета, когда пал Нью-Йорк и отряды повстанцев бежали. А он на своем бриге — восемь пушек, семьдесят матросов, три офицера, — пользуясь туманом или потемками, отлично зная фарватер, шнырял среди кораблей королевского флота: привозил боевые припасы, вывозил раненых. А потом ушел к Бермудским островам мстить неприятелю.

— Надеюсь, охота была удачной? — вставил Блондель.

Шотландец самолюбиво вздернул подбородок:

— Слуга покорный! Тридцать призов¹, сэр. Не считая пушенных ко дну, отличная усыпальница: песок, как сахар, кораллы, как кровь, губчатые растения, как малахит, — подходящее местечко даже для короля Георга. — Он широко улыбнулся. — На Бермудах славные ребята: дали нам сотни бочонков с порохом... — Шотландец нахмурился. — Но вот я здесь: травили, как лисицу, пуст, как эта бутылка.

Разговор пошел практический — о помощи бригу «Провиденс».

¹ Приз — неприятельская собственность или военная контрабанда, захваченные в морской войне. Часть приза в денежном выражении отчислялась в пользу экипажа корабля-победителя.

Они покинули Мартинику не в одночасье, а с интервалом в несколько дней: сначала «Провиденс», следом «Ле Жантий».

Судовые документы французской бригантины перечисляли груз — соль и вино, водка и патока. Судовые документы указывали курс — остров Микелон, владенье французской короны.

Истинный груз «Ле Жантий» читателю известен: «Оружие как последнее средство решает сейчас спор». Истинный курс читателю укажем: американский порт Хэмптон.

Каржавин, разумеется, был на борту «Ле Жантий». А пишущий эти строки? Господи, как было отказаться от приглашения ночного гостя «Бургундии»! Ведь бригам «Провиденс» командовал Пол Джонс, первый офицер повстанческого флота. Тот самый, которого годы спустя приветит наш Суворов. Руку на отсечение, никто не устоял бы перед таким искушением.

Глава пятая

1

О вкусах не спорят, но — разбавлять водку подслащенной водой? Ужасно! Впрочем, тогда употребляли только по праздникам, когда соседи-фермеры собирались в отчем доме Пола Джонса. Они пели шотландскую песню о старом Робине. А пришлые моряки пели «Весь в Даунсе флот».

Конопатый Пол грозно командовал флотом в тесных пределах скалистой бухты: дюжина лодочек и две дюжины подростков в залатанных штанах. Они слышали про адмирала Кинга: спустил флаг под натиском французов, Кинга расстреляли. Поделом! Они не читали Вольтера, но согласились бы с Вольтером: иногда не мешает прикончить одного адмирала, дабы придать бодрости другим адмиралам.

Пойти в гардемарины? Нужны связи и деньги. Ни того, ни другого не было. Учеником на торговую посудину? Ох, шотландцы — хорошие сыновья. Огорчишь ли родителей, если старший брат уехал в Виргинию?

Шотландцы — хорошие сыновья. Пол не бежал: его благословили. Он надел шерстяную синюю блузу и обул тяжелые башмаки на медных гвоздях. Он обязался служить семь лет юнгой. Служить за несколько пенсов, но судовой рацион получать сполна, как взрослый.

Море награждало кровавыми мозолями. Морской харч лудил желудок. Не зарубки на дверном косяке отмечали, на

сколько дюймов он вырос, а узелки на смоленной бечевке. Он не обручался с морем, как венецианские дожи, и не созерцал море, как барды, — работал на море тяжкую работу. «Так держать, ребята!»

Вест-индский бурун метил кливер светлыми бликами; ливни окатывали, как из пожарного рукава, ураганы подбрасывали до звезд и рушили в бездны; американские берега выстреливали длинными, острыми мысами, оглушали неистовым гомоном пернатых, дышали зловонием лагун.

Но зловоние не болотное возникало задолго до лагун — сочилось, как жижа, из трюмов. Да, от английских пределов «держали» в океан. Однако не напрямик к Новому Свету. Сперва шли к Золотому Берегу. Шли за живым товаром(11). Глядели в оба! Упрямые африканцы норовили взбунтоваться. Душно в трюмах, тесно и мерзко, тяжела кандалная цепь. Но трюм — не зал для балов и концертов. При тихой погоде отворите темницу, отдрайте люки. И небольшими партиями пускайте чернокожих на верхнюю палубу. Пусть разогнутся и разомнутся, пусть глотнут свежего воздуха. Дайте им бусы, негры как дети. И пальмовое масло дайте, пусть умащивают свои мускулистые тела. Но не забудьте изготовить пушку, фитиль должен дымиться. Жестокость? Работоторговля — занятие почтенное. Герцог Нортумберленд и герцог Гамильтон женились на внучках Барелла, а тот не галантереей разжился, о нет, не ею.

Джонс был уже помощником капитана, когда ему стало неважно. Оп-ро-ти-ве-ло! Зловоние работоторговли нутро вывернуло.

Пересекая Атлантический, Пол навещал старшего брата. Уильям жил в Вильямсберге. Отличный портной обшивал виргинских джентльменов. Многие, конечно, предпочитали заказывать гардероб у мастеров Уайтчепла, лондонского портняжного квартала, но Уильям конкурировал храбро и случалось, достаивался заказов даже от майора Вашингтона, человека очень серьезного и очень вежливого.

Уильям приглашал — оставайся, брат, вот стол и кров. Даровщинку Пол не принял, в Америке Пол остался. Ему вверили шхуну. Мал золотник, да дорог: отныне Пол Джонс был первым после бога, как называли шкиперов и капитанов по обе стороны океана. Это ему нравилось.

Не нравилась, как и всем американским морякам, зависимость от Англии. Строить суда дозволялось; производить что-либо для оснастки судов не разрешалось. Какого дьявола?! В таком случае, господа, пусть Дептфордские доки на Темзе не требуют нашу белую сосну. Из чащоб эти гигантские деревья волокут волы. На каждое — без ветвей, окоренное — требуется шестнадцать, а то и двадцать пар лобастых тягачей. Нет под луною лучшего аромата, чем запах смолы вперемешку с

йодистым запахом моря. Без сосны-красавицы не бывать мачтам на фрегатах и линейных кораблях Британии. Тех, что охраняют ее коммерческий флот. Тот, что зафрахтован «Лондон эшуранс компани» и застрахован джентльменами, совершающими сделки в лондонском кафе Эдварда Ллойда.

Когда-то конопатый мальчуган, затевая абордажные схватки в тесной скалистой бухточке, видел себя офицером британского флота — синий сюртук с золотыми галунами и шляпа с черной кокардой. Теперь он нипочем не пошел бы во флот его величества. Не потому лишь, что там каторга. И не потому, что получил шхуну. Нет! Натура не терпела «застегивания пуговиц» — так с горечью определяли низшие страх свой и растерянность перед высшими. Столбенеешь, приложив руку к шляпе: «Слушаюсь, сэ!» — а пальцы другой руки, дрожа, теребят металлические пуговицы куртки или мундира. «Застегивание» претило Полу.

Но давняя мечта о военно-морской службе жила в душе шкипера, иссеченного ветрами Атлантики, выдубленного солдцем Вест-Индии. Пришла пора, сбывалась мечта Пола Джонса!

Сбывалась под флагом, на котором был изображен знак метрополии, но эту эмблему британской тирании решительно перечеркивали белые и красные полосы. Пол Джонс первым поднял корабельный флаг колоний, не желающих быть колониями. И первым упрятал в свой сундучок патент офицера повстанческого флота.

Континентальный конгресс создал комиссию по военно-морским делам, а затем два бюро — в Бостоне и Филадельфии. Возник корабельный отряд, приданный армии Вашингтона. А каперские свидетельства давали право партизанить. О, лихая ватага каперов, москитный флот незабвенных времен! Водоизмещение от ста до четырехсот тонн; десяток-другой орудийных стволов; полсотни, сотня отчаянных головушек.

На бриге Пола Джонса числилось семьдесят моряков. Пишущий эти строки получил снаряжение: внушительный бычий рог, изнутри начисто выскобленный, с деревянной втулкой на широком конце и медной крышечкой с пружинкой — на узком. Рог с порохом носили на ремне через плечо.

В каждой команде, в каждом экипаже всегда водится, говоря по-нынешнему, неформальный лидер. Если он в ладу с лидером формальным (по рангу и положению), считайте, корабль в надежных руках. Таких на «Провиденс» было шестеро, шестеро «сынов Нептуна». Нет, не масонская ложа — организация взаимопомощи матросов и грузчиков. Возникла она задолго до восстания, задолго до войны; сперва в Нью-Йорке, затем в других портовых городах. Эти шестеро задавали тон, на что Полу Джонсу сетовать не приходилось. Напротив! Храбрец радовался храбрецам.

Вопреки рогаткам владычицы морей американцы исподволь, задолго до восстания, взбудрили коммерческий флот, вышколенный к тому же в тех самых широтах, где теперь каперы щипали и трепали неприятеля. Люди Пола были превосходными моряками, и это неудивительно.

Удивило другое — негры.

Кому, как не рабам, драться против рабства? И разве революция не есть избавление от рабства! Ах, любезный читатель, то была американская революция. Ее лидеры страшились негра с ружьем. Глупо? Да, если ты не плантатор-рабовладелец. Ну, а ежели и дед твой, и отец, и ты сам рубили головы чернокожим бунтарям и, отрубив, водружали на шесты или печные трубы судебного зала? Вот и летом семьдесят пятого года в Северной Каролине обнаружили заговор черных невольников. Многих вздернули, многим отрезали уши, всех поголовно клеймили каленым железом. А осенью того же года совет генералов континентальной армии запретил принимать под знамена черных. Континентальный конгресс не перечил, согласился.

Приходится признать гибкость противной стороны. Те, для кого изображение негра — ну, скажем, на фронте ливерпульской биржи — было символом обогащения, спешно изготавливали ярлыки: «Свободу рабам». И пришивали к алым мундирам британской пехоты; мундиры предназначались чернокожим. И те бежали, бежали к англичанам. О, стайеры, за одну-две недели они покрывали сотни миль.

А виргинскому плантатору, вежливому и серьезному джентльмену, командующему континентальной армией, потребовалось время, чтобы понять: успех зависит от того, кто быстрее вооружит негров!

Не так было во флоте. На бригае Джонса служили виргинские и южнокаролинские негры. Не все были рабами. А те, что были рабами, не были беглецами. Да-да, эти не бежали, этих отпустили хозяева, рассудив, что лучше уж с глаз долой, нежели дожидаться домашнего бунта. Нетрудно заключить — спроваживали опасный, так сказать, подрывной элемент. «Сыны Нептуна», задавая тон, держались с ними братски. Что же до пишущего эти строки, то он служил бок о бок с замечательным парнем по имени Криспас.

Криспас мрачнел, вспоминая житье в графстве Орэндж, в имении мистера Мэдисона. И озарялся улыбкой при раскате сигнального судового барабана. Там, в Виргинии, рабам позволяли играть на банджо, на любых ударных инструментах, а на барабане — никогда; барабанный бой — призыв к мятежу! И вот прозвучит судовой барабан — широкое лицо Криспаса озарится улыбкой.

Что правда, то правда, не пахло во флоте негрофобией. Так было и на палубе «Андреа Дориа» под командой смельчака и

добряка Бидлла. И на судах сурового Хопкинса, поколотившего англичан у Бермудских островов. И на фрегате капитана Уикса, который отвез во Францию полномочного представителя восставших колоний известного всем доктора Бенджамина Франклина. (Чертовски жаль, что «Ле Жантий» разминулась в Атлантике с фрегатом Уикса!) Так было и под парусами Пола Джонса. На «Провиденсе», а потом и на «Рейджерсе».

2

Месяц спустя после того, как бриг «Провиденс» оставил Мартинику и уже дважды ввязывался в бой с неприятелем, пишущий эти строки вызвался сопровождать старшего мичмана Барни Галафара.

Мичман отправлялся в Нью-Йорк, захваченный англичанами. Ни прежде, ни потом, любезный читатель, вашему покорному слуге не приходилось фланировать по Бродвею; однако Пол Джонс согласился отпустить пишущего эти строки отнюдь не ради утоления туристского любопытства, совершенно неуместного в военное время. Нет, Барни Галафару мог очень пригодиться человек, владеющий немецким, так как в оккупированном городе роилось множество германских наемников.

Минуло полторы недели, и обросшие щетиной «рыбаки» в грубой парусиновой робе и выдавших виды шляпах, обхитрив вражеские пикеты и проникнув на окраину Нью-Йорка, нашли приют у Маргариты Уэттен, хозяйки матросской харчевни «Золотой желудь»...

Но тут следует малость отгрести назад, дать шлюпке задний ход, иначе читателю невдомек, почему, зачем понадобилась опасная вылазка мичмана Барни.

Дело в том, что на бриге «Провиденс» состоялось краткое свидание старых, еще с ребячества приятелей: Пола Джонса и Уильяма Уэттена, шкипера шхуны «Стар».

Еще до войны Уэттен, как и Джонс, поселился в Америке. Прикопив деньжонок, обзавелся суденышком, а его жена получила в наследство харчевню «Золотой желудь». При встрече Джонс джентльменски осведомился, каково здоровье и благополучие миссис Маргариты. Вот тут-то шкипер и упомянул о нью-йоркской тюрьме Провост и транспорте «Джерси».

Положение пленных американцев было известно солдатам континентальной армии и морякам повстанческого флота. Но подробности, рассказанные Уэттенем, ужаснули Джонса. Прощаясь с Уэттенем, Пол попросил его черкнуть миссис Маргарите, дабы она приняла двух молодцов с брига «Провиденс». Шкипер, разумеется, не отказал.

А теперь пожалуйста в Нью-Йорк.

Овладев Нью-Йорком, генерал Хоу рекомендовал подчиненным: ведите себя, как подобает англичанам и хорошим солдатам. Его поняли правильно: плясали и драили амуницию белой глиной. Сам же генерал не подражал лорду Гею. Тридцать с лишним лет назад, когда у бельгийской деревушки сошлись, сверкая оружием, гвардейцы французские и гвардейцы английские, Гей крикнул голосом благородного дуэлянта: «Сударь, прикажите вашим людям стрелять!» На что высокородный лейтенант д'Отрош ответил: «Нет, сударь! Предоставляю эту честь вам». Красиво, но непрактично. Подавляя мятеж, генерал Хоу не аттестовал американцев иначе, как «проклятыми бунтовщиками», и не боялся замарать перчатки.

Четыре узилища завел он в Нью-Йорке, два на суше, два на воде. В тюрьме Провост содержали пленных офицеров Вашингтона; в заброшенной сахарной фабрике — солдат. А моряков — на транспортных судах «Джерси» и «Уилби». Худшей считалась «Джерси», поставленная на якоря у Лонг-Айленда.

Приютившая нас Маргарита Уэтген — темноглазая, быстрая в движениях женщина, повязанная белоснежным платком, уложенным на груди аккуратными складками, — миссис Маргарита и ее соседки, ее товарки поставляли заключенным провиант. Вернее сказать, кое-какую снедь: с продовольствием в городе было туго, цены кусались.

Майор, начальник тюрьмы Провост, хлыщ и сифилитик, пинал корзинки ногой; опрокинув, исследовал, нет ли чего недозванного. Обладая зоркостью досмотрщика, он обладал и юмором негодяя: подвластное заведение называл «конгрессом», хилого недотепу-мусорщика, прибивавшего во дворе, — «Вашингтоном», а женщин, приносящих передачи, — «сухопутными галерами», то есть шлюхами. Развлекался же остро слов-юморист следующим манером: увесистой связкой ключей шмякал заключенного то по лбу, то по темени и замирал, словно прислушиваясь, каков резонанс.

Двух мнений быть не может: эта гнида заслуживала пеньковой удавки, и мичман Барни, знаток морских узлов, спроворил бы сие в одну минуту, если бы не соблюдал сугубую осторожность. Не тюрьма Провост занимала все его помыслы, а «Джерси»: Пол Джонс намеревался освободить заключенных моряков и приказал изыскать возможности для этой операции, столь же благородной, сколь и трудноисполнимой.

Прячась за толстыми вязами и непролазным кустарником, мы разглядывали транспортное судно — старая грязная лохань. Широкая полоса воды отделяла ее от низкого песчаного берега Лонг-Айленда. Круглые сутки дежурные баркасы объезжали плавучую тюрьму. Ночью патрулировал еще и береговой наряд гессенцев.

Не забыть слитный стон из трюмов «Джерси» — стон раненых. Не забыть вой голодных, когда над люками, забран-

ными железными решетками, опрастывали мешки с пищевым довольствием — гнилыми яблоками. Не забыть зловоние, тяжело натекавшее с «Джерси», — запах заскорузлой человечины, гноящихся язв, испражнений. И не забыть эти береговые песчаные рвы, еженедельно смыкавшиеся над мертвецами. Одиннадцать тысяч легли в эти рвы, одиннадцать тысяч.

Подкупив стражу, женщины, случалось, проникали в плавучую домовину, кишевшую заразой, как чумной барак. Сопревший от гноя корпий заменяли свежим, стирали вшивое исподнее, выгребали нечистоты, обмывали трупы. Да и одним лишь своим присутствием бодрили изможденных людей, в глазах которых мерцало безумие. Среди тех горожанок, чей героизм выше батальных подвигов сильного пола, неизменно была и Маргарита Уэттен.

Мичман Барни не скрыл от нее свой план. То есть не то чтобы план, а намерение. Живые темные глаза миссис Маргариты вспыхнули так радостно-ярко, что все в комнате будто бы посветлело. Вспыхнули и померкли, она покачала головой и горестно вздохнула. Мичман Барни печально потупился. Э, он тоже не видел никакого просвета.

И вдруг словно бы что-то затеплилось.

Среди редких и случайных посетителей харчевни «Золотой желудь» был и посетитель регулярный — солдат в зеленом мундире, усатый и ражий, как и все здешнее гессенское воинство. Ведь владетельные князья раздробленной Германии продали англичанам тридцать тысяч своих верных подданных. Репутация у них была того же цвета, что и знамя, — черная: пленных вешали, женщин насиловали, фермы грабили. Немало гессенцев дислоцировалось в оккупированном Нью-Йорке, и потому, как уже говорилось, мичману-лазутчику мог пригодиться спутник, владеющий немецким.

Но — по порядку.

Началось с того, что мичман опознал в регулярном посетителе «Золотого желудка» одного из тех караульных, что после заката солнца вышагивали по низкому песчаному берегу Лонг-Айленда ради вящей охраны «Джерси». Но это опознание не стоило бы и грош, если бы Ганс Мюллер (так звали солдата) однажды не привел в харчевню соотечественника. Они пригубливали рюмочку ликера и торжественно салютовали друг другу клубами трубочного дыма. Молчуны! А потом Ганс Мюллер принялся объяснять однополчанину достоинства русской водки. Нетрудно было сообразить, что рыжий усач бывал в России.

На следующий вечер он опять заявился один, уселся в своем уголке, пригубливал рюмочку и курил трубку. Скажите, как поступили бы вы, любезный читатель? Вы устроились бы рядом и попытались вступить в беседу.

Не стану рассказывать о «подходах-заходах», произведен-

ных вокруг да около Ганса Мюллера. Скажу лишь, что была выдана весьма куца информация: герр Мюллер, ваш vis-a-vis, когда-то служил на гамбургских судах, плывал в Кронштадт, бывал в Петергофе и отдает должное русской водке. Этого оказалось достаточным, чтобы развязать не слишком поворотливый язык герра Мюллера.

Мало-помалу он выложил свою историю, сохраняя на грубом лице с резкими морщинами выражение деревянное и перемежая свое косноязычие долгими паузами, которые казались сизыми, ибо они тонули в клубах табачного дыма.

Он был из тех голштинцев, что служили Петру III. Когда Екатерина отправила незадачливого супруга к праотцам, решено было отправить его верных голштинцев к соотчикам. Голштинцы жалели о сытом житье в России. Россия, не жалея голштинцев, учинила им жестокие проходы: на траверзе Кронштадта буря разметала и разбила суда. Многих поглотил Финский залив, немногие, Ганс Мюллер в их числе, добрались до прибрежных валунов. Кронштадтская стража на берег не пустила. Сидючи на камнях, бедняги вопияли о помощи. Комендант крепости, исправный служака, ждал распоряжений высшего начальства, но вместе с тем комендант, ненавистник немецкого засилья, не жаждал распоряжений высшего начальства. Короче, уцелела горсть. Ганса приголубила кронштадтская молочница. С грехом пополам он вернулся в Голштинию, где у него не нашлось ни кола ни двора, и он мыкался, как шелудивый пес, пока не осенился черным знаменем...

Невеселая история. А все же вряд ли забрала бы за живое, не вообрази пишущий эти строки на месте Ганса нашенского Ивана: вспомните слухи о готовности русской монархини пособить русскими штыками английскому монарху; слухи, сильно огорчившие на Мартинике Федора Каржавина. Вот и вообразился теперь, в харчевне «Золотой желудь», на месте ражего голштинца малый рязанский или калужский.

Что сделал бы в подобном случае Каржавин? Ручаюсь, постарался бы втолковать земляку: негоже русскому мужику давить и душить здешних мужиков; ты спишь и видишь, как избавиться от бар, а они уже избавляются... Думаю, что и Ганса Мюллера, ландскнехта, он постарался бы пронять рассуждениями на сию тему. И, конечно, не преминул бы воспользоваться душистым презентом, имея в виду ящик, который миссис Маргарита третьего дня получила из-за линии фронта. Получила не для продажи, нет, для тайного и дарового распространения среди немецких наемников.

Именно так и сделал пишущий эти строки, наделенный полномочиями каржавинского alter ego, второго «я». И душистый презент пустил в ход; угощайтесь, герр Мюллер, угощайтесь. То был отличный товар виргинских плантаций:

плотная пачка табака. Ее обертку-бандероль испещрял типографский текст, колючие, как тернии, готические буквы.

Табак и прокламации — вот что получила из-за линии фронта Маргарита Уэттен. Прокламации конгресса, адресованные гессенцам. Обращение, напечатанное на табачных бандеролях: здесь, в Америке, вас ждут смерть или плен; останься вы живы, вас ждет ваш князь, чтобы продать в рабство новому хозяину, врагу человечества; идите к нам, получайте права свободных граждан(12).

Впервые невозмутимо-деревянное лицо Ганса Мюллера отразило гамму душевных движений — смятение, страх, растерянность, недоверие и, наконец, робкую надежду. Помедлив, голштинiec потянул к себе табачную пачку, потянул опасно и как бы прислушиваясь к ее шороху. И вдруг она молниеносно исчезла под полой его мундира, после чего объект пропаганды, не обронив ни слова, покинул харчевню «Золотой желудь».

Что сие значило? Отправился с доносом к офицеру, к полковому пастору или клюнул, призадумался? Бог весть. Но как бы там ни было, а больше уж он не появлялся в «Золотом желуде»...

День уходил за днем. Мичману Барни изменила обычная веселость. И обычный аппетит, отличительное свойство всех тогдашних мичманов, тоже. Он сознавал невозможность исполнить поручение командира, и его унижала предстоящая взбучка, неминуемость которой обещал нрав Пола Джонса, достаточно известный Барни Галафару.

Прямое нападение брига «Провиденс» исключалось — бесплодная гибель. Другое дело — принять на борт заключенных, сбежавших с «Джерси». Пол Джонс сумел бы крадучись миновать британскую эскадру и схорониться милях в семи от Нью-Йорка, в тех Адских воротах, где сшибались «спорные» течения и крутились душегубные воронки. Черт поberi, Пол Джоне был и на это способен. Да вот беда: мичман Барни был не способен изобрести что-либо подходящее для побега заключенных из трюмов трижды проклятой плавучей тюрьмы.

Ничего иного не оставалось, как только ждать нарочного или письменного извещения с брига «Провиденс» — куда подаваться, где найти своих.

Время текло сумеречно. Мичман коротал вечера за картами — играл сам с собою, сам себя пытаясь одурачить. Этим почтенным делом, сильно развивающим умственные способности, Барни был занят и в тот знаменательный вечер — ненастный, с проливным дождем и холодным, порывистым ветром. Хозяйка возилась у камелька. Пахло поджаренным кукурузным хлебом и кориичневым пойлом из жженных злаков, которое миссис Маргарита, смеясь, называла кофеим.

Было уже совсем поздно, когда в окошко постучали. Хозяйка ничуть не удивилась — лазутчики континентальной армии всегда находили пристанище в ее доме. Взяла лампу и пошла отворять. А мичман Барни насторожился: уж не гонец ли Пола Джонса?

Послышался шум тяжелых шагов, ввалилось четверо оборванцев, вымокших до нитки. Последним вошел... Ганс Мюллер.

Произошло следующее.

«Джерси» снабжали пресной водой сами заключенные. Под охраной двух солдат шли на баркасе к устью широкого ручья и там наполняли бочонки-анкерки, оставаясь в поле зрения вахтенных плавучей тюрьмы. Но в тот день, я говорил, дул сильный ветер, к тому же лил дождь, резко сокративший дальность видимости. Гребцы-водовозы не справились с порывами ветра, баркас унесло, «Джерси» скрылась из виду. Заключенные скопом напали на караульных, и разом удушили обоих. В несколько ударов весел (откуда только силы прихлынули) подогнали баркас к берегу, выпрыгнули и напоролись на верзилу стражника. Немец не успел глазом моргнуть, как дула мушкетов (наследие только что удушенных караульщиков) уперлись в его грудь. Немец воздел руки и вдруг, словно бы решившись на что-то, злобно сплюнул. У него отобрали ружье, он рассмеялся. Остается добавить, что дом миссис Маргариты знал один из беглецов, бывший до войны рулевым на шхуне мистера Уэттена. Да и Ганс Мюллер не сбился бы с дорожки, ведущей в харчевню «Золотой желудь», где он часто предавался сумрачным думам о судьбе солдата в России, в Германии, в Америке.

Миссис Маргарита накормила беглецов. Они обсушились. Но счастливыми не глядели — морок «Джерси» тяготел над ними, поимке, возвращению они, ни минуты не колеблясь, предпочли бы расстрел на месте.

За полночь — дождь и ветер не унимались — миссис Маргарита повела беглецов на какую-то ферму — оттуда начинался тайный маршрут к передовым позициям континентальной армии. Опасаться следовало не только конных разъездов и пеших пикетов, но и оседлых американцев — тех, что прибывали к дверям своих домов красную тряпицу, знак повинования британской короне...

О, с какой охотой и мичман Барни убрался бы из постылого Нью-Йорка! Ушел бы и, конечно, разминулся с гонцом Пола Джонса. Нет, жди у моря погоды. А дожидаясь, глядишь, и дождешься омаров¹: бегство пленных, исчезновение солдата-немца отзовутся повальными обысками.

¹ «Омарами» и «ростбифами» насмешливо называли английских пехотинцев, одетых в красные мундиры.

Спешу успокоить читателей, взволнованных участием Барни Галафара, — получив весточку от командира брига «Провиденс», он благополучно достиг аванпостов континентальной армии.

3

Годы спустя, в Москве, у Новикова... Да-да, в Москве — Новиков сменил Петербург на белокаменную, жил у Никольских ворот... Так вот, в кабинете издателя «Московских ведомостей» говорили об американской революции, говорили и о похождениях Пола Джонса. (Произносили: «Поль Жонес».) Храбрец занимал почетное место на газетном листе; известия о нем поступали из Парижа, Амстердама, Лондона. Приятно было слышать похвалы отважному командиру неуловимого брига.

Но теперь, приступая к рассказу о том, как Джоне громил неприятеля у берегов Англии, пригубливаю гаф-энд-гаф. Нет, не забористую смесь рома и водки, а с в о й гаф-энд-гаф: печаль пополам с горечью. Вижу сумрачную божедомку близ Лондона, в тихом Гринвиче. То была последняя стоянка ветеранов британского флота. Пахло нищетой, как в Сент-Джайлсе, беднейшем квартале богатейшей столицы. Колченогие и однорукие, изорванные железом и опаленные порохом, тугие на ухо от былого грохота или с черной наискось повязкой, прикрывающей пустую глазницу, старики божедомы, случалось, затягивали «Все отменно хорошо», и это тоже был гаф-энд-гаф: смесь мрачного юмора и забубенной бравады. Давным-давно их силком приволокли на корабли. Хватит бродяжничать, хватит бражничать — служи его величеству! Драли нещадно — «во имя Англии, домашнего очага и красоты». И в кандалы забивали, и под килем полоскали, и грозились вздернуть на рею, а там уж и рай недалече — вон они, Елисейские-то поля. В похлебке дрянь, в солонине черви? Не хнычь! В трюмах пачками мрут от болезней? Пустяки! Вбегай на ванты, как рысь. Выбирай якорь, как вол. Вылизывай палубу, как муравьед. И дерись с неприятелем, как леопард. А в судовом списке пометят: «с. м.» — «способный моряк»... Способные моряки, они были способны и на сочувствие воюющим за свободу. Пели песню, называлась «Обращение моряка»: будем справедливы и не станем посягать на восставших братьев. Но бил барабан боевую тревогу, но в рупор орал офицер: «Орудия к бою!» — и они дрались, как леопарды, со своими восставшими братьями... Вот почему, приступая к рассказу о подвигах экипажа Пола Джонса, пригубливаешь свой гаф-энд-гаф, смесь восторга и горечи.

Время было тяжкое. Повстанческий флот трещал под тараном британской эскадры. А Джонс вознамерился бить и

жечь неприятеля в его волчьих логовищах: по ту сторону Атлантического океана, близ берегов Англии, на выходах из гаваней, а коли подвернется удобный случай, то и в самих гаванях.

О, рейдерство на «Рейджерсе»! Бриги-сверстники, проданные на дрова, горели в каминах, пестрым огнем пылали эти обломки, пропитанные солью морей. Но «Рейджерс» молодцом держался на плаву. И держал на борту сто тридцать молодцов в коричневых куртках, в круглых черных шляпах.

Экипаж жаждал хмельного упоения мезью. Капитан больше всех. Ему, впрочем, присущ был и холодный расчет, не отменявший плутовского желания провести врага за нос.

Маскируясь под купца-увальня, бриг сближался с противником, не чуявшим ничего худого. Ни лорды Адмиралтейства, ни капитаны флота его величества не предполагали, конечно, что «проклятые бунтовщики» посмеют путаться в ногах Голиафа. По ту сторону океана «бунтовщики» еще барахтались — но здесь, у Британских островов? Этого не могло быть, потому что этого быть не должно. «Эй, на судне!» — громовым голосом окликал Пол Джонс и внезапно открывал огонь с короткой дистанции.

Но вот ему надоели суда, курсирующие у берегов. Пол решил на прорыв в порт Уайтхевен. Из чертовой дюжины морских офицеров дюжина сочла бы, что он спятил. И лишь сухопутные стратеги одобрили бы Джонса; во-первых, потому, что они ни в зуб ногой, во-вторых, потому, что получили бы награду за боевую активность.

В горле бухты возвышался мощный форт. Огнем тяжелых орудий он перекрыл бы фарватер прежде, чем Пол успел бы ворваться в порт. Но, положим, ворвался — а потом? Потом надо было бы уносить ноги. Да ведь береговая артиллерия пустила бы ко дну старый бриг. Если бы бриг не потопили еще на уайтхевенской акватории. Да, дюжина морских офицеров выразительно постучала бы пальцем по лбу. Отрицал бы сумасшествие один — сам Пол.

Смелость города берет? Смелость внезапности. Плюс трезвый расчет. Легко сказать! Исключишь ли случайность, коли зависишь от направления и силы ветров? От ветров, определяющих длину и краткость галсов лавирования. Э, галсы! Бой был на носу, вот что, дорогой читатель.

На английских кораблях священник в канун боя служил молебен и отпускал грехи каждому моряку в отдельности. На «Рейджерсе» грехи чохом отпускал первый после бога. Что до молитвы, то Пол Джонс обращался не к всевышнему, а к тому, кого он величал Всенижним, — старцу с острогой-трезубцем, седому Нептуну.

Пол выходил на палубу парадно — в темно-синем мундире с белыми лацканами и золотым эполетом на правом плече,

тринадцать звездочек усеивали золотой эполет, тринадцать, по числу восставших провинций Северной Америки. Парадность, отменяя залихватский колпак, водружала на капитана треуголку с черной кокардой. Джентльменские бриджи, чулки и башмаки довершали наряд. Ну хорошо, выходил он, осторожно неся в руке полнехонькую кружку. Выплеснув пунш за борт, говорил кратко: «Это — тебе!» И, сняв треуголку, отдавал поклон богу морей. Язычник! И в ту же минуту боцман провозглашал: «А это — вам, сэр», и подносил «штормовую чашу» толстого фарфора.

Было уже совсем темно, когда наш бриг, поставив малые паруса, взял курс на Уайтхевен. А оттуда, с суши, стеною двинулась ледяная перемесь дождя и снега. С каждым кабельтовым слитный рокот моря все отчетливее распадался на мокрые хлопки и влажное рычание — волны роились в скалах.

Миная форт, никто, кажется, уже и не дышал. Там и сям пылали факелы: береговые пушки — в готовности. Факелы указывали, где они. Джонс приказал спустить баркасы. Травили помаленьку, баркасы едва слышно коснулись воды.

«Пошел по шлюпкам!» — и каждый отрешается от корабля, от его домашней надежности. Потом стремительный бросок сквозь тьму, дождь, ветер, брызги, фатальное движение на скалы, на форт, на пушки. Счет идет на мгновения... нет, какой там счет!.. Схватка без выстрела — рукопашная. Вяжут часовых, заклепывают пушки. Потом, спотыкаясь и задыхаясь, десантники бегут к баркасам, бегут сквозь тьму, дождь, снег, ветер. На бегу им чудится, будто все уже совершилось, и, лишь взлетев на палубу, они сознают, что главное еще не произошло.

Главное началось, едва «Рейджерс» пальнул брандсугелями в английский фрегат, — ядра, начиненные зажигательной смесью, зловеще присвистнули всеми своими скважинами. Грохот крьюит-камеры фрегата разорвал ночь надвое, огненный столп осветил вражеские корабли.

Англичане сыграли боевую тревогу... Ха, «сыграли!» То не была грозно-отрывистая и грозно-перекатная дробь с тяжелым пришаркиванием, напоминающая поступь железной когорты, идущей к победе или к смерти. То был заполошный бой; видать, у барабанщиков клацали зубы, а барабанные палочки отплясывали пляску святого Витта.

«Рейджерс», лавируя, палил брандсугелями; треща и стелая, английские корабли разгорались все пуще. Англичане рубили якорные канаты и, пытаясь увернуться от сатаны под флагом «проклятых бунтовщиков», наваливались в тесноте друг на друга, тем самым увеличивая и без того гигантский костер.

Корабли пылали. Но береговая артиллерия уже оправилась от паралича. И, хотя прицельная стрельба по «Рейджерсу»

была почти невозможна, Пол Джонс круто осадил на всем скаку — баста! Бриг лег на обратный курс. Выстрелы сторожевого форта прозвучали салютом триумфатору, исчезающему в предрассветном море...

Озирая одиссею капитана Джонса, полагаю, что уайтхевенский погром более всего иного упрочил британскую аттестацию Пола: пират, негодяй, мошенник, авантюрист. Адмиралтейские лорды не утолили бы свою ярость, даже если бы трижды вздернули его за ноги. Ненависть не остыла и годы спустя.

Пора, однако, возвратиться к Каржавину. Благо есть оказия — Джонс шлет в Америку один из трофейных кораблей, груженный трофейными бочонками с порохом. Упустишь ли такую оказию? Ведь Каржавин из Сен-Пьера, что на Мартинике, ушел в Хэмптон, что на берегу виргинской реки Джеймс.

Глава шестая

1

«Тейтс» и «Ле Жантий» лежали в дрейфе. С фрегата наблюдали, как туман скрадывает бригантину, а с бригантини наблюдали, как туман дожевывает фрегат. При этом, однако, моряки испытывали чувства совершенно несхожие: на фрегате — весело-победительное, на бригантине — мрачно-напряженное.

Прицельным огнем англичане заставили бригантину лечь в дрейф. Бригантина была почти уже пленницей фрегата. Баркас с вооруженной командой приближался к «Ле Жантий». Развиднеется, и «Тейтс» преспокойно уведет приз на Бермудские острова.

В судовых документах значились вино, патока, соль. Ни вина, ни патоки, ни соли не было. В судовых документах не значились оружие и боевые припасы. Оружие и боевые припасы были. Генеральный директор торгового дома «Родриго Горталес» г-н Дюран, он же Пьер Огюстен Бомарше, надеялся и верил, что г-н Лами, он же Федор Каржавин, привезет этот груз солдатам повстанческой армии. И вот рядом, совсем рядом Чезапикский залив; в залив впадает Джеймс-ривер; на ее берегу — виргинский порт Хэмптон, а там уж недалек и Вильямсберг.

Под скулой Каржавина багровел флибустьерский шрам. Угромо каменело львиное лицо капитана Фремона. Не выручит ли туман, извечный враг мореходов? И неужто онемел боевой галльский петушок? Тот звонкий крикун, что на кораблях Франции предвещает победу.

Круглые шляпы выдергивались из серо-сизой гущи тумана, в следующий миг, будто вдогонку за шляпами, возникали головы, туловища, ноги — английские матросы, перемахнув фальшборт, устремлялись на палубу «Ле Жантий» — сдавайте оружие! Но англичанам клешнили глотки, англичан вязали, как снопы, и швыряли, как кули, — все это молча, быстро, спора, безостановочно... А потом, пальнув из носовой пушки, капитан Фремон обманно известил невидимый в тумане «Тейтс»: призовая команда исполнила свое назначение.

Фрегат его величества нежился в дрейфе, дожидаясь, когда туман рассеется. Дождался. И небеса дрогнули от яростного вопля: бригантина успела скрыться!!!

Чертовски жаль, но все это не пришлось увидеть своими глазами: бриг, посланный Полом Джонсом, прибыл в Хэмптон позже бригантины «Ле Жантий». Что ж, надо было спешить в Вильямсберг. Спешить, радуясь встрече с Каржавиным.

2

Вильямсберг хранил черты европейской архитектуры — расписные фронтоны, окна с тускло-свинцовыми переплетами, выступающие вперед верхние этажи. Но во всем его облике примечался, чувствовался напор богатеющих семейств. Коренных, виргинских. Тех, что на заре семнадцатого века сошли с английских кораблей. Тех, что взялись за разведение табака. Вот уж где, в Виргинии, наше минорное «дело табак» звучало мажорно. И звоном гиней, и звуком поцелуев, и негритянской переключкой солиста и хора — ритмической песней табачных плантаций.

Табак! Женщин привозит британское судно в Чезапикский залив — оплатил табаком доставку, и любую веди под венец. Голландский фрегат привозит чернокожих — выкладывая табак, и любого веди под ярмо. А спасеньем души озабочен священник, оплаченный паствой, — шестнадцать тысяч фунтов табаку ежегодно.

От болот, льнущих к океану, меж холмов, по равнинам ложатся дороги. Не гужевые, а п е р е к а т н ы е. Так и говорили: «перекатная дорога»... Под навесами плантаций табачные листья плотнее плотного прессуют в огромные бочки; в середку вставляют длинный и толстый шест, чтобы концы-рукоятки торчали, а потом накрепко, наглухо закупоривают эти огромные бочки. И — в путь: кати, налегая, кати перекатной дорогой к реке Джеймс, к Чезапикскому заливу, на сходни заокеанских кораблей.

Белизну цветущих плантаций, поместья, похожие издали то на чайку, севшую на волны, то на задремавшее облачко, увидим потом, когда и Виргиния станет театром военных дей-

ствий. А покамест были белые снега и тихий иней, изукрашивший городок.

Палочкой-выручалочкой служили в ту пору рекомендательные письма. Хорошая штука! Не найдя Каржавина, поселяешься у вдовы старшего брата Пола Джонса, первоклассного портного, некогда обшивавшего окрестных джентльменов.

Миссис Джонс жила в собственном доме, позади таверны Рейли. Была миссис Джонс не совсем стара и совсем не дурна; казалась незабудкой, правда из гербария. Она приняла гостя холодно. Но лет тронулся, едва тот объявил, что располагает средствами — честными деньгами из призовых сумм доблестного экипажа ее деверя. Миссис Джонс живо осведомилась, какими именно деньгами, уж не бумажными ли? Вопрос свидетельствовал о недостатке патриотизма и об избытке практицизма.

Бумажный вихрь, запущенный Континентальным конгрессом, день ото дня обесценивался. Рассказывали про филадельфийского штукаря: обклеил банкнотами здоровенного бульдога и шляется, потешая публику, по Маркет-стрит. Утверждали, за воз таких денег не купишь воз провианта. Так что вопрос, заданный вдовой, не был праздным. И он не повис в воздухе: ее слух празднично усладило солидное бряканье серебряных нидерландских гульденов, золотых испанских дублонов, французских луидоров.

Житье у вдовы не представляет интереса. Отмечу, однако, превосходное качество ветчины, изготовленной миссис Джонс.

Не вдовой и не ветчиной примечательно пребывание в Вильямсберге. Знакомства! В том числе сразу с двумя будущими президентами Соединенных Штатов. Оба были яркими личностями. А яркость свойственна не каждому президенту. Не говоря уже о вице-президентах.

Итак, знакомства. Но не ради самих по себе и, конечно, не ради будущих мемуаров, о них и не помышлял. Сдерживая все возрастающую тревогу, пытался разузнать, куда запропал Неунывающий Теодор. Странно: городок небольшой, всё как на ладони, а его нет да нет, хотя еще совсем недавно он проводил вечера в таверне Рейли.

Дом вдовы Джонс, как уже говорилось, находился позади таверны Рейли. Эта топографическая подробность приведена не ради яств и спиртного, хотя формула любой эпохи включает и то, что люди едят (или не едят), и то, что они пьют. Нет, сейчас речь о другом. Именно там можно было встретить людей, осведомленных об участии мистера Лами.

Завидуешь тем, кто парит в исторических фантазиях. Вольным сынам эфира нет дела до вопросов социальных, политических, экономических, а ты обязан, черт возьми! Сейчас бы во весь опор в приключения, пусть и злоклучения. Но нет,

нельзя пренебречь атмосферой, которой дышал Неунывающий Теодор.

Помню, возвратившись из Америки, затесался однажды в почтенную компанию. Рассуждали об американской демократии. Один из присутствующих сердито заметил: «Не знаю ничего досаднее похвал, расточаемых младенцу. Дайте же ему вырасти!» Но в пору, о которой речь, младенец еще был младенцем. Свечи таверны Рейли озаряли его колыбель.

До войны немногие джентльмены были завсегдастями этого заведения. Наезжали в городок и, обсудив административные дела виргинской колонии, возвращались, не задерживаясь, в свои поместья, в свои графства, по-русски сказать — уезды. А постоянный житель Вильямсберга если и убивал вечерок-другой в этом зале, то большей частью в толках о коммерции или пересудах сугубо местного значения. Но вот началась революция, и таверна стала политическим клубом.

Нетрудно представить Каржавина у камина в виндзорском кресле. Как ему не ликовать, если он слышит об отмене майоратов и секвестре британской собственности, о статуте религиозной свободы и всеобщем бесплатном образовании, об изменении кровавого законодательства и запрещении ввоза африканских рабов! Как не ликовать, если он слышит — народный суверенитет, равенство, право на счастье и право на революцию!

Нетрудно вообразить, какими глазами смотрел Каржавин на высокого, худощавого, чуть сутуловатого джентльмена, соединявшего сдержанность чувств с решительностью своих речей.

В Вильямсберге у него еще до войны была юридическая практика. Он библиофил, читающий по-французски и итальянски, и меломан, играющий на скрипке. Он крепок физически, ежедневно обливается студеной водой и прогуливается верхом. «Удивительно, как много можно сделать, если работать постоянно», — говорит он и работает методически. Его идеал — благоденствие фермера: только дело землепашца вселяет в сердце чувство достоинства, дух республиканский.

Он уже «пребывал в истории», этот джентльмен по имени Томас Джефферсон. Депутатом конгресса от Виргинии ездил в Филадельфию. Там, запершись в крохотной комнатенке, нанятой у каменщика, написал «Декларацию независимости».

Другой будущий президент Соединенных Штатов тоже не избегал таверны Рейли: лицо замкнутое, изможденное, хмурое; поговаривали, что Джеймс Мэдисон подвержен падучей. «Виргиния — моя страна!» — непреклонно, словно девиз, произносил он. И точно, е г о: с середины семнадцатого века Мэдисоны были здешними латифундистами. Ему не откажешь в образованности: знаток латыни и греческого, изощренный правовед. И не откажешь в осмотрительности: мис-

тер Мэдисон ночей не спал, опасаясь, как бы негры не польстились на посулы красных мундиров — ступайте к нам, и мы, победив «проклятых бунтовщиков», одарим вас свободой... Мэдисону предстояла долгая политическая карьера, он был мастером компромиссов, зигзагов; изменял вчерашним друзьям и заключал сделки с вчерашними недругами. Но в годину войны с британским деспотизмом он занимал должность члена Исполнительного совета Виргинии и полковника виргинской милиции, был сподвижником Джефферсона.

И все же не хочется думать, что мой Федор питал равновеликую симпатию к обоим будущим президентам. Почему? В чем причина? Всякий раз, когда в зале таверны появлялся Мэдисон, мерещился мне негр Криспас, отвагу которого так ценил Пол Джонс. Криспас был рабом этого Мэдисона, рабом, отпущенным в числе других виргинских негров во флот. Криспас всегда с ненавистью произносил имя своего хозяина...

Джефферсон и Мэдисон должны были знать, куда девался мистер Лами. Но спросишь и услышишь: «Сэр, мне это совершенно неизвестно», — ответит первый, сохраняя на своем лице выражение благожелательной внимательности; а второй, не разжимая губ, поднимет глаза к небесам, отсылая тебя к господу богу. Не доверяли! Дело, значит, было серьезное. И точно тревога: где Федор, что Федор?

Тревогу мог бы рассеять Карло Беллини, профессор здешнего колледжа. (Скорблю об утрате его миниатюрного портрета — пропал вместе с прочим скарбом в день светопреставления на Мартинике, о котором расскажу позже.) Да, Беллини мог бы рассеять тревогу, если бы он хоть о чем-либо догадывался. Теодор часто бывал у профессора, да вдруг исчез.

Милейший, отзывчивый Карло! Его тосканские глаза ласково пронизали мою тоскующую душу. Миссис Беллини приглашала:

— Посещайте нашу лачугу, бекон и грог всегда найдутся.

И душа согревалась во флигеле колледжа Уильяма и Мэри. Приветливость четы Беллини скрашивала зимние вечера.

В один из тех вечеров на пороге гостиной возник Неунывающий Теодор. Он улыбался усталой и, пожалуй, горделивой улыбкой, как улыбается человек, честно исполнивший свой долг.

Выслушав его рассказ, мы с Карло Беллини сочли, что Теодор имел право на эту улыбку.

Каржавин оставил Вильямсберг на караковом жеребце виргинского происхождения: завод г-на Вашингтона. Главком континентальной армии. находился далеко на севере, знать не

знал никакого мистера Лами, караковым снабдил его Джефферсон. И секретным пакетом, зашитым в армейское седло, по обеим сторонам которого грозно темнели кобуры с седельными пистолетами — тяжелыми, крупнокалиберными.

Когда-то в Париже, на Вьей-дю-Тампль, советовали мсье Лами рекомендоваться коммерсантом. Он так и поступал. Теперь предстояло дело в прямом смысле торговое.

Фирма «Родриго Горталес», поставляя оружие и снаряжение континентальной армии, на денежное возмещение не рассчитывала. Рассчитывала на обратные поставки товарами; эти обратные поставки следовало в какой-то мере «утрясти» коммерсанту, вооруженному седельными пистолетами. Особых надежд на быстрое, а тем паче полное возмещение затрат фирмы он не возлагал. И, правду сказать, не убивался по сему поводу. Да, Пьер Огюстен Бомарше, несмотря на королевскую субсидию, несмотря на доброхотные взносы французов, мог вылететь в трубу. Но если речь идет о свободе, ставь на карту все.

Вряд ли Джефферсона занимали дела французского торгового дома. Он, вероятно, и вовсе не был осведомлен о его существовании. Он, вероятно, услышал о нем много позже, когда представлял во Франции Соединенные Штаты(13). Да и то сказать, хватало забот своих, виргинских. Вот частности: очень досаждало отсутствие надежной связи с конгрессом, со ставкой главнокомандующего. Понадобилось два-три года, прежде чем он учредил конную эстафету. И Джефферсон, сказали бы теперь, заагентурил Лами.

Давнее поручение Бомарше, вчерашнее поручение Джефферсона, разжимаясь, подобно пружинам, подвигали Каржавина на риск странствия с юга на север, по восточным землям Нового Света, прилегающим к Атлантике. Но была и третья пружина. Она не зависела ни от Бомарше, ни от Джефферсона. А если и была поручением, то заданным самому себе. Очевидец — это ты и время. Ты во времени — это судьба. Первое предполагает созерцательность; в натуре Каржавина она почти отсутствовала. Второе предполагает энергию действия в единстве с энергией мысли: это единство было натурой Каржавина.

Размышляя о пугачевцах, Каржавин находил, что они поглощены были мщением. Какую новину они подняли бы на развалинах империи?.. Думал Каржавин и о пиратских сообществах, о тех, что некогда возникали в антильских широтах. Пиратские республики Федор соотносил с Запорожской Сечью. Ни пираты, ни казаки не были разбойниками ради кровушки, а были весьма рассудительными удальцами. Но как бы они жили в мирных, небоевых обстоятельствах?.. Здесь, в Америке, зеленело древо свободы. Надо было каждый листок разглядеть российскими, то есть острыми и примечательными, глазами. (Это его слова, не раз повторенные.)

Итак, Каржавин пустился в путь, повитый метелями, озаренный холодным солнцем. Солнце и снег вскоре сыграли с ним скверную шутку. А поначалу все было в отраду — пахло родиной.

Краткий отдых находил он у фермеров.

Нашенское «мужики» вроде бы и не применишь к американцам, да ведь кто же они были, эти люди в кожаных жилетках и грубых башмаках?.. Мужики на фермах готовили к бою длинноствольные охотничьи ружья; бабы, жертвуя добром высокой стоимости — оловянной утварью, — плавили ее, изготавливали пули. Горожанину Каржавину Федору, чуждому пасторальности, деревенские эти люди пришлись по нраву — они полны были решимости драться за свободу.

Передохнув на фермах, Каржавин пришпоривал иноходца, обгонял дилижансы. О да, «в те времена на дорогах скрипели еще дилижансы», как романтично оповещал поэт, рифмуя «дилижансы» и «романсы». Идиллия? Поколотись-ка на дубовой скамейке хотя бы десяток миль, взвоешь. Запряженные четверкой, экипажи вмещали четырнадцать пассажиров; набивалось дюжины две. Позади — как на буксире — подпрыгивала и переваливалась багажная повозка. Приближаясь к почтовой станции, кучер трубил в рог, звук был долог и чист, и, словно бы в ответ, в окнах станции мигали масляные лампы.

Почтовые станции были тогда и гостиницами. Расположись в одной из верхних комнат с камельком и постелью, а потом спустись в зал с общим столом. Прислугу не держат, управишься сам, нагружая деревянные блюда овсянкой с горохом или пудингом, сильно отдающим ромом. Дадут и ром, сильно отдающий пудингом. В зале увидишь квакеров: коричневые кафтаны расстегнуты, и это не небрежность, а символ открытости, откровенности — ни камня за пазухой, ни задних мыслей; все они ужинают, не снимая серых шляп с широкими полями — и это тоже символ — независимости, равенства с любым живущим, они и в церкви-то не обнажают голову; увидишь армейских офицеров, совсем не спесивых, напротив, общительных; тут и бродячий жестянщик, его ослик отдыхает на конюшне; и бритый пастор; и сельский торговец в скромном манчестерском вельвете; и детишки, уписывающие за обе щеки, норовя незаметно обтереть ладошки о свои толстые суконные панталоны.

А в городках с вязами и ратушами, с кофейнями играли в карты и кости! О, не всех, отнюдь не всех американцев поглощали перипетии революции. Загляни в кофейни — вот они, провинциальные джентльмены, коим решительно безразлично, срывать ли банк под скипетром короля или под звездным флагом. Правда, дамы не столь равнодушны к войне за независимость: корсеты вздоржали чудовищно, пара перчаток

влетает в шесть долларов, простая юбка в мирное время стоила пятнадцать шиллингов, а теперь дерут пятнадцать фунтов.

Минуя городки-лилипуты, виргинский гонец спешил к берегам Делавера — триста с лишним миль от Вильямсберга.

Берега реки Делавер низменные, плоские, но Филадельфия на берегу высоком, террасами. Маркет-стрит и Брод-стрит щеголяют строениями купеческими, из черного и красного кирпича. А в кривизне улочек дома насуплены, как с похмелья. Федора обрадовала бойкость многочисленных мастерских — город искусных ремесленников, уважительно заключил Каржавин.

Он взял комнату в «Приюте трех моряков». Едва развиделось, подался к Дворцу независимости. Здание в два этажа, башенка со шпилем и часами. Дворец? Баженов, наверное, не согласился бы, подумалось Федору, но величие в том, что прежде был тут клуб филадельфийских плотников, и это они, плотники, заставили богачей собирать депутатов конгресса в своем общественном доме.

В июле семьдесят шестого там приняли «Декларацию независимости». Написал Джефферсон, первым из виргинских депутатов подписал его учитель Джордж Уайз, юрист. Он тоже наведывался в таверну Рейли — лет сорока — сорока пяти, но молодежавый и бодрый. Каржавин еще до отъезда из Вильямсберга стал на короткую ногу с этим республиканцем.

Так вот, холодным и пасмурным утром Федор долго смотрел на Дворец независимости. Вероятно, он разглядел бы и внешнюю привлекательность этого здания — никакой вычурности. Да, разглядел бы, если бы мысли его не текли в стороне от архитектурных стилей.

Нет, Каржавин не сравнивал, не сопоставлял великую «Декларацию» с екатерининским «Наказом» депутатам законодательной комиссии. Не сравнивал, нет, а было ему, россиянину, обидно и горько — самодержица попросту рассеяла депутатов, промолвив на прощание: «Пока новые законы поспеют, будем жить, как отцы наши жили». И шабаш, никто и не пискнул. А здесь, в бунтующих штатах, не желали жить, как отцы и деды, здесь отвергли власть монарха. Отвергли силой оружия!

В этот же день гонец из Виргинии отыскал уроженца Виргинии, имя которого гремело по обе стороны океана.

Оставив армию на зимних биваках, главнокомандующий несколько недель находился здесь, в Филадельфии. В честь Вашингтона давали ужины и задавали балы. Генерал исправно ел и исправно танцевал. Он был любезен с дамами и вежлив с мужчинами. Его любезность не шла дальше любезностей — он не испытывал ни малейшей склонности к флирту. Его вежливость не шла дальше банальностей — он сдерживал гнев.

В тот вечер его ждал очередной ужин в respectableм

особняке на Маркет-стрит. Генерал вышел из экипажа в сопровождении майора артиллерии, лицо которого показалось Каржавину знакомым. Но он взглянул на офицера мельком — во все глаза смотрел на главнокомандующего армией революции. А Вашингтон, мельком взглянув на всадника, любовался караковым иноходцем.

Каржавин спешил и снял шляпу.

— Пакет из Вильямсберга, сэр!

— Ваше имя, сэр?

— Теодор Лами, негодяй.

— Позвольте, мсье Лами, свидетельствовать почтение, — по-французски сказал артиллерийский офицер.

— Ба! Так это вы? — обрадовался Каржавин.

Майор рассмеялся.

Владелец особняка проводил гостей в кабинет. Вашингтон углубился в чтение письма Джефферсона. Каржавин и артиллерист, не решаясь беспокоить главнокомандующего, молчали, сгорая от нетерпения развязать языки.

Они уже поиграли, как брелоком, медальоном с изображением Юпитера-Странноприимца, опознавательным знаком сотрудников Бомарше, и словно бы воочию увидели и бригадину «Ле Жантий», и львиную физиономию славного капитана Фремона, и кают-компанию, где все они — был еще Джон Роуз, — рассуждая об осаде Нью-Йорка, единогласно решили, что отряды Вашингтона опрокинут королевскую рать. О, теперь уж они ясно сознавали — победа за горами за долами; каждого, кто поднял оружие на тиранию, ждут жестокие испытания. И не только под ядрами...

Четверть века назад генерал, хмуро читающий сейчас письмо из Вильямсберга, был молоденьким командиром батальона виргинской милиции и сражался с французами, тогдашними соперниками англичан в Америке; рапортуя об успехе губернатору Виргинии, бравый батальонный ликовал: «Я слышал свист ядер; в этом звуке есть что-то восхитительное». В депеше, отправленной в Лондон, губернатор горделиво цитировал его рапорт. Король Георг ухмыльнулся: «Он не говорил бы так, если бы слышал эти звуки чаще...» Кто-то однажды напомнил Вашингтону давнюю браваду, генерал в сердцах буркнул: «Если я так и выразился, то лишь потому, что был очень молод».

На его твердых, гладко выбритых щеках обозначились тяжелые складки. Он дочитал письмо, поднялся во весь свой громадный рост.

— Мистер Джефферсон трижды прав: в тылу слишком много негодяев. Наживаться на страданиях армии! В каждом штабе следовало бы вздернуть хотя бы одного спекулянта.

Вашингтон прошелся по кабинету. Остановившись у стола, прижал кулаком конторскую книгу.

— Здесь золото нашего гостеприимного хозяина. — Он

пристально взглянул на Лами. — Не желаете ли и вы получить подряд, сударь?

Чертовски хотелось щелкнуть генерала по носу: речь вовсе не о наживе; нет, о поддержке торгового дома г-на Дюрана. Но Каржавин ограничился намеками: французские друзья американской свободы нуждаются в помощи американцев едва ли не столько же, сколько последние нуждаются в помощи первых. Таковы обстоятельства, ваше превосходительство.

Вашингтон удивился. Он, вероятно, не имел ни малейшего представления о фирме на Вьей дю Тампль, а, полагаясь на заверения конгрессменов, считал, что все французские поставки — дар короля Людовика. Каржавин, догадываясь об этом, сказал веско:

— Только манна небесная была ниспослана в дар, ваше превосходительство.

И Вашингтон заговорил о взаимовыгодной торговле. Примером привел собственный опыт: прекрасную пшеницу, выращенную в Виргинии, он сбывал в Вест-Индию; продлись мирное время, сбывал бы и лошадей со своего конного завода.

Коммерческое вдохновение главкома показалось Каржавину смешным: «Меркурий с голубой лентой».

Вашингтон между тем говорил об инфляции, об остром недостатке звонкой монеты, об ассигнованиях на армию — в прошлом году конгресс отпустил двадцать три миллиона, ныне урезал вдвое.

— А сейчас, — мрачно заключил Вашингтон, — сейчас, когда здесь музицируют и я собираюсь расточать комплименты миссис Уиллинг и миссис Моррис, на зимних квартирах нашей армии... Там, мистер Лами, и сейчас немногим сноснее, нежели в прошлом году в лагере Валли-Фордж. А Валли-Фордж это... — он угрюмо оборвал самого себя: — Словом, приходится танцевать, джентльмены.

— Осмелюсь просить... — остановил Вашингтона Каржавин, — единственная просьба: хочу помочь вот этим. — И он простер руки.

— Мсье Лами жаждет обнять Смуглую Бетси, — пылко вступился майор артиллерии. — Клянусь, его объятия будут крепкими.

Вашингтон улыбнулся.

— Майор все устроит. — И, коротко кивнув, главнокомандующий удалился.

Любезный читатель, может быть, не забыл, что в день отплытия «Ле Жантий» из Гавра на борт бригантины взошли двое молодых людей. Один, похожий на немца, назвался Джоном Роузом. Другой был дез Эпинье, племянник Бомарше. Теперь, в Филадельфии, майор дез Эпинье принимал партию пороха из пакгаузов Уиллинга и Морриса.

Майор предложил Каржавину провести вечер в отеле:

— Я познакомлю вас с моим славным товарищем графом Сегюром. Надеюсь, он вам понравится.

Отель «Тронтин» считался как бы вотчиной французов, посещавших Филадельфию: опрятность и тишина, вышколенная прислуга, мебель красного дерева, серебро столовых приборов.

Фешенебельность отеля определила прохладную сдержанность, с какой мсье Лами отдал поклон графу Сегюру. Тот, напротив, был сама любезность.

Каржавину и невдомек было, что годы спустя именно этот человек вызовет Пола Джонса из петербургской ловушки. Но Сегюр и теперь заслуживал благорасположения Каржавина. Не своей принадлежностью к разряду «очаровательных французов»: обаятельная улыбка, живой блеск больших темно-карих глаз. Нет, не внешность его сиятельства развеяла холодность Неунывающего Теодора: Луи-Филипп Сегюр и он, Каржавин, находились в одном стане.

«Ле Жантий», корабль, снаряженный Бомарше, ушел из Франции осенью семьдесят шестого. Весной семьдесят седьмого снялся с якоря «Виктуар», снаряженный Лафайетом. Маркиз уверял: «Это последняя война за свободу. В случае несчастья не останетя больше никакой надежды». Заявление, положим, скоропалительное, но сорок молодых людей разделяли мнение столь же молодого маркиза — да здравствует война за свободу! И все, как и Лафайет, сознавали — шипов достанется больше, чем лепестков роз. Но они, смеясь, скандировали его девиз: «Отчего бы и нет?» Луи-Филипп Сегюр был на борту «Виктуар».

Французы соглашались служить без жалованья, чем сразу и заслужили признательность конгрессменов. Последовало распоряжение назначить Лафайета начальником «военного семейства» — так генералы континентальной армии называли штаб главнокомандующего. Двадцатилетний «отец семейства»? Щекотливо! А ежели уж быть до конца откровенным, то надо отметить — на первых порах Вашингтон весьма не благоволил вновь прибывшим: «Все они — голодные авантюристы».

Сказывалось, очевидно, недоверие к традиционному сопернику: он с французами-то воевал еще в пятидесятых годах, командуя батальоном виргинцев. Что ж до «авантюризма», то можно бы и помягче: желание славы. Впоследствии Вашингтон высоко оценил французских сподвижников. В том числе и маркиза Сен-Симона. Да, любезный читатель, будущий автор «Промышленной системы», великий утопист Сен-Симон тоже сражался за свободу Америки, участвовал в крупных сражениях и был не однажды ранен.

Итак, генерал Вашингтон отдал им должное. Но плантатор Вашингтон не упускал из виду столь жесткие понятия, как «конкурент» и «конкуренция». И потому: виват прекрасной

Франции, спасающей нас оружием; нет Франции, желающей осенить Америку белым знаменем с бурбонскими лилиями.

А эти двое — дез Эпинье и граф Сегюр, подливающий превосходный пунш в бокал мсье Лами, — эти двое, сдается, были сильно задеты отношением Вашингтона к начальнику своего штаба. Э, слуга покорный, не одни лишь материальные нужды санкюлотов погнажи его превосходительство в Филадельфию(14).

Дело было такое. Коль скоро Франция признала независимость Соединенных Штатов и подписала союзный договор, следовало ожидать подмогу не только на море, а и на суше. У Лафайета возник план — объединенными силами континентальной армии и французского корпуса двинуться в Канаду и там, в Канаде, разгромить англичан. Этот проект он представил конгрессу. Вашингтон содрогнулся. Как! Американцы своей жизнью, своей кровью положат к ногам Людовика Канаду? Вашингтон ринулся в Филадельфию. Он говорил конгрессменам о бедствиях армии, но с еще большим напором ниспровергал замысел Лафайета, чем, между нами сказать, давал маркизу веский повод повторять: я, Лафайет, больше чувствую себя на войне, находясь в американском лагере, нежели приближаясь к английским боевым порядкам.

Каржавин не винил ни Лафайета, ни Сегюра и Эпинье во «французском своекорыстии». Правда, годы спустя граф и в Зимнем и в Гатчине представлял, так сказать, французский эгоизм, однако в ту пору Сегюр честно ратовал за независимость восставших колоний. Но, как ни прискорбно, сотрапезников, ужинавших в фешенебельном отеле «Тронтин», не сочтешь великими полководцами.

Вашингтон мыслил здраво. Не только стратегически — в точном, военном значении слова. Он и на «стратегию» тыла смотрел без розовых очков: цинизм казнокрадов и наглая роскошь выскочек; бизнес в политике и аполитичность бизнеса; распри джентльменов, заседавших во Дворце независимости: война требует единства, а конгрессмены превыше прочего ставят выгоды своего штата. Между тем положение армии, положение страны роковое.

На сей счет Сегюр и дез Эпинье думали так же. И потому голос майора артиллерии был грустен, когда он говорил Каржавину о неиссякаемом энтузиазме своего дядюшки. Обещания обратных поставок не исполняются, минуты отчаяния наступают Бомарше, но Бомарше заверяет, что по-прежнему будет помогать восставшим: «Славный, славный народ!»

Восклицание Бомарше повторил Каржавин, рассказывая о «Приюте трех моряков», где в низком, с закопченными потолочными балками зале собирались «сыны свободы» — мастера и подмастерья, поденщики и чернорабочие(15).

Каржавину все было внове, все исполнено глубокого зна-

чения. И хоровое, согласное пение в начале собрания: «Тесней вперед, сыны свободы!» И эти значки с изображением древа Свободы на груди каменщиков и плотников, кузнецов и печатников, шорников и штукатуров. И внятное чтение вслух свежих газет. И неспешные, серьезные рассуждения по поводу прочитанного. И спокойная решимость держаться до победы. И нежелание сменить господство короны на господство некоронованных.

Каржавин видел д у м а ю щ у ю чернь. Она желала уяснить, кто будет править Америкой, свергнувшей британскую тиранию. Не жажда мести и разгрома владела ею, а жажда разумного устройства общественной жизни. И Каржавин, произнеся «чернь», сделал перечеркивающий жест. Сказал: «к л а с с». Прибавил: «Класс большинства». И еще: «Люди низшего класса...» Лицо его вдруг омрачилось: Федор вспомнил Чумной бунт.

4

Он был и в Бостоне. Подробности не удержались в моей памяти, разве что прозвище горожан, отличавшихся устойчивой невозмутимостью: «белая печень». Он и туда, в Бостон, доставил секретные пакеты; но от кого и кому — убей, не знаю.

На тракте Бостон — Нью-Йорк в харчевне «Братец Джой» у него была назначена встреча с майором дез Эпинье. Каржавин поспел к сроку. Хозяин постоялого двора ему не понравился — плутовская рожа. Но Федор подумал, как все мы думаем в подобных случаях: э, детей с ним не крестить. А хозяин сразу назвал его мистером Лами. Ухмыльнулся: господин майор предупредил — приедете на замечательном жеребце. И спохватился: «Прошу прощенья, сэр. Вот письмо».

Федор прочел: дела вынудили дез Эпинье задержаться в Филадельфии; мсье Лами предстоит добираться в одиночку, и притом близ английских позиций; надо, сударь, все хорошенько взвесить, прежде чем поставить жизнь на карту.

Утром, позавтракав жареной свининой с картофелем и напившись чаю, Каржавин бодро вышел из харчевни. Было морозно и солнечно, снег сверкал. Оставалось крикнуть: «Коня!» — и пуститься в путь. И Федор крикнул: «Коня!» Тотчас возник хозяин харчевни. Его рожа выражала ту крайнюю степень растерянности, за которой следует первая степень отчаяния.

— Прошу прощенья, сэр... Прошу прощенья, сэр... — повторял этот мерзавец, разводя руками и как-то нелепо приседая, словно охотясь за курицей.

Швырнув на пол седло с притороченными седельными пистолетами, Федор опрометью бросился в конюшню. Коня не было! Федор ринулся назад. Он пристрелил бы негодяя, да-

да, пристрелил бы, но кто-то из подручных хозяина успел стянуть и пистолеты.

Вчера еще конный, Каржавин был отныне пешим. Он глядел туча тучей. Мороз и солнце, студеной, крепкий воздух, этот скрип снега под ногами союдно взялись помочь ему. Он выровнял шаг, велел себе шагать мерно.

Майор дез Эпинье предостерегал от гужевой, фурманной дороги — держитесь линии, разделяющей наши позиции от вражеских. Совет был дельный, но трудноисполнимый: приметы, указанные майором, не сравнишь со штурманской картой.

Холодное солнце поднималось все выше, снежный наст сверкал все ослепительней. Каржавин, однако, не подозревал близость беды. Он шел полями, перелесками, по льду ручьев, шел, наливаясь тяжелой усталостью, жмурился, терял и снова находил нужное направление. Порой ему чудился дым жилья, он прибавлял шагу, запах дыма исчезал.

И вдруг лицо его взмокло от слез. Он отирал слезы варежкой из кроличьей шкурки. (И варежками, и ондатровой шапкой, и кожаным жилетом, и теплыми сапогами, как и долгополой курткой на волчьем меху, — всей этой фермерской справой Каржавин обзавелся еще в Бостоне.) Слезы лились неукротимо, в глазах была резь нестерпимая. Тропа двоилась, пропадала, вновь возникала, и опять ее не было видно. Наконец все смешалось и погрузилось в темноту. Его ослепили солнце и снег. В давнем, далеком качалась вывеска... Дядюшка Ерофей потешался — грамотеи: «Окулист для глаз...» Раскачиваясь на кронштейне, вывеска издавала длинный ржавый звук. И этот звук терзал Каржавина, пока он, словно наперекор судьбине, не одолел несколько ярдов и почти уж незрячим не наткнулся на одинокое дерево — то, что оно было одиноким, словно бы родственно обрадовало Федора. Собираясь с силами, но обессилев вконец именно потому, что остановился, он, опустившись на снег, привалился спиной к дереву. Котомка мешала — стащил ремни, положил котомку на колени. Съестным не запасся, предполагая краткость дороги. В котомке было полдюжины сухарей и полпинты рому. Он понимал, что не смеет прикладываться к фляжке. И приложился, глотнул. Достал сухарь...

Мысли мешались, он погружался в забытье. Ничего не видел, только слышал, опять слышал длинный ржавый звук — «Окулист для глаз». Но звук менялся, обретал полноту, плавность, был волнистым, шел кругами, стал серебряным, чей-то голос произнес: «Серебра в колоколах много, вот что, господин учитель». И Федор понял, что лавра неподалеку и тракт-неподалеку, и там, на тракте, рядом с лаврой — ямской стан...

Подняли рывком и встряхнули, как пустой мешок. Пахнуло конским потом, звякнуло оружие.

— Вперед! — гаркнул сиплый бас.

— Патрик, — взмолился чей-то голос, — посади беднягу в седло.

— Эх, Нэнси, бабья душа, — насмешливо отозвался сиплый бас и припечатал Федора затрещиной.

Это привело его в ярость, он разразился ругательствами неместной выделки, что и послужило для Патрика веской уликой: «Кипеть мне в серном котле — шпион!»

Тот, кого звали Патриком, очень хотел изловить вражеского лазутчика. Желание столь же заманчивое, как и найти невзначай тугой кошелек. В данном случае первое было залогом второго. И кто же осудит Патрика? Дома, на крохотной ферме, осталось полдюжины ртов.

С неделю тому однопольчане сцапали господинчика в партикулярном платье. Обыскали. Под стелькой сапога нашли какие-то бумаги. Шпион предложил золотые часы. Взятку не взяли. Поимщиков щедро наградили. Толковали, что отчеканят медали «За верность» и «Любовь к родине победит». Вот почему Патрик и Нэнси приступили к ежедневным изысканиям на нейтральной полосе.

Обо всем этом Каржавин, понятно, знать не знал. Как и то, в чьи руки попался. Англичан? Значит, пой отходную: за пазухой бостонские пакеты, адресованные генералу Вашингтону... При мысли об англичанах в глазах бы у него потемнело, если бы вторые уж сутки не было в глазах темно. Тут-то и произошло нечто необъяснимое. Неверный, смутный, словно бы в пузырьках и соринках, но свет, свет, свет! И Каржавин счастливо рассмеялся.

— Никак, он спятил, — испугался тот, кого звали Патрик, полагая, вероятно, что рехнувшийся лазутчик не стоит и цента.

А Каржавин опять рассмеялся. Но теперь уже оттого, что разглядел, понял, кто они, эти Патрик и Нэнси, — господа, кто угодно, только не английские солдаты.

— Будет гоготать, — прикрикнул плечистый детина и потряс мушкетом.

— Никуда не денусь, боюсь потеряться, — улыбался Каржавин, глядя на Нэнси, — то был тоненький, безусый солдатик; его обветренное личико походило на девичье, и Каржавин понял, что «Нэнси» не собственное имя, а прозвище.

Метель легла, потянуло дымом. Минуя сторожевые посты, Патрик горделиво объявлял, что вот, мол, изловил мерзавца-лазутчика, а ему отвечали не без зависти, что он счастливчик,

Патрик благородно кивал в сторону Нэнси: дескать, и этот причастен.

Но вот они достигли цели, и Каржавин увидел солдатский строй, барабанщиков, офицеров. Несколько солдат с ружьями стояли в стороне, окружив кого-то плотным кольцом. Поодаль темнели строения зимнего лагеря — не то шалаши, не то хижины. На лугу корячился суковатый дуб, с нижней ветви свисала веревка.

— Стой! — приказал Патрик. — А теперь изволь-ка сесть на коня. Полюбишься, как твой приятель задрыгает ногами. Тот спляшет, а ты гляди не обмарайся, у тебя еще все впереди.

Казнили британского шпиона. Тот твердым шагом приблизился к виселице, поднял к небу два сжатых пальца и громко произнес: «Да здравствует король!» Ударили барабаны, Каржавин отвернулся...(16)

Он еще не успел справиться с тошнотой, когда торжествующий Патрик втолкнул его в офицерскую палатку и, присанившись, доложил:

— Вот и другой шпион, сэръ!

И тотчас глаза вытаращил: лейтенант Роуз обнимал «шпиона».

Объясню внезапную перемену декорации: Джон Роуз, как и дез Эпинье, был с Каржавиным на борту «Ле Жантий». Ну, тот — белобрысый, молчаливый, основательный. Погодите, еще не все: Роуз обнимал не только корабельного товарища, но и соотечественника. Да-с, именно так! Лейтенант был уроженцем Эстляндии. И не был ни Джоном, ни Роузом, его звали Густав Розенталь.

6

Четверть века спустя пишущий эти строки скучал на Английской набережной, дожидаясь отправления кронштадтского пакетбота. (В Кронштадт призывали заботы, о которых здесь нет нужды оповещать.) В числе пассажиров находился и Густав Хайнрикович фон Розенталь. Ему уже было пятьдесят, но седина оставалась неприметной — важное преимущество людей белобрысых.

Г-н Розенталь жительствовавший в Ревеле, занимал какую-то должность, кажется выборную от дворянства, в Петербург приезжал о чем-то хлопотать, а теперь, возвращаясь, решил насладиться морской прогулкой.

Наведываясь в Петербург, он всякий раз отдавал дружеский визит Каржавину. Посетил и нынче в доме у Кашина моста, близ Морского собора. А потом познакомился с американским консулом. (Если не ошибаюсь, тогда был аккредитован Левет Гаррис, человек в высшей степени любезный.)

Густав Хайнрикович ходил в консульство с докукой личной. Он службу закончил майором. Его наградили землей в Огайо и Пенсильвании, наградили и орденом. Заокеанские угоды не прельщали г-на Розенталя, а вот орденский знак он просил выслать в Ревель.

— Поверьте, — иронически улыбаясь, говорил Густав Хайнрикович, расположившись на палубе пакетбота, спускавшегося вниз по Неве, — поверьте, я спокойно отправился бы на тот свет и без ордена из Нового Света, там, в Америке, эдакие пустяки давно забыты. Но здесь, вы знаете, о-о-очень серьезный взгляд на ленты и кресты. К тому же ни у кого в России нет такого. А меня черт дернул сболтнуть, и теперь я могу прослыть хвастуном и вралем.

(Спешу отметить то, что узнал позже и не от него; отметить и тем самым подчеркнуть самостоятельность природы г-на Розенталя: вернувшись в отечество, он бесстрашно заявил — отказываюсь от всех своих привилегий, пока независимое государство в Северной Америке не получит официального признания Российской империей.)

Постепенно разговор наш принял иное направление.

В ту пору реяло — Бонапарт, Бонапарт, Бонапарт: корсиканца провозгласили императором французов.

— А я считаю его негодяем, — энергически формулировал г-н Розенталь.

Можно было ожидать расхожего: Бонапарту следовало восстановить Бурбонов. Но нет, Густав Хайнрикович рассуждал так: Наполеон предал революцию; Наполеон — узурпатор, недостойный и каблука от сапога бессмертного Вашингтона.

— Ваш покорный слуга, — продолжал г-н Розенталь, — служил одно время адъютантом генерала Джэксона, потом генерала Ирвина, посему коротко знал адъютантов главнокомандующего. Вся эта история с полковником Никола мне хорошо известна...

История с полковником заключалась в следующем.

Он был рупором тех, кто якобы во имя революции предлагал главнокомандующему корону: «Да здравствует Джордж Первый!» Меморандум полковника Никола излагал суть без обиняков, как говорится, с солдатской прямоотой, в расчет не приняв только то, что народом владел республиканский дух, а главнокомандующим — республиканская идея.

Вашингтон ответил письмом; копию письма адъютанты удостоверили. Ответ гласил: ваше предложение отвратительно: оно чревато величайшими бедами для нашей родины.

Суровая отповедь генерала восхищала бывшего майора. Нельзя было не разделить его восхищение, хотя и нельзя было не понять, что виргинский плантатор — сторонник не демократической, а олигархической республики. Но отказ Вашингтона от единоличной власти вряд ли известен многим.

Захват же Бонапартом единоличной власти известен всем. И вот что примечательно: Наполеон поныне в ореоле славы — магнетизм удачи и наглости?..

Пакетбот между тем подходил к Большому кронштадтскому рейду. Летнее солнце празднично освещало панораму Финского залива: лесистые берега, остров Котлин, движущиеся баркасы и шлюпки, корабли с убранными парусами.

Г-н Розенталь пересел на ревельскую шхуну. Жаль, не довелось погостить на его мызе Фелкс. Следовало бы записать рассказы бывшего Джона Роуза, ибо то, что вкратце излагается ниже со слов Каржавина, лишь толика пережитого Густавом Хайнриковичем(17).

7

Он клялся: легче было трижды подняться в атаку, нежели день протянуть на холмах Валли-Фордж.

Что такое Валли-Фордж?

На холмах, занесенных снегами, сотни хижин, продутых насквозь. Тысячи голодных: ни муки, ни мяса, ни чая, ни сахара — бурда из коры и черных листьев. Тысячи разутых — на остром мерзлом снегу кровавые следы. Валли-Фордж — это дизентерия и чирьи, кашель, раздирающий грудь, — в госпитальных шалашах ни одеял, ни медикаментов. Валли-Фордж — это зимние квартиры континентальной армии.

Не поступали ли грузы, отправленные торговым домом «Родриго Горталес»? Поступали и раньше и позже, но в ту страшную зиму — нет. Впрочем, однажды привезли обувь, однако парижские сапожники не угадали, каковы ноженьки американских пахарей, лесорубов, охотников. Не лезла, хоть плачь.

Тот, кто не был в Валли-Фордж, утверждал лейтенант Роуз, не подозревает, что такое страдание. И не сознает, что такое чудо.

Да, рядовые дезертировали сотнями: «Невмоготу! К дьяволу!» — и уходили домой, к голодным ребятишкам и женам. Да, десятки офицеров вложили в ножны свои шпаги: «Всему есть предел!» Да, назревал бунт: «Хлеба!» Угрюмая, глазастая, обросшая щетиной толпа накатила на штабной барак: «Требуем генерала Вашингтона!»

Изможденный, обметанный сединою, он молча смотрел на солдат. Они ждали, что он скажет. Он ничего не сказал. Его лицо стало мокрым от слез. Тогда сказали солдаты: генерал, мы хотим только, чтобы вы знали, каково нам достается. Он знал, его рацион был не жирнее. И чудо свершилось: повеяли

весенние ветры и призраки, вынесшие невыносимое, принялись готовиться к летней кампании.

— А теперь, мой друг, — заключил Джон Роуз, — вы почти в райских кущах.

И впрямь, нынешняя зимовка — начала семьдесят девятого года — отличалась от прошлогодней, Валли-Форджской. Роуз многое приписывал благодеяниям Франции.

Год уже, как Франция открыто выступила на стороне Штатов. Эскадра, плещущая белым королевским флагом, действовала в водах Вест-Индии. Экспедиционный корпус, блещущий белой униформой, дислоцировался на континенте. Правда, версальские политики отнюдь не рвались таскать для американцев каштаны из огня. Но, сказал Роуз, генерал Вашингтон признает, что Франция спасает нас своими поставками.

Вот это — спасает поставками — обрадовало Каржавина: Вашингтон, в сущности, отдавал должное усилиям Пьера Бомарше. И все же Неунывающий Теодор, в отличие от Джона Роуза, полагал благодеяния Франции недостаточными. Говорил: «Да, привезено немало шарлевильских и мобежских изделий. В храбрости ребят, нахлобучивших плошки не сомневаюсь. Однако никто и ничто не спасет американцев, ежели они сами себя не спасут».

Захваченный как шпион и, к счастью, реабилитированный не посмертно, Каржавин попал в отряд, находившийся в непосредственной близости английских аванпостов. И теперь уж Смуглая Бетси была для него не только символом революции.

Взглянув на боевые порядки континентальной армии, вы увидели бы и пенсильванские, и французские ружья, увидели бы и английские гладкоствольные мушкеты, вот эти-то и прозвали — Смуглая Бетси.

Патрик великодушно простил мистера Лами за то, что тот — не шпион. Втроем они участвовали в вылазках: третьим был худенький солдатик, похожий на девицу и посему носивший имя Нэнси. Стреляя по королевским гренадерам в высоких медвежьих шапках, Патрик рычал: «Будьте вы прокляты!» А Нэнси звенел колокольчиком: «Да направит господь пулю сюда...»

Стычки требовали храбрости. Каржавин различал храбрость и мужество. Первое — вспышка, второе — постоянный огонь. Он находил, что способен на храбрость. Но мужествен ли? Нет, не ручался. Другое дело, говорил Каржавин, Патрик, Нэнси — все, кто прошел ад Валли-Фордж — пурпурные

¹ Шарлевиль и Мобеж — города Франции, где находились казенные оружейные заводы. «Плошками» называли в просторечии шляпы с приподнятыми полями; их носили во французской армии.

сердца! Не всегда на мундире или на куртке, но всегда в груди¹.

Отвага зависела от сердца, но не зависела от цвета кожи. И тогда, и впоследствии Каржавин пылко подчеркивал доблесть «черноцветных». Его пылкость воспламеняла ненависть к тем виргинцам, которые спесиво разглагольствовали в таком вот духе: негры подлы, ибо услужливы, а услужливы потому, что подлы; натура рабская, а рабы никогда не станут солдатами, воюющими с деспотией...

— Скоты! — Каржавин ударял кулаком по столу. — Они платят белому солдату, а черному кукиш: получишь, мол, после войны... Ни крупницы совести! Как не признавать заслуги черноцветного народа? Джек Сиссон и Сейлем Пур — стояли батальона. Добровольцы из Коннектикута — гроза! А при Идентоне? Не сыщись тот малый, ничего бы не выгорело. А проворство и неутомимость черных разведчиков? А как убирают часовых на аванпостах — молния!(18)

8

То ли еще на борту «Ле Жантий», то ли уже в зимнем армейском лагере Джон Роуз узнал о том, что Каржавин сведущ в медицине. Пришлось засучив рукава пособлять батальонному лекарю до приезда помощника, назначенного главным хирургом континентальной армии.

Вернусь ненадолго во Францию.

В парижском анатомическом театре Каржавину бывало страшнее, чем на театре военных действий. Несчастного пса распинали на широком столе. Пес выл. Профессор работал недрожавшей рукой. Отсекал сердце, поднимал на ладони — смотрите! Трепет кровавого комочка отзывался тяжелой болью в левой скуле Теодора Лами — там, где ему, маленькому, ломали кость, пожизненно награждая серповидным шрамом.

Правду сказать, фармацевтика влекла куда больше хирургии.

В аптеку на улице де Граммон (рядом с русским посольством) он хаживал легким шагом.

О, храм фармацевтики: четыре фрески, мягко освещенные светом стрельчатых окон, аллегории четырех стихий — земли и воды, огня и воздуха. И две бронзовые фигуры — древнего грека весьма пожилого и древней гречанки совсем молодой: Асклепий, бог врачевания, и Гигиия, дочь его. Дубовые шкафы и полки красного дерева уставлены посудой, утварью, давяльными прессами — стекло, медь, мрамор. А в деревянном футляре с кружевным орнаментом — миниатюрные весы.

¹ Знак отличия из пурпурного шелка, награда для солдат континентальной армии.

О, жрец фармацевтики Марсель Полиньяк: черная мантия, лиловая ермолка на седых, кольцами волосах. На указательном пальце — аметистовый перстень. Аметист протрезвляет пьяниц? Да ведь всей округе ведомо было, что господин провизор несгибаемый трезвенник. А может, жрец фармацевтики обнаружил и целительность аметиста от желудочных колик? Ведь мсье Полиньяк страдал желудочными коликами.

Стоп! Грех трунить над добряком, готовым помочь последнему бедняку, грех потешаться над учителем Теодора Лами. Мсье Полиньяк давал практические уроки. А книги не давал, то есть не позволял уносить домой. Потомственный аптекарь дорожил наследством предков — медицинскими словарями, травниками, диссертациями, среди них была и курьезная — Игнациуса Цинкера, автора замечательных открытий: мол, некоторые птицы врачуют пристальным взглядом своих круглых глаз, а некоторые, например индийские и шотландские утки, произрастают на деревьях.

Храня наследство, фармацевт поступал правильно. Да видать, старательно-любопытный ученик столь уж импонирует аптекарю, что тот изменил своему правилу — подарил Лани трактат Пьетро Кресченци. Теодор рассыпался в благодарностях, его библиофильская душа трепетала. Еще бы! Венецианское тиснение начала шестнадцатого века, великолепный переплет, экслибрис со щитами и львами, орлиными крыльями и герцогской короной — восхитительно! А сверх того, и пользительно: свод наблюдений — свойства овощей, растущих на огородах. Хрен редьки не слаще? Верно. Но жженный хрен заживляет раны, а редька натертая — язву. Свеже-толченный хрен вроде горчичников, а соком редьки усмиришь кашель. Чеснок? Диоскорид, земляк Асклепия, заметил чудодействие чеснока при кишечных беспорядках. Морковным соком лечи гнойники и ожоги, сок свекольный победит воспаление легких...

Пометками, пометками, пометками испещрял наш библиофил латинский текст. Книголюбы всплеснут руками: «Варвар!» А он готовился к дальним странствиям и сознавал необходимость готовности к помощи своим ближним. И на книгах, купленных в лавках улицы Сен-Жак, знакомой с юности, тоже чиркал перышком: «желтуха», «пиявица», «от каменной болезни», «перевозка больных», «морские сухари...»

Незадолго до отплытия «Ле Жантий» Каржавин приобрел влетевший в копеечку набор хирургических инструментов: ампутационная пила, троакар для пункции грудной и брюшной полости, трепан для «взлома» черепов, ланцет, пулевые щипцы, турникет, останавливающий кровотечения. На оружие огнестрельное и холодное, предназначенное для убийств

ва и калечества, смотришь спокойно, любуясь чистотой, искусностью работы, ничуть не задумываясь, что оно, это вот огнестрельное, это холодное, может оборвать т в о ю жизнь, изорвать т в о ю плоть. На инструмент же хирургический, предназначенный для спасения, для вызволения, смотришь иначе: будто на себя «примеряешь» — и холодок по спине. Зловещее — огнестрельное и холодное — подло умалчивает о хрупкости нашего бытия. Милосердное, хирургическое, одним лишь острым блеском своим наводит на мысль о тонкой, легко рвущейся нити земного существования...

Батальонным лазаретом управлял Джонатан Маккензи. Доктор смахивал на матерого кабана. Казалось, вот-вот обнажит клыки. Спросил: «Уайзен знаком вам?»¹ Федор разозлился: уговорили сменить Смуглую Бетси на скальпель, и что же? — экзаменуют, как несмышлениша.

— Вы учились в Париже? — язвительно продолжал лекарь.

— Да, — отрезал Каржавин. — И что же?

Лекарь пожевал губами.

— Сударь, в вашем танцующем Париже медицина — это ворох предрассудков. А врачи трещат, любезничают и ни черта не смыслят. Да и вообще у вас там, в Париже, выставь обезьяню задницу напоказ — сбежится весь город.

— А у вас в Лондоне, — парировал Федор по принципу «сам дурак», — у вас в Лондоне какой-то пройдоха объявил: на глазах почтеннейшей публики влезу в бутылку. Рты разинули: «Неужели правда?» — и толпами, толпами.

Маккензи несколько не был задет. Во-первых, он родился и до шестидесяти дожил здесь, в Пенсильвании. А во-вторых, существенная разница: парижане — любопытны, лондонцы — доверчивы. Каржавин рассмеялся:

— Если так, мне лондонцы милее.

Старик приложился к табакерке. Троекратный чих был смачным, кабаньи глазки г-на Маккензи увлажнились. Английская хирургия, примирительно сказал он, недалеко ушла от французской. Цирюльников-то, вы знаете, давным-давно изгнали из корпорации, дозволив лишь зубы драть, но и те, кто в корпорации, — коновалы. Как и ваш покорный слуга, с беспощадной и вместе печальной самоиронией прибавил г-н Маккензи. Федор усомнился не столько из вежливости, сколько от прилива благорасположения...

На фронте царило затишье. Не тяжкое, молчаливо-скованное ожидание, какое бывает на пороге больших сражений, а дремотное, зимнее, как медвежья спячка. Но быстрые, как волчьи вылазки, сшибки происходили нередко.

¹ Ричард Уайзен — автор «Семи трактатов по хирургии».

На третий или четвертый день каржавинской госпитальной службы произошла — в нескольких милях от лагеря — очередная стычка. Часа полтора спустя до лазарета добрались офицер и солдат. Пожилой офицер был бледен, правой рукой он опирался на шпагу, левой полуобнимал солдата.

— Ах, дьявол, что это с вами, Роберт? — сокрушенно-сурово спросил батальонный лекарь.

— Было бы желательно, сэр, чтобы вы взглянули на мою голову, — едва слышно сказал раненый.

Его бережно усадили, сняли шапку, осторожно выстригли прядь седых волос. Маккензи, осмотрев черепное ранение, выпрямился.

— Ну, сэр, что там? — спросил офицер.

— Как ни прискорбно, Роберт, ваша рана смертельна.

— Гм! В самом деле? Ну, да я так и предполагал...

То был его последний вздох.

Старик Маккензи потянул Каржавина за рукав.

— Ужасны и смерть, и это мое лекарское отупение от смертей, — глухо молвил Маккензи.

Зимой было все же легче, чем в разгар лета.

Каржавин чувствовал себя новой метлой. Найдя, что Гигия не шибко озабочена лазаретной гигиеной, он велел мыть и скоблить. Зимой легче, чем летом? Да, конечно. Однако обойтись ли лагерю без лагерной лихорадки, то бишь дизентерии? Без горячек, воспаления легких и прострелов, пусть не пулевых, однако мучительных? К тому же штаб армии распорядился начать оспопрививание. Короче, скучать не приходилось.

Не зная угомона и сознавая потребность в просветительстве, он учил сиделок азам фармацевтики.

Молли, негритянка, оказалась не только ловчее и аккуратнее товаров, но сообразительнее, памятьнее. Раньше она работала на ферме. Фермерша овдовела, сыновья ушли в континентальную армию. Как-то раз на ферму припожаловал английский эскадрон. Офицеры играли в кости и курили трубки. Капитан спросил хозяйку, много ли у нее детей, она ответила: «Девять. И семеро служат отечеству». Капитан криво усмехнулся: «Порядочно». Фермерша спокойно возразила: «Нет, сэр, теперь я желала бы, чтобы их было у меня пятьдесят». Молли это слышала. Когда англичан вышибли, она упростила хозяйку отпустить и ее, Молли, служить отечеству.

В фармацевтике она преуспевала, полагаю, еще и потому, что слыла в своей округе знахаркой. В те времена это еще не было синонимом надувательства.

Федор признавал:

— Родная мать так не выходила бы Нэнси.

Пуля не разминулась с Нэнси. Молоденький солдатик был ранен в предплечье. Доктора Маккензи на месте не оказалось, Каржавин надел кожаный фартук.

Молли вела себя странно: шепотом молила Каржавина не терять времени и мешала ему, прикрывая Нэнси, как насадка цыпленка.

Каржавин взялся за инструменты, Молли, прикусив губу, отступила в сторону, Каржавин увидел раненого, обнаженного по пояс, и... оторопел. Вероятно, его оторопь продлилась бы, если бы не горячая укоризна Молли: «Нечего глазеть, сэр!»

Так ему стала известна тайна Люси Семтер.

Ей было чуть за двадцать. Не скажу — ангел, черты не совсем правильные, да есть же, есть неправильность живая, неизъяснимо привлекательная. В канун революции Люси служила у богатого фермера близ Вильямсберга. Сверстницы, посещавшие школу, научили сироту грамоте. Книги на ферме, исключая Библию, не водились, фермер получал «Газетт»; виргинский листок Люси прочитывала от первой строки до последней. Она была очень любознательна, да и сам процесс чтения, все убыстрявшийся, доставлял ей удовольствие.

Восстание, война застали ее на ферме. Люси скопила двенадцать долларов. Половину оставила на дорогу, половину истратила на мужскую одежду. Куртку, штаны, белье, уложив в котомку, спрятала за околицей, в стогу сена. И однажды за полночь, замирая от страха быть схваченной, хотя никто, кажется, и не думал об этом, а дворовые собаки, ласково виляя хвостами, выражали явное желание сопровождать и охранять свою покровительницу, — однажды за полночь она улизнала с фермы, погруженной в сон.

Полторы недели спустя деревенский паренек-доброволец явился к командиру повстанческого отряда. Вступая, как говорится, под знамена, волонтеры подписывали контракт, обязуясь служить определенный срок. Люси подмахнула контракт на срок неопределенный — до конца войны. Бравата? Неосмотрительность? Легкомыслие? Порыв? Нет, другое — боязнь не выдержать, дрогнуть, попятиться. Она сжигала мосты, отрезая самой себе возможность возвращения на противоположный берег. Отступать некуда, Эдвин Джемс(19).

Эдвин Джемс числился на бумаге. Солдаты окрестили его Нэнси: ни дать ни взять девица — на щеках ни щетинки, из-за всякой малости заливаается краской. (Коль скоро, «изобли-

чив» Люси, Федор по-прежнему называл ее Нэнси, пишущий эти строки последует примеру Каржавина.)

Походные невзгоды? Тяготы боевых будней? Да. Но еще и те, которые легко понять, вообразив женщину, денно-нощно находившуюся в солдатской гуще, не блистающей благообразием. К каким только ухищрениям, к каким только уловкам не прибегала бедняжка, скрывая свою принадлежность к слабому полу. А теперь, когда мистер Лами ненароком открыл ее тайну, она ужасалась, она сгорала от стыда: господи, что, если это станет общим достоянием?

Хотя Каржавин и хранил тайну, Нэнси решила испросить отпуск по ранению, съездить на родину, а потом примкнуть к какой-нибудь другой воинской части. К любой, лишь бы ни одна душа не знала Эдвина Джемса.

Туда же, в Виргинию, Каржавина призывали заботы торгового дома «Родриго Горталес и К^о». Удерживало отсутствие штатного помощника г-на Маккензи. Приезд этого лекарского помощника освободил Каржавина.

Расставание опечалило г-на Маккензи. Старик оказался привязчив. Нет, сказал он, не отрекаюсь от своего отношения к французской хирургии (усмехнулся: и к английской тоже), зато фармацевтику отныне признаю. Мистер Лами отвечал похвалами искусности мистера Маккензи. То не было галантностью, хвалил искренне. Прощаясь, старик ворчливо наставлял:

— Постарайтесь объяснить тыловым джентльменам — пусть поменьше болтают и побольше радуют о наших нуждах.

Они отправились вдвоем, Федор и Нэнси.

Когда, охотясь за вражескими лазутчиками, Патрик и Нэнси задержали Каржавина, она не пленилась пленником, а просто пожалела замерзшего, ослепшего, разнесчастного. Теперь, когда мистер Лами и не выдал, и оказывал ей повышенное внимание, Нэнси была тронута, благодарна, доверчива. Дорожные обстоятельства способствовали их близости. Любовь, читатель, любовь.

2

В таверне Рейли он не живописал ни злоключений дорожных, ни приключений военных. А во флигеле колледжа Уильяма и Мэри, где ему радовались Карло Беллини и учитель Джефферсона профессор Уайз, Каржавин, словно бы собрав в пучок свои впечатления, удивил слушателей рассуждениями, каких, сдается, никто еще не высказывал ни в Старом, ни в Новом Свете.

Рассуждал он о сходстве России и Америки, русских и американцев. И мы и вы народ молодой; и у нас и у вас население несоразмерно пространству; и у нас и у вас разнообразие

естественных условий обитания; и мы и вы чреваты революцией: Россия белых рабов, Америка — черных; без освобождения крепостных России не видать процветания; Штатам без свободы негров не видать справедливости(20).

Забегая вперед, сообщаю прожект, возникший в профессорском доме: г-ну Каржавину следует променять Вильямсберг на Петербург. В некотором смысле это означало уподобление Бенджамину Франклину. Тот представлял Штаты во Французском королевстве; Каржавин представил бы Штаты в Российской империи.

Он увидел себя в Зимнем. Жужжала толпа сановников. Не снимая шляпы, ибо он объявил себя квакером, а квакеры ни перед кем не ломают шапку, вот так, в шляпе, он предстал перед императрицей — посол республики! Республики, возвестившей свое рождение громом пушек, блеском сабель. Каково?!

Сей прожект обсуждался только во флигеле колледжа Уильяма и Мэри. До конгресса дело не дошло. Но все это позже. А теперь не верительные грамоты на уме — Гудрич нагрнул, Джон Гудрич.

3

Бенджамин Франклин посмеивался над некоторыми описаниями войны за независимость: если такого-то английского генерала переименовать в Гектора, а такого-то американского генерала — в Ахиллеса, выйдет точь-в-точь Троянская война.

Над реальностью не посмеешься.

Стратегия британского главнокомандующего заключалась в том, чтобы перенести центр тяжести боевых действий в южные штаты. Сэр Генри Клинтон захватил Саванну — портовые ворота, распахнутые в сторону Вест-Индии, в сторону Европы. Отборные полки гнал в Джорджию, морем гнал. Оккупировав Джорджию, англичане торжествовали: «Первая звезда сорвана с мятежного флага конгресса». Оттуда, из Джорджии, красные мундиры, продвигаясь по Южной и Северной Каролине, намеревались прижать Виргинию. А на Западе войска сэра Генри должны были действовать совместно с индейцами.

Нет, не Троянская война начиналась, а крестьянская. В феврале семьдесят девятого виргинские ополченцы, высоко поднимая над головой ружья, форсировали ледяную жижу обширных трясин, совершив победный марш-бросок. Увы, летом британский десант овладел берегами Чезапикского залива.

И вот появился Джон Гудрич. Вряд ли сэр Генри возлагал большие надежды на этот отряд. Однако Гудрич свирепо бесчинствовал в Виргинии.

Ее защитникам приходилось худо. Оружие? Вильямсбергский арсенал опустел. Продовольствие? Торговцы вступали в тайные сделки с врагом — англичане платили золотом. Твердой валюты не было — табачный экспорт упал едва ли не до нуля. И не было товаров — импорт не поступал.

Губернатор Виргинии Джефферсон выбивался из сил. В его поместье цвели розы, шипы без роз язвили губернатора. Худощавый джентльмен привык по утрам обливаться холодной водой, события опрокидывали на него ушаты с кипятком. Вечерами он любил музицировать, но скрипка лежала, как в обмороке, она не выносила ружейной пальбы. Занимаясь прежде юридической практикой, Джефферсон говорил: «Удивительно, как много можно сделать, если работать постоянно». Теперь он знал, что ничего не сделаешь без минитменов с мушкетами в заскорузлых руках и нашивкой «Свобода или Смерть!» на пропотевших рубахах.

Минитменами называли бойцов минутной готовности. Ружья заряжены, кони оседланы, в ранцах суточный рацион, у дверей несколько пар мокасин. Рожок или труба издадут лишь первые такты известной тогда и в английской, и в американской армиях песенки «Мир перевернулся вверх тормашками» — и они уж во весь опор...

Итак, здесь, в Виргинии, открывался театр военных действий. Хотелось бы восстановить его картины на основе быстроечных заметок. Увы, тетрадка погибла. Погибла в октябре 1780-го, на Мартинике, в тот апокалипсический день, когда был разрушен Сен-Пьер.

Знатоки скажут: уцелел дневник Каржавина, уцелела его биографическая записка, адресованная российской Коллегии иностранных дел. Однако позвольте «поставить на вид» — дневники не всегда отражают самое существенное, как и записки, поданные начальству после возвращения из бунтующей Америки в богоспасаемую Россию.

Каржавин держался раз избранного курса: занимался коммерцией, и только коммерцией. Так и сообщал — когда, мол, англичане напали на Виргинию, помогал французскому купцу Венелю прятать товар в дальних лесах, а потом, когда англичане ушли, развозил мелочной товар этого самого Венеля, не забывая и о своей выгоде. Для пушей убедительности присовокупил, что нажил около трех тысяч бумажными деньгами, каковые и в Россию вывез, «яко монумент общего банкротства американского неосновательного и безвластного правления».

И Венель был, и товар был, и «банкротство» было, а только и другое было. Опять на уме иронически-верное замечание Бенджамина Франклина: трое могут сохранить секрет, если двое помрут. Хранителем секретов остался ваш покорный слуга. Уверяю, не в одной лишь записке, адресованной на-

чальству, а и в дневнике своем о многом умолчал Федор Васильевич. Постараюсь восстановить некоторые эпизоды.

В официальной записке, поданной в коллегию, Каржавин не лгал — он действительно эвакуировал из Вильямсберга товары французского купца Венеля. Вот только «забыл» упомянуть ассортимент.

Венель тоже был связан с торговым домом «Родриго Горталес»; мсье Лами, таким образом, состоял как бы его компаньоном. (Правда, Венель вел и самостоятельную негоциацию, но она мало занимала Каржавина.) Этот Венель ужасно трусил: головорезы Гудрича с особенным рвением преследовали французов. Изловив, вешали или рубили саблями. Мсье Лами отнюдь не оставался равнодушен к таковой перспективе. Но если Венеля заботила личная безопасность, то наш Теодор хлопотал о надежном укрытии товаров для континентальной армии.

Семерых минитменов назначили в помощь ему, восьмым была Нэнси, назначившая сама себя. И вот этот отряд двигался в глубь Виргинии.

Великие леса простирались некогда от побережья океана до Миссисипи. Приспел срок — ударил топор колонистов. Стучал, брызгая белой щепкою, стучал без усталости, рать за ратью ложились боры, знаменуя отступление первозданных лесов перед неотвратимым натиском плантаций.

Но чем дальше на запад, тем реже и реже попадались фермы, тем вольнее вставал могучий виргинский сосняк, веселее шумели дубравы. В сырых лугах с высоким травостоем быстрой волнистой чертою означалось движение змей, прозванных мокасиновыми — треугольная голова и вправду смахивала на «род кожаных лаптей», как Пушкин определял индейскую обувь. Бросок гремучки еще можно извинить: либо защитный, либо так, с испугу. А вот уж эта, мокасиновая, кидалась в атаку, ничем не спровоцированную.

О москитах лучше, чем по-русски, не скажешь: гнус! Минитмены уверяли — табуны лошадей, обезумев от москитов, мчатся сломя голову невесть куда. Москиты мучили Каржавина, как и всех нас. Но мы страдали, а Федор, страдая, и сострадал — сражался с каждым москитом, посмевающим коснуться Нэнси.

«Вот она кто!» — улыбался Федор, срывая цветок, европейцам тогда неведомый: ромашку.

4

В тот год, когда Каржавина осеняли виргинские леса, Новиков взялся за редакторский гуж. И оказался дюж: до него «Московские ведомости» имели не более шестисот подписчиков, при нем — четыре с половиною тысячи.

«Санкт-петербургские ведомости» тоже писали об «отложении» колоний от Великобритании, однако холодно — подмораживала близость Зимнего. А ведомости московские, ловко пользуясь антианглийскими настроениями Екатерины, держали руку бунтовщиков. Ход военных действий прослеживали в подробностях. Неудачам восставших сочувствовали. Вашингтоном восхищались.

Восхищение генералом континентальной армии не застило от поручика русской армии нечто весьма существенное: Новиков размышлял о предводителях народных восстаний. Эти размышления располагались на трех позициях. Когда предводитель не оживлен таким же духом, что и народ, тогда одни цепи меняют на другие цепи. Когда предводитель своекорыстен, народ «скучает смятением» и восстание угасает. Но если предводитель и народ «воспламенены теми же страстями», тогда нация «соделывает совершенную перемену».

Заокеанские «перемены» Новиков считал достославными для всего человечества. Отсутствие «перемен» печальным — тоже для всего человечества. Рабство черных оставалось, истребление краснокожих продолжалось.

Каржавин видывал тех, кто был для европейцев инородцами. Незачем скрывать, индейцы внушали ему страх. Чужие счета охота ль оплачивать?

А счета копились издавна.

Первые поселенцы как пить дать перемерли бы — туземцы выручили. Научили выращивать кукурузу и помидоры, подсечкой лес валить, а сушняк выжигать, торить тропы и сооружать каноэ. Благодарность не замедлила: создатель, сказали белые, велит нам распахать индейские уголья; хороший индеец, сказали белые, — это мертвый индеец.

Кровь призывает кровь. Индейцы нападали и поджигали, убивали и похищали, губили фермы, посева, скот. Союзно смыкались против общего врага. И размыкались враждебно, желая воли лишь своему племени.

Позднее (уже в Петербурге) Каржавин говорил:

— Долго старался я увидеть д и к и х людей. И что же? Видел тех, кто живет не так, как европейцы, дураков видел неразумных. Но везде нашел ч е л о в е к а, а д и к о г о нигде.

Но ведь счет, открытый на заре колонизации, оставался незакрытым. К тому же индейцы из племени шауни держали сторону англичан. У Каржавина, повторяю, не было охоты встречаться с шауни. Не потому только, что его могли подстрелить, а и потому, что он сам не хотел стрелять.

Британская хватка известна. В начале войны эмиссары британского командования пригласили под знамена негров-рабов. Индейцев же манили они не посулами будущей свободы, а напоминанием о свободе белой, козыряя королевским указом семьсот шестьдесят третьего года. Указ горой вставал

за индейцев, запрещая белым переваливать Аллеганские горы. Что за притча? Нехитрая! Индейцы добывали пушнину; на пушнине грели руки лондонские купцы; и они и индейцы нуждались в охотничьих угодьях. А колонисты-плантаторы распространялись все дальше на запад. Как было индейцам-охотникам не податься на сторону бледнолицего защитника от бледнолицых?

Агентов королевской армии усаживали в шалашах на почетное место — между очагом и задней стенкой. Агенты поставляли ружья, порох, свинец. Будучи поставщиками, были и вербовщиками: воины-индейцы котировались высоко(21).

Все это Каржавин знал. Говорил: «Первым не выстрелю». Но, черт дери, стрелять вторым совсем не то, что смеяться последним.

5

Портиджи, проклятые портиджи, из сил выбивался отряд минитменов. Прелестное зрелище: пороги и каскады, плеск-переплеск, брызги и пена. А людям ломовая работа, не залюбуешься на портиджи-волоки! Вначале встречались часто, каждые пятнадцать, двадцать миль. Приходилось разгружать каное, тащить каное и груз, опять нагружать.

Потом волоки пошли миль через пятьдесят, шестьдесят. Каржавин постепенно избавлялся от «товаров купца Венеля», то есть припрятывал оружие и боевые припасы в надежных местах, у надежных людей. Оставалось достичь блокгауза Моэма, и шабаш.

Накануне последнего перехода встали биваком в устье Оленьего ручья. Вечер был тишайший, вызвездило чисто, даже москиты, казалось, умерили свою гнусную беспощадность. И минитмены, и Нэнси с Каржавиным — все, как это нередко случается в одном переходе до конечного пункта, были настроены если и не совсем безопасно, то все же не столь напряженно-бдительно.

Обыкновенно, располагаясь на ночлег, Каржавин наряжал двух караульных. В тот раз ограничился одним. А Дик возьми да и прикорни — и умирится, и общее благодушие сказалось, заклевал носом. Костер угас.

Очнулись связанными. Светила полная луна. Индейцы стояли, опираясь на ружья. Сколько их было, в точности не скажу. Чудились толпы — такие у страха глаза.

Индейцы жестом приказали пленникам следовать за ними. Нелепо припрыгивая, минитмены двинулись в путь. Никто не произносил ни звука. Не ошибусь, полагая, что Федор теперь вряд ли повторил бы свою благородную сентенцию: «Первым не выстрелю». Впрочем, это уже не имело никакого значения, ни принципиального, ни практического.

Начинало светать. Роса пала обильная, все вымокли выше пояса. Поднявшись на пологий холм, пленники увидели стойбище. Дети и женщины высыпали из хижин. Воины разомкнули круг — на поляну вышел, прихрамывая, тощий, жилистый индеец; орлиные перья колыхались над челом — аттестат боевых подвигов. Его звали Голубая Куртка. Он пристально оглядывал минитменов. Его взгляд задержался на Нэнси... Он отдал какое-то приказание. Воины освободили Нэнси от пут, и она пошла за вождем в хижину.

Но все кончилось хорошо. Пленных отпустили. Объясняя внезапность благополучной развязки.

Незадолго до революции в вильямсбергской тюрьме томились шауни, схваченные виргинскими милиционерами. По словам Нэнси, кто-то из плантаторов намеревался променять пленников на своего мальчонку, похищенного индейцами(22).

Узникам предлагали свободу при условии возвращения сына плантатора. Они отказывались, не будучи уверенными в том, что сумеют сдержать слово. Глубокой осенью арестанты бежали. Стражники пустились в погоню: дикари далеко не уйдут — прикованы одной цепью за руку. И точно, вскоре в ближнем лесу грянули карабины. Однако «хороших индейцев», то есть мертвых, не обнаружили, не нашли.

Недели две спустя шауни окликнули деревенскую девушку, сгибавшуюся под вязанкой хвороста. Первым порывом Нэнси было засверкать пятками. Но индейцы едва дышали; к тому же один из них, кожа да кости, беспомощно опирался на товарища. Жалость охватила Нэнси, она жестом показала: ждите здесь... Воротившись, не нашла шауни и оставила провизию под деревом. С того дня Нэнси аккуратно подкармливала своих нежданных-негаданных нахлебников, и беглецы, доверившись Нэнси, перестали хорониться от нее... Уже ложились снега. Нэнси притащила одеяла. Потом принесла лыжи. Индейца, раненного в ногу, звали Голубая Куртка...

Все это Нэнси рассказала на дневке. Прекрасно! Но что же происходило в хижине вождя? Участь Нэнси была решена единодушно: либо остается с нами, шауни, либо уходит, ее воля. Участь белых... Большинство полагало, что хороший белый — это мертвый белый. Голубая Куртка, не оспаривая правила, настаивал на исключении в знак признательности Нэнси. С ним наконец согласились...

Неунывающий Теодор вновь сделался неунывающим. Больше того, смеялся, посвистывал, и даже напоминание об утрате боевого груза, захваченного индейцами, отразилось на его физиономии лишь мимолетно-хмурым изломом бровей. С легкостью изгнал он мысль о том, что это позорное происшествие вызовет бурное негодование защитников блокгауза Мозма.

Блокгауз? Звучит внушительно, как и прочие фортифика-

ционные термины, а по-виргински — всего-навсего ферма, обнесенная бревенчатыми стенами. Ее хозяин, Дэвид Моэм, был кряжистым мужиком лет сорока — нос картофелиной, глазки медвежьи, походка увалистая. Он встретил пришельцев радушно, но, заметив, что они без оружия, насупился. Благодарство Голубой Куртки, подчеркнутое Каржавиным, ничуть не утешило фермера, а утрата боеприпасов привела его в ярость. Гнев дядюшки Моэма разделяло «народонаселение»: трое женатых сыновей и те семейные или еще холостые парни, что по найму крестьянствовали наравне с хозяином и столовались с ним за одним столом; были тут и окрестные фермеры-погорельцы, разоренные англо-индейскими отрядами, в том числе и Голубой Курткой со своими шауни.

Худенькая миссис Моэм, привычная к соленым выражениям мистера Моэма, попыталась избавиться от них Нэнси. Но муженек гаркнул: «Прочь, старуха!» Каржавин сознавал правоту фермера, да ведь всему, как говорится, есть предел. Он взорвался, багровея пиратским шрамом и потрясая кулаками, и это возымело совершенно неожиданное действие: дядюшка Моэм расхохотался.

Потом предложил контракт, делающий честь американской рачительности: вы, ребята, пособите по хозяйству, зима-то близится, а там поглядим. Предложение было принято радостно — вроде бы некое искупление. А заодно и аванс в счет оружия, которое минитмены надеялись получить в блокгаузе.

Они его получили раньше, чем ожидали.

Едва рассвело, примчался всадник:

— Англичане!

Защитники блокгауза изготовились к отпору. Проверив посты, Дэвид Моэм совершил передислокацию, опять-таки делающую честь его практичности. Невозмутимый, как разводящий, он поочередно вооружил пришлых минитменов мушкетами своих сыновей и своих работников, коих перевел таким маневром в резерв. Резервисты не роптали, вероятно, потому, что не считали насущной необходимостью лишний раз подставлять свой лоб пуле. А «мобилизованные» сперва обрадовались избавлению от унизительной роли балласта, но тотчас оскорбились — черт дери, мистер Моэм распорядился нами, будто пушечным мясом. Однако повиновались. Нэнси возвысила было голос, требуя Смуглую Бетси, но командир блокгауза ответил коротко и веско:

— Заткнись! Ступай в дом.

Грубость дядюшки Моэма не задела Каржавина.

— Нэнси, — ласково сказал он, — послушание — первая доблесть солдата.

Западная стена блокгауза смотрела на Олений ручей; широкий и глубокий поток не способствовал легкому форсиро-

ванию. С востока, юга и севера простирались пашни и луга, окаймленные лесом, — открытое пространство не способствовало легкому штурму.

Тонко и резко прозвучала армейская труба, неприятель показался из лесу; красные мундиры и краснокожие. Союзничество предполагает любезность к союзнику, и англичане пустили индейцев впереди себя. Шауни двигались рассыпным строем, быстрыми перебежками; англичане сомкнутыми шеренгами.

Неприятель наступал без выстрела — велика дистанция. Защитники блокада тоже молчали — дефицит боевых припасов. В тишине слышался одинокий, пронзительный вскрик какой-то птицы.

Союзный отряд шел от восточной кромки леса. Утреннее солнце, пригревая затылки наступающих, слепило обороняющихся, вселяя странное, тревожно-гнетущее и вроде бы прежде не испытанное чувство.

Молчаливое сближение взвинчивает нервы. Но у тех, думаю, кто движется, не в такой степени, как у тех, кто недвижим. Эти подавлены тягостной скованностью. На корабле подобное ощущение не возникает, хотя и там находишься на одном месте, да ведь корабль-то, завязывая сражение, маневрирует и тем самым как бы слизывает с тебя гнет неподвижной мишени.

Расстояние сокращалось. На высоком шесте, торчавшем посреди блокада, взвился звездно-полосатый флаг. Тотчас затрещали выстрелы, остро пахло порохом.

Дружные залпы обороняющихся не срезали наступление. Индейцы по-прежнему шли впереди. Кто знает, не был ли среди них Голубая Куртка? Пусть меня повесят, если Федор не вспомнил сентябрьскую ночь, водоворот у баженовского Модельного дома, свое замешательство — ужель стрелять в простолудинов? Тогда судьба миловала. А теперь? Словно бы в ответ на немой вопрос, индейцы осыпали блокада свинцовым градом.

Первым рухнул Дик Дарра. Тот самый чернявый малый, который, прикорнув в устье Оленьего ручья, стал причиной позорного плена минитменов. О, еще вчера все почем зря кляли Дика, но вот он опрокинулся навзничь — и общий порыв прощения смешался с общим порывом отмщения. Никто и не заметил, как Нэнси подхватила Смуглую Бетси, выпавшую из рук бедного Дика.

Индейцы неслись на блокада, вопя и взвизгивая, защитники блокада вряд ли остались бы нечувствительны к шумовым эффектам шауни, если бы не ярость самозащиты.

Пороховой дым не рассеивался в безветрии, в морозе клубилась схватка.

Сейчас, вооруженный не мушкетом, а шариковой ручкой

с черным стержнем, не испытываешь радости одоления врага, а разделяешь отчаяние Каржавина: Нэнси, Нэнси...

Убитых похоронили на опушке, рядом с бревенчатой часовенкой. Пуританской, одинокой под таким огромным, медленно темнеющим небом. Похоронили, стали расходиться. Федор не двигался. Дядюшка Моэм обнял его за плечи. Федор, казалось, ничего не чувствовал, ничего не замечал. Дядюшка Моэм тяжело вздохнул и побрел домой.

Федор сел на ступеньку часовни.

Глава восьмая

1

Ветер Чезапикского залива пахнет болотной прелью. В последний раз на этом ветру шелестят британские знамена. В последний раз виргинское солнце, проникая низкие, осенние тучи, тускло отсвечивает на вражеских штыках. Мрачны англичане в красных мундирах, угрюмы гессенцы в мундирах зеленых. Они уходят из Йорктауна, шлепают по грязной дороге. А по сторонам дороги, искаленной лафетными колесами, — шеренги победителей, справа американцы, слева французы. Мир перевернулся вверх тормашками — капитулируют полки королевской армии. В поле с жухлой травой и лысыми кочками они позорно сложат оружие... Но что это? Генерал О'Хара устремляется туда, где бьет копытом белый конь командира французского экспедиционного корпуса. У генерала О'Хара подрагивает щека. Еще мгновение, одно лишь мгновение, и он успеет... Да, он капитулирует, но не перед проклятой чернью, а перед высшим офицером, который тоже присягал королю. Пусть не Георгу, а Людовику, но королю, королю! И генерал держит влево, будто не примечая всадника на буланом жеребце, изогнувшем шею... «Вы ошибаетесь, сэр, — произносит чей-то громкий, насмешливый голос. — Вы ошибаетесь, наш главнокомандующий генерал Вашингтон находится на правой стороне...» Все это произойдет осенью будущего года. А сейчас на дворе — январь 1780-го. Обидно! Судьба не дала Каржавину воочию увидеть то, к чему стремились все его помыслы, все душевные силы; то, что представлялось торжеством свободы над несвободой, добра над злом, справедливости над несправедливостью — капитуляцию неприятеля...

Да, январь восьмидесятого на дворе, холодом несет с берегов залива. Фрегат «Фандан» отправляется на Мартинику.

Командовал фрегатом де Водрейль. На свете немало мар-

кизов, пожалуй даже излишек, но он был хорошим маркизом, ибо принадлежал к истым морякам. В минувших сражениях экипаж де Водрейля понес чувствительный урон. На борту находилось двести с лишним тяжелораненых и больных. Каржавин не замедлил своей помощью сбившемуся с ног судовому лекарю, представителю той школы медицины, над которой иронизировал старик Маккензи.

Капитан де Водрейль гнал фрегат к берегам Мартиники — спешил пополнить экипаж матросами французской эскадры, оперирующей в Вест-Индии, а больными и ранеными пополнить береговой госпиталь, развернутый в Сен-Пьере.

С часу на час можно было встретить кого-либо из своих и приветствовать, как гладиатора, идущего навстречу судьбе. Приветствовать первым, ибо тот, кто приходит, пусть израненным, пусть измученным, тот счастливее уходящего. Нет, такой встречи не было. Была другая, чреватая быстрым и азартным пиршеством молниеносной стаи акул.

А накануне ночь-то выдалась — ах, мадригал, элегия, пастораль! Ее предварил долгий закат, сперва рдеющий пурпуром, потом фиолетовый с промоинами малахитового оттенка. А ночь опустилась лиловая, в лиловом реял, потрескивая, белый флаг фрегата.

Восход изукрасился перьями розовых облаков. «Фандан» шел правым галсом. И вдруг с наветренной стороны четко, как черта рокового итога, означилась британская эскадра. Горн на «Фандане» сыграл боевую тревогу.

Провалиться на этом месте, если кто-нибудь воспылал жадной батальных лавров, не исключая и храбреца де Водрейля. Испустить дух в двух шагах от безопасной якорной стоянки — это ж, ей-богу, все равно что раскроить череп, споткнувшись о порог собственного дома.

Чудес не бывает? Проскочили!

Уже возникла Мартиника, уже различалась циклопическая кладка берегового форта, когда громовой раскат сотряс наш корабль. Опять британцы! Девятка кораблей изрыгала ядерный подарок короля Георга. Но капитан явил искусство маневра. Маркизу позавидовали бы не только наставники Брестской морской академии, нет, даже сам Пол Джонс.

И сызнова проскочили невредимыми. Однако урок был преподан, на «Фандане» не ликовали, хотя, казалось бы, вот она, спасительная бухта, вот он, отец родной, массивный форт.

Схоласты спорят, сколько чертей усядется на кончике стальной иглки. Схоласты не спорили бы, взглянув на верхушку грот-мачты, где раскачивались, препираясь, ангел-хранитель и дьявол-погубитель. Ангел дважды одержал верх, однако дьявол не сдался, и вот неожиданно-негаданно отец родной, форт береговой, открыл ураганный огонь. Идиоты,

они приняли «Фандан» за вражеский корабль, ну и палили почем зря.

Что же спасло? Почему ушел «Фандан», а вместе с ним и Неунывающий Теодор? О тропическая нега! О соблазны Мартиники! Изнуряться в учениях, на практических стрельбах? Увольте. И вот вам результат: ядра, посланные береговой артиллерией, все до единого ложились с перелетом.

В три пополудни «Фандан» встал на якорь.

2

Не развернуть ли карты вест-индского театра военных действий? Толкуя о движениях эскадр, замыслах и промахах флагманов, соотношении орудийных стволов и веса бортового залпа, рассуждая о столь важных предметах, ощущаешь себя причастным к мужественным военно-морским доктринам.

Но ограничусь эскизом. Он необходим хотя бы потому, что Каржавин постарался объять мысленным взором вест-индский морской театр.

Там противоборствовали эскадры примерно равносильные. И адмиралы, не уступающие друг другу ни желанием славы, ни решительностью. Французы располагали преимуществом: они отдавали пальму первенства своим вест-индским интересам, а не интересам борьбы на континенте. Англичанам приходилось не упускать из виду и вест-индские острова, и американские берега. К тому же летом семьдесят девятого в войну вступило испанское королевство.

Карл III, так же как Людовик XVI, тайком субсидировал г-на Дюрана, то есть Пьера Бомарше, его торговый дом в парижском квартале Марэ. Поражение англичан было бы испанцам сладко, если бы не примешивалась горечь: победа колонистов, восставших против законного монарха, такая победа, резонно полагали в Мадриде, непременно отзовется в собственных владениях. И посему, ссужая золотом конгресс, отвергай независимость Соединенных Штатов. Но, как бы ни было, присутствие испанской эскадры в антильских водах чувствительно огорчало британское командование — надо не боксировать, а драться растопыренными пальцами.

А тут еще эти буканьеры, эти копченые¹. Они плавали под любым флагом или вовсе без флага. Нейтралы! Нейтральность не мешала копченым грабить и французов, и англичан, и испанцев. Буканьеры ходили на шхунах с длиннющими мачтами, назывались те шхуны балау; ходили и на узких, остро-

¹ Буканина — мясо, вяленое на буковых палках. Отсюда — буканьер, что значит копченый. Буканьерами называли корсаров.

носных бригах, внезапно появляясь и внезапно исчезая. Завяжи буканьеру глаза, он исхитрится миновать рифы. Привяжи буканьера к мачте, он поставит паруса. Надень на буканьера цепи — перегрызет зубами. Ватаги копченых охотились за всеми; все охотились за ватагами буканьеров. Они пользовались покровительством французов, если обещали подставить ножку англичанам, и пользовались покровительством англичан, если обещали насолить французам или испанцам.

3

Таковы обстоятельства, возникавшие пред Каржавиным в пестрых подробностях живого общения: на рейде Сен-Пьера высился «Гордый Родриго».

Его слава была свежа. Еще не развеялся пороховой дым, еще не остыли пушки, раскалившиеся в дуэли с англичанами, когда адмирал д'Эстен отписал в Париж Бомарше: «Сударь, у меня есть лишь минута, чтобы сообщить Вам о том, что «Гордый Родриго» хорошо справился со своей боевой задачей... Я безотлагательно отправлю в министерство все необходимые бумаги и надеюсь, что Вы сможете мне добиться тех наград, которые Ваш флот так доблестно заслужил».

«В а ш ф л о т!» Сказано громко, но «доблестно заслужил» сказано точно. Больше дюжины боевых кораблей снарядила фирма «Родриго Горталес». Они эскортировали торговые суда. Эскортируя, не робели прямых столкновений с противником. Так было и у острова Гренада. А теперь здесь, на Мартинике, в главной базе французского флота, вился флаг Бомарше, высился «Гордый Родриго», и впервые после гибели Нэнси глаза Федора блеснули молодо.

Он оставался интендантом революции. Не сверкает чистой репутация интендантской службы. «Братцев-интендантцев» традиционно клеймят лихоимцами, казнокрадами и т.д. Не утверждая, будто всегда не так, утверждаю, что не всегда так. Знал и честных и нечестных, всяких и разных, как, впрочем, и в иных отраслях человеческой практики на грешной земле. Что же до мсье Лами, нет, полагаю, нужды уверять любезных читателей — не раздобрел он в Америке, не нажил ни палат каменных, ни кубышки.

Федор нанял комнату в верхнем этаже знакомой «Бургундии». Цена кусалась. Надо было искать пристанище подешевле. И снискивать хлеб. Снискав, приводить в порядок записки об «американских провинциях». Федор не хвастал: он осматривал их российскими, то есть острыми и примечаящими, глазами. Не хвастал, нет, однако сознавал — «осмотр» не завершился. В том смысл был не географический, а политический. Многое еще следовало разглядеть «примечаящим гла-

зом» человека, замыслившего трактат о революции в Америке. Не столько о причинах ее, сколько о том, как бунт вырастает в мятеж, мятеж — в переворот, а в заключение рассмотреть последствия.

Повидаться с ним приехал из имения г-на Полена старик Блондель. Рыжий Франсуа сильно сдал. Он не обманывался и не обманывал: дни сочтены. И если старый враг монархов о чем-либо сожалел, то лишь о том, что так и не посетил героическую страну. Он желал бы, чтобы эта земля приняла его прах. Последнее же, что произнесет он коснеющим языком, будет призыв к народу Франции: свергни Бурбонов, провозгласи Декларацию, подобную филладельфийской, учреди республику и сохрани ее от посягательств хитрецов-негодяев, тех, что нороят за спиной народа ухватить рычаги власти.

Блондель рекомендовал Каржавина аптекарю г-ну Дюпорту: мой друг учился фармацевтике в Париже, практиковал в армии Вашингтона. Провизор — длинное, блеклое лицо выглядело неизбывную ипохондрию — кисло осведомился, у кого же именно обучался мсье Лами в Париже. Услышав: «Марсель Полиньяк, улица де Граммон», слабо шевельнул губами, это не было улыбкой, но все же было подобием улыбки: достопочтенный учитель мсье Лами приходится ему, Дюпорту, двоюродным братом.

Приятнее было бы иметь дело с господином не столь погребально-мрачным, но приходилось довольствоваться тем, кто был в наличии. Надо, впрочем, несколько снизить уровень ипохондрии г-на Дюпорта. Провизор недурно ужился с помощником. (Потому и ужился, что Каржавин скрытно-юмористически снисходил к болезненно-угнетенному состоянию его духа, пропуская мимо ушей желчные нарекания на весь род людской.) Поговаривая о возвращении во Францию, хотя и там, конечно, мерзавец погоняет вором, а вор мерзавцем, фармацевт сулил передать свою аптеку Федору.

Комната была меблированной, окнами в сад. Багаж Каржавина состоял из сундучка с бельем и хирургическим инструментом да плетеной корзины (деревенский подарок Нэнси), набитой рукописями. Бедняк спит спокойно. Припожалуют воры, он, если проснется, повторит, зевая, меланхолический вопрос некоего философа: «Господа, чего это вы ищете впотьмах? Я и при свете дня ничего здесь не нахожу».

Старик Блондель прислал картонку с книгами. То не были сочинения Вольтера или Гельвеция, давно читанные. То были памфлеты Гудара и Лабомеля, адресованные хижинам, а не дворцам. Каржавин определял кратко: «Просвещение ради возмущения».

Невозможность высказаться публично — несчастье? Да, но все же меньшее, нежели невозможность высказаться на бумаге. О первом Каржавин еще не помышлял. Второе уже осуществлял. Он писал трактат по содержанию политический; по форме писал он книгу странствий. Рассмотрев события континентальные, намеревался рассмотреть вест-индские.

Но, право, незачем скрывать и минуты уныния Неунывающего Теодора. Роняя перо, он оскорблял рукопись школярскими кляксами. И навзничь валился на постель.

Он тосковал по Нэнси, он жалел себя. Тоска эта и жалость смешивались с чувством вины перед Лоттой. У него было Лоттино письмо. Давнее, старое: он уехал на бригантине «Ле Жантий», письмо жухло в долгом ящике местного почтмейстера, лишь теперь попало к адресату. Лотта называла его милым другом и дорогим супругом, звала в Париж, заверяла — все будет хорошо. Тарелка с уксусом? Какая гнусная неблагодарность в ответ на преданность и заботливость. Нет, это он, Теодор, кайеннский перец... А Нэнси, бедная Нэнси — цветок, европейцам неведомый, золотистая маковка, белые лепестки... Несовместное смешивалось в душе, минуты уныния находили на Неунывающего Теодора, уныния и скорби.

Было так и поздним вечером 15 октября 1780-го. Дата указывается точно, читатель не замедлит понять, почему она тавром выжжена в памяти.

Звучком деревянной трещотки сторож возвещал о своей бдительности. Башенные часы на маленькой площади, где угловая аптека, отбивали время.

И вдруг исподволь возникло это ощущение, казалось бы, беспричинное и непостижимое, — будто где-то, не разберешь где, нечто громадное трудно и грозно переломилось. Переломилось и медленно сдвинулось с места.

Взвыли псы. Не залаяли, а взвыли, словно бы шерсть дыбом, а хвост поджат. И сразу же в отворенное окно ворвался отчаянный треск садовых деревьев, мертвый, прерывистый стук черепицы, сорванной с кровель, а потом уже ничего нельзя было различить, кроме грохота и скрежета.

Ссылки на «невозможность выразить словами» — жалки, как прошение о помиловании; призывы к воображению читателя — несостоятельны, как подложный вексель; сетования на слепую стихию — ветхи, как шушун прабабушки. Бессильный изобразить хаос, сообщаю протокольно: почти каждое пятилетие ураганы громили Мартинику.

Взметывая клубы пыли, рушились дома и колокольни. Пальмы, зловеще присвистывая, неслись по воздуху, обгоняя черный полет кладбищенских крестов. Рейд поглотил корабли. Потом вздыбилась гигантская волна и, мгновенно нарастающая скорость, понеслась на остров...

Ужасное происшествие потрясло пишущего эти строки. Его неудержимо потянуло домой, в Петербург, где наводнения куда реже, чем ураганы в Вест-Индии.

Капитана Баха тоже влекло к невиским берегам. Сопротивляясь ностальгии, капитан не покидал Новый Свет.

Сопроводять г-на Баха значило подвергнуться бесчисленным опасностям. Не сопровождать г-на Баха значило отпраздновать труса. Стыдясь самого себя, пишущий эти строки под всяческими предлогами долго отлынивал от роли сопровождающего, за что нынче и расплачивается отсутствием множества страниц, от которых у читателя захватило бы дух.

«Сан-Кристобаль», трехмачтовый испанский корабль под золотистым флагом с ослепительно-белой короной, «Сан-Кристобаль» доставил на Кубу капитана Баха. Читатель! Ни один из наших соотечественников доселе не показывался на Кубе!

Куба была как бы заокеанской губернией испанской державы, Гавана — губернским городом.

Капитан Бах поселился на окраине Гаваны. Жил не то чтобы скрытно, но и не то чтобы нараспашку. Словно бы вопреки своему капитанству, завел мирную аптеку и обзавелся двумя-тремя учениками, учил их французскому, учился у них испанскому.

Однако довольно. Не следует играть в конспирации, если опять была конспирация всерьез. К тому же сообразительный читатель уже, несомненно, рассмеялся над беллетристической уловкой.

Капитан Бах, «переводчик, агент для российского народа при адмиралтействе Мартиниканском», путешествующий «для примечаний, касающихся до географии, физики и натуральной истории», — так было указано в паспорте. Неунывающий Теодор собственной рукой написал этот паспорт.

Он оставался интендантом американской революции. Отправляясь с Мартиники, Каржавин опасался англичан: враги могли быть наслышаны о Лами, поставщике оружия и припасов. А «капитан Бах», русский путешественник, обладал неприкосновенностью подданного нейтрального государства. Ловко!

Добравшись до Кубы, он уже не таился, и его называли доном Теодором Русо.

Так же, как повсюду, он примечал все «острыми глазами».

«Здесь каждый недоволен всеми, здесь все недовольны каждым», — заключил Каржавин. В записке же, поданной впоследствии в российскую Коллегию иностранных дел, говорил лишь о том, что жил на Кубе смиренно, врачевал, варил снадобья, учил французскому, тем и снискивал пропи-

тание. Такие записки именовались в ту пору «сказками». Да вот говорит пословица: сказка — складка, а песня — быль. Песню как было не утаить? Известно ведь — плохие песни соловью в когтях у кошки.

А если бы Петербург вздумал навести справки, из Гаваны вряд ли бы ответили: ваш Теодор Русо, он же капитан Бах, отъявленный бунтовщик. Что так? Уж не левее ли властей российских были власти испанские?

Тут вся штука в переплете политики и коммерции, России не касающейся. Испания воевала с Англией. Воевала не ради благ Северной Америки, нет, ради избавления от посягательств владычицы морей. Воюя, не считала себя юридической союзницей бунтовщиков. Но исподтишка союзничала. Отсюда благожелательство к тем, кто представлял на Кубе американские интересы.

Но самого деятельного поборника кубино-американских коммерческих связей тогда в Гаване не было. Это, однако, не помешало Каржавину знать его — встречал в Вильямсберге негоцианта и работорговца Хуана де Миральеса(23). Подавляя отвращение (работорговец!), Федор старался видеть в нем т о л ь к о делового компаньона. Скажут: «Непринципиально». Отвечу: «Выгода, и притом не личная». Возьмите в расчет, что именно доставляли бунтовщикам из кубинских бухт — то же самое, что и торговый дом «Родриго Горталес» из французских гаваней. С добавкой крупных партий медикаментов, изготовлением которых был озабочен Каржавин.

Подчеркиваю красным: кубинские чиновники, выдерживая курс Мадрида, не принимали в Гаване официальных торговых представителей конгресса, но дону Теодору Русо, известному в резиденции генерал-губернатора под именем капитана Баха, россиянину, можно было не отказывать в неформальном представительстве от Тринадцати провинций.

Глава девятая

1

Вот если б и вас в оны годы пристально занимала история флота, то и вы, уверен, не упускали бы случая неторопливо побеседовать с ветеранами громких морских баталий. И потому, направляясь в Севастополь, непременно остановились бы на несколько дней в заснеженном, почти безмолвном Курске, у Ивана Петровича Архарова... Просьба не путать с его братом, московским полицмейстером, буйную команду которого горожане окрестили «архаровцами...» Иван же Петрович

ходил под флагом адмирала Спиридонова; потом служил в Москве, затем, отставным, поселился в Курске.

Человек прямодушный, добрый, он наделен был слабостью, свойственной морякам по причине долгого нахождения в сырости. «Держите курс в тихую гавань», — пригласил Архаров, отворяя дверь в домашний кабинет с батареей бутылок и стопкой книг, подаренных Карамзиным, дружески расположенным к Ивану Петровичу.

Семейство его состояло из жены и дочерей. Гувернанткой при барышнях была мадам Рамбур. Еще в московскую бытность Архаровых ее приняли в дом по протекции Баженова, о чем последнего просил Каржавин.

Не жила Лотта ни в тесноте, ни в обиде, но уже не была прежней Лоттой — веселой и вспльчивой. Она называла себя Переттой, уронившей кувшин: есть такое у Лафонтена — бедняжка Перетта спешила на рынок с кувшином молока, спешила, мечтая о покупках на выручку, а кувшин-то выскользнул из рук и разбился.

Там, в Курске, вдали от родины и вблизи погоста церкви Успения Богородицы, где в 1807 году Лотта нашла свое последнее пристанище, она написала «Кувшин Перетты»: ворох автобиографических тетрадок.

Ее письма к Каржавину, вероятно, погибли в водоворотах десятилетий(24). Тетрадки сохранились, бумага превосходная, французская, с водяным знаком в виде древа Свободы.

2

Страницы, относящиеся к 1787 году, написаны в тонах юмористических: Лотта рассказывает о г-не Дюма.

Дюма служил почт-директором в городке Лан. Однажды он получил из Парижа письмо некоего американского хирурга. Тот просил разыскать мадам Лами, она же Рамбур. Хирург приехал из Нового Света, привез семьсот пятьдесят тысяч ливров, завещанных американским дядюшкой указанной мадам, в случае обнаружения которой усилия г-на Дюма вознаграждаются сторицей.

Почт-директор ударил во все колокола. В счет будущей премии местный типограф тиснул сотню объявлений: местная газета напечатала воззвание к мадам Лами, она же Рамбур — отзовись! Епархиальные кюре расспрашивали прихожан, полиция явила неслыханное рвение.

И вот уж богатая наследница садилась в дилижанс. Ее эскортировал г-н Дюма. Почт-директорша пожирала глазами полногрудую блондинку, далеко не юную, однако весьма пикантную: уж не соблазнится ли супруг? Мысль реалистическая рассеяла беспокойство г-жи Дюма — наследница такого

состояния презрительно отвергнет домогательства моего пентюха.

Пентюх доставил Лотту в Париж, в гостиницу «Иисуса». В гостинице «Иисуса» Лотту ждал Теодор.

После Гаваны Каржавин опять был в Виргинии, прожил там несколько лет и опять был на Мартинике, в Сен-Пьере, откуда его увез на бригантине «Ле Жантий» старый приятель капитан Фремон(25).

На берег Франции Каржавин сошел с кошельком тощим, как у поденщика, если только у поденщиков бывают кошельки. В Париже ему помогли... Впрочем, кто именно, скажем позже... Он рвался в Петербург. И оставался в Париже: искал Лотту.

Любовь воскресла? А Нэнси, бедная Нэнси, сгинувшая в виргинских лесах? Живым — живое: Каржавин искал Лотту. Никто понятия не имел, куда она делась. Наконец один из общих знакомых припомнил, будто она устроилась в каком-то богатом семействе. То ли гувернанткой, то ли горничной. То ли в городке Лан, то ли в Ланской округе.

Каржавин снесся с тамошним почт-директором, посулил ему золотые горы. Теперь дело было сделано. Г-н Дюма сиял, принимал благодарности. Принять вознаграждение не пришлось. Г-н Лами не смог бы оплатить и дорожные расходы — девяносто четыре ливра. Околпаченный онемел. Г-н Лами развел руками:

— Сударь, вы и так богаты — великодушнее драгоценнее алмазов.

3

В первые годы разлуки Лотта горевала. Она готова была просить у Теодора прощения, хотя все же считала, что прощения должен просить Теодор.

Потом возник г-н Бермон. В «Кувшине Перетты» этот адвокат обозначен так: «Арт. Бермон». Он тоже был одинок, его жена сбежала в Канаду содержанкой некоего господина, которого Бермон иначе не называл, как продувной бестией.

Лотта и Бермон, украдкой приглядываясь друг к другу, испытывали встречное сострадание, что, как известно, ведет к сближению. Бермон охотно женился бы на Лотте, но она не скрывала, что ждет Теодора Лами. Это было честно, но это было и жестоко. Бедный «Арт» положился на время. Его смирение тронуло Лотту, она была нежна с Бермоном. К тому же своими мужскими достоинствами он превосходил отсутствующего супруга.

Бермонов расчет на время, увы, не оправдался. Проклятый Лами уцелел, выжил. Лоттино счастье — а она чувствовала влюбленность первой молодости — омрачалось, несмот-

ря на честное предупреждение, сознанием вины перед Бермоном. Кротко и ласково, со слезою на глазах и в голосе, она рассталась с ним. Его отчаяние было плаксивым, а по-сему не заслуживает описания, как недостойное сильного пола.

Девять из десяти женщин промолчали бы о Бермоне. Лотта не промолчала. В «Кувшине Перетты» она объяснила свой поступок: не хотела, не могла лгать Теодору. Незачем толковать вкривь: боялась, дескать, сторонних известий, земля-то слухом полнится, вот и призналась. Нет, высшая степень душевной опрятности.

Услышав о ланском адвокате, Теодор, отнюдь не ожидавший многолетней супружеской верности, побелел, в лице ни кровинки. Сипло спросил, есть ли у нее ребенок, услышав «нет», трудно перевел дыхание, слабо улыбнулся.

О, в ту минуту Теодор нисколько не сомневался в своей воскресшей любви к Лотте. Нисколько! И в ее любви тоже. Признание в неверности представилось ему доказательством верности подлинной — душевной, а не эфемерно-плотской. Больше того, он и себе и другим повторял, что Лотта ждала его, и уж этого он никогда не забудет. Повторял убежденно, не подозревая, что в самих этих повторах притаилась шаткость его убежденности.

Все вместе создавало иллюзию исцеления от бешеной ревности, приступам которой он был подвержен в молодости. Он был доволен врачующим действием истекших лет:

— Время страстей прошло.

— Нужно признаться, — улыбнулась Лотта, — ты бывал несносен.

Они не то чтобы надеялись, они знали, что доживут в добром, спокойном согласии. «Доживут» произносилось бес- печально. О дожитии не думали, думали о жизни.

4

Обновленная, потекла она в городе, тоже обновленном. Легионы каменщиков и штукатуров бодро стучали деревянной обувкой. Лебедки от зари до зари поднимали кирпич, гранит, мрамор. Буржуа, богатея, учредили страховое общество; на многих домах было начертано: «МАСЛ» — дом застрахован от огня.

Неподалеку от Бастилии, в Сент-Антуанском предместье, возводили дворец: полукруглый фасад в двести окон, стройная колоннада. На пустыре разбивали парк с цветниками, насыпными террасами, прудом, беседками, статуями. Утверждали, что все это влетит владельцу в полтора миллиона франков. И прибавляли: Бомарше — спекулятор ловкий.

Так иль не так, я не вникал в его спекуляции, а поставки в Америку тут ни при чем, не принесли они барыша бывшему генеральному директору бывшей фирмы «Родриго Горталес и К^о». Но, обретая дворцы, утрачиваешь идеалы. Немного, совсем немного воды унесет Сена, и г-н де Бомарше из высоких окон своей великолепной недвижимости увидит бурное движение стихии, сокрушающей и материальную цитадель монархии, и ее грозный, устрашающий символ. Христианнейшему королю покровительствовал козлоногий Пан, бог охотников, но и тот не сумеет нагнать панический страх на восставший Париж...

Каржавин и Лотта ходили в Сент-Антуанское предместье поглядеть на дворец г-на де Бомарше.

Живи он в лачуге, Каржавин огорчился бы. Живи средним достатком, Каржавин не огорчился бы. Но эта вызывающая роскошь ударяла в нос. Она оскорбляла дело, которое делал г-н Дюран. И казалась несовместной с создателем «Фигаро».

А Лотта, любуясь дворцом, думала: «Теодор вернулся нищим, господин Бомарше слывет щедрым, не отпустит с пустыми руками, сочтет за честь».

— Послушай, ты не будешь жалким просителем, если... — Лотта прикусила язык: шрам под скулой Теодора багровел.

— Никогда, — процедил Каржавин.

— Но ты же знаешь... — Лотта указала на свой живот.

Каржавин молчал.

— Ладно, — сказала Лотта. И будто цвиркнула сквозь зубы коротким плевком: — К черту!

Каржавин рассмеялся.

Гордость гордостью, а хлеб-то нужен. Он работал над переводами с русского. Эх, улита едет, когда-то будет. Ему помогли продержаться, перебиться.

Вот уж действительно, гора с горой...

Двадцать лет отломилось, как Федор Васильевич покинул семинарию при Троице-Сергиевой лавре. Отец Павел, управлявший обязанностями священника при посольстве на рю де Граммон, выучился французскому в этой семинарии. Бурсак-тихоня Паша Криницкий успевал хорошо; не ему сердито выговаривал учитель: «Не пылаешь жаждой знания, ну и нечего тлеть!» Паша Криницкий пылал. И удостоился особого доверия: в монастырской келье у г-на Каржавина читал «Энциклопедический журнал», Ломоносова сочинения, говорил с ним г-н Каржавин о том, о чем с «лжебратией» не говорил.

И Каржавин не удивился, узнав впоследствии, как в разгар французской революции посланник гневался на посольского священника: повиноваться не хочет, требы не вершит, «Права человека» обожествляет, на острастку сам стращает: призову-

де к суду революционного трибунала... Не удивился Каржавин, обрадовался: «Ай да Пашенька!»

Но тогда, в канун революции, отец Павел не прекословил посланнику. Общение же свое с русскими жителями Парижа выдавал за миссионерское — да отвернутся заблудшие души от прельщений католических, да возвернутся заблудшие души в лоно православия, да отвратятся от пагубных прельщений парижских и вновь прилепятся к заветам отчич и дедич.

Отец Павел привел «заблудших» в гостиницу «Иисуса». Лишенная церковной утвари, она не лишена была утвари домашней, а гости, сознавая стесненность постояльца, не стеснялись — «каждый с даром в руке своей».

Опять — гора с горой...

В глазах Зарина отразилось: «Ох, постарел». А Зарин вроде бы не менялся, все тот же красавец. Не припомнили, читатель? Ведь это тот самый, что вместе с сапожником Тимофеем приходил к мсье Лами в годину пугачевского восстания... Тимофей недавно помер, а Зарин все минувшие годы служил у министра Верженна. Граф сошел в могилу, оставил слугам ренту. Был, значит, теперь Зарин-то рантье. И ничуть не влекло его в вотчины бывшего барина.

С такими вот россиянами водил компанию отец Павел. Все они сбежали от своих добрых помещиков. Зарин — от графа Бутурлина, некий Ларивон — тоже. А Татаринов — от Бибикова. А Иван Соломонов — от Нащокина. А Максим и Филька, сказать страшно, — от отцов-командиров; первый был теперь драгуном, второй — пехотинцем. Нет, не бегство этих русских людей огорчало отца Павла, другое.

— Дух свободы, который и есть дух святой, подвигнул их к избавлению от рабства, — признавал он. — Однако что вижу, Федор Васильевич? Капище, где курят фимиам златому тельцу. Вот хоть нащокинский Соломонов — на париках и буклях разжился, имеет капитал в двенадцать тысяч ливров. Ах, Федор Васильевич, есть, есть веяние духа свободы, но веет-то не единым дуновением.

Как бы ни было, именно эти беглые да бывший семинарист, они-то и пособили Каржавину. Можно было, пожалуй, опять обратиться к г-ну Хотинскому, советнику посольства. Этого гнома, всегда скромно одетого, с неизменным крестиком в петличке, безукоризненно вежливого, очень и очень неглупого, знал Каржавин с юных лет. К нему-то и воззвал с берегов Мартиники — пособи́те деньгами, желаю воротиться в отечество. Выбрался, однако, не за казенный счет: г-н Хотинский списался с Петербургом, да так ловко, так дипломатично, что принудил раскошелиться дражайшую маменьку Анну Исаевну. Но опять толкаться к г-ну Хотинскому? «Zut!» — как говорит Лотта. «К черту!»

И если Каржавин появлялся на улице Траверсьер, в отеле «Трех милордов», то не у советника Хотинского — там жил Петр Петрович Дубровский.

Дубровский служил секретарем и переводчиком в русском посольстве. Выходец из Киевской духовной академии, был он дороден и румян. Дубровский не смеялся, а хохотал, не ел, а плотоядно вкушал, трубкой дымил, как запорожец люлькой. Случалось, впадал в развалистую лень, словно нежась в тени вишневого садочка, но вообще-то отличался замечательной энергией.

По натуре был он собирателем, коллекционером. Расхожее — страстный — не прибавлю. Бесстрастный коллекционер нелеп, как и страстный кладбищенский сторож. Иное дело — ипостаси страсти. Корысть и бескорыстие, тщеславие и самозабвение; называю распространенное и, так сказать, гольем, не в смеси. Ну а Петр Петрович?

Собирая рукописи, редкие книги, рисунки и миниатюры, был он чист душою. Потом, позже, в годы революции, скупая рукописи и автографы знаменитых французов, спасал от огня, от бессмысленного расхищения документы исторические. Спас четыреста рукописей, восемь тысяч автографов. Немалую сумму предлагали англичане. Отринул: все мое — принадлежит не мне.

Не скажу, видел ли Каржавин всю коллекцию, поступившую впоследствии в петербургскую Публичную библиотеку, но в ценности того, что видел тогда, в отеле «Трех милордов», он не сомневался. А вот в ценности будущей книги Петра Петровича «Российский Плутарх, или Жизнь славных русских людей» усомнился: такое сочинение требовало обращения к отеческим древлехранилищам.

Нет, не сочинение Дубровского интересовало Каржавина, а намерение устроить в Париже «русских слов типографию». Расходы перевалили уже на вторую тысячу.

— Достанет ли средств? — спросил Каржавин.

— Ударю челом князю Потемкину: подайте помощь, воздам подношением труда моего, в коем вашей светлости приуготовлено достойное место.

— Петр Петрович, он же главный тиран России!

— А какие виктории одерживает!

— Виктории одерживает русский солдат, — вспыхнул Каржавин.

— Ох, Федор Васильевич, — покачал головой Дубровский, — завирального набрались у американских бунтовщиков. — Он вздохнул и ласково коснулся плеча Каржавина: — Оставляйте-ка в Париже, оставяйтесь.

Каржавин упрямо нагнул голову:

— Русских слов типография в городе Париже хороша будет, но не столь хороша, как в городе Петербурге.

— Вольному воля. Сказал бы «помогай бог», да вы-то небось ни в бога ни в черта.

Каржавин рассмеялся. Дубровский, в вере нетвердый, не удержал улыбки. Потом спросил, как и Каржавин давеча: достанет ли средств?

Каржавин нахмурился.

— Светлейшему челом не ударю.

5

Остаться в Париже и писать об американской революции. Лотта не из тех, кто бьет баклуши, в Лоттиных руках спорится рукоделье. Франция — вторая родина. Тут-то и зарыга собака — в т о р а я. Только там, в России, надо вершить тайную помолвку Смуглой Бетси и Золотого Ключа.

Золотой Ключ бесшумно отворяет высокие двери в царство Знания, Золотой Ключ — символ книжного издательства, любви к книге. Сперва братья за оружие, потом за книгу? Или наоборот?

Вопросом об очередности не то чтобы вовсе не задавался Каржавин, а склонен был считать этот вопрос схоластическим. Он думал о докторе Франклине. Великий муж был до революции типографом, не спал, дожидаясь побудки залпами Смуглой Бетси.

В Петербург — это было решено. Федор не очень-то рассчитывал на отцовское наследство. Но все же чем черт не шутит. А потом приедет Лотта. В Петербург — решено. Вот только бы уломать Гериссана — купите рукописи, купите мои переводы с русского, они найдут спрос. И Каржавин ходил на улицу Сен-Жак, где некогда жил пансионером.

Он был уже стар, букинист Гериссан. Смерть супруги не убила его. Напротив, старик нашел в себе силы и нашел у себя деньги — он «расширился»: вступил в долю с крупным издателем.

При виде бывшего пансионера он не обронил и слезинки, а Каржавин... Худо, холодно, сиротливо жилось у Гериссанов, да вот растрогался. Увы, Гериссан кисло отнесся к его предложению, сделку заключать не торопился. Каржавин втихомолку ругал старика, но продолжал ходить на улицу Сен-Жак.

Бывший губернатор Виргинии и будущий президент Соединенных Штатов тоже навещался к мсье Гериссану.

Бывший и будущий исполнял тогда обязанности посла во Франции. В точности не скажу, жил ли еще Томас Джефферсон в отеле или уже переехал в особняк на Елисейских полях. Но где бы он ни жил, он жил однажды навсегда упорченным распорядком: в шесть подъем и до обеда работа; послеобеден-

ная прогулка пешая или верхом; опять письменный стол, а вечером раут или театр, ужин с земляками на рю де Бурбон (там образовалась колония американцев) или букинистические лавки на рю Сен-Жак.

В лавке Гериссана они и виделись — высокий, худощавый джентльмен с неизменно благожелательным лицом, этот страстный библиофил Томас Джефферсон, и наш Федор Каржавин...

Каржавин прожил в Америке и годы послевоенные. Душа его омрачилась торжеством торгашества, нетронутостью черного рабства, а самое горькое настигло под конец. Когда Каржавин покидал Европу, его преследовало эхо разгрома Пугачева. Когда Каржавин собирался покинуть Америку, его преследовало спрингфилдское эхо... Восставшая фермерская беднота требовала поровну распределить земли и богатства, аннулировать долговые платежи, изменить налоговую систему. Даниел Шейс — до революции батрак, во время войны партизан, затем офицер, награжденный за храбрость именной саблей, — Даниел Шейс принял под свою команду повстанческий отряд. Толстосумы щедро авансировали карателей. Виргинские плантаторы снарядили кавалерию. Восставших разгромили близ города Спрингфилда. Спрингфилдское эхо мучило Каржавина...

Джефферсон рассуждал спокойно.

Люди Шейса взяли за оружие не потому, что, как думают некоторые, свобода теряет свое обаяние, а демократия обретает свои слабости, нет, корень в налогах, и правительству не надо сосредоточиваться на репрессиях, а надо искоренять причины. Такие восстания есть проявление цензорских прав народа. И подобно грозе, очищают атмосферу. Бои, схватки, жертвы? Он пожал плечами: дерево Свободы орошается кровью. Он, Томас Джефферсон, давно предрекал — после войны мы пойдем вниз по склону холма; правами народа-победителя станут пренебрегать.

И все же Каржавин отчетливо сознавал громадность свершившегося — вооруженный народ ниспроверг коронную власть, власть республиканская утвердилась. И... началось «нисхождение» по склону холма? Увы, Джефферсон прав. Он, Каржавин, должен мыслить об этом долго и пристально: как сделать так, чтобы вооруженный народ, еще не рассеявшись по лесам и фермам, поставил на вершине холма крепкую стражу, вернейших из верных, вооруженных и Смуглой Бетси и Золотым Ключом?

В Петербург, в Петербург...

Лотта печалилась. О, разлука не будет, не будет, не будет столь горькой и столь продолжительной, как прежняя. И все же разлучаться теперь, когда она не одна, когда у нее под сердцем дитя?

Люблю окраины невской столицы тех давних времен: они хранили облик провинциальный — заборы с осиновыми подпорками, канавки, огороды, хлева, а крапиву на борщ рви из окошка. Ничего державного, Санкт-Петербургского. Но для того чтобы стать на якорь, или, как шутили флотские, «на яшку», у кромки Васильевского острова, там, где Малая Нева, нужна была и причина особая: боялся упустить из виду Каржавина.

Честно сказать, весьма желательна была бы его задержка во Франции. Повременил бы, помедлил и вот вторично посетил бы сей мир в его минуты роковые.

Но если ты бессилён удержать Каржавина в королевстве, где старинные колокола вскоре ударят новым набатом, то пиши про обыденность на Васильевском острове, вот хоть про Зотова...

Герасим Зотов исполнял на таможене тонкие поручения. Рассекречу чуть позже, а сейчас представлю славного малого. Было ему более двадцати и меньше тридцати, где-то посерединке. Рослый, белокурый, он магнетизировал слабый пол, однако весьма сурово оборонял свою независимость. Его суровость сменялась нежностью, едва он осязал типографические изделия. Книжечий!

Приятели-сослуживцы заглядывали к Зотову, чаще прочих таможенный досмотрщик Богомолов, в прошлом наборщик. Хорошие были ребята. Прикладывались лишь после бани — кто камень кинет? И певали протяжно: «Ох, что ж ты, голубчик». Или вот эту, побойчее: «Чарочки по столику похаживают».

Летними вечерами прогуливались они у Малой Невы. Шум портовых работ смолкал, тишина как бы высвечивала гармонию нестройной береговой застройки и стройных корабельных рангоутов. Баржи с Волги, Ильмена, Мсты, Волхова устало теснились к Пеньковому буяну. Закат румянил, как в духовке, черепичную кровлю старого Гостиного двора, блики заката плавались в круглых окнах пакгаузов. Река, не ограниченная гранитом, неслась вольно. В шуме и влажном шорохе реки, в вечеряющем небе была тихая прелесть родного Севера, ласково и грустно берущая за сердце.

Прогулки будят мечтательность... Кто-то тонко заметил: не обязательно владеть лавкой, чтобы обладать натурой лавочника. Не обладая натурой лавочника, Зотов мечтал владеть лавкой — к н и ж н о й. У него водилось тысконок пять; для почина требовалось еще две-три. Недостающий капитал он

надеялся приобрести исполнением тонких поручений чиновника, управляющего таможней.

Коллежский советник летовал на Петровском острове. Там была у него мыза. Удобно: в шлюпке или на плоту (если ты в экипаже) переправься на левый берег Малой Невы и пожалуйста — таможня. А вечером найми лодку с гребцами — любуйся вольной рекой, дремотой кораблей, сменой белого дня прохладной белой ночью. Потом, когда детей, перекрестив, уложат, завершай свое, покамест никому не ведомое, путешествие из Петербурга в Москву.

Управлял таможней коллежский советник Радищев. Теперь рассекречиваю его тонкие поручения Зотову.

Коммерц-коллегию с легкой руки Державина язвили «шмерц-коллегией»¹. А подведомственную таможню, с чьей уж руки не знаю, — «нажиточным ведомством», ибо «невяленный» товар давал жирный куш — товар, сокрытый от пошлин; попросту молвить, контрабанда.

Пресекая контрабанду, Радищев держал доверенных лиц, за успех в изобличениях платил недурно. Зотов был одним из самых проворных и сметливых.

2

Не сказки сказываю, а про сказку скажу. Была такая — «История Алины, королевы Голконды» Жана Буффлера; и дети и взрослые зачитывались. Популярность громадная, и вот вам высшая награда автору — корабль назывался «Королева Голкондская». Из Гавра пришел, встал на Малой Неве, против старого Гостиного двора.

«Королевой» обладал капитан Ланглуа. Она глядела замарашкой, будто и не была королевой; он — щеголем, будто и не был смоленым моряком. Ланглуа привел «Королеву» брюхатой товарами, да главное в другом. Этот Ланглуа приходился кузеном Жюлю Фремоню. Да-да, тому самому, с львиным лицом, тронутым оспой, капитану «Ле Жантий». Полагаю, он-то и упросил Ланглуа безвозмездно доставить в Петербург своего верного друга «русского американца».

Зотов проведал об этом и тотчас поспешил к начальнику.

Радищев поощрял серьезное зотовское книголюбие. Как раз третьего дня дал ему сочинение г-на Ладыгина, члена Коммерц-коллегии, — только что изданные известия о Соединенных Штатах. Компилятор и переводчик взывал: «Желательно, чтобы знающий кто из российских, чрез собственное в торгах заморских испытание заблагоуременно уведомил

¹ Shmerz - глубокая печаль, тоска, страдание (нем.). Как поясняет словарь, все значения этого слова имеют неприятный оттенок.

отечество, какие из наших обыкновенно товаров, или вновь какие бы наши произведения, походны стали бы предъявленные...»

Знающий кто из российских? Да вот, извольте, на «Голкондской» явился! И Зотов поспешил к коллежскому советнику.

Радищеву вспомнилась давняя-давняя встреча с Каржавиным у Новикова? Полноте! Они тогда даже и не были представлены друг другу. Нет, иное заставило Радищева задуматься.

Служил он не спустя рукава, а стараясь, как сам говорил, «приобрести знания, до торговой части вообще касающиеся». Президент Коммерц-коллегии это поддерживал. Президентом был Воронцов. Тот, что в молодых летах вояжировал в Париж, видел Ерофея Каржавина... Может, на такой ниточке-паутинке узлы вязать? Опять не так.

Другое дело — Каржавин-старший, здешний, петербургский, недавно умерший. Коллежский советник Радищев читал предложение Василия Никитича об учреждении компании для широкого заморского торга. (Проект хранился у Воронцова.) И Радищев кивнул Зотову: «Проси». Каржавин, несколько недоумевая, последовал за провожатым.

Теплый запах деревянной пристани, пригретой солнцем, — запах бревен, уложенных штабелем, и то, светлое чувство, которое владело Каржавиным, — все это вдруг соотнеслось с суетой, чиновниками, близостью большого города, и все это было и далеким прошлым, и как бы сиюминутным... Высокие тесовые ворота, грубо сколоченные из толстых досок, ворота, пахнувшие елью, пригретой солнцем, отворились медленно, мундирный чиновник сурово спросил: «Имеете что-либо запрещенное королевским указом?» Полагалось отвечать: «Посмотрите». Так и ответил когда-то дядюшка Ерофей, не без смущения и даже, кажется, некоторого испуга, хотя и не без ничего запретного, да и у всех пассажиров дилижанса, прибывшего на парижскую заставу, были такие же робкие голоса. А чуть в стороне, дожидаясь, когда отворят малые воротца для прогона скота, шумно дышало обреченное бойне стадо пегих и черных коров...

Провожатый сопровождал, Каржавин шел, рассеянно улыбаясь самому себе, семилетнему Теодору, мальчику в новеньком нарядном платьице и новеньких башмачках с замечательными металлическими пряжками, семилетнему Феденьке, которому предстояло жить в Париже...

«Пожалуйста сюда, сударь», — пригласил Зотов, и Федор Васильевич Каржавин вошел в покой, где занимался таможенным делом Александр Николаевич Радищев. Внимательно, спокойно глядел он на крепкого, тонкого в талии, плечистого человека со шрамом на левой скуле.

Изобразить встречу пылкой, с многократным пожатием рук? Выйдет даже и не романная гиль, а кривда. Единомышленники не всегда заключают друг друга в объятия, случается, и нередко, что своя своих не познаша. Познание предваряется узнаванием. А тут что же? Один ведать не ведал о не опубликованном еще «Путешествии из Петербурга в Москву», другой — о незавершенных размышлениях, связанных с путешествием по «бунтующим Штатам».

Корректную сдержанность Александра Николаевича принял Каржавин за высокомерие и сразу же со свойственной ему горячностью словно бы ошетинился. Потому-то и вопрос Радищева, не сын ли г-н Каржавин первогильдейского купца, составителя прожекта заморского торга, вопрос этот неприятно задел Федора Васильевича. Сударь, неприязненно и колюче подумал он, не суйте свой нос, сударь, в наши фамильные секреты.

А Радишев-то держал на уме совсем другое. Он хотел выслушать очевидца, каковы торговые обстоятельства в бывших британских колониях. И не просто очевидца, а, вероятно, корреспондента-посредника, посланного в дальние края широко мыслящим коммерсантом Василием Никитичем Каржавиным.

В намерении коллежского советника не таилось никакого подвоха. Напротив, оно, это намерение, как бы подтверждало дальновояжное и коммерческое реноме просвещенного «русского американца». Именно ту репутацию, которую сам же Федор Каржавин старательно поддерживал и в письмах из-за океана, и в частных беседах с людьми незнакомыми или малознакомыми, да и потом, в Париже, перед посольским советником Хотинским. Словом, всегда и везде.

И сейчас в покое, где коллежский советник Александр Николаевич Радищев занимался таможенным делом, разговор завязался экономический.

Радищев сказал, что Коммерц-коллегия, а равно и Коллегия иностранная опасаются американского соперничества — повезут в Европу товары, подобные российским произведениям.

Каржавин счел сии опасения не совсем напрасными, однако чрезмерными. Конечно, вольные американцы — на то они и вольные — уже сворачивают шею английским королевским компаниям, но отнюдь не отказываются принимать купцов из других стран. Ему, Каржавину, известно мнение господина Джефферсона, имеющего в Штатах большой вес: американцам необходимо распахнуть двери — пусть из-за моря везут любые товары. К тому же, продолжал Каржавин, заметно оживившись, словно бы впадая в роль полномочного представителя, о которой некогда толковали в Вильямсберге Беллини и Уайз, к тому же в ходу уже не бумажные деньги,

а серебряные. И еще одно: господину советнику, разумеется, по службе известно, сколь часто американские суда гостят в Риге, Кронштадте, Петербурге.

Да, согласился Радищев, известно, вот рапорта таможенных контор. А лет пять тому Карл Снелл, жительствующий в Риге, издал основательную книжку, толкующую о выгодах для России от независимости Соединенных Штатов.

— Торговля торговлей, а есть и другое, — вдруг, словно ножом по стеклу, ответил Каржавин и пристально взглянул на Радищева.

Ах, еще бы миг — и сюжет экономический соскользнул бы в политический, да черт принес начальника таможни. Хворал, хворал, от службы устранился, а тут возьми и появись — послал за управляющим.

3

Василий Никитич умер, можно сказать, и нехорошо и хорошо.

Нехорошо потому, что не преставился в одночасье, а отходил долго, мучительно, под гнетом скорбей и болей какой-то жестокой хворобы. Хорошо же потому, что внял голосу с другого конца света: государь-мой батюшка, прошу, слезно прошу предать забвению прежние распри.

Внял, да. И, дыша на ладан, распорядился: все, нажитое мною, как движимое, так и недвижимое, делить на троих: жене, старшему Федору и младшему Матвею. А дочерям Лизоньке и Дуняше? Девки получили в приданое по тыщонке, и будет, довольно.

Сестры надулись, озлобились, грозились судом: государь наш батюшка, страдаючи, не в светлом разуме был, в нетвердой памяти, а матушка со своим любимчиком Мотькой учинили незаконность, завещание подложное, стало быть, ложное.

Любимчик Мотька, уличая сестриц, обещал так: вернется Федор, тогда, мол, и без суда рассудим.

Вернулся.

Государыня матушка, принимая старшенького, прослезилась. Пожурила: что же ты, сокол мой, одинцом? Супружница твоя хотя и францужанка, а и без такой, прости господи, в твоих-то летах негоже. Зови, Федя, мадаму, будет мне дочерью. Я, Федя, покладистая, ласковая, приглашай, не обижу невестушку.

Да, прослезилась. Вот только глазки-то быстро обсохли. Востро, недобро, настороженно глядела из-под набрякших век. Неча Федьку нежить! Это ж он, постылый, мужнину жизнь, жизнь Василия свет Никитича, как зельем отравил.

Он! Будь примерным сыном, ей-ей, жил бы Василий Никитич, поживал, добро наживал. Ладно, нажил-таки тысяч триста. А Федька, от которого ни на понюх помочи не было, Федька готовенькое хочет тяпнуть. Шалишь, утробный ты мой, шалишь...

«Тяпнуть» он бы не отказался: Золотой Ключ пить-есть не просил, однако денег требовал. Федор Васильевич натягивал маску совершенного послушания. И подступал к матушке с покорнейшей просьбой выделить часть наследственного капитала. Но при этом вовсе не настаивал на одной трети. Не хотел обделять ни Лизавету, ни Дуню, предлагал делить поровну.

Анна Исаевна серчала на «старшенького». А меньшому поперек ни-ни. Вьюнош грубианствовал и пианствовал. Анна Исаевна умиленно вздыхала: «Ах, Мотенька, солнышко ты мое...» Федору Васильевичу иногда казалось, что в глубине души она страсть как боится его меньшого братца. Однажды, внезапно испытав ужасное предчувствие, с присвистом выдохнула: «Убьет меня, беспрременно убьет!»

Домом она правила тиранически. Девки-прислужницы скользили бесплотными тенями в своих сиротских платьях сизо-полосатого затрапеза. (Не в затрапезных платьях, читатель, а из затрапеза — грубую дешевизну варганил мануфактурист Затрапезнов.) Жила она букой, но стариц из моленной близ Сенного рынка, которые при жизни Василия Никитича не смели и порог переступить, стариц привечала, однако всякий раз после чаепития пересчитывала, сердито сопя, куски сахара. А уж покататься напогляд по питерской мостовой — это она очень любила, держала собственный выезд; на облучке восседал кучерявый Устин. Вот уж кого не терпел Федор Васильевич, так сытого кота-мурлыку: водились у него шашни с маменькой.

Прибежище получил Каржавин в 7-й линии Васильевского острова. Там давно квартировал Гаврила Игнатьевич Козлов, женатый на сестре Каржавина Лизавете; той самой, что в молодости напоминала ему Лотту.

Происходил Козлов по тогдашнему «анкетному» определению из господских людей. Принадлежал, значит, к черной кости. Да и внешность его свидетельствовала об отсутствии голубой крови. Был он очень мил. Не потому, что имел соболиные брови — бровки-то у него были белесенькие; и не потому, что сапфиром сверкали очи — глаза-то были серенькие; не потому, наконец, что лицо его имело благородные черты — черты были заурядные. Нет, очень мил оттого, что существо его дышало необыкновенной добротой.

Жизнь Гаврилы Игнатьевича текла в академических классах. Он «отправлял дежурства в живописи исторической». «Дежурства» были Козлову и призванием и делом. Не гений

в живописи, он был гением трудолюбия. Дом держал открытым, а стол накрытым для всех, причастных к искусству. Натурщики, жильцы академического подвала, кланялись ему почтительно, но не подобострастно. Даже и тогда, когда господина Козлова избрали адъюнкт-ректором Академии и казенный служитель стал подавать г-ну Козлову экипаж, изнутри обитый синим сукном.

Ни значительная должность, а следственно, и значительное жалование, ни казенный экипаж, способствующие, как известно, увеличению самомнения, а вместе и служебной цепкости, продиктованной опасением утраты привилегий, ни то, что он еще и начальствовал в Шпалерной мастерской, не переменяло Гаврилу Игнатьевича, а кто ж не знает, как разительно переменяются «выходцы из господских людей». Из грязи да в князи — эдак иногда приключается; а вот чтобы такой в князях да и без грязи — эдак почти не бывает.

Впрочем, некая новина замечалась — слабость к гардеропу, и Каржавин не упускал случая незлобно подтрунить над добродушным зятем:

— Фью, поздравляю обновой! Фрак-то, гляди-ка, бутылочный, а пуговички-то, пуговички — фарфоровые, расписные. Апофеоз!

Лизавета обороняла мужа:

— Ах, Федя, ведь от трудов, от трудов праведных! Гаврила Игнатьевич других отдохновений не ведает. То классы, то Шпалерная, то мастерская, то академические консилиумы. Знай вертись и везде поспевай. Да еще Ваську со Степкой на шею посадил. Господи, воля твоя, такой уж доброхот, такой доброхот...

Степка и Васька? Да, профессор держал частных учеников Степана Курляндцова и Василия Удалова, крепостных кого-то из Голицыных. Предрекал обоим: «Наградят вас в актовом зале медалями при игрании труб и литавров». А это уж означало, что Ваське со Степкой очень даже возможно успешно окончить Академию и получить за успешность «аттестат со шпагаю», что, в свою очередь, означало личное дворянство и офицерский чин.

Они давно уж не работали красными брусочками, непременно принадлежностью начинающих. Этот род сухой сангины вкладывался в медные стерженьки. Неверный, ошибочный штрих не уберешь кусочком белой сайки — начинай, брат, сызнова. Но и черными брусочками тоже не работали: рисованье черным карандашом — удел переходной ступени. Степан Семенов сын Курляндцов и Василий Васильев сын Удалов работали березовым угольком, вставленным в черенок гусяного пера, — это для абриса, тогда еще углем не делали законченных рисунков. Работали и кистью, щетинной иль

хорьковой. Горячо получалось, они не были подражателями. Да вот медаль-то, аттестат, шпага — мечта и сон: барин не давал вольную. Изверг. Кулаками мотали Степан и Василий, глаза темнели ненавистно.

Ах, как внимали молодые люди Каржавину! Он толковал о свободе, о праве человека на свою судьбу. Истинный пропагандист! Потому истинный, что истинам не обязательна аудитория, набитая слушателями, довольно и «Васьки» со «Степкой». И еще потому, что пропаганда не пропала втуне(26).

Да, тепло было Каржавину у Гаврилы Игнатьевича Козлова. Переводное, то, что готовил к тиснению, — а переводил Федор, обновляя, и давний труд дядюшки Ерофея о русском языке, — все это держал там, в семейном доме. Самое же драгоценное прятал здесь, у зятя, — дневники, главы трактата об американской революции.

Серьезная материя, для Каржавина капитальная. Развить бы, продолжить, однако повременю. Может, по ассоциации, а может, и так, без связи, но в памяти наплывом веселое застолье, окончившееся отнюдь не веселым, если не сказать — трагическим, вторжением смуглого гостя в адмиральском камзоле.

Началась же пирушка в хлебосольном доме Гаврилы Игнатьевича, как всегда, непринужденно. Были сотоварищи по цеху, ученики были, включая домашних, был и Федор Васильевич, любезный сердцу хозяина и хозяйки.

Яствам предшествовала, по обыкновению, деятельная озачоченность Гаврилы Игнатьевича, праведно слывшего в Академии мастером композиции. Когда он начинал преподавать, композиции требовали множества персонажей, но теперь усилился классицизм, и это позволяло обойтись меньшим числом. Так что компания была комплектной. Разве что не совсем мифологической и совсем не ветхозаветной, как в академических программах. Пустяки!

Гаврила Игнатьевич, усадив присутствующих, остался доволен как расположением фигур, так и голодным блеском в их глазах.

В тот вечер Каржавин был в ударе.

Не страшась ликвидировать его романтический нимб, следует отметить — Федор Васильевич обладал не только флибустьерским шрамом, а и флибустьерским аппетитом. Он отдавал должное всему поочередно, не исключая и продукцию винокуренного производства, отчего находился в ударе, то есть живо повествовал о приключениях на море и на суше. Разгорячившись, баритонально грянул: «Мир перевернулся вверх тормашками», энергичными жестами требуя общей поддержки. Событьльники налегли кто во что горазд, и вся композиция обрела экспрессию, достаточную и для класса батальной живописи. Но пока мир переворачивался вверх

тормашками, в микромире прихожей захлебывался дверной колокольчик.

Разъяренный и вместе растерянный, ворвался в комнату смуглый человек в адмиральском камзоле.

4

Пол Джонс рассорился с Америкой после утраты «Амери-ки». Впрочем, не только из-за этого корабля, обещанного Джонсу как превосходному навигатору, но подаренного Людовику XVI как тороватому союзнику. Будь прокляты бессовестные конгрессмены! Пола обвиняли в каких-то незаконных тратах и не отдавали законных призовых денег. Что-то потом выплатили, а что-то нет. Оскорбляли, подозревали, косились, смотрели сверху вниз.

Покинув край родной (не по рождению — по судьбе), Пол ринулся в края чужие. Чего искал республиканец в державе монархической? Слышал и не раз — наживы. Врете, подлецы! Нет, не корысти ради. А ради пущей славы. Но тут и заминка, что-то вроде стыдобушки за вольного сына свободной стихии. Жаждал славы? Что ж в том плохого? Но славы-то, любезный читатель, славы, осененной скипетром. Его честолюбие, при-скачив жестким воротничком пуританства, алкало шелеста горностаевой мантии.

Петербург встретил моряка триумфально. Джонс преподнес государыне текст американской конституции. Щурясь на простака, самодержица сказала: ваша революция не может не вызвать других и не оказать влияния на все правительства. Какое именно влияние, объяснить не стала. Джонс нашел стареющую императрицу очаровательной.

Посреди обедов, приемов, балов кралась ехидная черная кошка: Полу Джонсу предложили чин капитана флота, но генерал-майорского ранга. А по мнению палубных моряков, судовой кок и тот ровня сухопутному полковнику; физиономия Пола Джонса приняла такое выражение, словно вместо ананаса он отведал редьки. Джонс огорчился, самолюбиво обиделся, готовился уложить пожитки и выбрать якорь. К дьяволу!

Сдается, то был первый признак едкого недовольствия его пребыванием в Северной Пальмире. Не русского недовольствия, а английских негоциантов и английских штаб-офицеров русской службы. Тех, кого Екатерина иногда называла ласково «мордашками», а иногда презрительно — «бульдогами». Как! негодовали «мордашки-бульдоги», пират, жестоко оскорбивший королевский флот, бродяга и бунтовщик, этот наглец жаждет адмиральства?! Но с высоты престола донеслось: Павлу Жонесу быть нашим контр-адмиралом.

И «бульдоги» лопнули бы, если бы не железные обручи традиционной невозмутимости.

А пылкий Пол летел на почтовых в полуденную Россию. Там рычали пушки, гребни волн атели там кровью, шла русско-турецкая война.

Любопытно было бы поглядеть на первое свидание князя Потемкина с Полом Джонсом. Не пришлось. Его переводчик г-н Дмитриевский, петербуржец, впоследствии рассказывал: светлейший, поспрошав Джонса об американской войне и американской республике, заключил в том смысле, что обширные пространства Америки требуют единой державы, а республика на таких пространствах ничем не устоит... Кто знает, может, фаворит держал в уме и обширные пространства империи, к вящему могуществу которой присоединял он Новороссию.. Вот только не сообразил: Новороссия — одно; Новый Свет — другое...

Джонсу дали эскадру. Полынный ветер днепровского лимана заструил его флаг на мачте «Владимира». Гребной флотилией командовал контр-адмирал принц Нассау-Зиген. На вчерашнего бунтовщика, окрыленного парусами, принц, вооруженный веслами, скосился неприязненно. Вчерашний бунтовщик не унизился приязню. К тому же самолюбивого моряка чувствительно задевало благоволение Потемкина к этому земноводному Нассау.

А с офицерами и матросами Джонс поладил. Когда же он удрал штучку в своем прежнем вкусе, его не венчали лаврами, нет, бери выше, признали отчаянной головушкой, не теряющей головы.

Спроворил же господин контр-адмирал лихое дельце.

Как-то поздним вечером явился он с переводчиком и двумя-тремя матросами в казачий лагерь на днепровском берегу. Казаки пригласили к ужину. Ужиная, столковались — казаки сочли план Джонса хватким и дельным.

И вот за полночь длинная востроносая лодка (адмирал на руле) тихо отчалила. Легкая, как ласточка, скользнула в лиман; бесшумная, как угорь, прошла по лиману; Джонс высмотрел диспозицию неприятеля, к самому крупному кораблю приблизился на расстояние вытянутой руки. Зачем? А затем, чтобы пометить угольком: «Сжечь. Пол Джонс». Через день пылал костер, как некогда в бухте Уайтхевен.

В отличие от Нассау и светлейшего, генерал-аншеф Суворов проникся к Полу Джонсу дружеским чувством. Улыбался, лучась морщинками: мне этот Жонес как столетний знакомец. И когда тот сетовал на Потемкина и Нассау, отымающих боевые лавры, утешал: война, господин адмирал, не только раны и смерть, а и несправедливость высшего начальства. Уж он-то знал, что говорил. Но и Суворов не знал, до какой степени «необузданный корсар» раздражает князя. Наконец По-

темкин сплавил Джонса туда, откуда тот прибыл. Такие, как Джонс, нужны войнам за независимость и не нужны фаворитам, поборникам зависимости.

У въезда в Петербург его не осенила триумфальная арка. Аудиенцию императрица дала, должность не дала. Джонс закусил губу. Мрак его души соответствовал осеннему, петербургскому. Безделье угнетало, как хвороба.

И вдруг встряхнулся, словно дог после ушата холодной воды. Он думал о русских моряках — какие парни! И думал о моряках Америки — славные ребята! То-то, думал он, взяться бы за руки. Он размышлял о дружеских узах России и Соединенных Штатов, полагая, что различие образа правления тому не помеха.

Не дожидаясь красной кареты из Коллегии иностранных дел, контр-адмирал Джонс отправился к вице-канцлеру Остерману. Старик был само внимание, но его худое лицо с темными провалами щек и седыми, косо нависшими бровями оставалось непроницаемым. Резюмировал так: прекрасная мысль, милостивый государь мой, однако подобный союз преждевременен, ибо еще пуще возбудит противу России сент-джеймский двор.

Осмотрительный вице-канцлер опасался вражды англичан и был прав. Опробочивый контр-адмирал не опасался и попал в беду.

Неудовольствие Потемкина, то, что светлейший прогнал Джонса, а царица не определила его в новую должность, поощрило «бульдогов». Еще громче, еще злобнее заклацали они челюстями и наконец вцепились в горло ненавистного бродяги. Не обошлось, думается, без потачки Степана Иваныча, г-на Шешковского. Слушайте!

Джонс жил на Миллионной, в шереметевском доме, там квартиры сдавались внаем. Как-то, ненастным утром, сидел он у себя и писал в Париж Джефферсону. Слуга ушел в лавку, на звонок Пол сам отворил дверь. Он и моргнуть не успел, как смазливая девчонка лет этак пятнадцати шмыгнула в комнаты и давай лепетать — буду, мол, стирать, шить, стряпать... И вдруг повисла на шее у Джонса, покрывая лицо его поцелуями. Сообразив, каков ее промысел, Пол выхватил кошелек, сунул девчонке несколько монет и выпроводил на лестницу. Ей бы кланяться, трудиться-то не пришлось, а монеты, вот они, но девчонка голосила, рвала на себе платье, царапала щеки. Невесть откуда вывернулась как на помеле патлатая ведьма и тоже заголосила. Сбежались жильцы, дворники, горничные. Старуха и девица, тыча пальцем в обомлевшего Джонса, визжали, как бесноватые: «Обесчестил! Обесчестил!»

В управе благочиния что-то уж больно спешно встали на защиту попранной невинности. Над Джонсом почернело небо. Ему грозил адмиралтейский суд, а там заседало несколь-

ко «бульдогов». Он обивал сановные пороги, дальше порогов его не пускали. Дворцовый камер-лакей с наглой улыбочкой указал адмиралу на дверь.

Джонс отчетливо, яростно сознавал, что девку подослали, а ведьму подкупили. Англичане гадили, проклятые англичане! Но кто, кто именно? Даже под угрозой колесования Пол вспорол бы подлецам брюхо.

Его раскаленное отчаяние можно было погасить лишь кровью. Пол Джонс, адмирал, сорока двух от роду, зарядил пистолеты... Но тут-то и вмешалось провидение. Такое случается: за минуту до того, как щелкнет курок, провидение резко меняет курс событий. На сей раз оно вышвырнуло моряка на улицу, будто плавающую головешку. Его лихорадило, прохожие сторонились Джонса. А провидение влекло Пола в 7-ю линию Васильевского острова, в дом Козлова.

Гаврила Игнатьевич еще не закончил поясной портрет Джонса, однако на пороге самоубийства вряд ли помышляют о совершенстве собственного изображения. А раз так, стало быть, именно провидение влекло несчастного в дом профессора живописи.

Гневный и вместе растерянный адмирал вторгся в компанию пирующих. Он озирался, как затравленный. Клянусь, даже у сторожа покойницкой защемило бы сердце. Пригубил бокал и с отвращением отставил. Грохнул по столешнице: «Подлейшая клевета!» Вскочил, стал ходить и рассказывать, как было дело. Его понимал один Каржавин. Прочие, не разумея по-английски, испуганно тарасились: господин адмирал рехнулся.

Заступник нужен, заступник, решил Каржавин, ужасаясь положению Джонса. Сильного мира сего, казалось Федору Васильевичу, можно было бы без особого труда сыскать среди знакомых там, где мир перевернулся вверх тормашками, но здесь... Он будто бы лбом уткнулся в шлагбаум. И вдруг как осенило: Сегюр!

В филладельфийском отеле «Тронтин» граф Сегюр провозгласил: «Каждый, кто воюет за свободу Америки, мой ратный товарищ!» Теперь граф представлял Францию при дворе петербургском. Веселый, остроумный, он пленял высший свет; пленяя, обзавелся важными дворцовыми связями и в Петербурге, и в Гатчине, у наследника престола.

Итак, нынешний посланник протянет руку бывшему ратному товарищу? Увы, дипломатическая служба не только не способствует расцвету товарищества, но и предполагает увядание этого похвального чувства.

Ах, как радостно каяться — худо думать о человеке, а тот, оказывается, способен на порывы благородства.

Сегюра тоже возмутило nepотpeбcтвo, учиненное «бульдогами» над бесстрашным шотландцем. Свежее лицо посланни-

ка — приятная вмятинка на подбородке, темные блестящие глаза и подвижная, словно бы порхающая, когда он смеялся, левая бровь, — лицо его выразило досаду, гнев, озабоченность. Собравшись с мыслями, он взял бумагу, обмакнул перо и стал писать.

Около полуночи карета Сегюра остановилась у ворот шереметевского доходного дома на Миллионной. Граф взбежал на третий этаж. Он застал Пола в мрачно-нетерпеливом ожидании.

— Полноте, дорогой адмирал, успокойтесь, — мягко сказал Сегюр. — Кажется, и на море бывают бури, а? Не так ли? — И протянул заготовленное письмо на высочайшее имя. — Перепишите и подпишите. Отправьте почтой: императрица запретила вскрывать письма, ей адресованные. Она выслушала клевету. Пусть теперь выслушает опровержение клеветы. А я, — замкнул посланник, — я, дорогой адмирал, постараюсь все уладить.

Луи-Филипп Сегюр постарался. Грозовая туча адмиралтейского судилища растаяла. Но, увы, это же верно: клеветите, клеветите, что-нибудь да останется. Все уладить не удалось. Нового назначения Джонс так и не получил, а получил двухгодичный отпуск, в сущности увольнение в чистую.

Он уезжал осенью. Лил дождь, лохматил лужи ветер. Джонс ехал в Варшаву, далее — в Париж. Каржавин дал ему письмо и деньги для Лотты.

5

Враги человеку — домашние его. Под отчей кровлей ели поедом, и Каржавин отряс прах со своих ног. Поселился сперва в 15-й линии Васильевского острова, потом перебрался на Екатерининский канал.

Жил скудно. Лотте посылал изредка; она обижалась на его скардность, он — на ее обиды. Экономный во всем, себя не экономил. Спозаранку дотемна писал, переводил. Писал трактат об американской революции. Переводил пусть и чужое, но душе близкое — с французского и английского.

В те времена гонорар определяли так. Возьмет покупатель-издатель рукопись — плод непорочного зачатия, трудов и вдохновений, — подержит на ладонях да и шмякнет на весы.

— Тэ-экс, извольте двести рублей ассигнациями.

А ты, автор, ты бумаги, чернил да свечей извел на двести пятьдесят. Но покупатель неумолим.

Скудно жил Каржавин, однако как не накрыть стол для тех, кто не живет хлебом единым.

Эти петербуржцы в разбитых сапожонках, в одежде на рыбьем меху, эти писаря, регистраторы, выученики Академической гимназии, младшие служители кадетского корпуса, эти люди третьего чина были милы Каржавину своим неприятием самодержавства, ломоносовской верой в знание, ощущением в себе энергии первого толчка.

Чаще всех приходил к Федору Васильевичу Федор же Васильевич. В Кречетове, отставном поручике, было сходство с Полом Джонсом — вспльчивость, страстность, неуживчивость. Да и некоторое внешнее сходство — коренастый, жилистый, быстрый.

В молодости Кречетов служил аудитором Тобольского полка Финляндской дивизии; дивизионным обер-аудитором был Радищев. Не утверждаю, будто обер-аудитор и внеслужебно влиял на подчиненного аудитора. Утверждаю: годы спустя, когда на Петровском острове и в своем городском доме на Грязной дописывал Александр Николаевич «Путешествие из Петербурга в Москву», тогда же на Екатерининском канале, в сиром и сумрачном каржавинском углу выписывал Кречетов страницы из американского путешествия своего тезки. Потом отдавал верным друзьям для снятия копий — поручение мучительное: неразборчивость почерка могла свести с ума. Копии пускал по рукам; «рук» не жадных, а жаждущих находилось немало(27).

Бывший аудитор исполнял поручения клиентов по разного рода судебным тяжбам. Пробавляясь на медяки, громоздил циклопические проекты — от упразднения крепостного состояния до «скороучения читать и писать», от введения конституционного правления до учреждения «общего банка». Каржавин, случалось, посмеивался над его «булыжным» слогом. Кречетов огрызался полушутя-полувсерьез: меня, мол, не холили в коллеже.

Он сам себе был коллежем. Каржавин дивился его начитанности. И ставил выше всех, с кем свел знакомства в России.

Кречетов был человеком дела. Он учредил просветительское общество; выдал в свет журнал «Не все и не ничего». Обладая аттестатом учителя словесности, намеревался открыть училище. Ему говорили: «Зачем? Милостью государыни они уже есть». Он саркастически усмеялся: «Государыня только по губам мажет. Тщеславия у царей всегда с избытком». И объяснял близким людям: «Не такие заведем школы. А такие, чтобы учить простолюдие, баб тоже, не одной лишь азбуке, нет, — направлению к вольности, отвергающей всевластие самодержавия». В годы полковой службы присмотрелся к солдатам, разделил угрюмую, тяжелую, неизбывную ненависть к барам, равно цивильным, статским и к армейским да гвардейским. И теперь, доверяя сокровенное ближайшим из близких,

говорил: «Убеждать надо солдат, любим предлогом пользоваться и убеждать: без вашей, ребята, подмоги мужики так и пребудут в позорном ярме, а вот ежели вы, ребята, в урочный день командиров-то к ногтю, вот тогда...»

Колючий и гневливый, не имея за душой и гроша, имел он в душе сокровище — недремлющую совесть. И Каржавин не только уважал Кречетова, нет, любил. Сильно, скрытно, нежно любил. Несколько лет спустя, в девяносто третьем, убивался Каржавин, плакал, слез не стыдясь, — Кречетова заточили в крепость Петра и Павла(28). Сдается, и Кречетов платил Каржавину той же монетой. Не было случая, чтобы всплился, поссорился. Напротив, замечалось даже и нечто ему не свойственное — что-то похожее на смирение: Федор Васильевич Каржавин воочию видел революцию, восставший народ видел. Передуманное там не коснело, не остывало, а сызнова обдумывалось здесь, под крышей дома на Екатерининском канале. И с пером в руке, зависавшей над раскрытой чернильницей. И за столом в час вечерних собраний.

Учительство было его призванием. Оно брезжило еще на берегу Сены, на антресолях, где мальчик Теодор учил грамоте девочку Лотту. И в Троицкой лавре, где коллежский актуариус натаскивал семинаристов. И потом, в Виргинии, где его ученики зубрили французские вокабулы. Покойный дядюшка Ерофей внушал племяннику: уча других, мы учимся сами. Но лишь теперь, вечерами, за столом, глаза в глаза, лишь теперь это обрело отнюдь не школярский смысл.

Когда королевская рать сложила оружие, Радищев сложил оду. Жалея о личном неучастии в американской войне за независимость, славил воинов-победителей. Обращаясь к Америке, восклицал: «Ликуюешь ты!»

В послевоенной Америке Каржавин видел то, что провидел Джефферсон: спуск по склону холма, небрежение правами народа. Негодовал: власть по деньгам возрастает, древо Свободы не зеленеет(29).

Радищев в оде «Вольность» пел победителей. Каржавин скорбел о фермерах Даниела Шейса. Обращаясь к Америке, Радищев восклицал: «Ликуюешь ты!» И прибавлял: «...а мы здесь страждем!..» Теперь он знал — Америка у ж е не ликует, а «мы здесь» е щ е страждем.

Но навещал ли Каржавин Радищева? О, странные законы памяти — не смею ответить утвердительно. Однако, перечитывая «Путешествие», слышу и американский мотив, навеянный неким другом. Нет, гадать не буду. Не потому лишь, что боюсь наврать, а и потому, что шибко подался вперед и пропустил событие чрезвычайное: летним днем восемьдесят девятого года столичные «Ведомости» уныло, как на панихиде, известили о парижском мятеже и падении Бастилии.

Какой день, читатель, какой день!

Незнакомые люди обнимались на улицах, поздравляя друг друга. Глаза Кречетова блистали слезами восторга. Голос Каржавина пресекался: «Вельможи нам кажутся сильными только потому, что мы на коленях. Так встанем же!»

Глава одиннадцатая

1

Маститого ученого спросили однажды, какие документы прошлого обладают на его взгляд наибольшей ценностью.

— Если бы вы, — улыбнулся метр, — предложили антиквару неопубликованное письмо Наполеона, вы сразу стали бы богатым, человеком... Минутку, мсье, — уже серьезно продолжал метр. — Минутку! Вот если бы в ваших руках оказалась совсем простая вещь... Ну, скажем, прихода-расходная книжка времен революции: сколько заплачено за пучок лука в день взятия Бастилии, сколько стоил фунт хлеба в то утро, когда королевская голова слетела в корзину... Вот такая простая вещь, понимаете? Вы несете ее антиквару и, буде он предложит вам столько золота, сколько весят эти записи, пошлите наглеца ко всем чертям. Вы должны получить куда больше! Да-да, такие документы — клад для историка.

«Кувшин Перетты» не назовешь прихода-расходной книжкой, хотя будни революции, включая «пучок лука» и «фунт хлеба», отразились в Лоттиных тетрадках. Отнести антикварам? Дудки! Нынешние не платят золотом. Да и нужно ль золото тому, кто получает пенсию в сто двадцать рублей? Нет, «Кувшин» завещан рукописному отделу библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. А пока жив, держу при себе. И заглядываю в этот «Кувшин», описывая дальнейшее.

Теодор уехал, Лотта сменила гостиницу «Иисуса» на затхлые меблирашки, населенные прощелыгами. Конечно, дешевле, но какая неосмотрительность: триста ливров, присланные Теодором на акушера и сиделку, как ветром сдуло.

Лотту выручили супруги Плени. Если бедняки не всегда добряки, то и добряки не всегда бедняки: Плени владели гостиницей.

Они ничем не были обязаны Лотте. Наоборот, она была обязана г-же Плени несколькими заказами на шитье. Теодор клеймил скаредность буржуа вообще, парижских в частности. Он был не совсем не прав. В отношении же супругов Плени оказался бы совсем не прав.

Люди почтенные, они испытывали желание отдаться заботам дедушки и бабушки. И обратить свои заботы не на маль-

чика, а на девочку. Правда, это желание шло вразрез с желанием Теодора, ожидавшего сына, но Лотта не возражала. Когда же она, расплакавшись, призналась в своем «банкротстве» — утрате трехсот ливров, — старики забрали Лотту из мебелишек и поместили у себя, на своих хлебах. А когда Лотта заверяла в непременно погашении долга, они махали руками, как маленькие мельницы на картинке из детской книжки.

Она сообщила мужу о перемене адреса и перемене обстоятельств. Ответ Теодора дышал нежностью: «Целую тебя, по крайней мере твое изображение», — у него был Лоттин портрет, им же исполненный(30).

В конверте находилось и письмо для Плени. Оказывая внимание моей жене, писал Каржавин, вы, сударь и сударыня, отдаете дань человечности; вскоре ей потребуются особые услуги, прошу вас, помогите; если возникнет опасность, пожалуйста, спасите мать даже за счет ребенка; не отказываясь жить ради него, мне хотелось бы жить для него только вместе с матерью.

Роды близились. Старики удвоили заботливость. Запретили Лотте даже рукоделие, требовали долгих прогулок. И она гуляла часами, пока боль в пояснице не уложила ее в постель.

Акушер ничего не понимал. Лотте стало совсем невмоготу, г-жа Плени послала за другим акушером. Этот мял и ломал бедняжку так, словно она не хотела подняться на эшафот, воздвигнутый посреди Гревской площади. Опуская в карман гонорар, палач объявил, что мадам вообще не беременна, а опасно больна и ей давно пора лечиться, но только не у акушеров. В прихожей добавил с уха на ухо: она не протянет и полгода.

— О чем вы с ним говорили? — спросила Лотта, приподнимая голову с подушки.

— Милая, он сказал мне не больше, чем вам. Я не верю ему.

Г-жа Плени не отходила от Лотты ночь напролет. Утром отправилась за другим врачом. Этот ощупывал грациозно. Его заключение гласило, что мадам, несомненно, беременна, нужно брать ванны и пить воду вишийскую или седлицкую.

Лотта послушно исполнила назначения, и наконец начался последний, что запечатлелось в ее меркнушем сознании, было выражение крайнего любопытства на физиономии грациозного медика и отчаяния в глазах г-жи Плени.

Позже, когда все уже было позади, она передала Лотте резюме эскулапа: «Мы с вами, любезнейшая, свидетели феномена — мясо и кровь, и ничего больше».

Поправлялась Лотта на удивление быстро. Минула неделя — передвигалась по комнате без посторонней помощи. Но даже уйди Лотта на край света, она не ушла бы от тоски. И

прежде случалось печалиться, тосковать, но прошлая тоска была усиленным продолжением печали, а эта была иной, никогда не испытанной, телесной.

Теодор, известившись, утешил Лотту. Теперь, написал он, меньше забот, меньше трудностей, покоримся и начнем сначала... Грубоватая, нарочитая бодрость, маскирующая страдание? А на Лотту так и прынуло равнодушной холодностью, у нее брызнули слезы, и сквозь эти слезы она взглянула на письма Теодора.

Первое — после отъезда — было из Гавра. Ни тени грусти! О, конечно, на крыльях летел он в Россию, да ведь та, которой он писал: «моя дорогая жена», осталась в Париже. И вот ни тени грусти, просто-напросто подробности. Начиная от приятности путешествия в наемном кабриолете (дилижанс обошелся бы втрое дешевле, но дилижанс, видите ли, оказался переполненным) и кончая прекрасной постановкой танцев на сцене гаврского театра. Ни единым звуком не обмолвился о чувствах, которые, казалось бы, должны были быть особенно острыми в первые дни разлуки. А ведь ее сердце трепетало от страха за Теодора. Едва корабль оставил Гавр, над Францией разразилось бедствие. Небо ниспослало не град, а куски льда фунтов по восемь, даже и вдвое весомее. Многие провинции сильно пострадали, нижнюю Нормандию постигло наводнение. О, с каким ужасом она думала, каково на море. Теодор родился в рубашке, ничего не приключилось, о чем он и удосужился известить лишь полтора месяца спустя.

Неделя за неделей, месяц за месяцем Лотта жила ожиданием его писем. А письма приходили все реже. Нет, Лотта не допускала мысли о том, что Теодор ведет недостойную игру, однако срок супружеского воссоединения оставался неопределенным, и эта неопределенность была худшей из всех, что существуют на свете.

К тому же эти редкие, нерегулярные поступления денег или векселей. У Теодора скверное обыкновение: вместо того чтобы прибегать к посредству голландских банкиров, обеспечивающих семь с половиной процентов, он зачастую полагается на оказии. Вот и стучись в чужие двери, как просительница, — омерзительно, утомительно, обидно.

Лишь однажды окая выдалась аккуратной. Едва приехав в Париж, Пол Джонс представился мадам Каржавиной. В «Кувшине Перетты» отмечено: «Человек в высшей степени благовоспитанный»(31). Он лестно отозвался о Теодоре, и это не вызвало поджатия Лоттиных губ — она сразу прониклась доверием к г-ну Джонсу. Э, упреки Теодора были бы тут и вовсе неуместны. Совершенно неуместны!

Теодор, случалось, раздраженно упрекал жену за то, что она прежде всего видит в его знакомых недостатки, а не до-

стоинства, и что в такой предвзятости кроется ее, Лоттин, собственный недостаток. Она отвечала, что жизнь развеивает иллюзии и что его, Теодора, знакомые, считавшиеся даже друзьями, нимало ею не интересовались во все годы его отсутствия. Теодор пожимал плечами: «Твоя гордость слишком требовательна, ты желаешь, чтобы тебя ценили так же, как меня. А еще больше желаешь, чтобы меня не ценили, дабы я не переоценил самого себя».

Право, не так уж и ошибался Каржавин. У Лотты, когда хвалили Теодора, словно бы повышалась кислотность. Не то чтобы она так уж опасалась зазнайства, задранного носа. Нет, другое. Странно, но похвалы Теодору отзывались в душе как бы умалением, если не отрицанием, ее собственных достоинств. Он неутомим, он трудолюбив? Ха, что ж тут такого! Каждый, кто не рожден с фамильным гербом на заднице, трудится в поте лица. Он пи-и-ишет? Прекрасно! Но сие вовсе не значит, что он занимает особое место под солнцем. У каждого свое «перо» и своя «чернильница», будь то башмачник, будь то швея. А его отношение к парижским друзьям? Когда-то она была доверчивой; минувшие годы сделали ее подозрительной, она сильно сомневалась в искренности парижских приятелей Теодора. И еще: любишь жену, оскорбись за жену. Этого не было, и это было оскорбительно.

И все же после того, как Теодор уехал в Россию, она навещала его парижских знакомых. Однако не учтивости ради, а ради исполнения мужниных поручений: он заказывал типографский шрифт, клейма, штемпели, слал граверам-картографам карты Балтики и Крыма, книги... Лотту расспрашивали, каково Каржавину после столь долгого отсутствия? Все хорошо, все очень, очень хорошо, отвечала она, то есть говорила обратное действительности.

Да, отдавала визиты, скрывая неприязнь, смиряя гордыню, умеряя подозрительность.

Вот уж чего не было, так не было, когда визиты отдавали ей, ибо визитерами были не парижане, а русские, жительствующие в Париже, — г-н Дубровский, секретарь посольства; отец Павел, священник посольства.

Первый — дородный и румяный, лукавый и добродушный — казался Лотте более русским, нежели второй — бледный, нервный, горячий. Но оба были соотечественниками Теодора, и это решало дело — веяло приобщением к его родине и почему-то вселяло надежду на скорую встречу.

Этой встречи и они желали, но не там, в Петербурге, а здесь, в Париже. В тождестве желания отсутствовало тождество мотивов, хотя последний определялся одинаково: французские условия очень бы споспешествовали трудам Федора Васильевича.

Лотта недоумевала — что за условия, какие? Революция —

это множество «нет»: нет хлеба, нет дров, нет заработка, нет свечей. Условия!

Дубровский, соглашаясь, стоял на своем: нет управы благочиния, нет цензора полиции-мастеров. «Менее русский», не оспаривая Лоттиных «нет», отодвигал их в сторону: в години революций его бывший учитель дышит полной грудью — мысленным оком он видел Каржавина в городе, где гудит набат.

3

Гудел набат и в ночь на понедельник. Поднял бы на ноги весь Париж, если бы весь Париж спал. До сна ли беднякам? — дети терзали душу протяжным, жалобным: «Хочу-у-у е-е-есть... Е-е-есть хочу-у-у...»

А в версальском зале пиновала королевская гвардия. Топтала трехцветную патриотическую кокарду, нацепляла белую, королевскую, дамам прикалывала на платье белые королевские лилии. В разгар оргии Людовик вернулся с охоты. Пирующие обнажили шпаги: «Государь, разгоним чернь!»

Звон версальских бокалов отозвался парижским набатом.

Лотта увидела толпы женщин. Кричали о заговоре версальцев, намеренных покончить с Национальным собранием. Кляли короля и королеву, королеву злее и непристойнее. Кричали, что короля со всем его выводком надо привезти в Париж, как заложников, и пусть-ка аристократы шевельнут мизинцем.

Затрещали барабаны, солдаты вышли из казарм. Женщины стирали руки: «Дайте нам оружие!» Солдаты смеялись: «Ступайте в ратушу! Берите даром!»

Раздобыв оружие в Отель де Виль, тысячи женщин устремились на площадь с конной статуей Людовика XV. Этот сладострастник говаривал: «После меня хоть потоп», — и вот потоп запруживал площадь, где в девяносто третьем гильотинируют его внука.

Оттуда, с площади, по очереди впрягаясь и катя пушку, тоже захваченную в ратуше, двинулись через весь город, к заставе, к дороге на Версаль.

День был холодный, то грозно блистающий осенней синью, то грозно шумящий проливным дождем. На лафет вскакивала, размахивая саблей, Теруань де Мерикур, амазонка революции — шляпа с большим пером, талия стянута широким кавалерийским ремнем, голос сильный и звонкий: «Мы победим!»

Шествие миновало заставу и, обретая стройность, устремилось по дороге на Версаль. Из задних рядов передавали, что следом идут ремесленники и грузчики во главе с великаном Журденом, мясником Крытого рынка, известным парижанам

по кличке Головорез. На Лотту он всегда производил неприятное впечатление — воплощенная кровожадность, — но теперь она была рада, что этот Головорез тоже направился в Версаль.

А национальные гвардейцы все еще оставались в городе. Они пререкались со своим начальником маркизом Лафайетом. Герой американской войны, похвалы которому не однажды слетали с уст Теодора, медлил с приказом о выступлении. Он сел на коня лишь после того, как услышал: «В Версаль или на фонарь!»

Лафайет пришел в Версаль поздним вечером, а там уже с четырех пополудни гремело: «Хлеба! Хлеба!»

Все началось у дворцовой ограды, сквозь которую виднелся огромный двор с отрядами лейб-гвардии и еще каких-то полков.

Женщины приблизились к начальнику караула.

— Пропустите нас, господин офицер.

— Это невозможно, — надменно ответил лейтенант. — Да и не к чему.

— Надо бы потолковать с королем.

— Чего вы хотите от его величества? — безразлично осведомился лейтенант.

— Сущего пустяка: пусть подаст в отставку.

Раздался хохот: «В отставку! В отставку!»

И парижанки в замызганных юбках сплясали сарабанду. Еще не отдышавшись, крикнули:

— Ну и довольно, ребята! Отворите, мы пойдем к нему.

Караул не двигался.

— Ну так глянем на них в трубу! — скомандовал хриплый бас.

Толпа расступилась.

Жерло пушки, облепленной дорожной грязью, уставилось на гвардейский караул. В толпе, пришедшей из Парижа, была и прислуга, но только не артиллерийская. Никто не управился бы с этой пушкой, да она и не была заряжена. Однако караул внезапно открыл огонь.

Лотта будто оглохла. К ногам ее упала девушка, передник мгновенно набух кровью. Лотта отшатнулась, ее затолкали, завертели, едва не сшибли, и вот уже ее несло, как в ревящем потоке, — на караул, на ограду, на дворец.

— Хле-е-е-ба! — прокатилось под дворцовыми окнами.

— Хле-ба, хле-ба, — дробилось о дворцовый фасад.

— Хлеба-а-а-а, — взлетело выше дворцовой крыши.

А там, во дворце, тряслась губа королевы: «Решайтесь! Надо же решиться...» Король мямлил: «Осторожно... Необходима осторожность...» Наконец он решился, но совсем не на то, чего требовала королева: принял депутацию.

Потом говорили, что при виде короля депутация оробела.

Людовик ободрился: м е г е р ы оказались нестрашными. Он приобнял одну из них и велел передать товаркам, что король прикажет накормить своих добрых подданных.

Тем временем в рядах лейб-гвардейцев все громче раздавались призывы покончить с «рыночными торговками» и «парижскими шлюхами». Однако солдаты других полков, совершенно не считаясь с обстоятельствами, позволили себе роскошь дискуссии о средствах достижения «победы над бабой». Все соглашались, что холодным оружием ее, шельму, не проймешь; несогласия, и притом резкие, обнаружались в рассуждениях на тему, что предпочтительнее: ружье или пушка? — первое быстрее перезаряжается, зато удар второй мощнее. Бесспорным же было то, что лейб-гвардейцы не дождутся поддержки этих двух полков, недавно расквартированных в Версале.

Но вот вернулась депутация. Посулам его величества никто не поверил.

— Король врет!

— Австриячку — на вертел!

— Хлеба! Хлеба!

Стемнело. Полил дождь, деревья зашумели. Слышалась перебранка лейб-гвардейцев с армейцами. Мелькали огни. Около полуночи прибыли парижские национальные гвардейцы. Спешившись, Лафайет отправился во дворец.

— Вот явился Кромвель, — зашипели придворные. — Он обезглавит короля.

— Кромвель не явился бы один, — обиделся маркиз.

Лафайет заверил Людовика в своем желании избежать крови. Ваше величество, надо залить огонь мятежа водой уступок. Пусть лейб-гвардия, увы, ненавистная народу, покинет дворец, а караулы займет Национальная гвардия. И тогда он, маркиз Лафайет, ручается за безопасность их величеств. Людовик вяло согласился. Во втором часу ночи дворец затих.

Дрожа от сырости, Лотта прикорнула под какой-то аркой рядом с оранжереей. Отошедший день был днем движения, действий. Лотту поглощало чувство единения, согражданства, а теперь, в сырой версальской тьме, это чувство, поникнув, съезжилось; Лотта ощутила усталость и беспомощность. Она забывалась тяжелой дремотой, пробуждаясь внезапно, пугалась так, словно сейчас умрет, потом опять дремала, поникнув и ежась.

И вдруг вскочила, словно ее ударили по лицу.

— Ага! — воскликнул тот, кто направил на нее фонарь.

Сердце Лотты билось неровно, быстро.

— Мадам, — сказал тот, кто держал фонарь, — не бойтесь, это я, Максим.

Белым днем в Париже Лотта сразу признала бы драгуна, одного из гостей Каржавина в отеле «Иисуса», но сейчас,

здесь, признала не сразу, а Максим уже набросил на Лотту свой мундир, заставил вдеть в рукава и весело приказал: «Вперед, мадам! Наши уже там!»

Лотта очутилась на плохо освещенной дворцовой лестнице, услышала топот и голоса и, еще не понимая, что же, собственно, происходит, прониклась давним, позабытым детским азартом, с каким бежала вверх по крутым склизким ступенькам, когда Теодор, он же разбойник Мартен, беспощадный мститель за бедняков, брал штурмом Пале-Бурбон и, оглядываясь на Лотту, патетически шептал об ортоланах, воробьиных филе, лакомстве вельмож. А драгун Максим опять расмеялся: «Скорее! Мы опаздываем в театр!»

Тот самый лейтенант, что не хотел пропустить женщин, а потом внезапно открыл огонь, этот командир лейб-гвардейцев — в правой пистолет, в левой шпага — отважно сопротивлялся натиску взбесившейся толпы. И это его вопль донесся со ступеней мраморной лестницы: великан Журден оторвал лейтенанту голову. И вот уж она кивала, покачиваясь на острие пики.

Шум схватки разбудил Лафайета. Длинноногий рыжий маркиз, соскочив с постели, ринулся на звон оружия. Вскочил на стол, раскинул руки, воззвал натужно — прекратите насилие! Негодующий клич едва не опрокинул маркиза:

— Короля в Париж!

Лафайет опрометью бросился в апартаменты Людовика. Извинился за беспорядок в своем туалете, склонился в глубоком поклоне: добрый народ желает видеть доброго короля в столице королевства. Опустив глаза, Людовик согласился.

Запрягли лошадей. Остатки дворцового рыцарства, обнажив шпаги, выстроились по бокам королевского экипажа. Но сказано было:

— Шпаги — в ножны или головы — на пики!

Рыцари покорились. Король, шмыгая носом, вымученно улыбался. Королева, поводя плечами, зябко куталась в черный траурный плащ.

Ликующая процессия двинулась, кто-то весело крикнул:

— Версаль сдается внаем!(32)

4

За годы отсутствия Каржавина число петербургских книжных лавок значительно возросло, и это не «статистика», а на самом деле: была одна-единственная, теперь — пятнадцать, двадцать. Большею частью в Гостином и поблизости от Гостиного.

Иоганн же Карлович Шнор обосновался на Мойке, рядом с Демутовым трактиром, в доме 283. (Несколько лет спустя в

доме 284 открылся первый в Петербурге писчебумажный магазин; торговали прекрасной бумагой: возьми с золотым обрезом, возьми без золотого обреза — летит перо, как пух от уст Эола.)

Так вот, г-н Шнор, человек осмотрительный и основательный, держал лавку на Мойке. Не поручусь, что некий сын туманного Альбиона, окажись он в Петербурге, вышел бы из его лавки с пустыми руками. Этот малый был не промах — скупал по дешевке заведомый книжный хлам, дабы правнуки разбогатели: ведь хлам-то с течением времени все дороже, все дороже, словно бы в водах этого могучего течения смывается дрянь и обретаются свойства не только почтенные, а и достопочтенные. Малый, скупающий макулатуру, был, право, не дурак. И какая трогательная забота о потомстве!(33)

Макулатура, однако, занимала в лавке темный угол, сочинения серьезные теснились на полках. В год, о котором сейчас речь, то есть 1790-й, у г-на Шнора продавался трактат Себастьяна Леклерка об архитектуре в переводе Каржавина. Надо было видеть, как Федор Васильевич оглаживал, ошупывал, перелистывал свежее типографское изделие. Да вдруг и нахмурился. Блеснув глазами, словно испепелил оборот титульного листа — дозволение печатать удостоверения управа благочиния:

— Может ли полицеймейстер-палочник судить о науках и искусствах?

На Мойку, к г-ну Шнору, влекла его не только библиофильская жажда. Вот уж второй десяток лет Иоганн Карлович владел типографией. Г-н Шнор превосходно поставил дело. В те времена жалованье даже коронным чиновникам жаловали с проволочками, а немец платил аккуратно. Типографшики с Васильевского острова, академические, просились к Шнору. Сеня Селивановский, впоследствии славный издатель, а тогда зеленый юноша, изучал ремесло у Шнора.

Отрадно вдыхать запах дубовых станов и поташа; праздничный, как на масленой неделе, теплой пшеничной муки, идущей на клейстер, и этот запах кожаного валика, густо пропитанного краской — тискальщик покрывал ею печатную форму. А стопы бумаги голландской или ярославской от Саввы Яковлева? Казалось, каждая из двадцати частей, составляющих стопу, ждет не дождется наборного текста. А шрифт? О, краса литеров, отлитых словолитцем! Грациозный, как цапля, гробе цицера — для изящной словесности; отчетливо-строгий миттель антиква — для официальных; и этот курсив малого размера, ласкающий глаз, как бисер.

Если Смуглая Бетси требовала рубленого свинца, то Золотой Ключ требовал свинца типографского. Если она не могла обойтись без крепких солдатских объятий, то он не мог обойтись без «медведей». Эдак на парижский манер называл Кар-

жавин тискальщиком: топчась на одном месте, тискальщик раскачивался от станка к ящику с краской, от ящика к станку — ни дать ни взять косолапый в клетке. А наборщиков на тот же парижский манер Каржавин называл «обезьянами»: литеры из наборной кассы таскали проворно, как орехи из картуза.

В заведении, подобном шноровскому, видел Каржавин мету дальнюю. (Ему по душе пришлось радищевское, сказанное об американской революции: «пример твой мету обнажил»; понимай: цель. И Каржавин теперь часто произносил: «мета...») Да, такой размах, как у Шнора, был метой дальней. А ближней? По одежке протягивай ножки! Одежка имелась, но коротковатая. Каржавин помышлял о мете ближней, Радищевым уже достигнутой.

Здесь, на Мойке, у Шнора приобрел Радищев печатный станок, шрифт, пресс. Все могло уместиться в одной комнате. И уместилось. В петербургских дворцах устраивали домовые церкви. В квартире близ Владимирской церкви устроилась домовая типография. В домовых церквях крестили и отпевали рабов божиих. В домовой типографии предрекалось восстание крепостных рабов. Написанное Радищевым обращали в печатное Богомоллов и Пугин, таможенные надзиратели. Те самые, что навещали Герасима Кузьмича Зотова, когда он служил в таможне.

Мечта Зотова исполнилась: в Суконной линии Гостиного двора он держал книжную лавку. На газетные объявления не скупился и уже прослыл известным книгопродавцем(34).

В Суконную линию, к Зотову навевывался Каржавин нередко, как и Зотов к нему на вечерние чаепития. А вот в июньские дни они не виделись. Книгу принес Кречетов, взволнованный, можно даже сказать, потрясенный. Каржавин, вопросов не задавая, взял «Путешествие из Петербурга в Москву» и читал, читал без лампы.

На другое утро бросился в Гостиный. Летел, повторяя: «Пример твой мету обнажил», но об Америке не думал, а думал о Радищеве и еще о том, сколько заберет у Зотова — три? четыре экземпляра? И хватался за карман, цел ли кошелек, хотя прекрасно знал, что Герасим Кузьмич и в долг отпустит.

Кошелек был на месте. Зотова на месте не было.

Стуча деревяшкой, подошел сторож, горестно доложил:

— Намедни этот, который у нас, значит, приставом, возьми да и заарестуй Герасима Кузьмича. — Вздохнул. — А за что? Ни в штрафах, ни в бегах, ни в подозрениях не бывал-с. — Повторил еще горше: — Да-а, намедни...

— Когда?

— Вчера у нас — что? — вдумчиво обратился сторож к самому себе, сам себе и ответил: — Вчера у нас Петра и

Павла. — Выставив хронологическую вежу, произвел расчет: — Выходит, заарестовали двадцать шестого, а ежели нонче тридцатое, то и выходит...

Каржавина как вихрем закружило: у такого «духовника», каков Шешковский, выложит Зотов все — и о чем глаголят на Екатерининском канале, и о чем пишут.

Вечером пришел гостинодворский сторож.

— Цидуля, ваша милость, — сказал он с таким видом, будто опять взял Очаков, но притом ноги не отдал.

Зотов, оказывается, ждал Каржавина у себя дома, на Сенной. Едва Каржавин вошел, хозяин, приложив палец к губам, увлек его в угловую комнату, дверь запер, окна затворил. И прошептал молитвенно:

— Поклянитесь, никому ни звука.

Каржавин приложил руку к груди.

— В полиции находился, — сокрушенно известил Зотов. — Никитушка мытарил, обер-полицеймейстер.

— Ну, — спросил Каржавин, ободренный тем, что Зотов, оказывается, не в Тайную, не к Шешковскому угодил, а в полицию, к Рылееву, кавалеру телесно дородному, но умом хилому. — Ну-ну, и что же?

— Когда из темной-то выпускали, расписался: о чем-де речь шла, ни под каким видом, ни-ни, а то поступят со мною наистрожайше. Потому и прошу Христом-богом: вы да я. Так?

— Дважды не клянусь, — сердито буркнул Каржавин. — Ты меня зачем призвал? Разглашать али не разглашать?

Зотов тяжко вздохнул и — «разгласил».

По высочайшему ее императорского величества указу дознавались: от кого получил «Путешествие»? Известно ль ему, кто сочинитель пасквиля? много ли успел сбыть? А еще дознавались...

Каржавин слушал, словно изморосью покрывался, мерещилась казенная карета, колеса каменно-тяжкие, будто жернова для помола костей. И покатались, покатались колеса: увозили Радищева...

5

Он был уж в чине генеральском — действительный статский советник. Генеральство приосанивает, укрупняет жест и поступь. А г-н Шешковский пребывал в консервации. Тот же мышинный кафтанчик, застегнутый тусклыми оловянными пуговицами. Не ходил, а скользил, как жук-плавунец. Кончиком языка быстро-быстро, как ящерка, трогал сухие губы. Бледен был, изможден, будто сейчас из подземелья. А таинственной важностью веяло пуще прежнего. Захотелось хоть в чем-то

ущучить его, осадить. Ничего лучшего не подвернулось, как напомнить о Поле Джонсе: подлый-де заговор против честного человека.

— Жонес? — Степан Иваныч просыпал дробный смешок. — Пустое. Не тут заговор... — Он пальцем круг провел, как бы очерчивая Тайную экспедицию. — А там, — он пальцем через плечо ткнул, будто сквозь стены крепости Петра и Павла.

— Так уж и за-го-вор, Степан Иваныч? Матушку пужаете, и только.

За спиной г-на Шешковского стояла императрица, по краю позолоченной рамы вилось: «Сей портрет величества есть вклад верного ее пса Степана Шешковского».

— Как можно государыню пужать? — он укоризненно покачал головой.

— Всех пужаете, всех, а вот Гаврила Романович не поддался.

Шешковского передернуло.

Объясню, в чем, собственно, дело.

Был такой сибирский наместник Якоби (или Якобий, не помню). На него поступил донос — дескать, лихоимствует. В Сенате заварилась свара: одни выгораживали — невиновен; другие напирали — виновен. Шешковский по каким-то своим соображениям топил этого Якобия. Екатерина повелела сенатору Державину дать заключение. Шешковский пустился внушать Гавриле Романовичу, какое именно заключение ожидает государыня, он, Шешковский, завсегда осведомлен. А Державин взревел: слушай, ты меня со стези истины не совратишь, и не страшай, не страшай ты меня чрезвычайной к тебе доверенностью государыни... И еще, и еще, все грозней. Попянулся начальник Тайной, попятился.

Знаменательно: действие сенатской экспедиции встретило противодействие сенатора. И знамение: тайной полицией воспротивился п и с а т е л ь. Крепко и злобно засело это в мозгах г-на Шешковского. Его и передернуло при имени Гаврилы Романовича Державина. Вздохнул он и выдохнул: «Эх, судырь...»

Ну, думаю, сейчас он, как в пятьдесят шестом, заведет про «сложности» секретной службы. Оказалось, нет, о другом скорбел. Молвил печально:

— Мука гложет.

— Ой ли?

— А вот и не «ой ли», — приобиделся Степан Иваныч, и не то чтобы лично, а вроде бы служебно. — Как девки-то поют: «Во лесочке комарочков много уродилось». Уродились и такие — желают наставлять мужиков и мещан. К чему? — спросишь. Отвечаю: к околичностям. Каким? — спросишь. Отвечаю: осуждать утвердившееся правление. Людишки-то

наклонны к буйству, а Вольтеры, поджигая своевольства, последствий не предвидят. Звон, парижская чернь стекла бьет!

(Шешковские завсегда на «Вольтеров» валят, от них, мол, все пагубы. Иди толкуй Шешковским, что сперва возникает «дело», те или иные жизненные условия, обстоятельства; возникнув, отзываются словом. Вторичны они, «Вольтеры»-то, вторичны. Скажешь: Емельян Иванович Пугачев не из чернильницы взметнулся. Г-н Шешковский удивится величанию «злодея Эмельки» (через «э» произносил почему-то) именем-отчеством и ответит: наущенье было, словесное прельщение. Ты ему о подрядчике Долгово, о мужиках-челобитчиках, что приходили к Зимнему, он и этот пример первичности экономики отвергнет: «Сговор был. В челе любого возмущения — слово, судырь ты мой»(35).)

Он помолчал, потом спросил как бы без связи с предыдущим:

— Нашего анику-воина знаешь?

— Какого?

— А обера полицеймейстера.

— Кто его в здешней местности не знает.

— Вот, вот, — согласился г-н Шешковский. — А намедни Никитушка подписку ото всех домовладельцев отобрал: так и так, обязуюсь за три дня извещать полицию, когда в моем владении пожар приключится. Смеха достойно, однако... Ты вникни: за три дня, а сие...

На колокольне Петра и Павла тяжело, но не звонко и твердо, как в стужу, а по-летнему, словно в большую подушку, ударили куранты.

— Смех, судырь, упраздни, — продолжал г-н Шешковский. — На меня господь беремя возложил: загодя извещать о пожаре, имеющем быть в державе. А ты заладил: «пужаешь, пужаешь...» Меня пужают, вот что, ме-ня! — Он огладил бумаги, белевшие на алом настольном сукне. Огладил и ласково поворошил, беззвучно шевеля губами, как это делал он, читая наизусть акафист Иисусу Сладчайшему. Но вслух повторил строго: «Не я пужаю — меня пужают».

На столе держал Степан Иваныч копию постраничных замечаний государыни к радищевскому «Путешествию»; «выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства»; «противу двора и придворных ищет излить свою злобу»; «давно мысль ево готовилась ко взятому пути, а французская революция ево решила себе определить в России первым подвизателем»; «до протчих добратсья нужно, изо Франции еще пришлют вскоро».

А всю копию не показал. Заметно было, кого-то или чего-то дожидался: в окна посматривал искоса, ножками (и по летнему времени валяные сапожки) елозил, вставал и скользил

из угла в угол, руки сцепив за спиной и с какой-то подленькой шаловливостью поводя лопатками.

Нет, всю копию предъявлять не стал. А это вот повторил трижды и всякий раз с иным оттенком: задумчиво — «До протчих добраться нужно»; словно заклинание — «До протчих добраться нужно»; и вдохновенно — «До протчих добраться нужно». А потом, отзвенев замысловатыми ключами, извлек из потайного ящика книгу в багровом мягком сафьяне — «Решенным делам по Тайной экспедиции». Утвердил на сафьяне указательный палец:

— Господа сочинители сюда просятся. Даст бог день, даст и сочинителя. И несть тайны, иже не явлена будет. Одного из Франции уже прислали. Издаля, однако, веревочка вьется, подалее, нежели Франция. И-и, как еще подалее-то! Обыкли Франция, Париж... А тут эвон, с того света...

Не приходилось гадать, в чей огород камешки. Ясно было, о ком он и о чем. И вот это «обыкли» тоже понятно: Франция, Париж, как поставщики крамольного и крамольников, дело, можно сказать, привычное, обыкновенное, а «тот свет» — это уж Новый Свет.

Императрица свою мету выставила, свою цель: добрались до Радищева, бунтовщика хуже Пугачева, до прочих, кои Пугачева не лучше, добраться нужно. Степан Иванович, оглядчиво примериваясь, нашел кандидата, по всем меркам подходящего, — в гуще Вольтеров возрастал, в гуще бунта возмужал. Ай да Феденька, Васькин сын!

Плавал в канцелярии жидкий сумрак, Степан Иванович, г-н Шешковский, свечи зажег — медленно зажег, словно бы даже ритуально, и вдруг встрепенулся:

— Ага!

На дворе смолк стук казенной кареты, привезли Радищева.

6

Заглядывал в окна, как в душу, некто бледный в черной епанче. Каржавин отводил глаза, старался не замечать, но чуял неотступно: то была участь Радищева.

Лотте писал редко. Писал темными намеками, нетверд был на «линии» — подниматься Лотте с места или оставаться Лотте на месте.

Он писал — не домогайся моего доверия. Читать следовало: не могу я, не могу довериться бумаге. Она читала другое. И вспыхивала: твоя неоткровенность невыносима.

Писал — постарайся быть экономной. Следовало читать: боюсь лишить тебя последнего куска хлеба. Она читала другое. И гневалась: я не позволяю себе никаких излишеств, да и вообще всегда рассчитывала только на свои руки.

Он писал — не знаю, где окажусь к зиме. Читать следовало: даже ближайшее мое будущее в полутьме. Она читала другое. И мстительно парировала: черт побери, я могу уехать в провинцию, ну хотя бы в город Лан. (Оставалось лишь добавить: к Бермону.)

Положение Теодора ужасно? Да. Но ее, Лоттино, жестоко. Неизвестность хуже смерти. А Теодор опять молчит. Болен? Арестован? Умер? Нет, жив! Слава богу, жив. Как же понять это молчание? Чудовище!

Он пишет — очень желаю видеть тебя в России, да боюсь сделать несчастной, ибо супруге российского подданного могут воспретить возвращение на родину. Пусть так, отвечает она, одно твое слово — и я в пути. Он молчит еще несколько месяцев...

Сколь бы еще длилась эта мучительная неизвестность?

Вопросом задаюсь не риторически, а для того, чтобы поинтересоваться, как сцепление множества обстоятельств и судеб, казалось бы не связанных ни с Лоттой, ни с Каржавиным, как такие сцепления опрокидывают мучительную неизвестность, и вот уж нечего откладывать — поезжай в Гавр, поднимись на борт корабля. И прощай, милая родина. Бог весть, увидишь ли Париж? При мысли о расставании навсегда слеза затуманила бы Лоттин взор, но слеза еще не навертывалась, ибо Лотте не дано было знать, какие нити бесшумно прядут богини судеб человеческих, усталые, дряхлые Мойры.

Ну скажите на милость, какое дело Лотте до того, что в Париже годами живет вдова полковника русской службы, убитого под Бендерами? Лотта знать не знает баронессу Анну-Христину Корф. Как не знает и графа Ферзена, баронессино-го приятеля. Вот у того есть дело до нее, но опять же ничем с Лоттой не соотносящееся.

Положим, Лотте, подобно большинству французов, совсем безразлично, удерет или не удерет король из столицы королевства — его отшествие за границу означало бы, по общему мнению, европейское нашествие на Францию. Но опять-таки, скажите на милость, какое все это имеет отношение к Лоттиной мучительной неизвестности?

А между тем и баронесса Корф, и граф Ферзен, любимец королевы, и русский посланник Симолин, и христианнейший король Людовик — все они совершают поступки, среди бесчисленных последствий которых есть и такая иголка в стоге сена, как Шарлотта Рамбур-Каржавина, пассажирка корабля «Сюперб».

Вот, извольте, ниточка с узелками.

В первых числах июня девяносто первого года граф наносит визит баронессе. Он заводит речь о паспортах, необходимых для путешествия за границу. У Анны-Христины нет желания вояжировать? На дорогах рыщут шайки взбесившейся

черни? Паспорт, объясняет граф, почтительно наклонив голову, паспорт нужен высоким, очень высоким особам. И пристально смотрит на баронессу. Ах так! Баронесса понимает графа. И быстро соглашается. Больше того, обещает и свою лепту: ей, бедной вдовице, ничего не жаль для столь восхитительного вояжа.

Г-жа Корф обращается не в дом Леви на рю де Граммон, где находится русское посольство, а в особняк на Босс-дю-Рампар, где уединенно живет русский посланник.

Его лисье личико иссушено пламенем свечей — действительный тайный советник пишет в Петербург пространные донесения. Но сейчас, отложив перо, он внимательно и благожелательно выслушивает посетительницу. Только выслушивает, нимало не обращая внимания на ее внешность. (Правду сказать, не отмеченную красотой.)

Итак, баронесса с домочадцами желает получить паспорта? Похвально. Намерение ее императорского величества клонится к тому, чтобы русские подданные оставили пределы чудовищной смуты. Он, Симолин, не замедлит снестись с г-ном де Монмореном, ведающим внешней политикой Франции.

Знал ли, догадывался ли старый лис, партнер королевы за карточным столом, каков «расклад», — этого и теперь наверняка не скажешь. Как бы ни было, спустя несколько дней баронесса Корф из рук в руки передала графу Ферзену два паспорта: она, двое детей, слуги отправляются во Франкфурт. И, передав, вознесла молитву горячую, искреннюю: боже милосердный, царь небесный, спаси, помоги, укрой, вызволи.

Укрыть-то укрыл: темная, душная, беззвездная была ночь с понедельника на вторник, когда громадная, тяжелая карета, словно бы никуда не торопясь, двинулась к одной из застав Парижа. Но, едва миновав заставу, понеслась во весь опор.

Впереди бешеная скачка, клубящая тонкую белесую пыль дорог Шампаньи, палящее, безумное солнце, страх погони, ожидание встречи с верными гусарами, оказавшимися неверными.

Впереди почтовые станции, надо перепрягать лошадей, у вояжеров паспорта в порядке, но есть что-то подозрительное в толстом носатом увальне, слуге баронессы, да и в самой баронессе тоже, вот хоть эта вислая губа, точь-в-точь как у королевы.

И опять дорога, опять бешеная скачка, палящее, безумное солнце, станции, городки, среди прочих Варенн, речка и мост, а на мосту поперек телега — баррикада. «Ни шагу, или открываем огонь!» — горланят мужланы.

А там, в Париже...

Во вторник в семь утра в опочивальню Людовика вошел камердинер. Людовик не почивал. И не было во дворце ни королевы, ни королевского выводка.

В девять утра стекла Парижа дребезжат от пушечных залпов, облака над Парижем раскачивает набат, раскат армейских барабанов возвещает «общий сбор». Но велик ли прок бушевать у дворцовой решетки, если нет во дворце этой толстой свиньи?

И пушки, и набат, и барабаны слышала Лотта. И у дворцовой решетки была. Как и в позапрошлом году, на осенней дороге в Версаль, ощущала Лотта слитность, единство с согражданами, ощущала себя все той же вольной дочерью предместья, а сорванцы-гамены кричали: «Пропал король! Награда за находку!»

Вторник... Среда... Четверг...

Загоняя лошадей, всадники летят во все концы королевства. «Пропал король!», «Ищите короля!» В пыли, под нещадным солнцем кони роняют серое мыло.

В пятницу, едва держась в седле, измученные курьеры прибывают в Париж: «Король схвачен!» А на другой день, в субботний вечер, когда багровое солнце, изнемогая от собственного жара, валится на кровли города, громадная, тяжелая карета, окруженная многотысячным мужицким конвоем, приближается к Парижу.

Париж встречает беглецов не криками гнева, не восклицаниями ненависти, не градом насмешек — молчанием. Слышен только храп коней да скрип колес. Национальные гвардейцы стоят шпалерами, ружейные дула опущены книзу, и это похоже на церемонию погребения.

Карета въезжает во двор Тюильри, дворцовые ворота смыкают высокие кованые створки. Король отрешен от власти. Он еще жив, но монархия уже мертва.

Арест Людовика возмутил монархическую Европу. Близился разрыв дипломатических отношений. А вместе и конец череды событий, пересечение и сцепление которых упразднило мучительную неизвестность — подниматься Лотте с места или оставаться Лотте на месте.

Опасаясь разрыва дипломатических отношений, чреватых разрывом семейных уз, и ни о чем больше не помышляя, она скоропалительно обратилась в посольство. Ее просьбу удовлетворили не мешкая.

7

Двенадцать белых коней влекли колесницу с прахом Вольтера. Шли национальные гвардейцы, депутаты Якобинского клуба, коллегей, ученых обществ, шли санкюлоты с пиками, на пиках реяли вымпелы: «Из этого железа куется свобода!» В ларце, похожем на ковчег, несли книги Вольтера. И несли камень Бастилии, обломок самовластья. Париж погребал в Пантеоне прах великого писателя(36).

То было последнее, что видела в Париже Шарлотта Рамбур.

Несколько недель спустя трехмачтовый «Сюперб», прибывший из Гавра, положил якорь на кронштадтском рейде. Пассажирам, следующим в Петербург, надо было дожидаться пакетбота, и они перебрались на пристань. Баржи с гранитным ломом разгружали клейменные каторжники. Окаянный лязг кандалного железа, отвергнутый землей, отвергнутый и небом, зависал в полуденной духоте(37).

То было первое, что увидела Шарлотта Каржавина в отечестве своего мужа.

Глава двенадцатая

1

Его жильё напомнило Лотте парижские антресоли, где девочка угощала мальчика пирожками; Лотта печально недоумевала: мое «я» при мне, но куда же девалось то, что было моим «я» десятилетия назад? В такие мгновения внезапно осознаешь долготу прожитого и словно бы вчуже, со стороны, улыбаясь растерянно, смотришь на себя прежнего, как бы отслоившегося от тебя нынешнего.

Но у Лотты не было времени предаваться печалю — ей надо было домиться, обзаводиться хозяйством: бедный Теодор обитал в холостяцком запустении. Да ему вроде бы ничего и не требовалось, кроме склянки чернил, стопки бумаги и книг, помеченных красными и черными штампами — знаком собственности, для него бесценной.

«Ведомости» сообщали о происшествиях на берегах Сены. Журнал «Парижские революции» Каржавин покупал в лавке Редигера на Миллионной. Новиков посылал из Москвы «Политический журнал». В письмах Лотты выискивал Каржавин не только подробности: письма были зеркалом простолюдинки. Он посмеивался: «Я создал ее из ребра своего». Лотта привезла тюк парижских тиснений — таможенной цензуры тогда еще, слава богу, не было.

Пищи духовной хватало. Каржавин испытывал потребность преломлять хлеб свой с согражданами своими. Потребность сиюминутную. Нечего ждать, когда типографский станок примет итоговый трактат. Кто-то из древних сказал: малодушие лежать, когда можешь подняться. Истина нестарящая?

Светло, счастливо помнил он летний петербургский день: люди братски обнимались на улицах. Горожане стали гражда-

нами. Они вышли из-под глыб павшей Бастилии. И какая возгорелась жажда чтения! Дворовые, ремесленники, лоточники в складчину подписывались на газету. В кабинетах для чтения мухи уже не дошли со скуки — у Овчинникова в Аничковом доме, там же при лавке Сопикова, у издателя Туманского в Большой Коломне... Федор Васильевич радовался тяге к печатному. Уж не исток ли филладельфийских вечеров «Сынов свободы»?

О, время! Мечта ведет за руку. Действие. Ну, так действуй, Федор Васильевич! Действуй, Каржавин — Лами — Бах, исполненный русским неунывающим духом.

Он в Петербурге, Лотта в Париже хлопотали о шрифтах, о покупке оборудования; хлопоты потерпели крушение; собственная типография оказалась не по карману. Никнуть, пока не раздобудешь денег? Э нет, впрягайся в другие упряжки. Сие не возбраняется, возбраняется бездействие.

Хроника событий, пусть истолкованных вкривь и вкось, хроника французских событий попадает на глаза читателям. Простим дворец славному Бомарше — он выдал в свет семьдесят томов сочинений Вольтера. Императрица переписывалась с Вольтером — императрица запретила Вольтера. Высочайшая цензура! А есть рогатка и полицейская. Полицианты на один салтык: «Никогда на чтение книг себя не употребляй». Унизительна зависимость от дубины. Но не слаще и зависимость от куратора университетского. Невежда иногда попустительствует; по добродушию ли, по лености ли «употреблять себя», но попустительствует, а умнику подозрительна мысль изреченная уже по одному тому, что кто-то посмел и сумел изречь ее.

Надо не только сметь, надо и уметь. Каржавин повторял старинную шутку: совершенный литературный стиль — искусство сказать все, что думаешь, и не поплатиться за это Бастилией. Прекрасно! Но т а м с Бастилией разделались. А з д е с ь тверда твердыня Петра и Павла. Как быть? Пускайте стрелы, советовал Вольтер, а руки не показывайте. О, воскликнет догадливый читатель, рабский язык Эзопа! Да. И все же эзопов язык помогает рабам осознать свое рабство. Осознавая рабство, раб уже наполовину не раб.

Каржавин пускал стрелы. Он изошренно пользовался сложной системой намеков, аллегориями, псевдонимами, ложным обозначением места издания. Он не забавлялся игрой в мистификации; он принимал правила игры, навязанные извне. Переводами с французского, компиляциями с английского снискивал себе пропитание и питал тех, кто не знал языков. Не стану уверять, будто так уж необходимо тотчас бежать в библиотеку, в отдел редких книг и отыскивать пожухлые каржавинские издания, но тогда, в те годы... Надо было жить в те годы, чтобы воздать должное этой неустанной работе(38).

Когда Лотта приехала в Петербург, ее муж корпел над примечаниями к «Персидским письмам» Монтескье. Этот Монтескье, сердито подумала Лотта, не жил небось в таком запустении.

Постепенно обыденные хлопоты не то чтобы наскучили Лотте, а получили какую-то машинальность, словно хлопотуно одолевали недоумение, растерянность. Она чувствовала мужнин холод... Нет, не так, пожалуй... Теодор был «ровный». И эта «ровность» была едва ли не зловещей. «Господи, неужели Бермон?» — однажды подумала Лотта и тут же отвергла свою догадку: прошлогодний снег!

Но то, что казалось ей прошлогодним снегом, поднимало в душе Каржавина ненависть, и эту ненависть, муку свою он скрывал под «ровностью».

В Париже он был доволен: «Время страстей прошло». Теперь, стиснув зубы, признавал правоту древних: люта, как преисподняя, ревность. Он фальшиво усмехался — экая дичь в век здравого смысла! Но здравый смысл убивала не только ревность, но и тайное, невесть как возникшее, убеждение в своей телесной малости по сравнению с этим Арт. Бермоном.

В иные минуты Федор сожалел, что отыскал Лотту. Ей было бы лучше, думал Каржавин, она была бы счастлива с Бермоном. В его сожалении было и великодушие, и желание избавления от Лотты, что, в свою очередь, было бы избавлением от «преисподни». А вместе с тем — пойди пойми — Федор нипочем не согласился бы, что его любовь к Лотте давно шла на убыль.

Каржавин не представил жену родственникам, ссылаясь ни ужасные отношения с маменькой Анной Исаевной, братцем и сестрами. Оно так, да тут и другое: чего представлять-то, коли близок разрыв?

А родственные отношения и вправду были хуже некуда. Дело о наследстве тянулось. Федор предлагал делить поровну. Маменька и братец Мотька стояли насмерть — ни рубля замужним кобылицам, Дунька с Лизкой приданое получили. Сестры, громко проклиная Анну Исаевну и Мотьку, втихомолку кляли и старшего брата — какого-де рожна вернулся, а не пропал навсегда за морями за долами. И вдруг взорвалось все как шаровая молния.

В потрясенной душе звучал голос матери: «Ах, Мотенька, сахар белый...» И шепот: «Убьет, непременно убьет...» В потрясенной душе кочевало виденье — в белом саване, волоса

спутаны, падая на колена, каялся, кланялся черным лицом, черным губами, глазами; поднимаясь с колен, брел дальше, солдаты сдерживали ярость толпы; и опять на колена перед каждой церковью, пред каждой часовней — в белом саване, волосы спутаны, черным лицом, черным взглядом — каялся, кланялся... То не было галлюцинацией, а было видением: когда-то в Москве офицер удавил свою мать... Анну же Исаевну порешили топором, ее нашли в луже крови. В тот же день взяли под караул младшего брата Матвея. «Ах, Мотенька, сахар белый...» «Убьет, непременно убьет...»

Ни на миг не усомнился Федор: мерзавец, негодяй — ни на миг не усомнился Федор в страшном преступлении младшего брата. И заметался с пистолетом в руке: «Убью!» И право, прикончил бы, не сиди «сахар белый» под крепким караулом в управе благочиния.

А потом Мотьку выпустили, как сказали бы нынче, за недоказанностью преступления, а тогда говорили: «предать сие воле божией». Пало подозрение на кучера Устина, кучерявого полюбовника Анны Исаевны, да поздно хватились — исчез кучерявый, ищи ветра в поле. Опять, стало быть, предали сие воле божией.

Страшная смерть умертвила все, что накопело на сердце старшего сына. Осталась жалость, неподвластная разуму, и беспричинное чувство вины перед покойницей, оно усиливало подспудное раздражение на Лотту. Опять странность! Не будь Лотты, казалось Федору, он примирился бы с матерью, но вместе и понимал, что не вмоготу ему избыть Лоттину связь с Бермоном.

Проблескивало в сумраке: надо расстаться, расстаться надо. Неотвратимость нерадостного освобождения сознавалась обоими, да с языка не срывалось. А услышав: «Москва», Лотта воспрянула.

— У тебя, — сказала она Теодору, — было намерение обосноваться в Москве.

Так он однажды написал Лотте в Париж. И теперь Лотте вообразилось, что перемена места жительства переменит жизнь — заблуждение не новое. Про Москву же она услышала, наливая чай давножданному московскому гостю.

4

Годы не развеяли дружбу Каржавина и Баженова. Крепко обнялись они в доме на Екатерининском канале. Но Василий Иванович торопился в Гатчину. Вот уж после свидания с царевичем...

Наследник престола называл себя «гатчинским помещиком». Мог бы называть и «гатчинским затворником». Мать

отечества не терпела сына; сыну приходилось терпеть родную матушку. Екатерина Алексеевна настороженно-зорко следила за Павлом Петровичем; Павел Петрович платил той же монетой. Шапку Мономахову на две головы не наденешь, скипетр не переломишь пополам.

Окружение Екатерины презирало Павла. Окружение Павла трепетало Екатерины. Петербург искоса наблюдал за Гатчиной. На гатчинской башне караульные офицеры не спускали глаз с петербургской дороги. У шлагбаумов угрюмо допрашивали: кто? куда? зачем?

Баженова пропустили без задержки.

Не треск барабанов, а безмолвие было лейтмотивом Гатчины. Тотчас возникало чувство натянутости, принужденности. Казалось, все здесь — и статские, и военные — проглотили шомпол.

Сани остановились. К Баженову приблизилась фигура, закутанная в плащ и вроде бы не имеющая обличья. Предъявила квадрат плотной бумаги с золотым обрезом и своеручно начертанным: «П а в е л». То был знак, Баженову известный, — податель «билета» укажет дорогу. Так наследник престола, страшась слезки с высоты престола, приглашал на встречу конфиденциальную, доверительную. Не раз обжегшись на молоке, дуешь на воду, ибо и воду недолго забелить молочком. Его письма перлюстрировались, он об этом знал. В его поместье водились, как вши, людишки г-на Шешковского, он об этом догадывался. (Не поручусь, что и фигура, провожавшая Баженова к цесаревичу, кормилась только за счет цесаревича.)

Баженов давно приглянулся Павлу. Оба некогда полны были надежд: цесаревич — на кремлевскую коронацию и прекрасное начало нового царствования, зодчий — на кремлевскую реставрацию и прекрасное воцарение новизны. Теперь надежды увяли. Сдается, они-то, увядшие, и не давали увядать Павлову благоволению к Баженову: мечты обоих губила Екатерина.

Кирпичи, торжественно, в виду всей Москвы, при громе пушек заложенные в котловане Большого Кремлевского дворца, так и остались краеугольными кирпичами без фундамента.

Потом было Царицыно — дубравы годин Годунова. Бессчетные чертежи залов, покоев, фасадов: круги, овалы, изгибы; мысленно видел Баженов весь ансамбль, повитый эгегической дымкой, как здешние пруды поздней осенней порой.

Воочию успел возвести лишь первые здания, магически выразив в прочном камне хрупкость земного величия, и это, именно это неприятно поразило самодержицу, озабоченную как раз земным величием. Она повелела прекратить строительные работы, тем самым позволив времени начать работу разрушительную. И мало-помалу возникли развалины...

Павел и Баженов были пасынками. Первый — родной матери, второй — судьбы-мачехи. Неприязнь царицы к зодчему питала приязнь к нему цесаревича. Но в мартовский день девяносто второго года гатчинская встреча смущала Василия Ивановича. Не то беспокоило, что цесаревич едва ли не беспрестанно обретается в дурном расположении духа. И не то, что возгорается пороховым гневом едва ли не от искорки. А то, что Павел Петрович, вероятно, всерьез недоволен Баженовым и его собратьями во масонстве.

Это определили они, исходя как из общего хода дел, так и из особенностей натуры наследника. Дела принимали грозный оборот; наследник же наделен болезненной впечатлительностью. Предположение о его недовольстве не вышло бы из границ умозрительного построения, если бы не надворный советник Кочубеев. Кочубееву ли не поверить? Не потому, что надворный советник был почти своим человеком и в огромном доме графа Гендрикова на Спасской, и в скромном доме отставного поручика Новикова у Никольских ворот. И не потому, что надворный советник был осведомлен о благоволении цесаревича к Баженову, своего человека и в доме на Спасской, и в доме у Никольских. Как раз в некую тонкость отношений архитектора с наследником престола его и не посвящали. И как раз посему нельзя было не навести уши: надворный советник господин Кочубеев имел честь служить в московской конторе розыскной экспедиции.

Зная служебное положение Кочубеева, читатель тотчас поймет смущение Василия Ивановича Баженова.

Потайной кабинет находился за стеной библиотечной залы. В кабинет вела низенькая дверь, забранная книжными полками. Фигура, закутанная в плащ, не обронив ни слова, пропустила Баженова вперед и оставила наедине с бронзовым бюстом Фридриха Великого.

В тот же вечер Баженов уехал.

Весна припозднилась, наст держался крепкий, вороны бежали шибко, верстовые столбы мелькали. Считай не считай, а от Гатчины до Петербурга — сорок четыре.

Василий Иванович не замечал ни дороги, ни верстовых столбов. Мысли его были в Гатчине. Сказано было: «Я тебя люблю...» Но нет, не ликовал Баженов — ник опечаленный, ибо сказано было: «Я тебя люблю и принимаю как художника, а не как масона. Об них и слышать не хочу, и ты рта не разевай...» Смягчая гнев, Павел положил руку на плечо Баженова: «Видишь, Василий Иванович, говорим секретно. Нужна всякая предосторожность в нашей стране, настоящей стране обмана».

О чем он? О том ли, что масоны-мартинисты обманывают? Или о том, что масонов обманывают? А в умных глазах, прежде оживлявших своим светом неправильные, почти уродливые

черты лица с крутыми скулами и приплюснутым, вздернутым носом, в глазах Павла Петровича был страх.

Но вот уж кучер, гатчинский солдат, придерживая коней, правил питерскими улицами, держал, куда велено — к Екатерининскому каналу, и печальный Баженов как бы и мимовольно улыбнулся: сейчас увижу Федора...

Каржавин, знай наперед, что Василий Иванович обернется столь быстро, уклонился бы от зотовского посещения. Не доверял Зотову? Не совсем так, но после несчастья с Радищевым опасливо приглядывался даже и к хорошо знакомым людям. Кто из россиян усмехнется подозрительности Каржавина? За Суворовым и то соглядатай шастал(39). Впрочем, и вполне, вполне доверяя Зотову, Каржавин уклонился бы от его нынешнего посещения: при чужом застегнется Василий Иванович наглухо.

Оказалось, не совсем уж и чужой.

Представленный г-ну Баженову, книгопродавец объявил, что и он, Герасим Кузьмич Зотов, родом Баженов. Как так? А очень просто: маменька из Баженовых, козельские они. Тут и Василий Иванович заулыбался: козельские, значит, калужские, оттуда его батюшка родом. Стали, как водится, шевелить веточки генеалогического древа, радуясь обнаружению троюродных и поглядывая друг на друга, если позволите так выразится, уютным взглядом.

Зашла речь о зотовском промысле, несколько пошатнувшимся. Герасиму Кузьмичу пришлось оставить бойкую Суконную линию в Гостином дворе и торговать в небойкой Зеркальной — наем помещения дешевле. Тут-то Лотта, разливая чай, и услышала — «Москва», произнесенное Теодором. Он, мол, советовал Кузьмичу поладить с белокаменной, с новиковской «Типографской компанией», да теперь упорный слух есть, будто Компания рассеется, а может, уже рассеялась.

И Каржавин и Зотов смотрели на Баженова, ожидая, что он скажет. Положение Новикова, человека ему близкого, хорошо было известно Василию Ивановичу. Не ответив ни да ни нет, он обнадежил Герасима Кузьмича: ежели г-н Новиков и откажется от аренды университетской типографии и книжной лавки, то аренду возьмет его, Баженова, ученик Окороков, человек добрых правил, и уж он, Баженов, порадует Герасиму Кузьмичу на предмет кредитов.

Кузьмич благодарил, повышая градус благодарения до пафоса и не замечая, как повышается градус сердитого нетерпения Федора Васильевича.

Умолчание о делах «Типографской компании» встревожило Каржавина. К тому же от него с первой минуты не ускользнула печальная подавленность Василия Ивановича. А этот ритор шелкает соловьем, и нет чтобы отвесить наконец прощальный поклон. Экий, право, недотепа.

— Полно тебе, Кузьмич, — грубовато оборвал Каржавин книгопродавца. — Уморишь Василия Ивановича, ему бы после дороги хорошо бы и на боковую.

Зотов смущенно извинился и ушел, в прихожей, вопреки обыкновению, не задержавшись.

«На боковую»? Дорожную усталость сон удалит, но Баженова томила душевная. А эту взбадривает бессонница, разделенная с тем, кто понимает тебя без долгих слов и, понимая, дышит неровно. И все же об отношениях с цесаревичем Василий Иванович не распространялся, даже имя не произносил, называл — «особа». Говорили о Москве. Лотта поглядывала на Теодора вопросительно и просительно; опять и опять обольщалась — перемена места жительства одарит переменной жизни.

Решено было ехать вдвоем. Лотта оставалась у очага — не гасить же, пока не сложишь новый очаг. Но, правду молвить, Каржавин не обещал переселение на холмы Третьего Рима. И не за помощью отправлялся, а на подмогу. Баженов уверял, что это необходимо и что Федору карты в руки.

5

Путешествие из Петербурга в Москву...

Ах, «привязать» бы беседы спутников, как лошадей к коновязи на придорожных станциях, пахнувших навозом и дымом, «привязать» да и обозначить сюжеты, так сказать, постановочно, как в радищевском «Путешествии»: Тосна... Чудово... Крестья... Нет, книги-то и беседы — не одно и то же, и потому незачем придавать дорожным разговорам Каржавина и Баженова стройную последовательность — извлечем корень, изложим суть.

Повторяю с удовольствием: дружество Каржавина и Баженова не развеяли межконтинентальные ветры. Они переписывались. Каржавин не только прозой, а и стихами. Там, в Америке, сложил нечто одическое ко дню рождения Василия Ивановича. Новиков напечатал, скажу по секрету, не столько ради приращения жемчужин российской поэзии, сколько ради Баженова, друга задушевного... Узнав, что Баженовы ждут сына, Каржавин опять сочинил рифмованное. Розы еще не родившемуся не сулил; предрекая тернии, звал: «Бесстрашен будь...» Призывая к бесстрашию, утверждал: «Сей путь необходим и неизбежен нам...» Необходим? Да, если думать, как думал Василий Иванович: несчастья способствуют выделке из самого себя камня грядущего храма Соломона — гармонического людского общежития. Неизбежен? Да, если думать, как думал Василий Иванович: каждый имеет право на свободное развитие души и ума.

Все это Каржавин признавал, в этом Каржавин не разноголосил с Баженовым. Высокие «Врата» вели в «Храм Будущего». К нему устремлялись мыслью и Каржавин, и Баженов. Но с противоположных сторон. Несходство, и притом важное, обнаружилось после московского Чумного бунта и упрочилось после всероссийского пугачевского восстания.

Для Каржавина путь начинался в точке, обозначенной «мы». Мы — это те, кто сознает необходимость решительного переустройства земного, общего, народного.

Для Баженова путь начинался в точке, обозначенной «я». Я — это каждый, кто сознает необходимость переустройства собственной души.

В каржавинском «мы» находилось место и для «я», но второстепенное, подчиненное. В баженовском «я» находилось место и для «мы», но не первостепенное. Каржавин не покидал мира поюстороннего; Баженов не чурался потустороннего. Посмеиваясь над масонской мистикой, Каржавин сочувствовал этике. Обретая в масонстве «высшую созерцательность», Баженов не жаловал ритуальные сложности.

Но был и предмет бесспорный, предмет согласия полного — просвещение. Золотой Ключ. Ключ этот долго держал человек, на круглой издательской марке которого тесно сплетались литеры «Н. Н.». Его руки слабели, одиночество окутывало зябким сумраком. К нему-то и ехал Каржавин.

Тракт пригревало солнце. Глядя на лужи и колдобины, на загревок ямщика и лохмы конского мыла, ощущая перемены воздуха, то пахнувшего влажной землей, то снегом, но уже нечистым, слушая колокольчик, хлюп под копытами, всхрап лошадей, душа оглядывалась окрест, ум мыслил неторопливо, к р у п н о: делай, что должно.

6

Императрица Екатерина и поручик Новиков родились в апреле. День рождения государыни князь Прозоровский зарубил давно и прочно. День рождения поручика знать не желал.

Желал вот чего: 21 апреля преподнести ее величеству сюрприз. Таковым полагал захват поручика. И примеривался, как главнокомандующий к вражеской цитадели. Да он и был главнокомандующим Москвой. А цитадель, защищенная палисадниками и выгонами, находилась в шестидесяти верстах, в тишайшем уезде, называлась именем Тихвинским, Авдотьино тож.

Считанные дни оставались до всероссийского торжества. Сиречь столько же до штурма Авдотьино. Действуя по правилам воинским, князь производил разведки. Сиречь обнаруживал в книжных лавках издания, запрещенные государыней.

Опять же действуя по правилам воинским, распорядился изымать эти книги. Сиречь лишал неприятеля боевых припасов. А в день штурма — двадцать первого — отрядил в Авдотьино судейских чинов с караулом.

Такова была расторопность вельможи, известного по кличке Сиречь, ибо через одно-два слова князь непременно гундосил «сиречь».

Вышла, однако, промашка. А все из-за чего? А все из-за желанья усладить монархиню. Да-с, неловко вышло: ударные силы, хотя и не понесли потери, воротились без арестанта — сказался больным; нездоровье удостоверил лекарь. Ежели бы князь исполнил указ государыни день в день, а не промедлил ради сюрприза, тогда бы г-ну Новикову шабаш.

И все же вылазка в Авдотьино до некоторой степени ублажила князя. Прозоровский отписал в Петербург, каково пришлось злонамеренному поручику:

«Неожидаемый приезд сделал в нем великую революцию, а особливо как начали письма пересматривать, то он падал почти в обморок».

И трофеи достались — множество рукописей. Князь просил: необходим г-н Шешковский, одаренный натурой для изворотливых следствий.

Едва он отправил государыне всеподданнейшее донесение о ходе боевых действий, как явился, гремя саблей, разбитной служитель Марса: новиковские тиснения, изъятые в московских лавках, он, майор Жевахов, транспортировал подводами на Воробьевы горы, свалил в кучи да и спалил дотла.

— Туда и дорога! — ото всей души расхохотался князь. — А я и забыл приказать тебе сжечь эту чертовщину! Дыму-то, дыму небось, а? — И он опять засмеялся.

Гусарская удаль понравилась князю. Вот малый исправный, никакого лекаря не послушает — привезет. Хоть полумертвого, а привезет!

К повторному штурму авдотьинской цитадели он велел изготавиться тщательно, под хоругвь майора Жевахова выставить двух офицеров, одного капрала, дюжину нижних чинов. Седлай коней, господин майор. А завтра иль послезавтра — труби труба.

7

Приехали! В Москву приехали Баженов с Каржавиным. Охота, как встарь, предаться воспоминаниям о Москве. Нынче, однако, не до полонезов в Дворянском собрании. Не до старичков, оригиналов московских — пустосвяты, юридыые. Не до таких новшеств, как духи «Вздохи амура», сменившие розовую воду. Не до того, что вальсон, он же вальс, признан приличным, хотя раньше маменьки поджимали губы:

фи! обхват за талию! И не тянет перекинуться в дурачки, по-здешнему — филя, перекинуться да и назвать побежденного простофилей. Все это в сторону: у Баженова — надворный советник Кочубеев.

О нем уже упоминалось: тот, что подвизался в московской конторе Тайной экспедиции; тот, что был своим человеком и в огромном доме графа Гендрикова на Садовой, и в скромном доме отставного поручика Новикова у Никольских ворот; тот, что еще до отъезда Баженова в Гатчину нечто прослышал, нечто унюхал — о неудовольствии наследника цесаревича Павла Петровича Баженовым и Новиковым.

Да, упоминалось, но со слов Василия Ивановича, а сейчас вот он воочию, надворный советник Кочубеев, мышка-норушка. Такой весь серенький, весь такой шустренький, такой, знаете ли, никакой, ни слуху от него, ни запаха, ни жеста, а вместе и нечто округленькое, упитанное, с сальцем под шкуркой.

Кого он морочил? Новикова ли с братьями во масонстве? Иль князя Прозоровского с Шешковским? От Новикова имел двести целковых — перебелил протоколы масонских заседаний. У Прозоровского и Шешковского пользовался репутацией чиновника ума недальнего, однако усердного. То ли этого Кочубеева запустили приглядывать за Новиковым, то ли Новиков его допустил — изволь приглядывай, ведь нет же в масонстве ничего крамольного. А вернее всего, был надворный в обоих дворах, как говорится, и нашим и вашим.

Возникнув у Баженова, Кочубеев намекающе произносил: «Гатчина»; я, мол, предварял о неудовольствии его императорского высочества, вы уж от меня, сударь, не таитесь.

Василий Иванович отвечал холодно: в Гатчину призывался ради архитектурных рассуждений, очень-де цесаревич озабочен украшением своих владений. Кочубеев обиженно вздохнул и, точно бы в укор Баженову, поворотил в сторону Авдотьины, начав с того, что в городском доме г-на Новикова поставлен нынче караул...

Надворный Кочубеев, нащептав свое, скользнул со двора. Баженов бросился в залу, к Каржавину. Тот курил, перелистывая сочинение «Познание самого себя». Каржавина ничуть не увлекала смесь мистики и благонамеренности. С первого взгляда невзлюбив мышку-норушку, он опасался пакостей, и вот, сидя в креслах, вострил уши, рассеянным, ни строки не замечающим взором пробежал страницы печатной галиматши.

Услышав торопливые шаги Баженова, он вскочил на ноги. Баженов — в лице ни кровинки — сжал его руки: на Спасской, в гендриковском доме, где типография, книжная лавка и бесплатная аптека, там обыск был, множество книг изъято,

лавка запечатана; в доме у Никольских ворот тоже был обыск, караульщики ждут Новикова. Не сегодня завтра Николая Ивановича арестуют!

«Минитмены», — невнятно сказал Каржавин и крепко задумался.

8

Оставив Москву, Новиков отъехал в Авдотьино. Так, потерпев поражение, отходят на заранее подготовленную позицию.

Он тут родился, тут возрастал, тут получил надежную оснастку — отец был флотским офицером жесткой выделки Петра. Черт догадал Новикова-старшего определить сына в Измайловский полк, хоть и гвардейский, а все же сухопутный. Обидно! Сперва, однако, отец послал сына в гимназию при Московском университете. Учителя держались ломоносовского — необходимо пестовать «национальных, достойных людей в науках». Национальное означало: любить русское любовью зрячей; нерусское любить не слепо. Достоинство людей науки определялось не геометрией или географией, а просвещением людей непросвещенных.

Не стану писать ни о том, что писал Новиков, ни о том, что печатал Новиков. Но подчеркну: его издательская деятельность протяженностью в два с лишним десятилетия была титанической. Не прошу извинения за расхожее слово. Да, титанической.

Новиков пером колот Екатерину, как пикой. Ее перо, не будучи острее, писало с большим нажимом. В Москве основал он «Типографскую компанию». Екатерина не замедлила открытием враждебной кампании. Новиков не унимался. И она повелела послать к нему людей «верных, надежных и исправных», дабы Новикова «взять под присмотр».

«Типографскую компанию» разорили в ноябре девяносто первого. В апреле девяносто второго приказано было покончить с ее учредителем, укрывшимся в родовом именье. Новиков об этом еще не знал, но уже ожидал. Ожидая, не верил: я ж не Радищев. Верно, Радищевым он не был. Он был Новиковым, и этого тоже было достаточно для того, чтобы отправить его вослед Радищеву.

Душа принимала несчастье, как испытание души. Поднимался в четыре, пил чай, приступал к письменным занятиям. За полдень обедал, отдыхал. И опять садился к столу. В десять ложился.

Нет, Новиков еще не знал о высочайшем повелении — «взять под присмотр». Но беды ждал. Ожиданье не размыло дневной распорядок, неизменность которого противостояла изменчивости обстоятельств.

Ранним апрельским утром Николай Иванович, по обыкновению, сидел за работой. Скрипнула дверь, мальчонка-казачок пискнул: «Барин, а барин...»

— Чего тебе, Ванюша? — спросил Новиков мгновенно охрипшим голосом.

9

Не было ни Смуглой Бетси, ни седельных пистолетов, но так же как на дорогах бунтующих Штатов, владело желание сразиться с судьбой.

Со вчерашнего дня судьба, как медведица, встала на задние лапы. Со вчерашнего дня, с того часа, когда Каржавин, обронив «минитмены», не то чтобы вспомнил виргинцев минутной готовности, а сам себя ощутил минитменом.

Его замысел сверкнул, как клинок. Баженов замахал руками. Каржавин рассмеялся нервно и весело, сунул Баженову карандаш и бумагу.

— Невозможно, — обреченно выдохнул Баженов и, понимая, чего требуется Федору, стал чертить маршрут, с машинной аккуратностью выставлял: «село Бронницы», «дер. Марьинка», «село Ломачево»...

Каржавин меж тем натянул лосины, обул сапоги с короткими голенищами и облачился в суконный фрак с фалдочками. «Мир перевернулся вверх тормашками», — насвистывал он сквозь зубы, сухо и остро блестя глазами.

— Куда? Неужто с места в карьер? — спросил Баженов шепотом, словно бы стены подслушивали.

— К доносчику Ивану, — быстро ответил Каржавин. И опять рассмеялся нервно и весело.

Ивана, ровесника и родственника, не встречал Федор со времен службы в баженовской Кремлевской экспедиции. Этот Иван Каржавин, навещаясь в те годы в Питер по своим торговым заботам, навещался и к «дражайшему дядюшке» Василию Никитичу. Толковали о коммерции, дискутировали о бытии божием, и, надо признать, Иван Петрович гнул безбожного дядюшку, ибо уже тогда, молодым, справедливо слыл у раскольников тонким буквалистом.

«Доносчиком» же назвал его Федор не всерьез, ничуть не злясь на давние сообщения покойному батюшке — связался-де ваш с Лукерьей, стряпухой Троицкого подворья. Э, пустое! Не злясь на прошедшее, Федор целил в непреходящее: в неколебимо-раскольничье недоносительство властям.

Дуй по пеньям, черт в санях! И Каржавин «дунул» за Язу, на Воронцово поле, надеясь, что Иван Петрович и теперь, годы спустя, обитает в гуще древлева благочестия.

Обитал. Только уже не в деревянном, а в каменном доме.

Ломил, видать, в гору на лесном своем торге. Ишь полканы-то на дворе залились. Дворник в бороде лопатой глянул исподлобья — не любил дворник нищелюбия своего хозяина, вечно к хозяину христорадно руку тянут, а хозяин удален гордости, никому от ворот поворота — нелюбезно глянул дворник и — шапку с головы долой: господин явился нетерпеливый, на бритой роже рубец разбойный.

Здесь не с руки рассуждать о раскольниках, но была и есть благодарность к тем из них, кто оказал услугу отечественной истории. Родовитые баре, хирея, все с молотка пускали, а раскольники, разживаясь, скупали старинные иконы, утварь, рукописи. Скупали и берегли. Вот уж когда, вот уж в чем стойкое неприятие новомодного оборачивалось отнюдь не смешной стороною.

Иван же Петров Каржавин пуще всего, до азартности алкал рукописных книг. Впрочем, и печатными не пренебрегал — не чурался новиковской книжной лавки на Спасской. От старой веры не пятась, полагал так: «Вера Христова, не старея, присно юнеет».

— Ну — встретились. Со стороны глянуть, сразу определишь, одной породы — высокие, смуглые, а глаза светлые, руки — повтор дедовских, тяжелые, крупные руки.

Иван Петрович Каржавин изумился неожиданно-негаданному явлению Федора Васильевича Каржавина. Давно потерял из виду, да и не больно-то старался узнать, куда девался. Ан вот, извольте, собственной персоной, как лист перед травой. Но чего ему надо, с чем пожаловал? Ишь торопыга, ни чаев, ни закусок, команду дал: «Слушай, брат!»

Иван сидел прямой, неподвижный, руки утвердил на коленях, черную с обильной проседью бороду положил на грудь, взор утупил. Не перебивал, слушал, лицом, казалось, темнел.

Федор умолк. Иван пустил пальцы в бороду. Потом сказал:

— В восемьдесят седьмом годе... — Поднял глаза: — Ты где тогда? — Федор нетерпеливо отвечал, был-де в Америке, в Виргинии. — У-у, далече тебя носило, — покрутил головой Иван. И продолжил: — А тут, на Москве, тут голод рыскал серым волком, голод тут гулял смертной вострой косою круче чумного мора, и господин Новиков тьмы и тьмы бедняков вызволял, до гривенника раздал, ибо чужд сребролюбия, ибо...

— А теперь ему видишь какой фавор?

Иван мрачно кивнул. Всем корпусом накренившись вперед, стал говорить, крепко припечатывая по колену тяжелой ладонью:

— Резвейшую тройку снаряжу. Привози. Сокрою. Со странниками уйдет. Котомку за плечи, посох в руки — уйдет. Привози! Не дадим антихристу утешения.

В селе Бронницы отдохнули кони, и Каржавин велел вознице ехать в сторону Коломны, у первого верстового столба свернуть на проселок.

Ночь отходила, оставляя дороге тусклый иней, а смутному небу дымчатый месяц. Скорая, тряская езда и бессонница не сморили Каржавина, но его решимость действовать уже не была нервно-веселой, как вчера, а словно бы затаилась в пружине, предельно сжатой. Он не вспоминал ни рукопашную на палубе «Ле Жантий», ни пешие вылазки из зимнего лагеря, когда рядом шли Нэнси и Патрик, ни жестокую схватку за виргинский блокгауз... Не вспоминал, но слитным боевым ощущением все это обращалось в его жилах вместе с кровью.

Над дальним бором засветилась зорька, округа казалась чернью по серебру, ущербный месяц истаял, небо светлело. Ничего не замечая, Каржавин думал о том, что должно произойти, не может не произойти в Авдотьино... И вдруг, в неуследимые, безотчетные мгновения, обронив нить своих мыслей, он разом, как в охапку, забрал в душу и алеющие верхушки сосняка, и эти корявые пашни, и отрывистый храп коней, и этот ухабистый проселок. Все увидел зорко, отчетливо, в щемяще-сладком единстве с самим собою. Мельком почувствовал счастливое недоумение и тотчас властно и внятно сознал принадлежность своего «я», существа своего и к этой округе, и к тому, что было за лесами, за полями, где тоже проселки и тоже какие-нибудь деревни Агашкины, какие-нибудь Щербатовские выселки.

Тройка взяла изволок, дорога, плавно изгибаясь, потекла под уклон, в широкую, вольную долину, там врассыпную темнели села, разумно и ясно обозначенные колокольнями. Внизу, справа лежало Авдотьино. Лежало, будто в купели, всклянь полной воздухом, таким тонким и чистым, что неожиданно-негаданное возникновение желтого сгустка, грузного и душного, можно было бы принять за оптический обман, если бы не тот, теперь уже очень давний день, когда Каржавин пришел к Новикову и Николай Иванович достал из пазуха шкапа пухлую кипу корректурных оттисков «Гулливера» в переводе покойного дядюшки Ерофея. Потом говорили об издательском промысле, симпатия была, дружелюбие. Но едва Каржавин сказал о Париже, повеяло отчужденностью. Новиков и словечком не попрекнул, понимал, хорошо понимал, что у Каржавина не праздная прихоть, а все же... все же... Умолкнув, они смотрели в распахнутое окно, смотрели на желтый, грузный и душный петербургский полдень.

Вот это и привиделось в тонком, чистом апрельском воздухе, привиделось, встало поперек давешнего щемяще-сла-

достного чувства, и Каржавин утратил уверенность в твердом «да» Новикова. И вчера, и минувшей ночью в спящих Бронницах, и нынче, на закаменевшей грязи проселка, казалось непреложным: раскольники-странники тишком проводят Николая Ивановича мимо застав, мимо рогаток; в Париже, где уж нет Бастилии, найдется печатный станок для новиковских тиснений, а славный капитан Жюль Фремон доставит их так, что и комар носу не подточит. Не сомневался Федор Васильевич в твердом «да» Новикова, но сейчас...

Прямой усадебной аллеей, насквозь пронизанной солнцем, тройка приближалась к господскому дому, железная кровля, выкрашенная зеленой краской, влажно блестела.

11

— Барин, а барин, — пискнул казачок, отворив дверь в кабинет.

— Чего тебе? — спросил Новиков мгновенно осипшим голосом.

— Оне не здешние, барин...

Новиков незряче взглянул на мальчонку.

— Ну что ж, приглашай, Ванюша.

Каржавин почему-то сразу отметил, что кафтан похож на пасторский, и лишь в следующую секунду увидел Новикова, прекрасное лицо его, большелобое, с крупными чертами, добродушное и вместе величавое, припорошенное, как пеплом, мертвенной бледностью. Эта мертвенная бледность отозвалась в душе Каржавина не порывом к утешению, не жалостью, а каким-то чувством-воспоминанием, включающим и Новикова, но они словно бы поменялись местами, и это не он, Каржавин, а Новиков, ослепнув, замерзал близ фурманного тракта из Бостона в Нью-Йорк, и это не он, Каржавин, а Новиков, слушая Зотова, ждал, страшась дожидаться, не дознавались ли о нем в канцелярии обер-полицеймейстера... Одолев горловую спазму, Каржавин, поклонившись, назвал себя.

— О-о, американец! — глубокие темные глаза Новикова просияли.

Он оживился, ободрился, мертвенная бледность сошла, спрашивал, что слышать на Москве, здоров ли почтеннейший Василий Иванович, по какой причине Федор Васильевич оставил Петербург. Каржавин отвечал кратко, самой лапидарностью ответов давая понять, что сейчас не время, есть нечто поважнее, и Новиков, поглядев на Каржавина пристально, грустно покачал головой.

— Оказав мне любезность своим посещением, вы подвергаете себя опасности.

— Не я, не я, — горячо отозвался Каржавин. — Вы, Николай Иванович, вы подвергаете себя опасности.

— Знаю, очень хорошо знаю, — согласился Новиков. — Но кто, друг мой, противостанет воле божией? — Он помолчал, слабо улыбаясь, сложил на груди руки. — Много лет... дай бог памяти? Ну, да ладно... Много лет назад осматривал я крепость, в простолудии зовут Шлюшином. И вот, вообразите, нынешнюю ночь мне снился Шлюссельбург. И будто бы я там, в застенке, цыпят кормлю...

Спазма сызнава стиснула горло Каржавина, но он прорезал спазму резким, высоким, ему несвойственным дискантом, стал говорить о том, о чем условился в Москве с Иваном.

12

Обедать Каржавин отказался и уехал. Он был мрачен, подавлен, гневен, лицо осунулось, трубку, давно потухшую, держал в сжатом кулаке.

Лошади, обиженные краткостью отдыха, трусили нехотя. Федор с досадой ударил возницу по плечу. А тот вдруг воскликнул: «Чисто соколы!» — и, проворно обернувшись, указал кнутовищем на дорогу.

Гусарский отряд под командой князя Жевахова, огнепального истребителя книг, летел на рысях мимо старых сосен, мимо столба с надписью: «В имение Авдотьино».

13

Был г-н Шешковский действительным статским советником, стал г-н Шешковский тайным советником. И от щедрот всемилостивейшей государыни сверх жалованья две тысячи годовых. Не ассигнациями — золотом, золотом.

— А как же? На одном господине Новикове кровушки своей сколь извел? Всяких, судырь, видывал, ай такого лукавца, ей-ей, не видывал. Натура вострая, ум увертливый, нрав дерзкий. Князь, на что покоритель крымцев, взмолился: пришли, государыня, Степана Иваныча, кроме Степана Иваныча правды никто не сведает.

— Сведали?

Не отвечая, вытянул он безымянный палец, сверкнул бриллиантом и смиренно, как послушник, пояснил:

— От фамилии несчастного Радищева в благодарность моей ласковости. Даяние есть благо. Отсель и мое деяние ко благу — не досаждал господину Радищеву, а утешал. Ну разве что в расспросных речах держал скрозь вся ночи, дак ведь и сам глаз-то не смыкал. — Он потер зябкие ладошки, лизнул

бледные губы. — Лукавца же поручика Новикова в Шлюшине, в крепости расспрашивал. Там сырость так и грызет, до хрящиков пронимает. А бумаги? Все перечти, все упомни, все разбери! И куда Новиков клонил? Ежели генеральное обольщение выпростать, клонил к равенству. Ну, скажи на милость, как я, Степан Шешковский, да вдруг и ровней с давним моим чиновником Сашкой Золототрубовым, эдаким дуруплетом? — Он губу выпятил и задумчиво причмокнул. — А что ж лукавец поручик? А ничего, кайся годов пятнадцать кряду. А к утечке оттуда ни единой возможности, ни-ни... На его содержание я, слышь ты, велел давать по рублю на день.

Мало разве, а? Вот комендант доносит рапортом: просит-де Новиков дозволения на обритие бороды. Прикажу иметь снисхождение. Так-то, судырь. А злые языки молотят: Шешковский — человек самых жестоких свойств, одного имени Шешковского все трепещут. Вздор! У кого душа чиста, не трепещет. Ибо Шешковский, судырь мой... — Поговорив о себе в третьем лице, что, как известно, облегчает самоанализ, Степан Иваныч удовлетворенно перевел дух и продолжал: — Я эвон когда глаголил: неймется сочинителям, неймется. И не поспешал: даст бог день, даст и сочинителя. А теперь... — Он подобрался, приосанился, окреп голосом: — Теперь поспешать надо!

Март того года унес двух монархов. Австрийский преставился вроде бы отравленный. Шведского застрелили на балу, как тетерева на току. Кто и почему — шведы, поди, знают... В апреле ужалили государыню донесением: пробирается в Санкт-Петербург злодей, умысел имеет на здравие величества. Судачили, будто летом лежать ей во гробе. Императрица передергивала плечами: боюсь сойти с ума от событий, потрясающих нервы.

— Демагоги парижанские, — продолжал г-н Шешковский, — достойны виселицы, а нашенские у них пристяжными ходят. — Он вдруг блекло улыбнулся. — Философу Дидероту случалось вишь и дело молвить. Из Дидеротова письма мне матушка-государыня самолично перевод вчинила. Давно, а помню крепко. Ежели бы я — это Дидерот про себя, значит, — ежели бы я прострочил вечером в какое-нибудь злачное местечко, начальник полиции узнал бы о сем еще до отхода ко сну.

— Генерал Сартин докой был.

— И мы не лыком шиты, — заметил г-н Шешковский.

— У Сартина, в канцелярии на Нев-Сент-Огюстен, едва ль не на каждого нашлась бы справка.

— Хе, — выдохнул г-н Шешковский, задетый за живое, — в кан-це-ля-рии... А у меня, судырь, в доме собственном!

Ох, уж этот его дом в Коломне, на питерской окраине. С флигелями и службами, с пытошным застенком. Здесь он был, пытошный застенок, здесь, а не во дворце графа Самой-

лова, как думали тогда. И здесь же, в одном из покоев с окнами в толстых решетках и шкапами в бронзовых накладках, находился личный архив г-на Шешковского. Не потому личный, что хранил семейное, а потому, что хранил секретные бумаги личного пользования.

Разумеется, и чужой переписки не чуждался Степан Иванович. Выдержки-экстракты складывал в картонки. И особую гордость испытывал, залучив перлюстрацию из конвертов с надписью: «Сжечь прежде всего», то есть прочти и предай огню. Наследник Павел Петрович не почтой слал — с надежнейшими курьерами, а Степан-то Иванович, случалось, перехватывал. Перехватив, снимал копии: одну для императрицы, другую для себя.

Личный архив! Были там бумаги из дела Радищева, были из дела Новикова. Но, честно сказать, горше другое. Не объясню, каким манером изловчился он выкрасть заветный и заповедный трактат Каржавина. Выкрал, сволочь! Потеря невозвратная(40).

Все это приключилось невольное до того, как г-н Шешковский протянул ноги. Если о чем-либо и стоило сожалеть, так это о том, что погребли его по соседству с писателями. Вот уж истинно: и в царстве теней продолжил надзор за русской словесностью. Если ж чему-либо и стоило радоваться, так это тому, что не успел, не успел г-н Шешковский залучить Каржавина в крепость Петра и Павла или в казарму Шлиссельбургскую, соседом девятого номера, Николая Ивановича Новикова.

Но тайному советнику отпущено было еще без малого два года. И он лелеял проект изобличения ужаснейшего заговора.

— Рассуди, — говорил, прижмуриваясь, — нет, ты вникни, рассуди. Я ж Феденьку-то с малолетства вроде бы пестую. Бывало, радовался успешливости в науках: знай, дескать, наших. В бунтовских шайках он обретался, теперь вот на одних стежках с господами Радищевым и Новиковым, а я все сквозь пальцы, сквозь пальцы. Зачем? Почему? — И глазки к потолку возвел. — А затем и потому, что есть ему предназначенье. Да-с! — Из стопки бумаг вытянул исписанный лист, проворно вытянул, как козырь из колоды. — Слушай, чего господин Симолин, наш посланник во Франции, доносил государыне: отсюда посылают разводить огонь восстаний, раздувать пылымя революции... Сообрази: французишку пошлют — мотылек на нашу свечку. А Феденьку и посылать нечего — чистой воды эмиссар! Слушай далее. Феденька с французанкой окрутился. Будто мало своих, погляди, какие павы, а ему вишь французанка по сердцу. Еще бы! Она из Парижа та-акое отписывала, святых вон... — Степан Иванович коснулся картонки с перлюстрациями, отдернул ладонь, будто обжегся. — Эк,

прыщет вредностями! Да-с, хороша парочка... Вон Шаховская, княжна, в Париже за бунтовщика выскочила, государыня и прикажи: урожденную Шаховскую возвратить в Россию, а муженька-то на российский порог не пущать. А вот мадаму, которая Каржавина, эту вот я ж допустил — хороша парочка! Чего говоришь? Расстались? Знаю, судырь, знаю. И про то, что свою касаточку в Москву, гувернанткой у Архаровых определил, тоже знаю. — Степан Иваныч тихонечко рассмеялся. — Ежели со стороны глянуть, выйдет по-твоему: не ужились, и вся недолга. А ежели отсюда глянуть, из Тайной, выйдет по-моему: умысел! Сам, значит, в одной столице колобродит, мадама — в другой. Вот ведь как у меня ладно да скла... — Он осекся на полуслове: палили пушки.

14

В громах адмиралтейских пушек сходил со стапелей фрегат — вершилось дело строгое. Пестрели флаги на судах, река играла солнечными бликами. Громадина медленно сближалась с полноводьем Невы, широким и выпуклым, тяжелым и плавно-подвижным.

Фрегат сходил со стапелей в громах адмиралтейских пушек. «А мы еще только киль закладываем», — думал Каржавин. Толпа снимала шапки — вершилось дело строгое.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Поздним февральским вечером стоял я в пустынном сквере, смотрел сквозь метель на желтые окна старого дома. Там некогда жил Каржавин, там и скончался в канун наполеонова нашествия.

В его комнате пахло книгами и табаком.

Часы Морского собора мерно и достоверно отсчитывали время нашего свидания. Каржавин курил коротенькую шкиперскую трубку. Он курил крепкую смесь виргинского с волжским. Прощаясь, сказал: «Возьми, коли хочешь, фунтика три».

Дым виргинского и волжского стелется, голубея, поверх страницы. Вот этой, где последняя точка.

ПРИМЕЧАНИЯ СТ. Р.

¹ По обстоятельствам времени и места знакомство П. Бомарше и Ф. Каржавина представляется вероятным. В ряде последующих глав возникают схожие ситуации, еще не имеющие прямого подтверждения, однако произведение *л и т е р а т у р н о е* предполагает право автора на версии, на то, чтобы идти, так сказать, впереди документа.

² Братья Каржавины, вольнодумцы и атеисты, несомненно, оказали сильное влияние на революционность Ф. Каржавина. Разумеется, мы должны отталкиваться не от привычного образа революционера XIX — начала XX века, а от того, как данный человек отражает освободительные идеи в контексте своего времени.

³ Двухнедельный «Энциклопедический журнал» издавался в 1756—1793 гг. Один из наиболее последовательных печатных органов энциклопедистов.

⁴ Ф. Каржавин единственный из русских участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности университетского преподавателя французского языка. И вышел победителем. Но совмещать две службы он не имел формального права. Отказаться же от службы у В.И. Баженова не хотел. Как победитель конкурса, Ф. Каржавин получил «привилегию на содержание публичной школы». Школа была открыта, однако просуществовала недолго, вероятно, по причинам финансовым.

⁵ В круг дружеских связей Ф. Каржавина входили, например, известный картограф Жан Бюаш, гравер Жорж Ле Руж, историк Жан Бар.

⁶ В начале французской революции Петербург запросил у посольства в Париже перечень русских, жительствоющих в столице королевства. Список был прислан. В числе давних жителей указывались беглый солдат Тимофей и Зарин, служивший в середине 70-х годов лакеем графа Верженна.

⁷ Случай не единичный. Известен рапорт полицейского офицера об аресте литератора, современника Ф. Блонделя: «Думая, что его везут в Бастилию или в другую тюрьму, он сначала переносил арестование неустрашимо; но потом, когда заметил, что его засаживают в сумасшедший дом, то трудно описать

вам, какая произошла в нем внезапная перемена — его покинула вся философия».

⁸ В.И. Ленин называл американскую войну за независимость XVIII в. одной из великих, действительно освободительных, действительно революционных войн.

⁹ В бумагах Ф. Каржавина упоминается, что он служил помощником директора училища. Но какого, нам неизвестно.

¹⁰ Ф. Каржавин послал письмо президенту Контиентального конгресса с предложением своих услуг в качестве переводчика (сохранился автограф на французском языке). Этот факт свидетельствует о том, что он отнюдь не довольствовался ролью «снабженца», а изыскивал и другие возможности участия в американской революции.

Соображения Ф. Блонделя были правильными: Екатерину II больше заботило ослабление британского могущества, нежели подавление американских мятежников.

¹¹ За один лишь 1768 г. («время» П. Джонса) европейские суда перевезли из Африки в Америку сто тысяч черных рабов.

¹² В дневнике одного из немецких офицеров отмечено, что из его полка дезертировало до двухсот солдат.

¹³ Тайна фирмы, возглавляемой Бомарше, перестала быть тайной лишь в 1794 г.

¹⁴ Французские офицеры, ужаснувшись при виде оборванных солдат континентальной армии, окрестили их «санкюлотами», т.е. «бесштантными». Впоследствии многих из этих офицеров, Лафайета и Сегюра в том числе, еще больше ужаснули санкюлоты отечественные.

¹⁵ «Сыны свободы» — общественная организация, фундаментом которой были городские низы. Традиция совместных действий возникла в колониях задолго до революции. Известны, например, забастовки извозчиков (1684), трубочистов (1763) и портных (1768).

¹⁶ Обстоятельства, приведенные автором, напоминают историю одного из британских шпионов.

¹⁷ Г. Х. Веттер фон Розенталь (1753—1829), участник американской революции, вернулся в Россию в 1784 г.

¹⁸ Джек Сиссон, солдат-негр, находился в небольшом отряде, совершившем летом 1777 г. нападение на английскую штаб-квартиру в Ньюпорте (штат Род-Айленд) и захватившем там генерала Прескота. Эта операция считается одной из самых дерзких за все годы революционной войны... Сейлем Пур участвовал в битве при Банкер-Хилле (1775 г.), характерной массовым героизмом повстанцев. Храбрость С. Пура отмечена в официальном документе, подписанном 14 офицерами: «...этот негр воплощает в себе мужественного и отважного воина...» Битва при Идентоне (штат Северная Каролина) произошла тоже в 1775 г. Имя разведчика-негра осталось неизвестным, хотя он, так сказать, обеспечил победу: проникнув в расположение коро-

левских войск, столь красноречиво поведал о слабости «бунтовщиков», что англичане, ничтоже сумняшеся, ринулись на хорошо укрепленные позиции неприятеля, за что и заплатились сокрушительным разгромом.

¹⁹ История американской революции не бедна примерами воинской отваги женщин. Так, Маргарет Корбин служила вместе с мужем-фермером в артиллерии. В одном из сражений ее муж погиб, она продолжала вести огонь, несмотря на тяжелые ранения. Столь же мужественно вела себя фермерша Маргарет Хейес, произведенная в младшие офицеры. Женщины были и проводниками, и разведчицами, и связными, и поставщиками оружия, припасов, одежды. Случай с Люси Семтер имеет сходство с историей Деборы Геннет, служившей в 4-м Массачусетском полку.

²⁰ Аналогичные суждения несколько позднее высказывали просветитель В. Малиновский, первый директор Царскосельского лицея, и литератор П. Свиньин, посетивший Северную Америку в начале прошлого столетия.

²¹ Следует отметить, что и американцы пытались привлечь индейцев. В 1778 г. конгресс уполномочил Дж. Вашингтона принять в континентальную армию 400 добровольцев из индейских племен. Явилось не больше полусотни. Пятеро индейцев, произведенные в младшие офицеры, служили в штабе главнокомандующего. Это, конечно, не означало, что американцы и аборигены замирились. Летом 1779 г. карательный корпус прошел, как смерч, по землям ирокезов. Кукурузные поля были выжжены, фруктовые сады вырублены, скот перебит.

²² Такие случаи не были редкостью и после войны за независимость. Джона Теннера похитили в 1789 г. Впоследствии он издал книгу «Тридцать лет среди индейцев» (Нью-Йорк, 1830 г.). А.С. Пушкин привел обширные выдержки из этой книги в своей статье-рецензии, опубликованной журналом «Современник» (1836 г.).

²³ Хуан де Миральес жил в Виргинии одновременно с Ф. Каржавиным. В Соединенные Штаты испанцы отправляли не только тайных агентов, но и явных, Хуан де Миральес был назначен наблюдателем при конгрессе. Его деятельность сводилась не столько к наблюдению, сколько к заключению коммерческих сделок.

²⁴ Письма Ш. Каржавиной к Ф. Каржавину, испещренные пометками адресата, находятся в архиве Ленинградского отделения Института истории АН СССР. В ноябре 1965 г. нами получен микрофильм этой коллекции (заказ № 2884).

²⁵ На Кубе пробыл Ф. Каржавин около двух лет. В 1785—1787 гг. он находился в Виргинии. Служил переводчиком во французском консульстве, преподавал французский язык.

²⁶ В доме родственника Ф. Каржавина действительно обучались указанные крепостные бригадира В.Б. Голицына. Современ-

ный исследователь отмечает: грамотная, активная молодежь — крепостная, разночинная, купеческая — представляла собою легковоспламеняющуюся, опасную для царизма среду.

²⁷ Историк литературы В.П. Семенников подчеркивал, что в Петербурге 80-х годов XVIII в. распространялись рукописи об американской революции.

²⁸ Ф.В. Кречетов был арестован в мае 1793 г. Содержался в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости, затем в Шлиссельбурге. Из заточения вышел в 1801 г. Больной, измученный, отправился в пермскую ссылку. Сравнительно недавно обнаруженное «Дело по просительном письму...» Ф.В. Кречетова, датированное 1808 г., свидетельствует о несломленности его духа: он добивался разрешения издавать книги. Бумаги Ф.В. Кречетова, составляющие шесть томов, находятся в Центральном государственном архиве древних актов (Москва).

²⁹ Критическое отношение Ф. Каржавина к послереволюционной Америке косвенно подтверждается некоторыми строками письма к нему из Вильямсберга от К. Беллини (1788 г.).

³⁰ Ф. Каржавин был отличным рисовальщиком. Альбом его хранится в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина.

³¹ П. Джонс умер в июле 1792 г. Революционная Франция проводила его в последний путь депутацией Национального собрания. Это вызвало злобную реплику Екатерины II: Пол Джонс «совершенно заслуженно чествовался презренным сбродом».

³² «Поход на Версаль» состоялся в октябре 1789 г.

³³ Вероятно, имеется в виду персонаж книги Г. Девиса «Путешествие по библиотеке страстного охотника до книг...», изданной в 1822 г. в Англии.

³⁴ Одно из объявлений «С.-Петербургских ведомостей» извещало о том, что в зотовской лавке «продается новая книга Федора Каржавина...».

³⁵ В августе 1787 г. в Петербурге, на Дворцовой площади собралось 400 выборных от 4000 рабочих подрядчика Долгова, чтобы подать жалобу на жестокость и притеснения хозяина. Воинская команда разогнала ходяков, 17 были схвачены и отданы под суд.

³⁶ Торжественное перенесение праха Вольтера в Пантеон происходило в июле 1791 г.

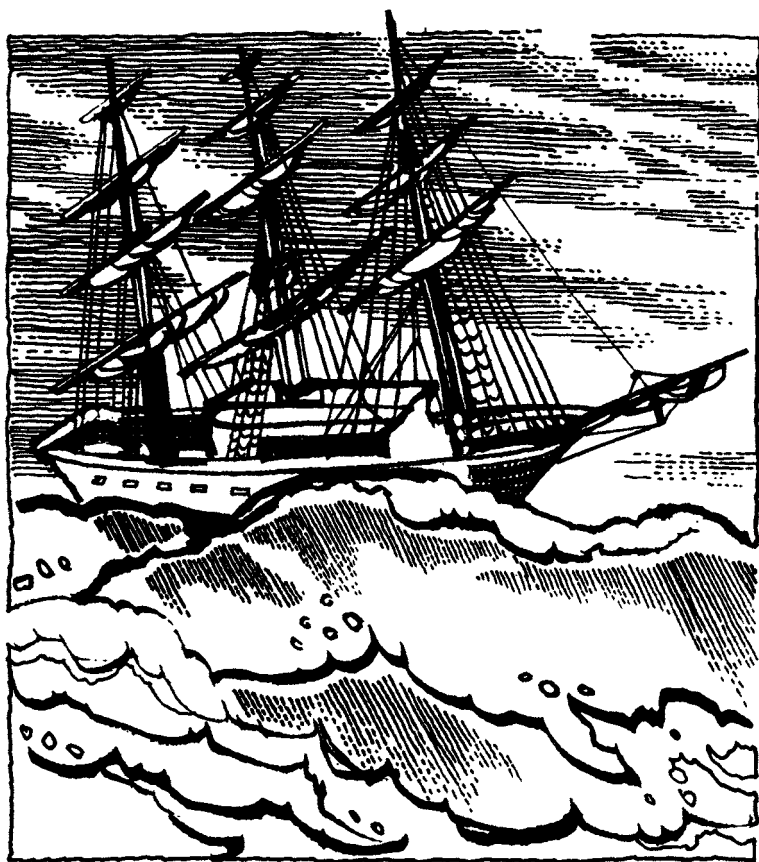
³⁷ На тяжкие работы в Кронштадте каторжников отправляли по указу Екатерины II.

³⁸ Перечень изданий Ф. Каржавина насчитывает несколько десятков названий. Его литературная деятельность свидетельствует о принадлежности автора и переводчика к тем людям, для которых, по определению В.И. Ленина, лозунг национальной культуры был «единым и цельным призывом к борьбе против феодализма и клерикализма».

³⁹ *Имеется в виду некий Ю. Николаев, служивший в Тайной экспедиции.*

⁴⁰ *Местонахождение личного архива С.И. Шешковского неизвестно. Следует также отметить, что многие документы Тайной экспедиции были уничтожены при разборе сенатского архива в конце прошлого века.*

НА ШХУНЕ



«А В СИНЕМ МОРЕ ВОДА СОЛОНА»

(Вместо предисловия)

Капитан был в велюровой шляпе и в тапочках на босу ногу. Капитан курил папироску «Север».

— На «Важном» пойдете?

Гм, «Важный»... Внушительно, как имя эскадренного миноносца. Я согласился, и мы зашагали к плоту.

В здешних краях не говорят на манер речников «пристань». И не говорят «пирс» с тем легким оттенком щегольства, с каким произносят это слово военные моряки. Говорят по-старинному, по-рыбацки, как в Астрахани, «плот».

Гавань обнимали песчаные берега. Радужные пятна солярки, похожие на змеиные шкурки, испестрили прозрачную воду. В гавани было тесновато от рыбацких судов. Рыбья чешуя усеяла склизкие трапы, как гривенниками. Шкипера переговаривались, щурясь и длинно сплевывая за борт. Пахло тузлуком, запах был древний, как само рыболовство.

Я увидел «Важный». Увы, никто не счел бы его миноносцем. Даже до Цусимы. Водоизмещение? Тонн сорок, не больше. Машина? Сотни полторы лошадиных сил. Команда? Пятеро матросов. Гм, «Важный»... А впрочем, подумалось мне, почему бы и не так? Катер-то служебный, для начальства.

Мы оставили гавань в двадцать три с минутами. Обиженно мигнув неяркими огнями, она истаяла во тьме, и ночь приняла нас как в мешок, глухая ночь, без луны и звезд.

Волны казались тяжелыми, литыми. Они мерно нахлестывали по скулам катера. Мерно и звучно, будто вторя: «А в Синем море вода солонна», «А в Синем море вода солонна».

Строка позабытого стихотворения? Нет, строка из старинной «Книги, глаголемой Большой чертеж». Давно, еще до Петра, море это звали Синим.

Я был здесь впервые. Все чудилось мне сокровенным, таинственным. А на рассвете явилось иное: та наивная радость, что возникает просто оттого, что ты очутился в краях незнакомых.

«Важный» послушно стукотил машиной.

Мой капитан, пожилой, усатый казах, уроженец Раима, снял велюровую шляпу и повязал бритую голову чистым вафельным полотенцем. Внешне небрежно, а приглядеться — с грациозной ласковостью он перекладывал штурвал.

Дни выдались облачные. Вода то искрилась, то покрывалась летучими тенями.

Милую за милей отмеривали мы по Синему морю. Обогнули песчаный остров Куг-Арал, где в глинобитном поселке Авань живут рыбаки казахи. Были в поселке Бугунь; поселок приметен издали — на высоком холме белеет трехэтажная каменная школа. Миновали устье Сыр-Дарьи, повитое шелестом тростников. Спустились на юг вдоль островитого восточного побережья...

В рубке «Важного» были компас, и штурманские часы, и приборы. Была, разумеется, и карта. Если лоции писаны звенящей латинской прозой, то географические карты сродни настоящей живописи — им не дано примелькаться. По мне всех лучше карты, что изображают и сушу и море. Стендаль прав: редкий пейзаж без воды вправе считаться законченным.

Обыкновенно карты безымянны. Они созданы как былины, как саги. Но та, что была в рубке «Важного», имела пометку: составлена по карте А.И. Бутакова.

При имени Бутакова вспомнился флотский архив. Солидный, как банк, он высится напротив Эрмитажа, рядом с Зимней канавкой. И еще вспомнился военно-исторический, в Москве, величавый и тихий, со стенами бастионной толщины.

Бутаковские рукописи... Некогда я слышал их шелест, как теперь с палубы «Важного» слышал шелест камышей в устье Сыр-Дарьи. И как здешние отмели, были желтыми поля тех рукописей, среди которых хранилась и карта.

Я поднял голову, и у черты горизонта привиделись мне зыбкие паруса шхуны «Константин».

1

В ночь перед отплытием разве уснешь? Не потому, что в тревоге, в беспокойстве, нет, тут совсем иное, тут нетерпение и в тысячный раз вопрос — не позабыта ль какая малость? — хоть и знаешь, что никакая малость не позабыта.

Не первую кампанию начинали лейтенант. От роду ему было тридцать два, а плавал он с мальчишества, отец приохотил к морю еще в те лета, когда сверстники кошкам хвосты крутили и в жмурки играли... Не первую кампанию начинал лейтенант, это верно, да только нынешняя на прежние не похожа. Прежде что? Случись то на белесо-зеленой, как зимняя хвоя, Балтике или в краях дальних, в Индийском, скажем, океане, у Никобарских островов, всегда под рукой были карты и лоции. А нынче, в июле 1848 года, нет у Алексея Бутакова ни карт, ни лоций, как в том неведомом море, куда завтра путь шхуне «Константин», нет ни маяков, ни брандвахт, ни портов.

Он лежал на перине, хранившей грешный и сладкий запах попады Аделаиды. Нынче она не придет — поп Василий объ-

ехал аванпосты, раскиданные невдалеке от Раима, свершил требы и вполпьяна воротился. Не придет Аделаида. Прощайте, синьора... Ну, а для чего же тогда дожидаться рассвета в этой душной горнице?

Азиатская тьма зачернила крепость Раим решительно и плотно, казалось, до скончания века, и лишь по еще большим сгусткам черноты угадывались приземистая глинобитная казарма, церковка, мазанки. Пыль скрадывала шаги, и Бутаков мельком, но почему-то с радостью подумал, что в Раиме ходишь беззвучно, не то что в Кронштадте, где громыхаешь вовсю.

У крепостных ворот курили, опершись на ружья, часовые. Лейтенант появился как из-под земли, и нарушители устава торопливо взяли на караул. Бутаков ничего им не сказал, миновал ворота и вышел в степь.

Дорога, слабо белея, стекала под уклон нечастыми мягкими поворотами. Было прохладно, тихо, почти безмолвно. На мгновение Бутакова испугала огромность неба и степи, и он, как порою в океане, ощутил свою малость и свою затерянность в этой огромности.

Верста и еще половинка версты, а тут уж и послышался колыбельный шорох камышей, речной свежестью понесло, к ней круто примешался запах дегтя.

На берегу взметывался светлый костер, в его отблесках, отбрасывая тень, маячила рослая фигура.

— Клюкин, ты? — окликнул лейтенант, наперед зная, что видит именно унтер-офицера Парфена Клюкина, ибо другого такого верзилы не было не только среди моряков, но и во всем раимском гарнизоне.

Унтер рысцой подбежал, Бутаков поглядел на него снизу вверх.

— Ну, что тут у нас?

— А все в аккурате, ваш благородь! Садчиков и еще пятеро, как изволили приказывать, на шкуне. Остальные — вона, в жалейках.

Бутаков усмехнулся: «В жалейках!» Присургучат словцо — не отдерешь». Он искоса глянул на казахские кибитки-джуламейки, прозванные матросами «жалейками», и сказал:

— Пойдем на шкуну.

— Гребцов будить?

Гребцов лейтенант будить не велел, пусть-де отдыхают, шкуна недалеко, они с унтером доберутся без труда.

С того каторжно-знойного часа, когда плоскодонный, длиною в пятьдесят футов, просмоленный, выкрашенный «Константин» взрыл килем речную воду, Бутаков и его матросы снаряжали корабль к походу, то есть были поглощены множеством всяческих забот и хлопот. Стороннему человеку все эти хлопоты и заботы показались бы не столь уж важными, но и лейтенант и его балтийцы знали: упусти хоть что-нибудь, хоть что-

нибудь позабудь — и в морехватишь горюшка, а может, и хлебнешь соленького, как говаривали старые корабельщики.

«Константин» стоял на якорях. Река несла звездные блики, и они разбивались о шхуну с тихим звоном, как льдинки. Темная вода быстро, будто крадучись, обегала судно, и снова мерцали на ней льдистые блики, и уплывали все дальше, все дальше, к песчаным отмелям, к песчаным перекатам, к ночному морю: оно лежало там, на весте, милях в тридцати от раимской пристани.

2

Раим прилепился на краю империи.

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем...

Пробьют барабаны — заведена пружина на день-деньской. Солдаты топчут плац, как масло сбивают, фельдфебель матерится, по-бычьи нагибая башку. Между плацем и небом паковой огустил зной. Не продохнешь.

После полудня запах «казенного блюда» перешибает вонь нужников. Обедают солдаты артелями.

Один хлеб режет, прижимая каравай к груди и не забывая при этом ругнуть пекаря сукиным сыном — опять-де корка от мякоти отстает; другой, шмыгая носом, крошит в котелки репчатый лук; третий достает из берестовой тавлинки черный, как порох, перец. Потом солдаты усаживаются вкруговую и молча, опершись локтями о колено, хлебают варево.

Еще долго стоит на дворе вязкая жара, но мало-помалу солнце перестает течь по выцветшему небу комом желтого топленого масла, солнце означается резче, и уже тянет северо-восточный ветерок.

Теперь что же? Теперь чисть, служивый, оружие, вылизывай амуницию, томись до ужина. Во-он, глянь-ка, поволокли кухари мешки с сахарной крошкой, что набилась, натерлась в коробах дорогой из Оренбурга в Раим. Поволокли мешки, стало быть, лопать нынче «заваруху» — сахарные крошки, сваренные на свечном сале.

Вечерами в казарме светят фитильки. Кто на нарах лежит, покуривает, пригорюнившись, кто клопа-злодея давит, а кто в орлянку режется. И печальны лики угодников на плохоньких, рыночной работы иконах, того и гляди заплачут.

В мазанках офицеры, морщась, цедают водку, играют в штос. Играют без азарта, механически двигая руками, щуря глаз от табачного дыма... Скучно. Холостякам еще куда ни шло: есть в Раиме несколько львиц вроде грешной попадьи Аделаиды, и молоденьким офицерам после кадетского затворничества жизнь в фортеции поначалу кажется сносной. Но

жена-а-атым... Боже милостивый, боже милостивый... И вечная нехватка денег, и мигрени, и слезливые попреки: «Ты меня никогда не любил».

Кому на радость крепость Раим? Может, одному только солдату линейных батальонов, что пришли недавно из крепости Орской. Может, только ему, рядовому № 191.

Из крепости Орской не было видно ни зги. Будущее? Будущее воняло настоящим — сивухой и солдатским сортиром. В будущем крылось столько же смысла и радости, сколько в окрике фельдфебеля: «под-борродок выше!» Просвет объявился весной, слился с запахом разнотравья.

Солдату Шевченко снилось море. На зорях ему слышался смутный гул — казарма вставала, сопя и почесываясь, — а хотелось думать, что этот гул доносится из-за степей и пустынь, оттуда, где сверкает и бьется желанное море.

Прежде он дважды видел море. Черное — очень давно, махоньким, когда чумаковал с батькой, но тогда ему вовсе не море приглянулось, а рябь одесских лиманов, обметанных солью, как высохшим потом, с бархатной грязью, по которой так хорошо босиком шлепать, и Балтийское — в восемьсот сорок втором, когда Академия художеств послала его в Италию. Он отправился из Питера поздней осенью; Балтика гремела, ветер был, ухозвоп стоял ужасающий, ледяные дожди заточили его в четырех стенах душной каюты, а в довершение всего он так расхворался, так его разломило и размочалило, что в Ревеле пришлось сойти... И вот шесть лет спустя — море ему желанно.

Он расспрашивал об этом море многих. Ему отвечали насмешливо: поганое, никудышное. Никудышное? А ему мерещились холсты в стиле Жана Гюдена¹. Поганое? А он в мыслях своих уже сжимал кисть, осторожно, со святой опаской трогал холст и — словно удар по клавишам — мазок, другой, третий. Мелкий, тщательный, быстрый, как у Брюллова...

Вместе со всеми Шевченко гнали на фрунтовое учение. На ученьях меркла надежда. Нет, не видать этого моря. Жирный размашистый крест поставлен императором Николаем, повелевшим держать Шевченко «под строжайшим надзором, с воспрещением писать и рисовать». Где же какому-то лейтенанту вызволить рядового линейного батальона?

Но в начале мая сотворилось чудо великое. Никто не догадывался, как счастлив ссыльный. «Раим, — твердили ему, — похлеще Орска, хватишь лиха». Он не спорил, скрывал свою радость ревниво и суеверно, так же, как скрывал запас петербургской бумаги и недавно присланные ему кисти лучшей парижской фирмы, итальянские карандаши, хранить которые надо умеючи, чтобы они не сделались жесткими. Он

¹ Жан-Антуан-Теодор Гюден (1802—1880) — французский художник-маринист, посетил Россию в 1841 году.

скрывал свою радость, но в письме к другу воскликнул: «Я теперь веселый!»

В поход повалили, когда степь уже успела пожухнуть и ее густо занесло старческой сединой ковылей. Караван растягивался на версты, рыжее солнце задыхалось в пыли. Полторы тысячи телег скрипели; сотни долговязых верблюдов были нагружены, как лайбы. Пехотинцы шагали без мундиров, полотняные рубахи казались от пыли фланелевыми. Верхами ехали уральские казаки — справные, гладкие, в окладистых бородах. Орудийная прислуга тащилась вместе с пушками, пушки тяжело и тупо переваливались из стороны в сторону.

Шли сквозь пекло, оставляя позади взрытую землю, дымящийся навоз, зеленоватую муть вялых речушек. Корявый толстый осокорь с орлиным гнездом в искривленных ветвях долго глядел им вслед. Заревом степных пожаров занимались дальние горизонты. И дымчато повисал над биваками месяц, похожий на клочок овечьей шерсти.

Сотни верст — и все степью. В траве проглядывали пески, как лысины, и пятна солончаков, как стриженный лишай. Никого не заботил походный порядок. О, как точно расписали его в штабе Отдельного Оренбургского корпуса. А тут верблюды перемешались с конями, пехотинцы с казаками, телеги с пушками. Тухла вода в бочках, дохли лошади.

Но — «Я теперь веселый».

Когда выходишь за ворота тюрьмы, ощущаешь кружащую голову легкость. Не разумом поначалу, но затылком, лопатками, будто утратил вес, будто вот-вот взлетишь. Еще годы и годы солдатчины, никуда не денешься от ярма. Но не об этом он думал в пути. Он был в движении, у него была цель. Он шел пустыней, под лютым солнцем, но движение это не определялось шагистикой, выделыванием ружейных артикулов. Он шел сквозь пекло, но шел к живописи. Ради нее можно пройти все пустыни мира.

Шевченко шагал в толпе небритых угрюмых солдат. Подсаживался на телеги к молчаливым башкирам. Ехал верхом. Лошадь ему любезно одалживал Макшеев, двадцатишестилетний штабс-капитан, выпускник военной академии.

В среде петербургских офицеров с гуманным, как тогда говорили, направлением ума (а Макшеев причислял себя к ним) сочувственно отзывались об авторе «Кобзаря» и ученике великого Брюллова. Слышал штабс-капитан и о тайном киевском обществе, в котором состоял Шевченко; и о приговоре, утвержденном государем. Столь жесткой меры Макшеев не одобрял. Однако в Оренбурге, когда думали-гадали, зачислять ли Шевченко в ученую экспедицию, штабс-капитан благоразумия ради помалкивал. Теперь, когда дело было решено, чему он искренне радовался, ему хотелось порадеть ссыльному.

Штабс-капитан предложил Шевченко стол и кров. Это

было заманчиво — «академик» располагал собственной кибиткой и собственным запасом продовольствия. Но Шевченко согласился не сразу, офицеров он не любил. Макшеев рассчитывал на благодарность, отчужденность Шевченко его задела. Он, однако, повторил приглашение, и Тарас Григорьевич, полагая, что «академик» Макшеев все же не чета гарнизонной «офицери», воспользовался и кибиткой и провизией.

Вместе одолели они полторы тысячи верст степью и пустыней, вместе зажили в Раиме. А вчера лейтенант Бутаков приказал перебираться на шхуну, и раимскому житью подходил конец.

3

У каждой реки свой нрав. Язычица Конго долго теснит прозелень Атлантики; северянка Макензи с индейским презрением плюет ржавой пеной на льдины Полярного океана; Сыр-Дарья угасает в Аральском море равнодушно, как умирающий магометанин.

Бурая полоса сыр-дарьинской воды — она богата илом, подобно священному Гангу, — далеко простирается в море. Широкая, густая, почти кофейная полоса эта истончается постепенно. Когда держишь в море из устья Сыр-дарьи, за кормою судна ложится светлый коридор. А впереди по курсу ликует аральская синь. Встречи с нею ждешь, знаешь, что встреча будет, непременно будет, но переход рубежа всегда внезапный, и, перегнувшись за борт, вдруг видишь, что коричневых вод уже нет, а есть волны, как бутылочное стекло, насквозь, до песчаного грунта, пронизанные солнцем. А вдали — все та же смелая молодая синь.

Июльским днем 1848 года этот рубеж пересекла шхуна «Константин», на мачте которой потрескивал брейд-вымпел — стремительный флажок с двумя косицами и андреевским крестом.

Бутаков не любовался Аралом. Глубины были малые, ничего не стоило сесть на мель или выскочить на камни. Да к тому же и ветер, черт дери, задувал с разных румбов, и приходилось беспрестанно лавировать.

А между тем граница илистой Сыр-Дарьи и прозрачного Аральского моря была в некотором смысле и границей в его, лейтенанта Бутакова, жизни. Именно теперь, именно здесь начиналось нечто совсем новое, на прежнее непохожее...

Он еще гардемаринном мечтал о кругосветном походе, считая, что «кругосветка» необходима флотскому офицеру так же, как поездка в Италию живописцу или музыканту. В сороковом году его назначили старшим офицером транспорта «Або». Парусное судно отправилось из Кронштадта в Петропавловск-на-Камчатке и два года спустя воротилось на Малый Кронштадтский рейд. Тут полагалось бы к этому «воротилось» прилепить

«счастливо», но, увы, кругосветный поход «Або» был, пожалуй, самым злосчастным в череде русских дальних плаваний. Не ураган в Индийском океане, не бури в Великом, или Тихом, не штормы у мыса Горн были тому причиной, а командир корабля, белобрысый и мокрогубый капитан-лейтенант Юнкер.

Этот мерзавец спустил казенные деньги и чуть не половину экипажа заморил цингой, а потом удумал «законно» похерить свои ликерно-водочные расходы. Для сего нужны ему были офицерские подписи во всяческого рода корабельных документах. Тут-то и восстал Бутаков, товарищи поддержали, скопом подали рапорт начальству.

Казалось, затрещат эполеты на господине Юнкере. Но белобрысый, малый не промах, взял да и обвинил самих обвинителей. Он обвинил их в том, что они не повиновались командиру, а неповиновение на военном корабле каралось жестоко, и дело приняло скверный оборот.

Наглость пропойцы и безобразника объяснилась покровительством главы флота светлейшего князя Меншикова. Почему, за что капитан Юнкер был в фаворе у князя Александра Сергеевича, никудышного моряка, но персоны умной и образованной, Бутаков никогда понять не мог.

Снарядили суд. Судейские — презусы, ассессоры и аудиторы — заскрипели перьями, и Бутакову пришлось бы круто, когда бы не Беллинсгаузен. Главный командир Кронштадтского порта, занимавший высшую строевую должность в Балтийском флоте, прославленный мореход, открыватель Антарктиды, он принял сторону лейтенанта. Старик адмирал знал Бутакова по службе, адмиральша Анна Дмитриевна знала матушку Алексея, его же помнила почти с пеленок. Помогли и письма Лазарева, сподвижника Беллинсгаузена в экспедиции к Южной матерой земле и товарищ отца Бутакова, черноморского моряка.

Фаддей Фаддеевич, что называется, лег костыми, вызволяя лейтенанта. Скандал получил слишком громкую огласку, и князь Меншиков, поколебавшись, прекратил следствие.

На том и заштилело. Бутаков, однако, понимал, что держится на плаву лишь заступничеством Фаддея Фаддеевича, что рано ль, поздно ль, светлейший отомстит.

История с Юнкером убила в нем наивность и доверчивость. Бутакову и раньше претил «фрунтовой дух», внедрявшийся во флоте Петербургом. Теперь он понял, что «фрунтовой дух» — генеральное направление царствования Николая Павловича. Бутаков и прежде сознавал, что справедливость не всегда торжествует. Теперь он понял, что справедливость торжествует изредка, да и то при стечении некоторых обстоятельств. Бутакову не новостью было, что удел матроса — линьки и мордобой, но теперь он увидел, что «нижний чин» ценится дешевле порожней жестянки — смерть служителей транспорта «Або» сошла с рук Юнкеру.

Жизнь предстала Бутакову в мрачном свете. Лишь зимою на берегу, в Кронштадте, он находил отдохновение в занятиях иностранными языками, науками и литературой. Его морские очерки охотно печатали «Отечественные записки», знаменитый критик отозвался об этих статьях с лестною для сочинителя похвалою. Но в очерках не было ни слова о мучениках «Або»: цензоры тоже одержимы «фрунтовым духом».

Годы шли, Бутаков тяготился службой, подумывал об отставке. А голову преклонить решительно некуда было: с Петровых времен Бутаковы числились в списках русского флота, получая чины и ордена, но не поместья и не крепостных.

Кто знает, как все повернулось бы, если бы не среды у Беллинсгаузена. По средам к Фаддею Фаддеевичу сходились старые приятели, моряки прежней породы, «любители порассуждать». Рассуждения их большей частью вращались в сфере навигации, гидрографии и географии. Однако старики при этом едко трунили над аракчеевыми, которые настоящую корабельную выучку заменили плац-парадными построениями. (Впрочем, сия оппозиция была нимало не страшна Зимнему дворцу, подобно тому, как его не страшила ворчливая фронда завсегдатаев московского Английского клуба.) На собрания приглашали кое-кого из молодых, и лейтенант Бутаков был частым гостем Фаддея Фаддеевича.

Так вот, на одной из сред, поздней осенью, в ненастье, когда скучнее Кронштадта, пожалуй, не сыщешь места в России, краснолицый, апоплексический, но неизменно бодрый толстяк контр-адмирал Анжу вспомнил экспедицию двадцатилетней давности. Он вспомнил, как в зимний гололед и бескормицу отряд геодезистов пробирался закаспийскими степями на восток, в сторону Аральского моря. Пробирался отряд два с половиной месяца, в пронзительную стужу, потерял дорогою два десятка солдат, более полутора тысяч лошадей, сотню верблюдов. На западном побережье Арала геодезисты сделали съемку некоторых приметных мест, вконец извелись от холодов и голодухи да и поворотили вспять...

Воспоминания Петра Федоровича вызвали общий разговор о таинственном море, точных карт которого нельзя было сыскать ни в гидрографическом депо, ни в Академии наук.

Бутаков переглянулся с Фаддеем Фаддеевичем. Право, судьба позаботилась о том, чтобы был на свете Арал. Не мыс, не берег, не речное устье, но море предстояло положить на первую в мире точную карту. Изучить течения, характер грунта, глубины, геологическое строение берегов, фауну и флору. Доподлинная ученая экспедиция! И, наверное, будут острова. Без них недостает в путешествии как бы главной и определяющей черты. В слове «остров» слышалось Бутакову что-то одинокое и гордое: «Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит...»

Беллингаузен пожаловал в Адмиралтейство. Светлейший князь Меншиков любезно его принял. «О, да, — заулыбался князь. — О, да, я весьма рад помочь вам, адмирал». Еще более, разумеется, он рад был сплавить подальше лейтенанта Бутакова.

Потом Беллингаузен навестил военного министра Чернышева, туповатого и надменного, как многие военные министры, и добился разрешения на то, чтобы сухопутный Оренбургский корпус содействовал морской экспедиции.

Засим адмирал уламывал министра иностранных дел графа Нессельроде. Граф Карл Васильевич побаивался неудовольствия англичан. Аральское море омывало с юга хивинские земли, а на Хиву целил Лондон.

Наконец в январе сорок восьмого года все было решено, и старик Беллингаузен благословил лейтенанта. С тех крещенских дней минуло шесть месяцев. Разве позабудешь стук топоров на раимской пристани? На телегах волокли разобранную шхуну из Оренбурга к Сыр-Дарье, в Раиме сколачивали ее, конопатили, красили, вооружали.

А нынче вот потрескивает брейд-вымпел, корабль, значит, вступил в кампанию. Впереди нынче ликующая праздничная синь, точь-в-точь тропические широты Атлантики или Эгейское море.

4

Они словно нарочно выстроились по ранжиру: с правого фланга жердяй Томаш Вернер, минералог; бок о бок с ним — гвардейской выправки штабс-капитан Макшеев с усами а-ля Марлинский; потом — топограф прапорщик Акишев: дубленое солнцем лицо выдавало человека, который больше жил под открытым небом, нежели под крышей; рядом с Акишевым — корабельный живописец Тарас Шевченко, в плечах широкий, мешковатый; и, наконец, фельдшер Истомин, коротышка, с сигаркой в углу губ...

Шевченко оробел. Как поймать хоть один переплеск моря, живую, переменчивую игру лучей? Как заставить море плеснуть на холст и остаться постоянным в своем непостоянстве? И вместе с этой оторопью — неожиданная мысль: ему уже тридцать пятый, он на перевале, зрелость, полдень настанут здесь, на палубе парусного корабля. Удивительно, странно, вот уж никогда не думал. Странно и радостно. И этот солоноющий ветер, и этот запах пеньки, и перебежка лучей, и гармоничная чересполосица — то густо-зеленое, то сизоватое, то сиреневое... Господи, как хорошо!.. Макшеев? Что он там мелет, штабс-капитан?

Макшеева, что называется, несло. Его одолела восторженная болтливость. Он говорил, говорил и молчание остальных

принимал за очарованность его красноречием, совсем не при­мечая косых взглядов То­маша Вернера.

Как и Шевченко, Вернера подвергли солдатчине за кра­молу, он тоже отбывал ссылку рядовым линейного батальона и тоже чурался вот таких, как этот штабс-капитан. На плацу, в казармах То­маш не видел от них ничего, кроме пакостей. Разве что лейтенант Бугаков сделал ему добро — определил в экспедицию минералогом. А прочие... Э, будь они прокляты! Еще в Раиме То­маш приметил, как держится с «официей» Тарас Григорьевич. Всегда спокоен, всегда сквозит в нем чув­ство превосходства, даже, пожалуй, некая важность. А он, То­маш, в присутствии «официи» испытывает нервную взвин­ченность и сам же от этого страдает, угадывая в своей взвин­ченности какое-то душевное малосилье.

Акишев, топограф, помалкивал по той простой причине, что был не речист, да еще, пожалуй, оттого, что штабс-капи­тан, столичная «штучка», смущал его. И только фельдшер Ис­томин время от времени поддакивал Макшееву. Тертый гар­низонный калач, он, подобно многим военным медикам, давно усвоил тон легкой фамильярности даже со старшими офицерами. Пусть ты хоть полный генерал, а ведь и тебя когда-нибудь придется пользоваться. Да вот и теперь, когда шхуна уже несколько часов кряду ложится с борта на борт, вот и теперь этот штабс-капитан призовет, кажется, на по­мощь.

И точно, Макшеев мало-помалу увял. Он снимал фуражку, морщась, тер затылок. Затылок тупо ломило. Все вокруг будто вылиняло, чертова палуба ползала взад-вперед, вправо-влево. Штабс-капитан, наполняясь безотчетной тревогой, ощущал в коленях слабость. Вдруг он судорожно выхватил из кармана носовой платок и кинулся прочь.

Фельдшер иронически ослабился, выбросил окурок и по­спешил за Макшеевым, хотя отлично знал, что морскую бо­лезнь медикаментами не вылечишь.

Вернер и Шевченко тоже недолго оставались на баке. Они убралась в каюту и вытянулись на тюфяках, чувствуя себя не очень-то весело. Что же до топографа Акишева, то он, под­чиняясь мудрому правилу «солдат спит, а служба засчитыва­ется», свернулся в уголку, накрылся, невзирая на зной, ши­нелю да и пустил во все носовые завертки.

Тем временем шхуна миновала отмели. Солнце уже не раз­дельвало под мрамор песчаное дно, глубины пошли порядоч­ные, и Бугаков другими глазами взглянул на море, на небо, на матросов.

Нынешняя лавировка явилась экзаменом и шхуне и ко­манде. Корабль впервые окунулся в соленую купель, служи­тели впервые исполняли приказания лейтенанта Бугакова. Лейтенант и матросы были балтийцами, но там, на Балтике,

они числились в разных экипажах: Бутаков — в девятом, матросы — в сорок пятом.

Он был доволен. Шхуна оказалась поворотливой и послушной: команда действовала быстро и сноровисто.

В матросах заключалось три четверти успеха всякого плавания. Бутаков никогда не понимал «отчаянных дисциплинистов», тех, кто предпочитал гусиный шаг чистоте маневров, а кронштадтский плац, «орудие пытки Балтийского флота», вызывал в нем неодолимое отвращение. Не понимал Бутаков и равнодушия многих офицеров к гигиеническому состоянию корабля, не к внешней, казовой стороне, когда все блестит, а к сырости и затхлости в палубах, ко всем видам матросского довольствия, к противочинготным средствам, из-за отсутствия которых в Кронштадте ежегодно умирало много «нижних чинов». Небрежения к матросу он не понимал. Ежели ты чужд человеколюбия, то холодно прими в расчет, что здоровый матрос лучше матроса голодного, болезненного, а стало быть, и тебе, офицеру, озабоченному карьерой, прямая в том выгода. Чего было больше в нем самом — человеколюбия или практического смысла, Бутаков не исследовал, а без данных слов пекся о подчиненных, исполняя заветы таких моряков, как Ушаков, Сенявин, Лисянский и Головнин, чьи имена почетительно произносил его отец Иван Николаевич.

Отправляясь на Арал, Бутаков принял матросов не из своего, а из чужого экипажа. Правда, ему было известно, что в 45-м не так уж сильны «отчаянные дисциплинисты», но все же Алексея Ивановича тревожила морская выучка «будущих аральцев». Теперь он радовался. Команда, что корабельная роща, один к одному, на подбор. Вишь, как бойко вбегают на ванты, как лихо работают на реях. Молодцы! Ей-богу, молодцы!

Потянув носом, он учуял запах солонины (денщик Ванюша Тихов, исполняя обязанности кока, готовил обед), и, услышав этот запах, не очень-то, признаться, приятный, но истинно корабельный, Бутаков толкнул локтем штурмана Поспелова, и Ксенофонт Егорович ответил ему понимающей улыбкой: все в порядке.

5

В штиле моря похожи друг на друга, каждое море гневается по-своему. Признак близкого аральского шторма — перистые облака. Не полуденные ленивцы и не те неженки, что дремлют на пуховиках зорь, а проворные хищники, которые бегут от горизонта к зениту, когтями вспарывая небо. Они напоминают степных волчиц, когда те, тощие, со свалывшейся шерстью, ровной рысцою проносятся среди ковылей и барханов.

Перистые облака гнал от горизонта к зениту свежий зюйд-вест. Бутаков отдал оба якоря в какой-то бухте, полагая, что

ночь отстоит мирная. Зюйд-вест действительно к вечеру сник. Однако флюгарка на мачте вскоре дрогнула, мгновение помедлила и повернулась, показав перемену ветра. Задул норд-вест. Он быстро набрал силу, вздыбил волны, и они, толкаясь, полезли одна на другую.

«Как будто в буре есть покой»... Мореходу и впрямь покой можно обрести в буре, но только не в тесной бухте, а вдали от берегов, в открытом море. Увы, теперь поздно было думать об этом. Сунься в горло залива, тотчас шваркнет о камни — и поминай как звали.

Ничего другого не оставалось, как воззвать к Николе Чудотворцу, давнему заступнику русских плователей, но Бутаков был плохо знаком с божьими угодниками, и не до молитв ему было. Он перебегал с носа на корму, опасливо приглядываясь к якорным канатам, которые то напрягались струною, то, обмякнув, бессильно провисали в темноту.

Если сорвет с якорей, шхуна неминуемо погибнет; они ушли слишком далеко, чтобы посуху, пустыней добраться до Раима. Если сорвет с якорей, все полетит к чертовой матери, а те на Барса-Кельмесе перемерут голодной смертью, запасов-то у них на неделю, не больше. Бутаков достал часы, штурман Постелов поднес фонарь. Было около полуночи, до рассвета оставалась тысяча лет. Пусть бы и шторм гремел, лишь бы рассвело, во тьме беда всегда круче...

Шевченко сидел в каюте, прислушиваясь к гулким ударам волн, и вдруг вспомнил, как Брюллов показывал ему рисунок художника Гагарина. Рисунок этот, беглый, неотделанный, Шевченко увидел и позабыл, а тут вдруг припомнил. На рисунке была корабельная каюта, за столом — Карл Павлович Брюллов и командир брига «Фемистокл» Корнилов. В углу приткнулась стойка с курительными трубками, еще что-то; Брюллов вытянул ноги, Корнилов запахнулся в халат... Почему-то припомнился этот гагаринский набросок, сделанный пятнадцать лет назад на борту брига, который возвращался из Средиземного моря. Не оттого ль, что в канун шторма надумал Тарас Григорьевич изобразить в альбоме каюту шхуны «Константин»?

Странное дело, Шевченко будто бы вовсе не страшила ночная буря. Он сознавал опасность, очень хорошо сознавал, но жила в нем неколебимая уверенность в благополучном исходе и этой штормовой ночи, и всего «бутаковского» похода. Владело им что-то похожее на то спокойствие, которое испытал он бурной ночью, когда ехал с друзьями украинской степью. Лошади сбились с дороги, метель визжала, возницы опустили руки, седоки угрюмо примолкли. Один Тарас не пал духом, то шутил, то запевал «Ой, не шуми, луже». Всю ночь блуждали, покамест не выбрались на Киевскую дорогу, к постоялому двору...

Он был спокоен, но досадовал на шторм. Буря помешала его занятиям. С первых походных дней, как только начались

промеры глубин, съемка и опись берегов и жизнь корабельная наладилась, а он приобвык к качке, Шевченко предался работе и нашел в ней нечто родственное своим занятиям в ученой архивной комиссии на Украине.

Ничего в аральских пейзажах не было живописного в том смысле, какой вкладывали в это понятие любители «роскоши и неги природы». Нет, своя, особая, не всем и каждому приметная прелесть таилась в унылых линиях берегов. Она походила на однозвучный голос колокольцев где-нибудь на степном шляхе. И звучание здешних пейзажей трогало и чаровало Шевченко.

Но главное было не в том. Главное было в освещении. Бог Света придавал фактуре неистовую обнаженность, слепящую силу бликам, неподвижность и вместе плавную текучесть, и такие контрасты, написать которые не всегда умел даже сын мельника из Лейдена, великий Рембрандт... Рембрандтовы «Три креста» — не кресты, не всадники, не распятые, но Свет. Низвергающийся как водопад. Широкие, мечом разящие полосы. Лучи, подобные дротикам... Изобразить свет? Рембрандт бился над этим всю жизнь...

Подвесной фонарь раскачивался, перебрасывая тень Томаша Вернера. Томаш подобрал колени, положил толстую тетрадь и старался читать что-то записанное в ней, но часто отрывался и тоже прислушивался к устрашающему грохоту моря, к скрипу и стонам «Константина».

Шхуну швырнуло на левый борт. Вернер опрокинулся, растопырив руки, выронил тетрадь. В ту же минуту в дверях наискось повис фельдшер Истомина. Лицо у него было белое, губы дрожали.

— С одного якоря! — заорал фельдшер и рубанул ладонью воздух.

6

Когда остров Барса-Кельмес видишь с моря, он удручает своей «геометрией» — ни заливов, ни бухт, берега ровнехоньки, будто отбил педант-землемер. На этом острове еще до проклятой штормовой ночи Бутаков оставил Акишева, Макшеева и шестерых матросов: пусть займутся геодезической съемкой, положат на карту неизведанный Барса-Кельмес. А дня через три, четыре Бутаков вернется и заберет их всех на борт шхуны. Так бы и вышло, ежели бы не буря. А ей, казалось, конца не будет. Днем на мгlistом небе не голубели чистые промоины, те, что сулят добрую погоду. А ночью ни звездочки не проклевывалось.

Островитяне поневоле, шестеро матросов бутаковского экипажа, сумерничали у костра. Жарко горел саксаул, и чудилось, пахнет верблюдом. Речь держал Парфен Клюкин, унтер. Его слушали с тем преувеличенным вниманием, с каким слушают нечто такое, что как раз и отвлекает внимание.

— В Индейском окияне ураган зачинается не по-здешнему, — солидно, с видом человека бывалого повествовал унтер, заслоняясь ладонью от огня. — Одно слово, братцы, оки-ян! Вот одна, а было это, точно помню, после светлого воскресенья, ну прямо нечем, ей-богу, нечем стало дышать.

Клюкин долго еще толковал об урагане, пережитом лет семь назад на транспорте «Або». Речь его была неторопливой, торжественной и как бы окутана некоторой таинственной гордостью, словно бы он, Парфен Клюкин, был причастен к возникновению стихийных бедствий.

Матросы слушали его не перебивая, но думая поначалу о другом, да и не сознавая, к чему клонит долговязый унтер. Только уж под конец, когда Клюкин стал говорить, каким манером их благородие Алексей Иванович Бутаков привел все же судно к Никобарским островам, несмотря на то, что ураган перебил рангоут и снес мачты, только тогда Парфеновы слушатели осознали главную его мысль. А мысль эта была та, что ни хрена со шхуной «Константин» приключиться не может, потому как командиром Алексей Иванович Бутаков, ничегошеньки ей не сделается, шхуне «Константин», придет она, шут ее возьми, к Барса-Кельмесу.

И опять сладилось чаепитие. И разговоры сладились совсем не об утопших в морях, не о крушениях корабельных, а домашние, мирные.

Аверьян Забродин, матрос первой статьи, горбоносый, чернявый, Москву вспомнил, где жил дворовым за барином, отставным майором. Вспоминал Аверьян про башню Сухареву, которая «ни дать ни взять — корабль адмиральский», и про гулянье на масленицу у Новодевичьего монастыря, когда такая потеха, такое веселье, что «просто, ребятушки, разлюли-малина», и про Марьину рощу, где куковала кума его, «цветик-цветочек, вот те крест»...

А Иона Полетаев, матрос тоже первостатейный, но в отличие от Аверьяна мужик застенчивый, легко краснеющий, прозванный еще в Кронштадте Ионой-тихой, качал головой и кротко замечал:

— Москва, оно так, да только соблазну много. А ежели вот окрест Калуги, скажем. Ах, милые вы мои, какие леса-а-а...

Даже Густав Терм, молчальник эстонец, и тот разговорился. Оказалось, земляк он не кому иному, как его высокопревосходительству адмиралу Беллинсгаузену, с одного они острова — с Эзеля, что в Балтийском море.

— Земляки? — подивился Клюкин. — Вона что, брат. Так какого же ты лешего к нему не запросился? Глядишь, в денщиках бы бока належивал.

Густав поднял на унтера светлые глаза, покривил тонкие губы, ответил строго:

— Я есть матроз. Я не можно денщик.

— Горда-а-ай, — протянул Иона-тихоня не то одобрительно, не то осуждающе.

Солнце заваливалось за тучи, запад багровел.

Акишев с Макшеевым поместились в парусиновой палаточке, палаточка подрагивала и прогибалась на ветру. Офицеры угрюмо молчали. Прапорщик присоветовал было штабс-капитану чаевничать не внакладку, а вприкуску, сберегая сахар. Совет свой высказал с заботливостью человека, испытывавшего на веку всякое, но Макшеев вспыхнул, озлобился, наговорил много такого, за что теперь испытывал неловкость и стыд. Впрочем, неловко и стыдно ему было не оттого, что он накричал на помощника, который много его старше, а потому, что сорвался, обнаружив растерянность, если не отчаяние.

Видать, «академику» были впервой такие передряги. А топографу Оренбургского корпуса не раз уж приходилось околевать в степях и пустынях от жажды и голода, стужи и буранов.

Десять лет Артемий Акимович, мужчина суровый, кряжистый, с грубоватыми хватками, обретался в унтер-офицерах. За царем, по пословице, служба не пропадает, и Артемий Акимович выслужил «высочайше утвержденную из желтой тесьмы нашивку на левом рукаве», но, когда его недавно произвели наконец в прапорщики, он едва наскреб деньгу, чтобы шить офицерский мундир, и продолжал свою прежнюю походную жизнь, жизнь бродяжью, насытную, нелегкую.

Вот ему-то Макшеев и прокричал, что куском сахару от голодной смерти не спасешься, что бутаковская лохань наверняка разбилась; коли и не разбилась, то, получив повреждения, отправилась в Раим, а милейший Бутаков и думать позабыл о несчастных, брошенных на этом проклятом Барса-Кельмесе.

Монолог остался без ответа, но Макшеев видел, что крупное, плохо выбритое лицо Акишева сделалось недоброе, почти грозным. В уме штабс-капитана мгновенно ожила давешняя картина, когда он так рельефно представил себе, что разыграется на острове, если шхуна погибла. Давешней ночью он слышал, как матросы переговаривались между собою и чей-то мрачный, но прямо разбойный голос каркал: «А у баринка-то, братцы, запасец изрядный». Это — о нем. Разумеется, о нем.

И на походе из Оренбурга к Сыр-Дарье и потом, на шхуне, штабс-капитан столовался отдельно от прочих. На Барса-Кельмес он тоже прихватил собственный харч и еще на шхуне сказал об этом Акишеву, чтобы тот не обижался. Прапорщик тогда ответил сухо: «Как вам угодно», а теперь вот поджал ноги по-татарски, глядит как филин.

— Послушайте, — заговорил Макшеев начальственным тоном. — К ночи выставим посты. А? Что? — заторопился он, хотя Акишев по-прежнему молчал. — Слышите, прапорщик? Как это «зачем»? А если придет шхуна? То есть как же это не придет?

Акишев медленно усмехнулся в густые, с подпалинами от курева усы. Макшеев вскинулся:

— Извольте...

— Не извольте кричать, — оборвал Акишев. Голос у него был сипловатый, негромкий, Макшееву в ту минуту ненавистный. — Не будет нынче шхуны. Посты выставляют — только людей мытарить.

Макшеев смешался. С минуту он таращился на Акишева, а потом выскочил из палатки, бормоча ругательства.

Скорым запинаящимся шагом, пугая ежей и тушканчиков, он почти бежал, не разбирая пути.

Темнело. Косматый чернильный Арал вздымался, ворочался, ухал.

Быстрая ходьба не успокоила штабс-капитана, мысли его совсем сбились. Он то прицеливался, можно ли в челноке добраться до Сыр-Дарьи, то с каким-то остервенением убеждал себя, что в челноке и двух верст по морю не сделаешь...

7

Нет, не ошибся приказчик Захряпин, так и брякнули: «Порешить его, и вся недолга». От этих страшных слов в висках у Захряпина, как молотком, бухнуло. Он, однако, не закричал, даже не шевельнулся, сидел, обнимая колени, сжавшись.

— Порешить недолго. А только как?

— А чего «как»? Камень на шею, да и в воду.

Рыбачий баркас переждал шторм благополучно, еще немного — и приказчик Захряпин повстречал бы шхуну «Михаил», но беда-то была в том, что бесшабашные артельщики давно выглушили водку, сжевали крупитчатые калачи да и остались на одних сухаришках, таких твердых, что и волку не по зубам. Уж как ни упрашивал Захряпин, поберегитесь, мол, ребятушки, глядите-ка, и ветер противный, и заштормит беспрерменно, и со шхуной «Михаил» можно разминуться, — как ни уламывал, куда там.

Приказчик Захряпин, молодой, крутлобый и скуластый, с закурчавившейся бородкой и бойкими карими глазками, воротился недавно из длительной поездки. Побывал он в Ростове, в Александрове — докладывал о делах хозяевам рыболовецкой компании, года два как заведенной на Аральском море. Наведался Захряпин в Москву, где сподобился аудиенции у самого Платона Васильевича Голубкова, и от беседы с ним «воспарил духом». Прилетев в устье Сыр-Дарьи, на остров Кос-Арал, к рыбачьей артели, Захряпин узнал, что Бутаков уже в море, а отставной капитан-лейтенант Мертваго, шкипер суденышка «Михаил», отправился на промысел. Никто Захряпина не торопил, жена его, вывезенная из Москвы, робела одиночества, но

приказчику не терпелось свидеться с Мертваго и Бутаковым. Захряпин хотел, поскорее выложить Мертваго голубковские проекты, хотя приказчик и догадывался, что Федор Степанович от них восторгом не зайдется. А к Бутакову Захряпин спешил потому, что думал напроситься в экспедицию, ибо давно уж намеревался обозреть и запад и юг аральский. Так все сошлось и связалось. Снарядил Николай Васильевич баркас, облобызал супругу и айда в море.

А нынче вот и услышал:

— Ох, братцы, плохо наше дело, а?

— Куда уж хуже! Ни тебе винца, ни калачика.

— А кто тут в ответе?

— Знамо кто, главный наш, вот кто.

— Известно, Николай Васильевич... Его промашка, чего тут.

Все это было сказано без надрыва, не злобно. Нагрешил, дескать, Николай Васильевич, ему и каяться. А тут-то и брякнул Калистрат, по прозвищу «Ходи печь»: «Камень на шею, да и в воду!»

И вот, пихаясь, топоча сапогами, повалили на корму. Опять молотком ухнуло в висках у Захряпина. Царица небесная, спаси и наставь... Николай Васильевич не шевелился, только все крепче обнимал колени сплетенными в замок руками, и суставы на его пальцах сделались белые-белые.

На баркасе пошли с Захряпиным пятеро — четвертая часть артели, «ватаги», как говорили рыбаки. Мужики-артельщики были в большинстве с Волги, из бурлаков, но прибились к ватаге и «Иваны, не помнящие родства», беспачпортные, народ бедовый, без гроша в кармане, со вшой на аркане. Все они, что бурлаки, что беглые, подрядились честь честью, а попали в карусель. В долгах они были у компании, как рыба в чешуе, не успеют со старым рассчитаться, смотришь, задаток на хребте. Так и крутилось колесо. Конечно, любой мог податься прочь с Арала; ни приказчик Захряпин, ни долговая книга — не шлагбаум для них и не караульная будка. Да вот податься-то и некуда было. На юг, за Арал? А там хивинцы, «басурмане». На север, в Оренбург? Там свои, Христу-богу молятся, но пощады не жди, нет пачпорта — ну и марш-марш в кутузку. На запад податься, на солнечный закат? В пустынях сгинешь, чай, не отшельник, не праведник. На восход, встречу солнцу? Опять, сдается, басурмане. Словом, куда ни кинь — все клин. Да и по чести ежели, то многим рыбакам аральское житье хоть и бедное, хоть и грязное, хоть и тяжкое, а по нутру. Вольница! Ни тебе барина, ни тебе бурмистра, ни городского, ни розг. Вышел в морюшко, высыпал сети, вода кругом синяя, небо ясное, понад берегом беркут кружит. Хорошо! Уловы богатые, рыбе переводу нет — и сазаны, и тупорылые сомы, и осетры пудовые. Оно, конечно, жиреют купчики, загибают жар, но где, скажи, такое, чтобы и без долгов и без хозяина-наживалы?..

Всех артельщиков Захряпин знал наперечет, знал, кто на какой чекан. Вот хоть Калистрат. Всю Сибирь измерил, ни бога, ни черта не боится, работник первейший, пока не запьет, а запьет, пойдет плясать, плакать да плясать: «Ходи изба, ходи печь...» Или вот другой — Феропонт, волгарь, — барин ему за какую-то дерзость пожелал лоб забрить, а Феропонт, не будь плох, утек... Всех артельщиков наперечет знает Захряпин, знает не первый день и этих, что подступились к нему со страшной угрозой.

— Николай Васильевич! Мы эт-та к тебе, значит, — начал Калистрат, складывая на груди руки и выставя вперед ногу.

Сапог у Калистрата разбитый, палец торчит, и этот разбитый сапог и торчащий палец на какой-то пустячный миг отвлекли Захряпина.

— К тебе мы, значит, Николай Васильевич, — продолжал Калистрат-прокурор. — Сам знаешь, окромя сухарей, нет ни шиша. А ты нам начальник, стало быть, и заботник наш, как по закону и должно.

Калистрат произносил свои обвинения спокойно и раздумчиво, словно бы внушал подсудимому, что иного выхода нет, как не ропща, со смирением принять приговор.

— Не отец ты нам, оказывается, Николай Васильевич. Теперича что? Ты уж прости, решили мы тебе наказание сделать: камень на шею, да и в воду. Так, что ли, ребята? — Артельщики согласно загудели. — Ну, значит, ты уж теперича, Николай Васильевич, не тяни, помолись богу — и дело с концом.

Захряпин поднялся. Не разывая сплетенных пальцев, помял их и поглядел на рыбаков. Бородатые, в армячишках, в драных рубахах, они стояли перед ним, сопели. И тут Захряпин неожиданно улыбнулся, и улыбка у него вышла доверчивая. Он вздохнул и сказал:

— Коли я вправду виноват, казните меня. А перед смертью об одном прошу: разберите вы толком вину мою, а потом уж и казните.

Он говорил, как давеча Калистрат, раздумчиво, словно бы уже соглашаясь со своей участью и лишь сожалея, что мужиков будет совесть мучить.

— Так вот, братцы, память у вас подлиньше воробьиного хвоста, а потому помнить вы должны, что ведь из дому, с Кос-Арала-то, набрал я довольно и калачей и водки, а дорогою все упреждал аккуратнее быть. Вы же, черти, по дурости собственной не послушались, все выжрали, а теперь, выходит, виноват кругом один Николай Васильевич.

Артельщики молчали. Захряпин опять вздохнул и развел руками:

— Ну, решайте. Воля ваша.

Солнце, заваленное тучами, выбиралось на небо медленно и трудно, как рудокоп из рухнувшей штольни. Ветер стихал. Раскаты моря стали глуше, но шторм все еще работал. Впрочем, работа его была уже чистой напраслиной. Ведь у штормов цель одна — погибель кораблей, погибель корабельщиков. А с рассветом на шхуне уверовали — выжили, пронесло.

— Ксенофонт Егорович! — Бутаков одну руку в бок упер, другую — в карман сунул. — А? Кажись, минуло?

— Признаться? — Штурман застенчиво рассмеялся. — Думал — каюк.

— А я, — Бутаков покрутил головой, — я все это в памяти «Описание кораблекрушений» перебирал. Исторические примеры, черт их дери! И то и се, одно страшнее другого. Н-да... Плот, думаю, придется мостить. А те-то, Ксенофонт Егорович, наши-то, на Барса-Кельмесе, а? Вот уж о ком душа настрадалась, а?

Бутакову ужасно хотелось говорить, говорить, говорить. И не с кем-нибудь, а вот с этим застенчивым востроносеньким штурманом. Что за притча?

Как многие строевые офицеры тогдашнего флота, Бутаков несколько пренебрегал «штурманской костью». С Поспеловым, штурманом, лейтенант был неизменно вежлив, но сама эта холодная вежливость служила известной дистанцией. Ксенофонт Егорович тоже не нарушал дистанции. Не только из скромности, доходившей до болезненности и придававшей ему вид человека, которому тесна обувь, а платье жмет в плечах, сколько потому, что слишком хорошо знал офицерское отношение к штурманам, как к людям низшего ранга.

Может, причиной внезапной разговорчивости лейтенанта были тревоги минувшей ночи? Ведь ночь напролет они были плечом к плечу с Поспеловым... Однако и в кругосветном плавании Бутаков пережил немало вместе со штурманом (у него была крепенькая, как орешек, фамилия — Клет), да и на Балтике, на пароходе-фрегате «Богатырь» и на всех иных кораблях, всегда же были штурманы, были и опасности. А вот ни к одному из тех навигаторов не возникало у Бутакова такой симпатии.

Да и как было не овеяться тихим обаянием Ксенофонта Егоровича — худощавенького, смешно загребавшего в ходьбе носками вовнутрь, с речью, как и его походка, косолапенькой. Но всего этого, конечно, недостало бы, чтобы лейтенант вдруг так потянуло к штурману. Нужно было видеть Ксенофонта Егоровича минувшей ночью. И, пожалуй, не видеть, а каким-то непонятным образом — штурман по обыкновению помалкивал, да и ничего отменно храброго не совершил — почувствовать, что ты имеешь в нем человека, надежного до

последней кровинки, и что он, этот человек, наделен истинным мужеством, хотя сам, должно быть, о том и не подозревает.

— Так как же вы полагаете, — спрашивал Бутаков, заглядывая в лицо Поспелову, — отстояться здесь или дернуть немедля к Барса-Кельмесу?

Поспелов, которому были приятны и разговорчивость лейтенанта, и доверительный этот вопрос, и обращение по батюшке, принятое на военных кораблях только среди строевых офицеров, конфузливо сопнул носом, как бы поежился и отвечал, что, по его мнению, надо бы подождать, покамест зыбь немного уменьшится, а потом уж лечь курсом на Барса-Кельмес.

— Но только не так уж и долго ожидать, Алексей Иванович, а то не ровен час — норд-ост. Тогда что ж? Тогда застрянем. Это так... вот и... да... Не долго чтобы.

Алексей Иванович ласково кивнул головой.

— Господа, — Бутаков сделал жест, означавший, что он приглашает всех разделить его решение. — Итак, господа, быть по сему. А теперь... — Он оглянулся и зычно крикнул: — Эй, Ванька! Где тебя носит?

— Туга, ваше благородь! — гаркнул из-за спины Бутакова денщик Тихов.

Иван Тихов умел-таки объявляться по первому зову. Казалось, в любом месте палубы был готов ему люк, из которого он и выскакивал чертиком. Бутаков посмотрел на денщика испытующе и весело, широколицый глазастый Иван осклабился.

— А как же, ваше благородь? Хоть сей секунд к столу.

— Успел?

— А как же, — повторил Иван не без гордости, но, покосившись на Шевченко, совестливо добавил: — Спасибо, вот они подсобили.

Шевченко ухмыльнулся.

— Твой подвиг, хлопец, чего там...

— К столу, к столу, — заторопился Бутаков. — И чтобы чисто было в глотке, надо выпить водки!

Шторм уступал тишине, как зло уступает добру, грозясь вернуться и взять свое. Шторм пятился, ворча и встряхиваясь. Голубые промоины в небе ширились, разливались, словно полыньи. И уже не волчьей стаей неслись длинные перистые облака, а плыли, истаивая серым дымом, зыбь задремывала — желтоватая, грязная, насыщенная песком, поднятым со дна.

Бухту оставляли на закате. Море лежало зеленоватое, золотистое. К отمهлям мчались голодные чайки. Они резко и часто взмахивали крыльями: получался звук, похожий на дыхание бегущей что есть мочи собаки.

Ночь разлилась лунная и теплая. На шхуне поставили все

паруса, она шла ходко, не уваливаясь с курса. Качало мерно, плавно; рында-булинь¹ описывал ровные полукружья.

То была одна из тех ночей на море, когда неприметно погружаешься в тихую задумчивость, когда сам себе кажешься и добрее и чище, чем ты есть, а в душе роятся смутные сладостные видения.

На «Константине» затаились, примолкли, шхуна будто обезлюдела, и среди лунных бликов, среди теней от такелажа, всплесков за бортом и рубиновых огоньков сигарок хоровадили видения, у каждого разные, у каждого свои...

Сухопутные призраки трусливы: они бегут при петушином крике. Призраки морские дисциплинированы: они исчезают, заслышав голос корабельного начальства. Так и теперь. Бутаков окликнул штурмана, штурман отозвался: «Подходим», — и шхуна ожила, все заговорили, задвигались.

Остров Барса-Кельмес означился темным плоским пятном, и тотчас, как красный петух, взлетел над кораблем фальшфейер.

— Якши, — одобрительно заметил Бутаков, не оборачиваясь, но зная, что зажигать фальшфейеры, бумажные гильзы, набитые горючим составом, должны унтер Абизиров и матрос Абдула Осокин.

9

Повстречаются в пустынной бухте два судна — праздник. С одного корабля на другой валят гости. Последний скаред табачком делится, самый мрачный боцман ухмыляется. Отчего? Что за причина? Не одна, сдается, несколько. На чужом судне все вроде бы по-иному, как-то занятнее. И очень любопытно разузнать новости, хотя, может, и никаких новостей нет. А главное — перебой в монотонном, что ни говори, течении корабельного времени.

Едва взяли на борт «островитян», глядь — паруса. И вот уж рыболовецкая шхуна «Михаил» стоит рядом с экспедиционной шхуной «Константин».

Ах, какая была подана ушица — янтарь и перламутр. Балтийцы, расположившись на палубе вперемешку с аральцами, ели, похваливали. Впрочем, и бутаковские были не таковские, чтобы с пустыми руками явиться, — притащили бочонок, дескать, знай наших, угощайся, молодцы.

На палубе «Михаила», склизкой от чешуи, ели, пили, разговор вели про минувший шторм. Рыбаки выспрашивали балтийцев с некоторой даже гордостью и ревностью, как, мол, здешняя буря — пришлась ли по вкусу? Матросы отвечали,

¹ Рында-булинь — короткий трос, привязанный к языку судового колокола.

что ничего, подходящая, а Забродин Аверьян, хекая и шурясь, повествовал, как на Барса-Кельмесе, по чести-то говоря, на-терпелись они страхов и как господин штабс-капитан Макшеев повесил нос. Все посмеивались, а Иона-тихоня, кротко улыбаясь, вступился за Макшеева.

— Молоденек еще... Во Питере жил.

— Эва, во Пи-и-итере, — насмешливо протянул кто-то из рыбаков. — Так и что ж из того, что во Питере? Вона возьми-ка нашего Федора Степановича, что командиром у нас на посуде, его вот возьми. Тоже, братцы мои, и в чинах был и во Питере...

— А! — важно заметил Аверьян Забродин. — Совсем иная статья. Он ведь кто, ваш господин Мертваго? Он флотский, это тебе, голубь, не штабс-шинап.

— Тоже не скажи, — ввязался Калистрат, по прозвищу «Ходи печь», тот самый, что третьего дня предлагал «порешить» Захряпина, — разные бывают, что на море, что на сухом пути. Тут, ребята, какой корень в душе. Ежели крепкий, то под любым ветром устоит, все едино, моряна ли, буран ли. Вот, возьми, приказчик наш Захряпин, Николай Васильевич... Видали его? А такой с бородочкой, крутолобенький... Ну, ну, он самый. Так вот, говорю, Николай Васильевич... Ууу! Крепок! — Калистрат восхищенно захмыкал... да вдруг и язык прикусил.

— А чего? Что такое? — посыпалось на него. — Ты что? Подавился?

Калистрат молчал, пятерней под рубахой елозил.

— Да уж ладно, — с веселой решимостью махнул рукой Феропонт, Калистратов товарищ, — ладно, чего уж, народ свой. Можно.

И то ли под влиянием чарочек, то ли от благодушия минуты Феропонт открыл слушателям историю, о которой все пятеро артельщиков, вчера только прибывшие с баркасом на шхуну «Михаил», помалкивали, хотя и уговору про «молчок» у них не было.

— Н-да-а, — Феропонт оглаживал свою путаную сивеющую уже бороду. — Н-да-а, сказал это он нам последнее свое слово, развел эдак-то руками и замкнул: а теперича, ребята, решайте, воля ваша...

Матросы с «Константина» опешили. Да как так? Прямой бунт учинился на баркасе? За такое на военном, на императорском — шпицрутены, ежели не петля. Прямой бунт! И по справедливости этот самый приказчик, что на баркасе был, ни при чем он тут, этот самый Николай-то Васильевич Захряпин. Как же так?

— Воля, говорит, ваша, — все более воодушевляясь, продолжал Феропонт, — стоит и ждет. А нам тут вроде глаза промыло. А ведь взаправду не виноват он перед нами, по-божески ежели, то и не виноват, никак не виноват. И страшно нам сделалось, что безвинного человека погубить надумали. От-

ступились мы, прости, говорим, Николай Васильевич, прости, коли можешь, прости и не выдай. Что же ты думаешь? Думаешь, так тебе и завохчал: не выдам, мол, братцы, ни за что не выдам? Али крест целовать стал? А ничуть! Ничего такого! Помолчал малость, да как взвился: «А ну, выгребай!» Мы к веслам и давай гресть, давай гресть. Выгребли из-за камней, Николай Васильевич парус велит ставить, а те, которые, кричит, спяну чумеют, те, кричит, мордой в воду...

— И не пожалился? — недоумевали матросы. — Начальству рапорт?

— А ни-ни, — отрезал Феропонт.

— Пожа-алился, — скривился Калистрат. — Здеся, что в тайге, — власти где? Ищи-свищи. Я б ему пожалился...

— Ух ты, сокол какой, — негромко заметил Иона-тихоня. — Скажите на милость, Стенька Разин...

— Стенька не Стенька, — прихмурился польщенный Калистрат, — а не замай! Не замай! — И он помотал кулачищем.

В то самое время рядом, на шхуне «Константин», приказчик Захряпин, угостившись бутаковской сигарой, открывал совсем иную историю.

Было уже довольно выпито, все курили и, дожидаясь чаю, слушали Николая Васильевича. Слушали не из одной вежливости, ибо то, что говорил он, бросало на ученую экспедицию новый свет.

Один Федор Степанович Мертваго казался равнодушным и даже скучающим.

Бывшему капитан-лейтенанту Балтийского флота давно перевалило за сорок. На испитом лице его, под глазами, набрякли мешочки, голова сильно облысела, на темени и на висках остались клочки тусклых волос. Федор Степанович хорошо знал Захряпина, испытывал к нему почти отцовское чувство, однако все, что теперь рассказывал он, не только не занимало шкипера, но раздражало его, хотя раздражения своего и протеста Федор Степанович покамест не обнаруживал. Мертваго сидел рядом с Бутаковым, устало опустив плечи, зажав в зубах коротенькую трубочку, и, потупившись, вертел порожнюю рюмку.

А Захряпин, пощипывая молодую бородку и блестя глазами, с увлечением повествовал, как, будучи в Москве, посетил он Платона Васильевича Голубкова, «большого стотысячника, ежели не миллионщика», посетил в собственном его доме, что в Богословском переулке близ Тверской.

«Большой стотысячник» представлялся приказчику человеком необыкновенным. Подумать только: костромич, из самого скромного звания, а в какую силу взошел. И в государственной службе был, удостоился Владимира с бантом, Анны 2-й степени и даже алмазных к ней знаков, потом винные откупа в обеих столицах держал, самолично разведал золото в Саянских горах, прииски там завел, а уж после того и вовсе

круто взмыл. «Да-а, бо-о-ольшой стотысячник, ежели не мильонщик», — почти восторженно повторил Захряпин, но было видно, что восхищает его не богатство, а размах и ум этого Платона Васильевича Голубкова.

— Даже и теперь, — говорил Захряпин, — когда уж, кажется, всем взял, на седьмом десятке, исполнен обширных замыслов. Стал я ему, господа, про здешнюю рыбу толковать, а он улыбается. Это, отвечает, мне известно от ваших главных акционеров Баранова с Зубовым, да помышлять, говорит, надо не об одних осетрах. О чем же, спрашиваю? О столбовой, отвечает, русской торговой дороге на Восток, в Индию. Вона куда метит! Огромные маховики в действо привести! Пишет прошения в министерства иностранных дел, в финансовое. — Захряпин весело глянул на Бутакова. — От него и узнал про вашу, Алексей Иванович, экспедицию. От него-с! Платон Васильевич полагают, что ученая экспедиция весьма важна и в торговом отношении, потому англичанка проникает в сопредельные нам владения, а мы, дескать, медлим да мямлим, и все это от недостатка решительности и компанейства в купечестве.

Захряпин перевел дух, хотел было еще что-то прибавить, но Бутаков возгорелся, вскочил, взмахнул сигарой.

— Господа, господа, послушайте. Мне вот так и видятся пароходы на Арале, груженные товарами, и караваны, спешащие в Хиву, в Бухару, далее, далее. А тут-то, господа, тут-то какая жизнь может расцвести! — Он ткнул сигарой в пространство. — Вот на этих самых богом забытых берегах. И поселения, и фактории, и поля. Ого-го! А начать надобно пароходами. Парусами немного возьмешь. Пароходы! И еще — чугунок. У них там, в Европах, железные дороги да пароходы как бы венчают дело, у нас начнут. — Бутаков коснулся ладонью плеча Захряпина. — Верно, очень верно говорите, Николай Васильевич, никак нельзя. Джон Буль уж и без того полсвета заграбастал, а все ему мало. Отдадим, будет стыдно, стыдно и непростительно. А уж он, Джон Буль, своего не упустит, шельма... Нет, не упустит.

Бутаков сел и заговорил спокойнее.

— Вот, господа, помнится, встретил я на мысе Доброй Надежды, когда на «Або» ходил, одного майора. Так он мне про Афганистан рассказывал. Нет, погодите, не майор — капитан. Да, да, капитан Джонсон. Капитан, это — верно. Впрочем, не в том суть. Джонсон этот... Мы с ним в Капштадте познакомились, в трактире Джордж-отель обедали. Краснорожий, квадратный, природный Джон Буль. И, доложу я вам, занятный малый. Где только не носило его. В Испании служил под начальством герцога Веллингтона, и на Святой Елене, в гарнизоне, когда там Наполеона держали, и в Ост-Индии. А в Капштадт занесло мимоездом: домой спешил, возвращался из афганского похода. Ну-с, он мне рассказал, как они в Афганистане-то куролесили. Джонсон там ранения заполучил. — Алек-

сей Иванович рассмеялся: — Как это у Байрона? Служба в британских войсках представляет постоянные случаи к смерти и никаких к производству. Это, кажется, не только в британских войсках... Ну-с, капитан мой не семи пядей во лбу был, а сказал так: чего же, мол, вы, русские, в Азии-то медлите? Вы ведь (это я, господа, подлинные его слова помню), вы ведь первая нация в свете, решительно первая. Почему же, спрашиваю, первая, сэр, из чего заключили? А как же, отвечает, как же не первая? Вы, русские, Москву свою не отдали, то есть, хоть и отдали, а сожгли, а мы никогда бы не отважились свой закоптелый Лондон спалить, бери его хоть Наполеон, хоть дьявол. — Бутаков бросил сигару. — Прошу прощения, меня с курса снесло. Еще раз говорю, верно, очень верно мыслит Николай Васильевич.

В продолжение речи Бутакова шкипер Мертваго хмурился больше и больше. Глаз он не поднимал, плечи его все так же были опущены, но порожнюю рюмку он уже выпустил, держал теперь в руке трубочку и быстро покусывал мундштучок. Едва Бутаков умолк, Мертваго процедил:

— Азия-с! По горло в дерьме, извините, сидим, а туда же — в колонисты. Гиль все это, господа, гиль и подлость.

За столом произошло движение, с минуту все молчали.

— Как прикажете понимать, Федор Степанович? — недоуменно спросил Бутаков.

Мертваго помолчал. Потом сказал негромко, как бы в задумчивости:

— Да ведь тотчас и капитально как объяснишься? Не быстро такое на ум всходит. Мне-то по крайности не быстро вошло. Э... всю жизнь свою вам представить? — Он печально усмехнулся: — Нет у меня... уж не обессудьте... нет такого желания.

— Послушайте, Федор Степанович, — ввязался штабс-капитан Макшеев, — послушайте. Согласитесь, ваши слова... Гм! Вы высказались несколько оригинально. И всем нам желательно услышать разъяснение. Не правда ль, господа? Я лишь предварю вас, что совершенно разделяю мнение Алексея Ивановича. Да и как не разделять?

Он оглядел собравшихся с видом завязанного оратора. Красивое лицо его с усами а-ля Марлинский было почти вдохновенным. Он заговорил, как с кафедры:

— В Средней Азии открывается обширное поле деятельности. Взгляните, господа, на теперешнее наше положение в киргизских степях. Оно, разумеется, не упрочено, нет, покамест еще не упрочено, но достаточно обнадеживающе. Вот-с! Мы вышли на Сыр-Дарью, и туземцы не оказывают нам противудействия. Полагаете, по недостатку средств? О, конечно, кочевники худо вооружены. Но суть, господа, в ином, совсем в ином. Разбойные нападения хивинцев — вот где корень. Покоя ищут под защитой русского оружия, как некогда грузины искали. Мира и тишины вкусить жаждут. Теперь вопрос

об английской колонизации. Что ж, надо признать, господа, они идут проворнее нашего, и самой историей назначено именно России пресечь это наступательное движение.

Макшеев облизнул губы и приложил руку к груди.

— Тут, Федор Степанович, все ясно как божий день, а замечание ваше, право, не может не фраппировать¹, и мы приглашаем — не так ли, господа? — приглашаем вас рассеять наши недоумения.

Все обратились к Мертваго.

— Хорошо-с... Не имею обыкновения уклоняться, — пробормотал Федор Степанович, собирая складки на лбу. — Хорошо-с! Однако, господа, вот что... Все ли вы согласны с Алексеем Ивановичем и вот-с... вот-с с господином штабс-капитаном? Николай Васильевич не в счет, ибо он всю кашу и заварил. Но другие? Ежели Алексей Иванович не против, то не угодно ль высказаться так... парламентски, что ли...

— А почему? Почему же? — с несвойственной ему торопливостью ответил Бутаков. — Я всех приглашаю. Еще ни разу, кажется, не давал повода, а? — чтобы кто-либо нуждался в моих приглашениях. — Он быстро и с беспокойством взглянул на Шевченко и Вернера.

— Нет, не в согласии! — неожиданно крикнул Томаш Вернер и залился горячей краской. — Русские побеждали многих. Турок побеждали, персов, и нас, поляков, побеждали, и горцев Кавказа, кажется, побеждают. И что же? Что же получили сами русские? — Он будто задохнулся на мгновение, но тут же заговорил опять и все так же стремительно, как с обрыва, мешая русские слова с польскими, коверкая ударения. — Что победы? Кому принесли славу? Вам? Вашей империи? Нисколько, панове! Еще царь Александр сулил вам конституцию. Где она? Где ваши права? У вас, панове, нет прав, а есть одни указы! Слава? Какая ж, господа, слава? Нисколько! Вот нисколько! — Вернер ухватил пальцами правой руки мизинец на левой и яростно потряс обеими руками. Его худые, запавшие щеки пылали, вислые усы вздрагивали. — Вот! Вот! Вот! — Он все потрясал руками, зажимая кончик мизинца. — Какая слава? Завоевателей всегда проклинают. Человеческая кровь не окупается куском земли, гроши, отнятые у покоренного, не приносят славы. Так что же вы тогда завоевали? Что? Скажите на милость?

— Господа! — Макшеев с грохотом опрокинул стул. — Что же это мы слышим, господа?

Вернер на мгновение увидел бледное, неподвижное лицо Бутакова и тут же почувствовал, как придавил ему ногу сапог Шевченко.

— Да как вы смеете... как вы... — прогремел Макшеев. И

¹ Фраппировать (от *фр.* — *frapper*) — поражать.

совсем тихо: — Нет, господа, я не принадлежу к тем, кто почитает себя патриотом оттого, что любит ботвинью, я не защитник и не оправдыватель крайностей... сами понимаете... Но, господа, — он возвысил голос, — я не могу допустить оскорбления...

— Довольно! Мы зашли слишком далеко! — Бутаков натянуто усмехнулся.

Наступило неловкое молчание.

Шевченко поднялся и вышел из-за стола. Он прошел несколько шагов, прислонился к фальшборту. Лицо у него было мурое, замкнутое.

10

Большекрылые комары толклись над свечой, покорно гибли в пламени. Свеча горела, не колеблясь, хоть дверка и оконце каюты были настезь. Редкостная выдалась ночь.

— Выпьем еще? Оно и так не к спеху. Так вот, сударь мой, был у меня друг, задушевнейший друг и товарищ. Одаривает такими судьба единожды в жизни. Служили мы с ним в Кронштадте. Не знаю, как нынешние, а мы тогда живали артельно, по двое, по трое. Зимой, конечно, до начала кампании. Я из корпуса выпорхнул, он меня и принял как брата... Трубку? Вот моего табаку отведайте... Нынче-то я там, у Бутакова за столом, снова про друга моего подумал. И знаете что? Нечто сходственное в ваших словах с его мыслями услышал. Вот-с! И он и товарищи его, все, знаете ли, участники двенадцатого года, часто повторяли: за что же русские-то кровь свою проливали, за что жизни свои положили на полях Европы, освобождая ее от Наполеона? Свободу другим добывали, а у себя дома нашли прежнее рабство и прежние цепи. И впервые тогда открылась мне горькая участь отечества... А в тот год, как наводнение случилось, друга моего назначили в Гвардейский экипаж, уехал он в Питер. Я, бывало, чуть минута, лечу, как Чацкий. Славное было времечко, ах, славное!.. Слезу мою извините, не стариковская, тут совсем иное. Да-с. Ну, пригубим? За вас пью, дай бог родину увидеть... Вы вот нынче очень верно: нет никаких прав, а есть указы, и никто в России не знает, как она, судьба-то, завтра обернется. Тут, извините, я несколько в сторону, про Бестужева вам скажу. Что-с? Не-ет, он теперь в Сибири, в каторге, а повесили Бестужева-Рюмина. А наш флотский Бестужев капитан-лейтенантом был, ученым моряком. После восстания привозят Бестужева из крепости прямехонько в Зимний, к государю. Государь ему в лоб: «Послушай, Бестужев, ты человек дельный и умный. Ежели ты мне вот здесь сию минуту дашь слово, что я найду в тебе впредь не врага, а преданного слугу, то я немедля велю тебя выпустить». Понимаете? Немедля! Вообразите, что такое Николай-то Александрович в

ту минуту восчувствовал? Да ведь он погибели ждал, о рудниках думал, о железах думал. Понимаете? У кого сердце не дрогнет? Какая душа трещину не даст? А он государю: мы для того и поднялись, чтобы всяк и каждый в России от закона зависел, а не от вашей угодности. Вот так и ответил! Слышите? «А не от вашей угодности!» Не от угодности верховного правителя, не от его прихмуренных бровей или улыбок, но единственно, чтоб от нерушимости закона, пред которым все равны. Вот как ответил-то он, Бестужев, в самую, можно сказать, поворотную минуту жизни. Понимаете?

Теперь вернусь. Друг мой ввел меня в дом Рылеева. Был я, как и все наши, готов ко всему, но только обошла меня судьба. Обошла, обманула. А зачем, к чему? В тот самый день, когда наши на площадь вышли, мне бы в Питере быть, а я зевал в кронштадтском карауле. Вот-с где я был тогда. И минула меня чаша сия, и казнитья мне за то по гроб... Да. Ну что ж... После того и началось самое страшное. Пятерых повесили, остальных в каторгу увезли, такое случилось, такое крушение постигло, а я, а мы, которые уцелели, живем, служим, в море по весне пошли. Государь, убийца друзей моих, наших апостолов, государь смотр флоту делал, и я, подлая душа, старался, чтоб и на моем фрегате заслужили его благоволение. А ведь понимал, чувствовал, что погасло все, нет ничего, пепел один, как вот в трубке вот этой.

Преподлое время настало, душное, везде доносы, доносы, доносы, никто никому не верит, всяк каждого страшится. Это я давненько с Арала носа не кажу, а знаю, что и ныне все то же, да, верно, уж к тому и привыкнули. Словом, мрак опустился, мгла, паралич. Вдруг слышно: эскадра в Грецию собирается. Молодежь нашу вихрь подхватил: «Ура, Греция!» Вы мне в сыновья; может, и не помните: тогда Греция за свободу с турками билась. Что-с?.. А-а-а, это вы хорошо. Очень хорошо! «Где бьются за свободу, там и отечество»? Хорошо, очень хорошо!.. Ну, отправились. И, верите ли, полегчало на душе, вроде как искупление вышло. Турков в Средиземном поколотили, знатно поколотили, вашему покорному слуге за Наваринский бой Владимира пожаловали. Кажется, все хорошо. А? Однако слушайте.

Недолго после случилось — как бы это сказать вам? — случилось, батюшка, такое происшествие, что опять все во мне погасло. Служил у нас на «Александре Невском» мичман один. Стугой звался, такая фамилия у него. Этот самый Стуга за какую-то там малость, из пустяка и чепухи какой-то отхлестал боцмана Саврасова. А боцман — старик, еще с Сенявиным начинал. Сенявин? Гм... Впрочем, не буду, ежели я про Сенявина и про то и другое, ночи нам не достанет, а я нынче тороплюсь все высказать, на линию такую вышел. Ну-с, боцмана у нас почитали и матросы и офицеры, а тут его по мордасам, по

мордасам ни за что ни про что. Разумеется, дело не диковинное, не впервой рожу чистят, однако, заметьте, все мы недавно из геройского дела, матросы еще в ажитации, горды, заслугу свою понимают, «Саврасыча? За что?» Четыреста пятьдесят душ было у нас нижних чинов, все до единого побросали корабельные работы (мы на якоре стояли), ушли вниз, в жилую палубу, без дудки, без команды. Затих наш «Невский». Капитан Богданович приказывает воротиться и продолжать занятия. Ни гугу, ни звука! Единодушие это умилило меня, ей-богу, умилило, но, признаюсь, и страшно стало: вот, думаю, полыхнет мятеж, такого натворят, святых вон. Однако тихо. Дело к обеду. Тут вышел наверх один, стал во фрунт, так и так, лепит капитану, покамест их благородие господина мичмана не уберут, не можем, дескать. Говорит эдак-то, а сам, видно, на самого себя диву дается, а Богданович, капитан, бледный, ни жив ни мертв, велит сигналом известить флагмана. Четверти часа не прошло, валят к нам с «Азова» баркас адмиральский, другой — с вооруженным караулом. Начальником эскадры был граф Гейден, вице-адмирал тогда, из таких, батюшка, роялистов, куда и королю, и такой «уставщик», что и генералу Аракчееву, кажется, фору дать мог. Ему-то и принесли матросы формальную свою жалобу. Натурально Гейден никакого внимания, щекой дернул, отрубил: зачинщиков арестовать. А наши матросики что же? Наши-то, спросите? К чести их скажу: бросились было отбивать товарищей. Да только не все, не дружно — горсткой. Их, разумеется, смели, затолкали туда же, к зачинщикам, остальные стоят понурившись, дитяти малые, ей-ей, дитяти. Вздыхают...

Увезли, значит, одних, другие — покорность изъявили. Все, баста, Гейден суд нарядил. Михайло Петрович Лазарев... Имя знакомо? Громкое, доложу вам, имя во флоте. Трижды кругом света ходил, к Южной матерой земле плавал, подвиг великий, а у нас на эскадре начальником штаба был. Так вот, Михайло Петрович главным на суде, и судоговорение, знаете, к чему пришло? А вот слушайте. Каждого десятого на рею! А? Каково? Это сознаете, сколь душ! Сорок пять душ, сударь! Сорок пять! Вот вам и ученый моряк Михайло Петрович Лазарев, нынешний устроитель Черноморского нашего флота. Каково?

Наутро после приговора выстроили команду. «По порядку номеров рассчитайсь!» Пошел расчет... Как до десятого доходит, так он и едва вымолвит, этот-то десятый, роковой свой номер, а сосед сызнава начинает — «первай», кричит, и так громко, знаете ли, получалось это «первай», так радостно, громко, и поехало дальше — второй, третий... Рассчитались. Десятым номерам команда: «Два шага вперед — арш!» Вышли смертники, все сорок пять, как есть. И тишина на «Невском» гробовая. Слышите? Слышите, как сейчас тихо? А тогда вот

так же. И... Нет, не так, не так, гробовая тишина. Нет, погодите, не повесили.

Есть, знаете ли, эдакая бессмысленная жестокость, подлое какое-то сладострастие... Уж тут и поп, и все такое, и барабанщики, последние минуты. Вдруг объявляют: заслуживают-де бунтари смерти, но, снисходя к геройству в Наваринском деле... И снизошли: всех нижних чинов выдрали кошками нещадно, девятерых в каторгу навечно, семерых в каторгу на два года... Вот, повторяю, Михаила Петрович! Об Гейдене не говорю, дрянь человек. Но Лазарев! Я же его знал хорошо, он не жесток, нет, строг, но не жесток, ручаюсь. И вот... Это вы себе *nota bene*¹, сейчас поймете...

Теперь Беллинсгаузена возьму. Фаддей Фаддеевич. Знаменитый, заслуженный, он у нас в Балтийском вождем, и все мы его любили, потому что натура действительно благородная. И что же? После восстания у вас, в Польше, привезли в Кронштадт двести иль триста инсургентов. По царской воле — на военную службу. А они встали молодцом: мы — военнопленные, отвечают, а не подданные, а какие же, мол, из военнопленных солдаты? Резон! Тогда что же? А тогда, сударь, всех до единого сквозь строй, под палки, шпигругенами, многих до смерти, многих по гроб калекими. А кто главным экзекутором явился? Кто? Стыдно произность: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. И это вы тоже *nota bene*, потому что надо теперь все в одну точку собрать.

Давно меня один вопрос мучает, разрешение ему ищу. Может, наивно мыслю, а стучит, стучит в мозг. Что за чертовщина такая, какая такая тайна? Темно говорю? Понимаю, что темно. А вникните: почему и отчего, какая пружина, что люди достойные против своей совести и чести действуют? Не какие-нибудь там поганцы, не стрюцкие, не дерьмо, а вот как Михайло Петрович и Фаддей Фаддеевич? Может, примеры мои не очень, но, главное, мысль ухватите, мысль. Какая тайна во власти верховной скрыта, чтобы храбрецов, рыцарей в подлость ввергать? Чья это неустранимая воля? Не могу постичь! Скажут: «А что им было делать?» Это не ответ, не разгадка. «Что им было делать?» Я честно: доведись до самого, не знаю... ох не знаю, батюшка, того и гляди тоже бы так. Одно знаю: на том подлость держится...

А я... я после того как обезумел. Все в страхе жил, что и мой черный час придет, когда сволочью сделаюсь. Живу и страшусь. И однажды осенило: в Робинзоны подамся! Меня уж в капитан-лейтенанты произвели, производство во флоте трудное, эполеты с вермишелью, с висюльками, командование кораблем, а я бац — рапорт: отставки прошу. Приятели

¹ Заметь хорошо (*лат.*).

мои — лавиной: ты, говорят, с ума спрыгнул! Нет, отвечаю, в ум, в ум, господа хорошие. Да куда ты, да что ты? А на Барса-Кельмес, отвечаю, на Барса-Кельмес. Какой еще там Бельмес, полно вздор молоть! А я сам-то про этот Барса накануне подачи рапорта вычитал. Листал лексикон Плюшара, вижу: Барса-Кельмес, остров на Аральском море, в переводе — «Пойдешь — не вернешься». Обрадовался, того-то мне и надобно: пойдешь — не вернешься. Вот и махнул на Аральское...

Ну, пора и честь знать, совсем вас умучил... Смотрите — светает. Хорошо, а? Хорошо, говорю, тут светает, чисто. Вы, должно, бранитесь втихомолку: разболтался ракалия. Ну ладно, вот только к последней черте. Мне тут, на Аральском, многое по душе. Киргизы народ славный, простые души, я им большой кунак. И... хе-хе... подвиг человеколюбия свершил. Ну, это, конечно, простите, громко, а я к тому — из-за чего в кунаках с ними. Как-то забрели кочевники на Барса-Кельмес, глядь-поглядь зима ударила, а лед на море хлипкий, и нет, стало быть, ходу на матерый берег, пропадай, киргиз, совсем пропадай. Ну-с, ваш-то герой на «Михаиле» пробился во льдах, снял людей, на матерый берег доставил. С той поры в кунаках... Теперь про этих... Вот они кто такие? Сейчас скажу. Артельщики, вот те удалцы, что на палубе храпят. Я вам одно скажу: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», то есть поймите меня в том смысле, что хоть и всякое случается, но уж чего нет в них, так нет — рабской прибитости, а мне это по сердцу...

Смотрите-ка, еще чуть — и солнце встанет, а я все до финиты не дошел. Довольно. Вот только вопросец к вам, без злобы и прямой.

Я вам открою: к экспедиции вашей ученой склонности не имею и пособником ей быть не хочу. Ваш-то Алексей Иванович процветание зрит, а я другое. Все эти крепости вроде Раимской погибель несут. И барабаны эти треклятые слышу. Н-да... Так уж позвольте вопросец к вам. Хорошо? Но прошу без обиды. Вот скажите на милость, как вы, вы-то сами как согласуете свои мысли с участием в экспедиции? Ведь нынче за столом искренне, а? Искренне! Так как же?

11

В каплях соленой влаги дробился солнечный луч. Казалось, из обломка каменного угля рвется издревле притаившийся пламень.

Море бормотало — старик, впавший в детство. Седые лохмы водорослей, легкие и ломкие, разметались по блеклому песку. Известняком пахло, как на развалинах. Чайки не кричали, не выстанывали, не заливались хохотом, чайки реяли молча, лишь изредка издавая какой-то скрип, напоминавший

скрип дверных петель. Шевченко тронул пальцем черный камень, сказал:

— То-то обрадуется.

Томаша словно кипятком ожгло, он выругался и с яростью швырнул камень на песок.

Верно знал, кто обрадуется. Алексей Иванович спит и видит пароходы на Арале. А для пароходов уголь нужен. Стоило только заговорить о паровых судах, об угле, как добродушное лицо начальника экспедиции принимало мечтательно-восторженное выражение. Вчера, оставляя Барса-Кельмес, Алексей Иванович толковал, что, по слухам, на полуострове Куланды кочевники находили «горючий камень».

Плавание от Барса-Кельмеса до полуострова Куланды было спокойным. Ветер усердно наполнял паруса, шхуна пробежала весь путь часов за восемь с небольшим и около полуночи встала на якорь у овражистого мыса. А нынче, едва рассветло, лейтенант, снедаемый нетерпением, поднял на ноги топографов, минералога, матросов.

Съехали на берег. Было чем полюбоваться: раковины такие крупные, такие затейливые, хоть сейчас на продажу, вазы, настоящие вазы, и «шу-шу» камышей, и простор, открывшийся с утеса, — море, как степь, и степь, как море.

Шевченко жмурился, улыбался, отирая пот со лба, ветер ворошил бороду. И не было во всей его, Шевченко, стати, во всем его облике не было ничего мешковатого, ничего страдальческого, а была бодрая сила, спокойная уверенность, весь он был такой светлый, что Томаш Вернер поглядывал на него почти с завистью.

Шевченко догадывался, о чем думает Томаш. Жаль, моряк Мертваго ушел к Сыр-Дарье, уж он бы, Шевченко, ответил Федору Степановичу на его «вопросец», ответил бы непременно. А милый Хома вернулся после ночной беседы в полном смятении и лишь вчера, когда уже «Константин» держал к западному берегу Арала, кое-как, с одного на другое перекакивая, рассказал все Тарасу Григорьевичу.

— Сидай, Хома. — Шевченко ласково потянул Вернера за рукав. — О так, добре.

Они сели на бурый песчаный бугор. Над камышами блаженно дрожали стрекозы. Рядом, за бухточкой, лениво похлопывали крыльями вороны, обожравшиеся саранчой.

Еще в Раимской крепости завелось у Шевченко обыкновение беседовать с Томашем по-польски. Томаша неприметно, исподволь, от одних лишь звуков родной речи сладко клешнила грусть, как бывает, когда в дальней дороге слышишь вечерний благовест. А Шевченко независимо от смысла и течения беседы не то чтобы видел, а как бы ощущал, как ощущаешь дуновение ветра, облик Дуни Гусаковской, чернобровой ласковой швеи из «достопадного града Вильны».

Дуни, которая любила Тараса и которая научила его изъясняться по-польски.

Но теперь на берегу, глядя, как обсыхает обломок черного глянцевого камня, Шевченко говорил по-русски. Может, потому, что все связанное с Дуней именно теперь помешало бы его мыслям.

Нет, он не осуждал Федора Степановича, смутившего покой Томаша Вернера. Какое там осуждение! Окажись Тарас давешней ночью в каютке «Михаила», не миновать бы капитану Мертваго объятий и целования. Не миновать бы... Капитан годами жил среди бурбонов, одним с ними гнилым воздухом дышал, а видишь ты, душу сохранил. Но тут вот что сказать надо: правда вырастает из искренности и боли, но не всякая искренность и боль правду возрастят. Это уж так... И пусть милый Хома не горячится, пусть выслушает... Пусть Хома скажет, кто послал корабли в греческие моря? Да, да, те самые корабли, на которых и Мертваго ходил. Царь их посылал, Николай. Ему одно — турок поколотить, а таким, как Федор Степанович, другое — пособить мятежным грекам. К чему он это говорит? А вот к чему: не всякий ветер в царевы паруса дует. И наша экспедиция, которая под началом у Бутакова, не ради сиятельных дурандасов действует. Сумей, Хома, за деревьями лес увидеть. Зря капитан Мертваго в экспедиции вестника погибели чуят. Беды всяческой будет много, но как сердцем ни сетуй, а время не остановишь, под узду не схватишь и никуда от него не убежишь. Капитан чем Хому гвоздил? Наукой? Тем, что Хома поглощен учеными изысканиями? Тем, что исполняет, выходит, инструкцию палача? Братьев, поротых в Кронштадте, их стоны, скрежет зубовный забыть нельзя, но все равно невежество и прежде не выручало, и впредь невежеством не спасешься... На Арале пароходы явятся? В степи чугушка загудит? И хорошо! Очень это хорошо, Хома. Не об купечестве думка, не о лабазном счастье, совсем о другом.

— Давно уж, еще как в учениках у Карла Павловича был, — продолжал Шевченко, пристально глядя на море, — отправились мы с учителем на праздник в Петергоф. Пароходиком поехали, их тогда пироскафами звали. Искры из трубы, дым, все так и стучит, так и дрожит, и никакой тебе, брат, красоты. А кругом — паруса, яхты. Вот, думал, где прелесть, вот где красота, а на пироскафик наш взирал с презрением. Вот как тогда было. А теперь... Нет, Хома, теперь не так мыслю. Пароходы, чугушки, все машинное представляется мне огромным, глухо ревушим чудовищем с раскрытой пастью. Раскрыта она, пасть эта, и готова поглотить престолы, короны, помещиков, инквизиторов. Понимаешь, Хома? Энциклопедисты начали — уатты и фультоны довершат. Верю я в то, друже милый, крепко верю.

Томаша поразило лицо Шевченко. Лобастое, мужицкое,

бородатое, оно было в ту минуту, как у одного из апостолов на картине Дюрера, пророческое и суровое.

Черный камень обсох под солнцем. Плеснула волна сильнее прежних, отбежала, и на черном камне, на обломке угля, сверкнули, вспыхнули новые зодиаки...

Поднялись и пошли лукоморьем. Пошли цепочкой: Вернер с Шевченко, пятеро матросов. Солнце блеснило глаза, густые волны тяжело наваливали на песок, сухо, как сургуч, потрескивали ракушки.

Верст пять прошли, свернули в сторону. Голос моря утих и как бы укоротился, постепенно сменяясь все более явственным струнным звоном кузнечиков. Чаше и чаще проступали беледые пятна соли. Оглянувшись, еще можно было видеть вдалеке море — ровное, плоское, словно в тазу. А потом оно скрылось.

Томаш шел молча. Самолюбие его было задето. Как же сам-то не додумался до столь очевидной очевидности? Как это он, бывший студент-технолог, изучавший в Варшаве механику и математику, химию и физику, не додумался до того, что машины не просто облегчают человеческий труд, но приближают дни торжества и возмездия? А вот Тарас Григорьевич додумался! Живописец и стихотворец, который вряд ли отличил шестерню от гайки и не ведает про бином Ньютона, додумался! Должно быть, и вправду боги наделяют поэтов даром провидцев... Вернер вспомнил о «катехизисе». Да, да, все, что сказал Тарас, следует занести в «катехизис».

Заветная тетрадь... В злую минуту, в едкий час невольничьей тоски Вернер перечитывал «катехизис». Тетрадь эта досталась ему в наследство от Феликса.

Пять лет минуло с той поры, как они с Феликсом участвовали в тайном сообществе революционеров. Восстание против царя и царистов они хотели начать огромным взрывом — взрывом пороховых погребов варшавской цитадели. Надо было только поднять Варшаву, галичане и познанцы обещали примкнуть. Пламя могло перекинуться и в Россию; Вернер и его друзья хотели драться за общую, братскую свободу.

Томашу вспомнились варшавские «огрудки», небольшие, укромные садочки при кофейнях, где можно было без помехи потолковать с товарищем, получить или передать запрещенную литературу, изданную за границей польскими эмигрантами. И еще вспомнились Томашу сумеречные кельи заброшенного кармелитского монастыря, где он собирал своих приверженцев.

Кто знает, как сложилась бы жизнь, если бы не нашелся предатель. Будь он проклят, этот литографщик Галецкий! Галецкий донес обер-полицимейстеру генералу Соболеву, назвал Вернера «главным руководителем злонамеренного сообщества». Жандармы всполошились, фельдъегери полетели сломя голову в Петербург, Томаша и его друзей схватили.

Годы минули. Феликса сожгла чахотка, схоронили Феликса в оренбургской степи. Осталась у Томаша заветная тетрадь. В тетради — стихи Мицкевича, отрывки из статей, воззвания мятежников.

Как это сказал Тарас? То, что во Франции начали энциклопедисты... Вернер вздрогнул: солончаковая глина была подернута копотью. Копоть, темные пятна на глине.

Пятеро матросов, Вернер и Шевченко скинули рубахи, ударили лопатами о твердый грунт. Выкопали ров глубиной по грудь. Глина повлажнела, лопаты врезались в грунт легче, но отбрасывать грунт стало труднее. Томаш пробормотал: «Argile bitumineuse»¹, что сие значило, ни Шевченко, ни матросы знать не знали, но все увидели — глина пропитана маслянистым, пахучим. То были примеси нефти, и Вернер изо всей силы ударил лопатой. А следом за ним и остальные.

Когда подоспел Бутаков, рвы и канавы были сделаны в разных местах на площади в двести квадратных саженей, и везде чернели, как грачи, куски угля.

— Ну? «Гром победы раздавайся»? — вскричал Бутаков.

Он затормошил Вернера: каков запас? Хорош ли уголь? Томаш, смиряя радость, отвечал, что здесь, дескать, еще не главный пласт.

— Вот взгляните, — Томаш указал на округлые, с хорошее яблоко комья, содержащие железо, постучал лопатой по дну рва, прислушался к светлому гулу. — Так и есть. Но сколько, каков запас?... — Вернер прищурился и замолчал.

Бутаков нетерпеливо посматривал на Томаша.

— Пять или шесть, — проговорил, наконец, Вернер. — Тысяч пять или шесть пудов. Разумеется, приблизительно, очень приблизительно. Но никак не менее того.

Бутаков просиял.

На шхуну возвращались в сумерках. Усталые, шли молча, смутно сознавая, что связала их нынче «веревочка». Да, нынче они по-настоящему почувствовали себя «в одной упряжке».

К морю вышли затемно. Корабельный фонарь светил мирно, по-домашнему. Степной ветер был мягким и горьким.

12

Гидрографические экспедиции размеренны, как ход хронометра, и монотонны, как скрип мачты в тихую погоду...

Капитан Головнин на шлюпе «Камчатка» уточнял положение скалистых островов и северо-западного побережья Северной Америки, гористых, в чащобах. Головнин созерцал кар-

¹ Горючие сланцы (фр.).

тины суровые, величавые. Капитан Коцебу на бриге «Рюрик» и капитан Литке на шлюпе «Сенявин» открыли созвездия архипелагов — они любовались бушующей пестротой тропиков. Лавировали среди айсбергов Беллинсгаузен и Лазарев — взор чаровал блеск Антарктиды.

А Бутаков?

С борта шхуны видны были берега томительные — пустынные, ровные. Они могли известить душу, как сосед, часами берущий одну ноту на трубе или кларнете. И окажись на «Константине» бездельник, не миновать бы тревоги: «человек за бортом!» — несчастный кинулся бы в воду.

Но праздных шатунов на «Константине» не было. На шхуне работали. Брала пеленги, производя морскую съемку, брали углы буссолью, производя съемку маршрутную, замеряли глубины и вели наблюдения за склонением магнитной стрелки, собирали коллекции и зарисовывали абрисы береговой черты, ставили и убирала паруса, отдавали якорь и выбирали якорь.

Правда, так было и в буром устье Сыр-Дарьи, и в непогоду, и в ведро, и на плоском Барса-Кельмесе, и на солонцеватом полуострове Куланды, но лишь теперь, после находки каменноугольного пласта, после этой первой значительной удачи, все в бутаковском отряде сознавали себя товарищами.

Восемь лет назад, покидая Кронштадт на транспорте «Або», Алексей Иванович мечтал о научных исследованиях. Он готовился к ним загодя. Корпел над теорией магнетизма и барометрических наблюдений. Ездил в Петербург, в Академию наук. Беседовал со знаменитым физиком Ленцем, наделал академику Купферу, знатоку минералогии и метеорологии. И, как трунили друзья, «губил zenки» словарями итальянского и португальского языков, будто ему было недостаточно основательных познаний в английском и французском... Увы, в те годы науке довелось посвятить лишь малую толику времени. А всему виною пропойца Юнкер! Какие там изыскания, коли все на корабле легло на старшего офицера?

И только нынешним летом, летом сорок восьмого года, на пустынном Арале он полной мерой испытывал наслаждение от всех этих съемок, промеров, наблюдений, от всего того, что потом обернется черно-белой и раскрашенной картами обширного водного бассейна, лаконичным и, быть может, несколько скучноватым его описанием, о котором с таким восторгом отзовется сам Гумбольдт.

Внешне Бутаков не переменился. По-прежнему неукоснительно следил за судовым порядком и не отличался многословием, как и приличествует морскому офицеру. Но однажды в душевном порыве, озорно посверкивая глазами, объявил Шевченко:

— А знаете ли, Тарас Григорьевич, изучать природу, тайны ее постигать — для этого, право, надобно больше труда и ума

и, если хотите, воображения, нежели для поэмы. Даже великой поэмы, — закончил он с несвойственной ему восторженностью, но тут же спохватился и добавил смущенно: — Поверьте, вовсе не с целью обидеть...

Он поспешно поднялся и пригласил Шевченко из каюты на палубу. «Эка, впросак попал, — досадовал лейтенант, пропуская Шевченко вперед и уставившись в его широкую, сутулившуюся спину. — И надо ж брякнуть: больше ума и воображения...»

Между тем мысль, только что высказанная, и высказанная, как казалось Бутакову, весьма неделикатно, давно его занимала. Нет, нет, он вовсе не хотел столь больно кольнуть стихотворца. Правда, лейтенант был равнодушен к поэзии, исключая, разумеется, Байрона и Пушкина, да еще, пожалуй, Языкова, но, заходя в питерские редакции, был достаточно осведомлен, сколь ужасно самолюбие сочинителей. «Кобзаря» Бутаков не читал; однако в тех же столичных редакциях не раз слышал уважительные упоминания о «малороссийском самоходке», об «алмазе в коже», которого выкупили из крепостной неволи художник Брюллов, поэт Жуковский и еще кто-то.

Эк слевшил, досадовал Бутаков, выбираясь на палубу. Впрочем, почему же «слевшил»? Ведь убежден в превосходстве Науки над Искусством! Убежден, убежден, а все же, черт побери, не надо было...

Судно стояло на якоре близ мыса Бай-Губек. Часть команды с утра съехала на берег, и потому неширокая палуба казалась просторнее. Солнце закатывалось чисто. Море, отрубистый мыс, высокое, без облаков, небо — все было в теплом, золотисто-задумчивом свете, как на картинах старых венецианцев.

— Понимаете ли, — повторил Бутаков, — вовсе не имел... э-э... обидеть вас, Тарас Григорьевич, ей-богу.

Шевченко промолчал, и Бутаков, чувствуя неловкость и желание как-то оправдаться, стал говорить о личной своей причастности к литературе: и он, дескать, писал, и он, мол, печатал в столичных журналах очерки и переводы.

Говорил Алексей Иванович об этом несколько иронически — какой, право, из него литератор, но все же, не удержав горделивых ноток, сказал, что удостоился похвалы самого Виссариона Григорьевича.

— Белинского?

Откровенное удивление, смешанное с недоверием, задело Бутакова, и он отвечал запальчиво:

— Да-с, сударь, вот именно. Во «Взгляде на русскую литературу».

— За какой же год? — осведомился живо Шевченко, не то чтобы не замечая запальчивости лейтенанта, но просто не придавая ей значения. — Я что-то не помню...

— Вот видите, — суховато и с достоинством проговорил

Бугаков. — В сорок седьмом году, батюшка, в сорок седьмом. Так и написал: статьи господина Бугакова суть замечательные учено-беллетристические статьи.

— Ну и ну! — воскликнул Шевченко, и Бугакову теперь было приятно его удивление. — Вот так-так, а я и не предполагал... Но о чем же вы писали, Алексей Иванович?

Польщенный лейтенант пустился в объяснения.

— А зимою, как будет время, — заключил он, — думаю, Тарас Григорьевич, продолжить. Вот только времени, пожалуй, неостанет. А желание писать сильное, ой, сильное... — И, как с разбегу, бухнул: — У вас, думаю, тоже, а? — Спросил и понял, что опять оплошал.

Бугаков знал, хорошо знал о «высочайшем» запрещении. И вот на тебе, задал Тарасу Григорьевичу эдакий коварный вопрос. Чего доброго, решит еще, что он, начальник, допрашивает его. Чертовская неловкость.

Шевченко сумрачно взглянул на лейтенанта, помолчал и медленно сказал:

— В Орской крепости, помню, появился у нас солдатик, землячок мой, Данильченкой звали. Он, видите ли, не один уж раз от службы бегивал, и в арестантских горя хлебнул и в острогах, а все не переломился. Вот его майор и вопрошает: ты, говорит, еще бегать будешь? А Данильченко ему: ежели, ваше высокородь, скажу «нет», так вы же не поверите, а ежели скажу «да», так вы в железы велите заковать, так уж, простите великодушно, лучше я вам ничего не скажу...

Бугаков натянуто улыбнулся.

— Ловко! Впрочем, согласен, не отвечайте. Оно и мне удобнее. — Он было сделал шаг в сторону, но вдруг еще ближе подступил к Шевченко, побледнев, тихо произнес: — А все ж, Тарас Григорьевич, обидно...

Лицо Шевченко дрогнуло.

— Не обижайся, Алексей Иванович, — молвил он почти шепотом. — И спасибо за братское обращение.

— Ну, ну, — сердито и обрадованно забормотал Бугаков. — Ну-ну, чего там... — Он стремительно перевел разговор: — А скоро ль наши воротятся? Взглянуть, что ль... — И нырком в каюту за подозрительной трубой.

— Алексей Иванович, — окликнул Шевченко, — ученые и беллетристические? Так?

Бугаков не расслышал. Шевченко прошел на корму. Толстый канат, аккуратными кольцами уложенный в бухту, был его излюбленной «табуреткой».

Золотистые тона закатного неба загустели до червчатого, малинового, медного. Если бы легонько тюкнуть по этому небу, должно быть, раздался бы мелодичный звон. Музыка сфер, что это такое?... Невысокие, без барашка ходили волны. Кто-то из древних сказал — море зализывает раны мира...

Мысли Шевченко текли вперемежку — и о Бутакове, человеке благородном в широком смысле этого слова, и о самом себе, и о Белинском, и о том, что про Данильченко, пожалуй, не стоило упоминать, но, пожалуй, и стоило, и еще о том, что в экспедиции, помимо прочих благ, есть еще и благо уединения.

Так он сидел на своем «табурете», ероша бороду, подставляя лоб засвежевшему ветру, думая свое и как бы машинально примечая акварели неба и вод.

Мысли его возвратились к разговору с Бутаковым, но не к концу этого разговора, неожиданному для обоих, а, как это часто бывает, к тому, с чего он начался, к замечанию Алексея Ивановича, что для постижения тайн природы надобно-де больше ума, труда и воображения, нежели для поэмы, пусть и великой.

Раньше он не думал о весах, измеряющих относительную ценность Науки и Искусства. Полагал: «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Отправляясь на Арал, видел себя Гюденом. Марины гюденовские и впрямь прелестны, хо-роши марины и у Ивана Айвазовского, соученика по академии... Но экспедиции прежде всего нужны не пейзажи, а точные, дельные, почти дагерротипные изображения берегов, птиц, растений, окаменелостей. И Шевченко рисовал то, что было нужно экспедиции. Рисовал и чувствовал себя «хирургом прекрасного», рассекателем, прозектором анатомического театра. Но недавно, совсем недавно, он подумал, что свободный художник настолько же ограничен окружающей природой, насколько сама природа ограничена своими вечными законами, если только можно назвать это ограничением. Дагерротипные изображения? Однако великий Карл Брюллов, уж на что творец, а черты одной не позволял себе провести без модели. Птицы, травы, камня... Разве ж это не модели? Да и как можно запечатлеть пейзаж, не проникнув в тайны природы? Создатель «Фауста», кем ты был — ученым или поэтом? Статьи Алексея Ивановича назвал Белинский учено-беллетристическими. Тут не плюс, не добавка, тут смешение двух добрых сортов вина.

13

Бочки везли сотни верст — в жару, в зной. А перед тем интенданты оренбургские держали их в сырости. Теперь извольте радоваться: ржавые сухари как паутиной покрылись, в мясе черви кишат. Бррр... Хорошо бы рыбой разжиться, да нету — кто их ведает, законы движения рыбьих косяков? И с водой хуже не придумаешь. В двух железных баках полтора ста ведер припасли. Сыр-дарьинская вода, когда отстоялась, была ничего, сносная, но почти вся уж вышла. А эта, из копаней, на здешних берегах добытая, тухнет, проклятая, через сутки

тухнет, пить ее разве верблюду. Уж на что, кажется, в кругосветном маялись, офицеров уговорил большим все консервы отдать, уж на что, право, бедовали, а такого не было, чтобы без питьевой воды. Благо еще гороху с лихвой. Вари, Иван, кашу. Что? Н-да, без мяса швах. А может, с мясом? «Червь густо»? Оно точно, червь не бланманже... На шхуне приуныли. Не запоешь, коли в брюхе «поет». Известно, поход — это тебе не у тещи на блинах. А все ж того, голодно. И пить, пить страсть как охота... Приуныли на шхуне «Константин»: вшивому баня снится, голодному — харч.

— Ваше благородь, кушать... — У бойкого денщика Ванюши Тихова голос нынче виноватый, слышится в нем: «Эх, матушка-мать, какое там «кушать»?»

— Обедать командой на палубе. Понял?

— Есть, ваше благородь, понял. — Но он ничего не понял, прежде обедали розно.

Расположились на палубе все — матросы, офицеры, Шевченко с Вернером, фельдшер Истомин. К общему недоумению, Бутаков велел подать себе мяса. «Хорошая мина при плохой игре», — думал лейтенант, принимаясь счищать червей, хоть и сварившихся вместе с мясом, но оттого не менее мерзких. Даже знатнейший на шхуне обжора матрос Гаврила Погорелов и тот перекривился, а штабс-капитан Макшеев прянул прочь, не скрывая негодования.

— На нет и суда нет, — пробурчал лейтенант, начиная жевать мясо.

С минуту все оторопело и даже будто с ужасом смотрели на Бутакова.

— Э, где наша не пропадала? — Сахнов махнул рукой. — Валяй, Ванька, и мне, мать ее так...

Тихов скорбно подал Сахнову, первому на корабле плясуну и песельнику, «угощение», и тот, орудуя складным ножом, продолжал наставительно:

— Это еще что, это, братцы мои, еще ничего. Вот, бают, французы в двенадцатом годе, так те воронье хрястали. А тут как-никак — мясо...

Добровольцев, однако, не находилось.

— Ну и пес с ними, верно, ваше благородие? — калякал Сахнов с напускным удалством. — Больше останется. — Он выколупнул «подлеца», весьма изрядного, и заключил: — Вот и можно, вот и чисто... — Но было видно, что и Андрюха Сахнов медлит приступить к трапезе.

Обед не обед получился, а бог знает что. А тут еще штиль лег. Будто и море с голодухи впало в дурную дрему. Эх, машину бы паровую. То-то задали бы тягу. Но машины нет, а паруса одрябли, а море выглаженное, без морщинки, все в искрах, как в битом стекле, рябит в глазах и поташнивает. Скверная история.

В один из этих мертвых штилевых дней Бутаков отрядил штурмана с матросами нарубить дровишек для камбуза. Впрочем, какое там нарубить? Не нарубить, а наломать, как говорят в донских станицах.

Отправив партию, лейтенант приказал следить за нею в подзорную трубу. Дело было близ Хивы. Значит, опасайся, брат, хивинских удалцов, тех, что отымают у кочевников скот, последний скарб, а то, глядишь, и самих владельцев скота и скарба угоняют в полон, в неволю.

Едва Пospelов со своими дроволомами высадился на берег, как унтер Абизиров доложил Бутакову:

— Люди какие-то, ваше благородие!

Бутаков, Шевченко и Захряпин тотчас подвалили в челноке к берегу и скорехонько к зарослям кустарника, где были замечены незнакомцы.

Подоспели и увидели, как штурман Ксенофонт Егорович, конфузливо покашливая, пытался объясниться с казахами, среди которых выделялся и одеждой, и осанкой, и длинной, удивительно белой бородой старшина аксакал.

Выручил штурмана приказчик Захряпин, он заговорил с аксакалом по-казахски, и старик стал рассказывать о недавней и такой бедственной встрече с хивинцами.

Женщин не было, но ребятишки появились невесть откуда. Босоногие, в отрепьях и в теплых шапках, нахлобученных по самые брови, они уставились на пришельцев блестящими глазенками. Аксакал прикрикнул на мальчишек. Те шарахнулись на десяток шагов, присели на корточки и о чем-то залопотали. А старшина, опираясь на палку, сгорбившись, рассказывал, что разбойники хивинцы отобрали у них верблюдов и лошадей и что теперь они совсем уж надумали откочевать в русскую сторону, где, слышно, обид покамест не чинят.

Захряпин переводил, Бутаков слушал.

— Николай Васильевич, спроси-ка, купить-то у них можно хоть что-нибудь из съестного?

Захряпин ковырнул носком сапога землю.

— Ну да, ну да, — поспешно прибавил лейтенант, — чего уж там с них взять.

Он вздохнул, порывшись в карманах сюртука и протянул старшине несколько платков и стальных портняжных иголок, завернутых в тряпицу. Аксакал принял подарки и, взглянув на Захряпина, уважительно спросил:

— Тынгыз-тере?

— Тынгыз-тере, — ответил Захряпин, — морской начальник.

Шевченко тем временем торопливо рисовал ребятишек, по-прежнему сидевших на корточках. Он любил рисовать малых, потому что любил их так же, как старых. Даст бог, и у него, пусть и на закате, а будет, будет своя «дытына».

Когда-то, давно уж, когда-то изобразил он сепией спящего

хлопчика, рисуя акварелью цыганок, не забыл и цыганеночка, нет, не ради композиции; рядом со слепой поместил босоногую девочку; к чубатому, костлявому бандуристу притулил мальчугана; а нынче вот и рисует торопливо казахских ребятишек. Венец красоты — счастливое лицо человеческое, да, где же окрест сыщешь такое, только на детских мордашках иловишь иной раз отсветы счастья.

14

Высочайше утвержденная инструкция запрещала приближаться к устью Аму-Дарьи, ибо южные берега Арала были северными рубежами Хивы. На Хиву метили англичане, Петербург опасался неудовольствия Лондона.

Бутаков, нарушая инструкцию, прикидывался простаком. Что тут попишешь, коли ветер-ветрило несет шхуну на зюйд? Лавировать? Лавируем усердно, а проку чуть. И, право, позарез необходима питьевая вода. Ну-с, где же прикажете запастись пресной водой? Само собой, лишь в устье Аму-Дарьи.

Его лукавство было шито белыми нитками. Все это понимали и посмеивались. Правда, штабс-капитан Макшеев, как старший в чине, счел долгом намякнуть Бутакову об ответственности. Бутаков вскинул на него потемневшие глаза.

— А вы, господин Макшеев, — сказал он сухо, — вы просто-напросто ничего не видели: кто же не знает, что вас укачивает насмерть? — И, желая подсластить пилюлю, вежливо посоветовал: — Поступайте, как Нельсон.

— Не понимаю, — обиделся штабс-капитан. — Я ведь, Алексей Иванович, с наилучшими чувствами.

— Да и я тоже-с, — смягчился Бутаков. — А про Нельсона вот что. Ему, знаете ли, в одном сражении офицеры указали на сигнал флагмана: «Прекратить бой!» Так он что же? Приставил трубку к незрячему глазу, к черной повязке, и восклицает: «Где сигнал? Какой сигнал?» И продолжал баталию и выиграл дело. — Бутаков рассмеялся. — Вот так и мы с вами.

А Шевченко однажды шепнул ему озабоченно: разговоры о противных ветрах и штилях, о разных там обстоятельствах — это хорошо, это «добре», но вот как быть с путевым журналом? Ежели всерьез разбирать начнут, все и выплывет. Бутаков отшутился: «Не обманешь — не продашь, не согрешишь — не покаешься...»

(Может, это и вспомнилось Тарасу Григорьевичу много лет спустя, на берегу Каспия, когда в начале своего дневника записал он: «И в шканечных журналах врут, а в таком, домашнем, и бог велел»?)

Итак, «Константин» держал на юг, к устью Аму-Дарьи.

В последних числах августа соленость Арала резко пошла

на убыль. Еще день, другой, и волны обрели буроватый оттенок, матросы проворно вытянули на борт ведра с почти пресной водой.

Изменились и берега. Прежде они вставали, словно крепостные стены, теперь никли к морю желтыми пляжами. Глубины уменьшались с такой опасной быстротою, что фельдшер Истомин — за неимением лекарской практики он измерял глубины — сознавал себя заправским мореходом.

— Под килем четыре с половиной сажени.

— Под килем четыре сажени.

— Под килем три с половиной...

И тут, в виду острова Токмак-Аты, когда сильный ветер был вовсе не нужен, он вдруг скрепчал, заходя постепенно через норд-вестовый румб к норд-норд-остовому. Никчемный этот ветер расстарался до того, что начался бедоносный шторм. А глубина под судном уже равнялась одной лишь сажени с четвертью.

В самом начале похода шторм страшал экспедицию голодной смертью, теперь — хивинским пленом. На шхуне воцарилась угрюмая готовность к борьбе до последнего.

Всю ночь напролет подле Бутакова был Пospelов, и лейтенант вновь чувствовал, как необходимо ему присутствие Ксенофонта Егоровича. «Руль», — тревожился Бутаков, а Пospelов успокоительно: «Выдержит, надеюсь». Оба думали об одном: на такой малой глубине да при такой бешеной качке ничего не стоило садануться пером руля в грунт, а ведь неизвестно, что лучше — остаться без руля или без ветрил. «Бейдевинд»¹, — думал вслух Бутанов, а Пospelов уточнял: «И покруче». Лишь приведя судно в бейдевинд, можно было удержаться мористее острова.

Будь лейтенант одинцом, он поступал бы точно так же, как и поступал, но Ксенофонт Егорович каким-то таинственным манером придавал уверенную отчетливость его мыслям. Мысли же эти сходились на том, как бы перехитрить море, ветер, шторм.

Сколько, однако, ни упрямились моряки, волны и ветер теснили «Константина» к острову, и Бутакова, и Пospelова, и команду, валившуюся с ног от усталости, корежил страх — явственный, всеми мускулами ощутимый, каждой жилочкой, — тот страх, что испытывает человек, повисший над пропастью и чувствующий, как натягивается, как дрожит и сучится веревка.

Они дотянули до рассвета. А на рассвете ветер унялся, и поблизости от корабля означился остров — холмистый, поросший гребенщиком, осокорью, какими-то дикими фрукто-

¹ Бейдевинд — курс корабля, составляющий угол менее девяноста градусов между диаметральной плоскостью судна и направлением ветра.

выми деревьями с голубовато-серой листвой, отчего казалось, что дальние рощи заплыли мглой.

Впрочем, не островная флора привлекала лейтенанта, пока он сидел на мачте, напрягая зрение, нет, не флора, а кибитки и вооруженные всадники на пляшущих аргамаках. Да-с, худо пришлось бы, выброси море на этот Токмак-Аты...

Когда лейтенант спустился на палубу, он не сразу сообразил, о чем это с таким воодушевлением толкует приказчик Захряпин.

— Лучше и не придумаешь! — повторял Захряпин, теребя бородку. — Нет, ей-богу... А?

Эге, вон оно что... Скор да ухватист ты, Николай Васильевич. Правда твоя, весьма пригоден Токмак-Аты для устройства фактории, эдакого перевалочного места на будущем «пути из славян в азиатцы». Верно, все верно — и Аму-Дарья рукой подать, и пастбища изобильные, и землицы огородной хватит, и по части рыбной угодил. Малость мелковато на подходах к острову? Не беда. Есть такие железные плоскодонные баржи, осадка у них чепуховая, а груз берут богатырски. Словом, хорош, очень хорош этот Токмак-Аты.

Зыбь тяжело и мерно наваливалась с севера — Арал после шторма переводил дыхание. Но ветра, увы, не было, и шхуна не могла сняться с якоря. Бутаков пожимал плечами: бог свидетель, нет охоты своевольничать, обстоятельства понуждают к нарушению инструкции. Быть у Токмак-Аты и не узнать, что же там, за южной его оконечностью? Да, на берегах — хивинцы. Однако на борту «Константина» — военные люди. А военным риск положен, как суточный рацион.

Алексей Иванович поманил штурмана Поспелова и прапорщика Акишева, напрямик высказал свой план. Навигатору с геодезистом полезли на ум невеселые истории о хивинских пленниках. Вспомнилось, как наказывают в Хиве за попытку к бегству из неволи: надрежут пятки, всыпят в надрезы мелкую щетину, и баста, и вот уж ты не ходок, гарцуй остаток дней на цыпочках, что твоя дива в кордебалете, а на всю ступню — ни-ни, щетина вонзится злее иголок...

Но, выслушав Бутакова, они ответили согласием. Пребывание у Токмак-Аты не должно же было пропасть для картографии и гидрографии. Хивинцы? Э, лучше о них не думать.

Поздним вечером Поспелов с Акишевым покинули шхуну. Вальки весел были обернуты ветошью, шлюпка отошла без шума. Поначалу, правда, еще доносился слабый переплеск, будто шлепала по воде тряпка, но вскоре все стихло, телько зыбь вздыхала, как буйвол.

«Константин» затаился. Никто не спал. Оружие было роздано матросам. На шхуне — ни огонька, ни звука. Лишь часы в каюте отсчитывали время необычно четко и как бы надменно.

Но вот уж звезды выцвели, море подернулось дымкой, и

засвежело, и будто глуше, медленнее затикали часы в каюте. Тогда-то снова слышались осторожные удары весел.

Штурман Ксенофонт Егорович заговорил сипло, словно бы простудился или измучен жаждой, а геодезист Артемий Акимович медленно и крепко отер морщинистое лицо большим красным платком.

Да, они обогнули Токмак-Аты, по западную сторону нет рукавов Аму, вода там морская, горько-соленая, из чего заключить должно, что река впадает в Арал к востоку от острова. Вот так-то. А теперь не худо бы пропустить по стаканчику спиртного и соснуть...

Устье к востоку от острова? Хорошо, очень хорошо. Будь что будет, увидеть его надо. Спасибо, ветер, ты хоть и слаб, а все же несешь, движешь потихонечку славную нашу шхунку. Где-то тут оно, поблизости, устье Аму-Дарьи, где-то тут это устье, не исследованное еще никем в мире...

После полудня Бутаков возился с секстантом. Есть нечто удивительное, правда, моряками по привычке не примечаемое, в этих вычислениях. Отсчитай долготу от английского городка Гринвича, в котором ты никогда и не был... Черкни карандашиком на листке бумаги. Проверь, не торопись... И вот, пожалуйста — находишь незримую точку, можешь ткнуть острием карандаша в карту и сказать удовлетворенно: «А вот-с мы где!»

Определив местоположение шхуны, Бутаков ринулся на мачту с быстротою юнги, за которым наблюдает скорый на зуботычины боцман. Еще не уютившись на рее, лейтенант уже глядел, глядел во все глаза на юго-юго-восток.

А там, в яркой зелени тростников, в текучих желтках отмелей, там блестящей фольгой простиралась река, рожденная снегами поднебесных главниц Памира и Гиндукуша.

Ну нет, лейтенант Бутаков никому не уступит нынешнюю вылазку. Черта с два, никому! Он знает, не совсем-таки благоразумно покидать шхуну вблизи хивинских берегов, но ведь волков бояться — в лес не ходить. Да и приключись худое, на шхуне останется Ксенофонт Егорович. Вот, вот, штурман останется, а в ночную вылазку пойдет с лейтенантом Артемий Акишев, пойдет вторично, благо, пловец отменный и храбрости ему не занимать.

Как и накануне, шлюпка отвалила затемно. Как и в прошлый раз, вальки были плотно обернуты ветошью, а ключичны на совесть смазаны салом.

Ночью, когда меняешь корабль на шлюпку, море в первые минуты кажется чудовищно-огромным, куда огромное, чем с корабельной палубы, а небо выше, бездоннее, чернее. Голос волн уже не слитный, одна волна на басах рокочет, другая катит с шипением, третья булькает и шуршит; здоровый йодистый запах слышится пронзительнее, чище, сильнее, по-

тому что к нему не примешиваются, как на судне, запахи жилья и дерева.

Матросы гребли ровно, не выхватывая резко весел и уж, конечно, не «пуская шук», то бишь не задевая воду ребром лопастей, что и в обычном-то, не скрытом, шлюпочном переходе считается у военных моряков неприличием.

Акишев с Бутаковым то и дело черпали в пригоршню забортную воду. Она была уже почти пресной. Где-то сухо и быстро, как бумага, шелестел камыш.

Стихло. Булькала вода под форштевнем. И опять сухая скороговорка камышей.

А потом вдруг это осторожное чирканье килем по дну и шепот Бутакова: «Суши весла!»

Матросы перестали грести, шлюпка замедлила ход, бульканье, как из бутылки, замерло, и она тихо закачалась, готовая поддаться встречному течению.

Бутаков с Акишевым скинули платье, перевалились за борт, в воду, и с футштоками в руках двинулись наперерез течению.

Матросы тоже один за другим вылезли из шлюпки, побрели следом за ними, подталкивая шлюпку и разгребая невысокие волны.

Грунт под ногами то упруго пружинил, то, вдруг раздавшись, охватывал по щиколотку вязким илом.

Вольными протоками Аму-Дарья несла в море свои воды, животворностью равные нильским, и там, где теперь брели Бутаков и балтийцы, на бесчисленных островках, в тысячах заливчиков, на многом множестве отмелей густо, непролазно теснились узколистый рогоз и тростники, водоросли сплетались, сонно покачиваясь, и в этом сумеречном королевстве плыли, мерцая и серебрясь, караси и сазаны, красногубые жерехи и чехонь, белоглазки и лещи. И кабанов было вдоволь, мясистых, свирепых, клыкастых кабанов, и промысловой птицы не счесть — крохотлей, кряквы, шилохвосток, лебедей-шипунув. А желтые цапли, а болотные курочки, а лысухи? На зорях поднимались пеликаны, взмывали высоко-высоко, образуя в стеклянной синеве белые кильватерные колонны, треугольники, зигзаги...

Опираясь на футштоки, одолевая упругое течение, мерили Бутаков с Акишевым глубины Аму-Дарьи, а балтийские матросы вели шлюпку, как лошадь на поводу.

Вдали аральская зыбь баюкала тихую шхуну. Еще дальше, в каком-то почти уж и не реальном далеко, были города, где мирно погромыхивали трещотки караульщиков и башенные часы роняли на булыжник площадей свои мерные удары.

А тут вольной неодолимо, прищептывая и позванивая, неслась река, тут было глухое, темное небо, плач шакалов да стон комаров.

«Черная меланхолия», — шутил Истомин: штилевавший Арал представлялся ему меланхоликом. Спустя неделю фельдшер поставил иной диагноз: «Буйное помешательство». Диагноз был верным, и это выгодно отличало корабельного медика от многих его сухопутных коллег.

Как всегда перед осенью, на Арале гуляли крепкие нордосты. Тут уж держи ухо востро: бросит судно на камни, на мель. Бутаков решил отложить съемку восточного побережья до будущего лета, а пока осмотреть срединную часть моря.

И находка каменного угля, и карты западного берега, и промер устья Аму-Дарьи — все это радовало. Радовало... но все же он испытывал нехватку того, без чего экспедиция казалась ему не увенчанной главной наградой. Русские капитаны-«кругосветники» обретали эти награды в Великом, или Тихом. Но, черт подери, почему бы и Аральскому морю, раскатившемуся на десятки тысяч квадратных верст, не преподнести колумбу хотя бы один сюрприз?

«Константин» уже доказал командиру свою преданность, и в душе Алексея Ивановича угнездилась та таинственная связь с кораблем, утешнее которой для мореплавателя нет ничего. И потому, невзирая на дурную погоду, они, то есть «Константин» и лейтенант Бутаков, быстро и решительно пересекали море.

Быстрота и решительность этого рейда под зарифленными парусами предвещали что-то значительное и важное. Это подсказывала Бутакову интуиция, а она есть у моряков, как и у влюбленных.

В двенадцатый день сентября море отсалютовало «Константину» бессчетными залпами: шхуна приближалась к неизвестному острову. Остров словно бы догорал вместе с вечерней зарей, берега дрожали в неверных сумерках и почти совсем уж пропали из виду, когда «Константин» успокоился на якорях.

Сон бежал не одного Бутакова. Вон Тарас Григорьевич на «табурете», вон Вернер с Ксенофонтом Егоровичем у правого борта, а Макшеев на юте... Что они? Слушают валторны прибоя? А может, их мысли далече от этих широт? Луна властвует над приливами в морях, запах земли — над приливами в сердце.

Пахло не только землей — пахло тайной. Во тьме привставало на цыпочках Неизвестное. Бутаков знал, что по заре увидит песок и камни, саксаул и тростники, овраги и заливы. И все же то было Неизвестное, близость ощущалась трепетно.

Есть прелесть в уединенных местах, будь то старица, долина или заброшенный карьер с лебедой и лопухами. Но прелесть десятикратная, особая, ни с чем не сравнимая в клочке суши, никогда не виданной ни одним человеком, в клочке суши, окруженной морем.

Да, были на острове и уходящий к горизонту саксаул, и луга, и тальник, и розовые озера, песчаник, бугры — все было, что представлялось мысленно накануне. Но «люди здесь еще не бывали»! И от этого замирало сердце.

Мешкать не приходилось: осенние норд-осты снижали уровень устья Сыр-Дарьи, экспедиция, чего доброго, могла не попасть на зимовье.

Бутаков и его команда не знали роздыха. Работали до темноты, вставали с рассветом, опять в полную силу владело артельное чувство «одной упряжки».

Акишев и Макшеев измерили остров; площадь его равнялась территории некоторых государств Германии — остров отнял у моря верст двести квадратных, не меньше.

Штурман Поспелов, поместившись в утлом челночке, промерял наперекор бурной погоде залив с юго-восточной стороны. Вернер обследовал соляные озера и надеялся найти каменный уголь.

Приказчик Захряпин упоенно озирал остров. Чем не место для поселения рыболовецкой ватаги? Всего вдоволь, а муку и водку завезти можно. Он добьется перевода сюда своих артельщиков. Должно, уж воротились они на Кос-Арал, в устье Сыра, и ведать не ведают, какую райскую обитель приглядел для них Николай Васильевич. Э, черти собачьи: «Камень на шею — да и в воду»... И Федор Степанович не останется в обиде. Вот, дорогой капитан Мертваго, вот какая пустынь, в самый раз схорониться от всего грешного и суетного...

Шевченко рисовал гористый берег безыменного острова.

Была высокая отрада в том, как скоро и точно взор отыскивал и цепко схватывал особенности пейзажа. Была высокая отрада в том, чтобы передать этот свет удивительной чистоты и силы и эти не резкие, но такие колоритные оттенки. И никаких эффектов, ничего пышного, кричащего: сдержанная прелесть, горделивая скромность.

Он сознавал, что достиг мастерства, что глаз остер и меток, рука послушна, краски и линии верны и что все отлично. И, сознавая это, хмурился, словно боясь что-то спугнуть в себе самом, в душе своей.

Не первый день работал он под аральским небом, в этом море света, но, как всегда, пейзаж был труден; лаконичный, краткий, он требовал, чтобы мастер «сжался» в две-три определяющие черты. Шевченко воссоздавал его не печальным, каким он показался бы кому-нибудь другому, несмотря на могучее освещение, а может быть, благодаря этому беспощадному освещению. Шевченко воссоздавал его сурово-серьезным, порембрантовски серьезным, правда, с легким налетом задумчивой грусти. И так же, как у позднего Рембрандта, в пейзажах этих преобладали буровато-красные и золотисто-желтые тона.

Он работал часами, будто жара и жажда были не властны

над ним, бурча ругательства или бормоча ласково, словно страшая и уговаривая не то самого себя, не то кисти и краски, а скорее все это вместе...

Хорошая выдалась неделя: Бутаков говорил, что не знал более счастливых дней. Фельдшер Истомин выпячивал грудь:

— Все я-с, Алексей Иванович!

Бутаков смотрел на него с веселым недоумением.

— Мясо! — важно пояснил материалист лекарь.

Наконец-то, наконец охотничья натура медика развернулась вовсю. Да и было где развернуться: остров изобиловал антилопами-сайгаками. Эти животные со светло-бурой, золотившейся на солнце шерстью отличались доверчивостью антарктических пингвинов. Но мясо у них было куда лучше пингвиного, оно могло бы восхитить и не таких гастрономов, как изголодавшийся народ со шхуны «Константин».

Истомин сколотил партию добытчиков. Потребовалось вмешательство лейтенанта, чтобы ограничить число волонтеров. Бутаков отрядил в команду фельдшера тех матросов, что бестрепетно поддерживали своего командира в поглощении червивой солонины. «Добродетель достойна поощрения», — с шутливой назидательностью изрек Бутаков.

Ветер, старый соглашениями, исправно доносил сайгакам: «Идут люди», но ни самцы-рогоносцы, ни пугливые самки не чуяли в том беды. Неторопливо паслись они утром и вечером, когда зной не силен, а в полуденные часы задремывали за буграми, под жиденской тенью. От волков сайгаки улепетывали стремглав, людей же, простаки, подпускали близко.

16

На восьмой день все были в сборе. Никто не считал исследования законченными, громче других сетовал фельдшер-охотник (пуды сайгачьего мяса, по его мнению, еще недостаточно подкрепили экипаж), но все понимали, что норд-осты не шутят и пора поспешать на зимовку в устье Сыра, на остров Кос-Арал.

Возвращение? Да, конечно. Но прежде еще одна разведка, беглая, недолгая, приблизительная разведка. У большого острова есть соседи. Как же к ним не заглянуть? Вон милях в семи — узенькая полоска воды, поросшая камышами, ни дать ни взять — лошадиная гривка, а за нею — островок. Да и по южную сторону, через пролив, тоже островок. Семейка, архипелаг...

«Обретенные открытия» были обозначены на карте. Бутаков с Поспеловым склонились над нею умиленно, как над колыбелью.

Бутаков взял карандаш. Помедлил. Потом легко, без нажи-

ма, размашисто написал: «Царские острова». И поднял голову. С минуту они смотрели друг на друга — лейтенант и штурман.

— Тэ-э-кс, — процедил Бутаков с внезапным раздражением.

Поспелов молчал. Но он уже не склонялся над картой. Он стоял, опустив руки, лицо его было бледным.

— Тэ-э-кс, — повторил Бутаков почти злобно. — Теперь — всем сестрам по серьгам. — И написал, вдавливая буквы: «Остров Николая», «Остров Наследника», «Остров Константина», — всем сестрам по серьгам...

Они опять посмотрели друг на друга в упор. Бутаков первым отвел глаза.

— Вот и все, Ксенофонт Егорович. — Голос у него был виноватый. Он помолчал, натянуто усмехнулся: — А поздних наших потомков, школяров, будут сечь, коли по тупости памяти не упомянут сих наименований. Так, что ли, господин штурман?

— Императрицу позабыли, господин лейтенант! — глухо отозвался Поспелов.

Бутаков швырнул карандаш, дернул плечом и вышел из каюты. Карандаш скатился на пол, штурман пнул его ногой, бормоча гневно: «Всем сестрам по серьгам»...

Минуту спустя Ксенофонт Егорович выглянул из каюты, увидел Вернера:

— Тарасий где?

— Известно, — улыбнулся Томаш, — в «княжестве».

Шевченко нравилось возиться на камбузе, в «Ванькином княжестве», как прозвали матросы кухонный закуток денщика Тихова.

Тарас Григорьевич, наверное, затруднился бы объяснить это неожиданное, лишь в экспедиции возникшее пристрастие. Тут многое исподволь сплелось. Не казарменное, по гроб ненавистное, было в Ванюшкином хозяйстве, а совсем иное, домашнее, крестьянское чудилось. И в нехитром, но серьезном деле приготовления корабельных блюд, повторяющихся, как и в мужицком быту, борщей и каш, тоже крылось что-то стародавнее. Давным-давно в имени мальчонка Тарас был поваренком... А борщ? Помнится, у неких старичков в Киеве едал он славные борщи со свежей капустой, сухими карасями и какими-то приправами. Но не в борщах была суть. Казалось порою, что это вовсе и не судовая кухня, а осчастливил наконец господь бог — обрел Тарас свое гнездо, свою хату с двумя тополями у плетня, а жинка вот сию минуту вбежит...

То были даже и не мысли, а как тени от облаков. Ванюша Тихов не пугал их, не мешал им, и Шевченко по душе было помогать «хлопчику» кухарничать.

— Тарасий! — позвал Ксенофонт Егорович.

Шевченко шагнул к нему, отирая руки тряпкой. Штурман схватил его за локоть и зашептал сбивчиво, комкая фразы, зашептал про то, как Бутаков совершил «обряд крещения».

Никогда еще Шевченко не видел Ксенофонта в столь сильном возбуждении. Тихий, задумчивый, а вон как распался...

Он испытывал к Пospelову, боцманскому сыну, труженику, симпатию искреннюю, очень теплую и про себя жалел его, по-братски жалел, будучи уверен, что Ксенофонт из тех, кому суждено окунуть сирую душу в штоф зелена вина да и спиться с круга. Порой сходились они: беседы их были незатейливы, не трогали предметов важных, но они предавались беседе с сердечной доверительностью, и она была им куда нужнее всяческих мудреных рассуждений. Теперь же, слушая лихорадочный шепот Ксенофонта, Шевченко и понимал причину его ярости и дивился этой ярости.

— Нет, ты представь, представь... — В уголках сухих губ прилипли табачные крошки. — Зачем так-то, а? Зачем? Ведь он инструкцию смел нарушить? Ведь смел? А? — Светлые, в красноватых жилках глаза налились слезами. — Что же он так-то? Зачем? Ему предписаний таких не было... Понимаешь? Не было ведь, чтобы так именовать. А он... Что же это, а?

Штурман умолк, как захлебнулся, выхватил из-за борта сюртука книгу, сунул ее Шевченко.

— Вот, прочти, страницу одну прочти. Я заложил, прочти, Тарасий. — Круто повернулся и оставил Шевченко. Тот растерянно посмотрел ему вслед.

Книга оказалась сочинением Головнина.

По обыкновению моряков, уходящих в дальнее плавание, лейтенант припас с полдюжины вот таких обстоятельных «Путешествий». Некоторые из них Шевченко читал, хотя, признаться, и перемахивал страницы, пестревшие названиями парусов и стеньг, всей той англо-голландской смесью, которая прочно внедрилась в язык русских моряков со времен Петра. Сочинения Головнина Тарас Григорьевич прочитал с интересом неподдельным, радуясь слогу, как радовался другой ссыльный — поэт-декабрист Кюхельбекер... Однако какое касательство имел знаменитый в свое время капитан флота к нынешнему гневу Ксенофонта Егоровича, Шевченко не понимал, и на указанную Пospelовым страницу взглянул он с рассеянным недоумением. Взглянул и прочел:

«Если бы нынешнему мореплавателю удалось сделать такие открытия, какие сделал Беринг и Чириков, то не токмо все мысы, острова и заливы американские получили бы фамилии князей и графов, но и даже по голым камням рассадил бы он всех министров и всю знать; и комплименты свои обнаруживал бы всему свету... Беринг же, напротив того, открыв прекраснейшую гавань, назвал ее по имени своих

судов: Петра и Павла; весьма важный мыс в Америке назвал мысом Св. Илии, по имени святого, коего в день открытия праздновали; купу довольно больших островов, кои ныне непременно получили бы имя какого-нибудь славного полководца или министра, назвал он Шумагина островами, потому что похоронил на них умершего у него матроса сего имени».

Так вот оно что! Молодчина старик Головнин! Уж этот не стал бы марать карту именами царя и царских отпрысков. Эх, Алексей Иванович, Алексей Иванович, грустно, брат. Не на все, видать, хватает у тебя пороху.

17

Наступает час, когда продолжение всякого длительного плавания кажется почти невыносимым.

Не бог весть что за перл был Кос-Арал, где экспедиции предстояло зимовать, но рисовался он землей обетованной, и в двадцать второй день сентября 1848 года на шхуне воцарилось едва сдерживаемое ликование. Плавание подходило к концу.

Как все молодое и одинокое, Арал бурлил. Он был молод, ибо родился совсем недавно — в первом тысячелетии до нашей эры. Он был одинок, ибо не сообщался с другими морями.

Уже вечерело, когда форштвень «Константина» мягко и властно вклинился в плотные буроватые воды сыр-Дарьинского устья.

На шхуне пальнули из пушки и закричали «ура».

НОЧЬЮ ВО ВЛАДИМИРЕ

(Вместо послесловия)

В крошечной тьме — она пахла растолой землею, — в той тьме, что бывает на дорогах при первых, дружно взявшихся оттепелях, влеклась пароконная телега, и ее медлительное движение сопровождалось квелым позвякиванием колокольцев, храпом приморившихся лошадей да тяжелыми перебивчивыми шлепками комьев грязи.

Еще вчера снег лежал. Но в марте на санный путь надежда плоха. Днем припекло, капель рассыпалась цыганским бубном, тракт распустило, хоть караул кричи.

Правда, унтер-офицеру корпуса жандармов в Муроме без задержки сменили сани на телегу. Однако и на телеге никак более шести-семи верст в час не получалось, вот и не успели засветло в губернский город Владимир.

Ямщик уж с этим смирился. Он дремал, посапывая в бо-

роду, а когда телега ухала в колдобину, вздрагивал и ругался матерно. Ехал он так, как ездят мужики-обозники — подвернув ноги, опираясь задом на пятки, сунув руки в рукава нагольного тулупчика.

Жандармский унтер лежал, вытянувшись во весь свой немалый рост, ткнувшись лицом в охапку сена. Хоть и ни к черту дорога, но унтер доволен. Доставил, как приказано, арестанта в Вятку, а возвращаясь, столкнулся в Нижнем с каким-то человеком и повез его на казенных в Москву. Человек не поймешь какого чина-звания, да червонец-то не валяется, а жалованьем только дурак жив.

Колокольцы звякали. С колес, шурша и пришлепывая, опадали комья грязи и опять наворачивались на ободья толстым вязким слоем. Черным-черна была дорога, и черный костлявый лес напирал на нее, а то вдруг отступал, и тогда казалось, что тьма тоже пятится.

Попутчик жандармского унтера, свесив ноги, обутые в теплые бархатные сапоги, курил, поглядывая на затаившийся и поверху будто встрепанный лес. Из этих вот лесов выныривали некогда удалыцы-разбойнички, молотили «по дворянским-то головушкам да по спинушкам купеческим».

Когда выбираешься из долгого заточенья, с оторопью и болью осознаешь громаду утраченных лет. И на какую бы пору ни пришлись годы неволи, на молодость ли, на зрелость или старость, думаешь, что именно они, именно эти годы похоронили самую сочную пору твоей жизни.

Забрехали деревенские псы. Лошади, чуя жильё, норовили к воротам свернуть, но возница огрел их кнутом, и бедняги, всхрапнув, потащились смиренно дальше.

Да, неволя отошла в прошлое. А впереди? Кто ждет? Что ждет? Первый визит — в Академию художеств. Потом в Эрмитаж. И в волшебную оперу. И непременно, непременно услышать музыку Шопена... Поселиться на Васильевском острове, и чтоб ни дня попусту. Ни единого дня. Чудотворен резец гравера! Кто знал бы, кроме богачей, полотна великих мастеров, когда бы не было гравюр? Ах, как славно будет в Питере, на Васильевском острове, в обители старых друзей-живописцев. И надо думать, невольничью музу ждет благосклонный прием.

Все это так, все это так... Но есть и другое, есть нечто, теснит оно душу. Толкуют: со смертью императора Николая изменится многое. Дай-то боже. Герцен звал царя Неудобозабываемым Тормозом. Лучше не скажешь! Тормоз околел, его сволокли в Петропавловский собор. Но, братцы мои, други милые, оглянитесь, зорче оглянитесь: сколь их на Руси, других-то тормозов, а? И вот костенит душу вопрос: не замаячит ли сызнава огромный Тормоз? Не замаячит ли? Вот он вопрос, никуда не деться...

Заморившиеся лошади добрались до губернского города Владимира в третьем часу ночи. Грязное крыльцо станции освещал фонарь. Из конюшн хорошо, густо несло навозом, прелой соломой.

Шевченко слез с телеги и пошел на станцию. Он отворил дверь, его обдало теплом, устоявшимся запахом чайных опивков и свечного нагара.

На станции давно уж дожидались подставы пассажиры московского дилижанса. Добросовестно опорожнив большой самовар, они осовели и клевали носами, а которые уже и позасыпали, запрокинув головы, скособочившись, как бы надвое переломившись, словом, в тех немислимых позах, в каких спят на станциях православные. Шевченко ухмыльнулся: в самый раз были бы тут карандаш Агина и кисть Федотова... Под усами Тараса Гргорьевича улыбка еще не сгасла, когда он словно бы наткнулся на пристальный взгляд какого-то проезжего господина в расстегнутом сюртуке с погонами капитана первого ранга.

Десять лет отломилось. Десять лет. И зимовка на Кос-Арале, и второе плавание по Синему морю, где вода солоня, и дружная жизнь в Оренбурге. А потом... потом донос подлеца, начальственный нагоняй Алексею Ивановичу и отправка под конвоем рядового Шевченко в каспийский форт.

Эка обмяло времечко аральского командира и товарища. Нездоровые складки на лице, одышка. Погрузнел, поседел.

— Тарасий... Тарасий... — повторял Бутаков.

Хоть и смеются глаза у Тарасия — морщины горькие. И опять, вишь, бородищу запустил. После Арала в Оренбурге-то сбрил, а теперь, гляди, опять, но уже с серебром. А лоб, кажись, еще больше, совсем облысел Тарасий.

Жандармский унтер был озадачен. Никак не ожидал, что попутчик, этот молчаливый курильщик, может быть короток с «высокоблагородием». А в короткости и дружестве сомневаться не приходилось. Эвон морской полковник усаживает «человека неизвестного чина-званья» в кресло, угощает сигарой да сам же огонь подносит — сделайте милость, запалите...

— Ксенофонт Егорыч? — Бутаков потупился, веки у него были тяжелые, набрякшие. — Ну да, ну да, все со мною был, на Аральском. Дело свое делал отменно, но с годами крепче запивал. Потом белая горячка, ну и, понятно, встал на мертвый якорь. — Бутаков перекрестился. — Схоронили на Кос-Арале, на мысу. Помните, на северной стороне? Вот так-то, Тарасий. А? Нет, какая у него семья, бобылем жил, бобылем и помер.

Помолчали. Шевченко спросил про Томаша Вернера.

— А, славный малый, — ответил Бутаков, — славный. Все в наших, в азиатских краях служил... Недавно... дай бог памяти... да, года полтора как уволен. Подпоручиком. А? Вот уж

не знаю, право, разрешат ли в Польшу, не знаю... Ну, а коллекции его в Петербурге, в Горном институте... Эх, Тарас Григорьич, во-оды утекло. Пропасть!

Бутаков хотел было расспросить Шевченко про житье в Новопетровском укреплении, но тотчас заметил, что у того нет охоты вспоминать форт на Каспийском берегу, и, заметив это, Алексей Иванович не без радости подумал, что вот аральское-то житье было Тарасию куда светлее. А коли так, пусть-ка послушает...

И Бутаков пустился повествовать и о плавании вверх по Сыру вместе с Пospelовым, и о своей поездке в Швецию заказывать на Мутальских заводах паровые суда, и о том, сколько мороки было с доставкой пароходов на Арал.

Шевченко слушал с ласковой ухмылкой, ну и ну, думал, полюбился сатана лучше ясна сокола. Арал свой на алмазы не променяет.

— Выходит, взял свое, Алексей Иваныч? С пароходами-то, а?

В голосе его услышал Бутаков знакомую, истинно Тарасиеву усмешливость: ни обидеть, ни задеть она не могла, а только как бы приглашала не очень-то «заноситься».

— Ка-акое «взял», — отвечал Бутаков, расплываясь в довольной и несколько озорной улыбке. — Первые шажки отмеряем. Вот возвращаюсь из Питера, жду не дождусь свидания с Аралом.

Унтер озабоченно покашливал, всем своим видом он почтительно сигнализировал — можно, дескать, ехать, лошадей переменили. Но Шевченко медлил расставаться с Бутаковым. К тому ж и забавна была теперешняя уважительность унтера к «человеку неизвестного чина-званья» и его боязнь прервать господина морского полковника.

Вскоре, однако, явился станционный смотритель, объявил, что подстава готова и он покорнейше просит господ проезжающих занять места в дилижансе. Началось движение, суета. Захлопали двери, к ногам потек холод. Шевченко с Бутаковым вышли на крыльцо.

На дворе робко и зелено светало. Петухи пели.

*Аральск — Москва
1962—1963*

РАССКАЗЫ



Пароход ошвартовался в Марселе мокрым зимним днем, и пассажиры устремились в город.

Двое господ военной осанки, хотя и одетые в штатское, всматривались в лица приезжих с напряженным видом неопытных сыщиков.

— Кажется, он? — молвил один, перекладывая трость из правой руки в левую.

— Пожалуй, — согласился второй.

«Он» был длинный, сухопарый, с походкой человека, знающего себе цену. «Сыщики» преградили ему дорогу, приподняли цилиндры и сказали, что они счастливы пожать руку месье Генри Мортону Стэнли. И прибавили поспешно:

— Экипаж к вашим услугам, номер — в отеле «Ницца».

— Кому обязан, господа? — сдержанно спросил приезжий.

— Своей славе и королю Бельгии.

Гостиница была на тесной улице Канебьер. В комнате бельэтажа топился камин, пахло свежим бельем и пыльными портьерами.

Посланцы короля Бельгии поклонились. Нет-нет, они не станут докучать. Нет-нет... Но может быть, мистер Стэнли согласится отужинать нынче в восемь вечера? Да? Вот и отлично. До свиданья, месье, до свиданья.

И они ушли — эдакие безусловно корректные. Стэнли не озадачила любезность короля Леопольда. Он сообразил, с какого румба задует ветер.

В начале девятого он спустился в ресторан.

Они уже поджидали Стэнли за накрытым столом. Ликер был зеленым, остендские устрицы были свежи, бекасы зажарены по-лондонски.

Господа из Брюсселя начали издалека. Мистер Стэнли, очевидно, слышал о международной географической конференции! Совершенно верно, о той, что состоялась два года назад, в семьдесят шестом. Тогда его величество король Леопольд очень хорошо определил задачу: открыть путь цивилизации в единственную часть света, куда она еще не успела проникнуть. Вот крестовый поход, достойный нашего века, века прогресса, не правда ли?

Бекасы были хороши. У Стэнли двигались уши, глаза повлажнели. Так и есть, думал он, разгрызая косточку, так и есть, у его величества тонкий нюх.

Стэнли поглядел на собеседников в упор. Бритые, розовато-белые, ветчинные, у обоих розетки орденов. Один, должно быть, поклонник музыки Вагнера, другой — почему бы и нет — живописцев старой голландской школы.

— Конго? — спокойно спросил Стэнли и отер губы крахмальной салфеткой.

— Вероятно. Но предварительно — подробные консультации.

— Где же?

— Как вам будет угодно. Брюссель, Париж... Словом, как вам удобнее.

В зале заиграло фортепьяно, певички хватили бойким дуэтом.

2

Зиму Василий Васильевич прожил спокойно, в трудах размеренных, как постукивание маятника кабинетных часов.

Все ему было по душе в Петербурге. Большая тихая квартира с тяжеловесной дубовой мебелью; короткие дни, затухающие и приглушенные снегопадами; хождение в Географическое общество на Чернышеву площадь; беседы со студентом Елисеевым, добровольным помощником, который являлся дважды в неделю и составлял опись обширной, в несколько сот предметов, этнографической коллекции, привезенной Василием Васильевичем из Африки.

Коллекцию он намеревался подарить Академии наук. И капитальное свое исследование об Африке думал издать здесь же, в Петербурге. Вот только еще не решил, кто будет печатать — Географическое общество или Альфред Федорович Девриен, сестрин муж, книгоиздатель. Впрочем, надо еще закончить книгу. В срок, загаданный самому себе, не торопясь, но и не затягивая.

С некоторых пор мерещатся Василию Васильевичу иные, не африканские дали: Австрало-Азиатские моря и острова, края Миклухо-Маклая. Хорошо было бы познакомиться с Миклухой, поработать об руку. Говорят, Миклуха вечно испытывает денежные затруднения. Слава богу, Юнкер-старший, банкир, оставил своему Васеньке изрядное состояние. Мечты... А пока — писать, карты вычерчивать.

Весной, когда прошел, вея бодрым холодом, невский лед, сиротское солнышко глянуло бойчее, весной перебрался Василий Васильевич Юнкер на дачу в Петергоф.

Вот в этом саду матушка, бывало, ухаживала за цветами, напевая известный в ту пору, а теперь уже позабытый, трогат-

тельный романс Стигелли «Лакрима»¹. А в этом кабинете Юнкер-старший свел однажды своего сына-гимназиста с почтенным Егором Петровичем Ковалевским.

Бедный батюшка, он так уповал на помощь Егора Петровича, а вышел-то курьез... Егор Петрович председательствовал в Литературном фонде² и нередко навевывался в контору Юнкера по денежным делам. И вот они поменялись ролями: банкир попросил помощи у литератора. Ежели, думал Юнкер-старший, сам Егор Петрович постращает сына, то уж толк будет. Ну, Егор Петрович, живший неподалеку, на другой даче, зашел однажды, будто бы невзначай, и принялся стращать гимназиста, говоря, что одно дело грезить о странствиях и совсем другое — странствовать. Мало-помалу старик увлекся и давай живописать, как-де благородно служить науке, а не гнуть выю над счетными книгами, и какое, мол, высокое наслаждение дают путешествия человеку чувствующему и мыслящему, и так далее и тому подобное. И, только увидев вытянувшуюся физиономию Юнкера-старшего, Ковалевский умолк, махнул рукой да и затрясся в смехе, закашлялся до слез... Достопамятная вышла встреча... Вот в этом самом кабинете. Сколько, бишь, лет? Двадцать? Нет, двадцать с лишним... На этой самой петергофской даче...

И в Петергофе жил Василий Васильевич размеренно и спокойно, в повседневных трудах.

Сад под окнами робко зеленел. В Финском заливе голосили пароходы. Над Кронштадтом гуляли облака и дымы. Белые ночи мерцали, как листья осин. Ветер доносил плеск дворцовых фонтанов.

Спокойствие было утрачено исподволь. Был уже июнь, когда Василий Васильевич осознал явственно: если считаешь себя честным служителем науки, вернись. Ему вспомнилось, что в Дерпте, в университете, товарищи подтрунивали над ним: «Ученый малый, но педант». Педант? Нет, коллеги, тут не голый педантизм, тут — честность, добросовестность, тут сам перед собой в ответе.

Он сидел у растворенного окна. Сквозь прорехи в листве залив сизел, как дикий голубь. Было тихо, светло и как-то очень благополучно. Василий Васильевич взял рукопись, подержал на весу.

Вернуться? Снова желтая лихорадка, неизвестность, одиночество и тоска в сумраке лесов?.. Он положил рукопись, забрал в кулак дремучую, с проседью бороду, зажмурился. Не возвращаться? Выдать в свет слабую, незаконченную книгу? Не подлинное исследование, а беглый абрис?

Он медленно поднялся над письменным столом.

¹ Лакрима (лат.) — слеза.

² Литературный фонд — общество взаимопомощи, созданное литераторами.

Невысокий, хрупкого сложения человек, в облике которого было редкостное сочетание энергии и душевной мягкости, пристально глядел в распахнутое окно — на кусты сирени, на полосу залива, на весь этот светлый, тихий, благополучный день. Потом он медленно протянул руку, взял крышку, увенчанную орлом с распластанными крыльями, и накрыл чернильницу.

3

— Сэр! Гляньте-ка, сэр!

Стэнли подошел к борту. Густую синь Атлантики теснили зеленоватые волны. Атлантика отбрасывала чуждую прозелень, но та напирала могуче и весело.

Конго, африканская Амазонка! Стэнли знал, что еще несколько миль, и вот эта пресноводная зелень загустеет, примет коричневый оттенок, и поплывут в океане травы, ветви, древесные стволы.

Капитан Томсон подал Стэнли подозрную трубу. Стэнли увидел красноватые скалы. Не оборачиваясь, спросил:

— Итак, четырнадцатое августа?

Капитан заулыбался:

— Совершенно точно, сэр. Четырнадцатое августа одна тысяча восемьсот семьдесят девятого года от рождества Хрис-това.

— Н-да, — задумчиво ответил Стэнли. — Ровно два года назад, милый вы мой, я вышел к океану по Конго.

Капитан обиженно поджал губы. Право, начальник мог бы отметить кое-что другое. Ну хотя бы то, что капитан Томсон в такой короткий срок сумел привести «Альбион» от одного берега Африки к другому. Стэнли покосился на капитана и рассмеялся:

— Хотите стаканчик?

— Плевать я хотел на ваш стаканчик, — проворчал капитан. — Часа через три я положу якорь в Банана-Пойнт.

— Валяйте, капитан. Честное слово, у вас это здорово получается.

«Разве в такой час не следует быть терпимым?» — иронически подумал Стэнли, и мысли его приняли совсем другое направление.

С удивительной быстротой развернулись события. Давно ли повстречался в Марселе с посланцами бельгийского монарха? Кем ты был тогда, Генри Мортон Стэнли? Не будем скромничать. Ты и тогда был знаменит. Спаситель доктора Ливингстона. Автор книги, изданной во всех странах Европы, в Америке. Ты пересек Африку с востока на запад, прошел по Конго почти от истока до устья. Ты не очень-то силен в науках, но ты сделал больше, чем все Дарвины, потому что это ты, в сущности, первым изо всех громко объявил, что Цент-

ральная Африка зовет пионеров-колонистов, настоящих парней с железными мускулами и железными сердцами. И все-таки кем ты был тогда, в Марселе, сидя в ресторане отеля «Ницца»? Журналист, путешественник, и только. А теперь?

Припомнились анфилады брюссельского дворца, адъютант короля белобрысый капитан Тис, сам король Леопольд с прямым пробором в волосах, висячим носом и бородою совком. Припомнились совещания с джентльменами, имена которых столь внушительны в финансовом и промышленном мире. Они привыкли играть наверняка. Далеко ли вверх по Конго, спрашивали они, смогут подняться пароходы? Какова протяженность железной дороги, которую, очевидно, придется проложить в обход порогов на Конго? Какой импорт наиболее выгоден? Достаточно ли интеллектуальны вожди племен, чтобы осознать благоденствия белых? Сколько потребуется и каких именно товаров, чтобы договориться с вождями?

Они дымили сигарами, задумчиво постукивали по столу карандашами, переглядывались. А Генри Мортон Стэнли выкладывал свои карты. Его голос звучал четко, будто он откидывал костяшки на счетах.

«Наука», «Прогресс», «Христианство» — обо всем эдаком Стэнли не упоминал. Обо всем эдаком написали журналисты, возвещая рождение комитета по исследованию Верхнего Конго.

Что же до мистера Генри Мортон Стэнли, то он вышел из королевского дворца не журналистом и не просто путешественником. О нет! Он вышел из дворца главноуправляющим предприятия.

Главноуправляющий! Это звучит как главнокомандующий. Гонорары, которые платили в издательствах за книги об Африке, казались теперь нищенскими. Отныне у него свой расчетный счет в банках Английском и «Сосьете женераль дю Бельжик»...

Комитет торопился. Франция и Португалия тоже прицеливались к бассейну Конго. Как сказал поэт, «что упущено в мгновенье, того и вечность не вернет». Господа акционеры не желали упускать мгновения. Уполномоченные Леопольда II, все эти полковники, графы и гофмаршалы, осаждали главноуправляющего. Они не могли обвинить его в медлительности. Он действовал! Подбирал помощников. Главное, чтобы не были слюнтяями. История не спрашивает, как сделано, история спрашивает, что сделано. Хлопотал о судах и разборных домах, об оружии и провизии, о товарах для африканцев... Капитан Томсон пошел на «Альбионе» к восточному побережью Африки, к острову Занзибар. Там были наняты носильщики — вот эти молодцы, которые столь громогласно ликуют при виде берегов...

«Альбион», замедляя ход, приближался к устью Конго.

Черные парни, в лад топоча босыми пятками, прихлопывая в ладоши и сверкая улыбками, пели:

Друзья, вам случалось унывать.
Что вы скажете теперь?

Вот вы видите, как земля идет к нам,
И земля подкрепит нас мясом и вином.

Будем весь день играть и плясать.
Есть, пить, играть и плясать!

В полдень пароход был близ огромного устья Конго. Желтая песчаная коса выстреливала далеко в океан. На косе белели европейские фактории. Стэнли приказал поднять флаг: синее полотнище и на нем золотая звезда, та самая, что должна взойти над Конго, — флаг акционерной компании.

Приняв лоцмана, «Альбион» вошел в устье реки. Был виден лишь один ее берег, другой крылся в мареве. Конго раскидывалась вольно, на несколько миль. И вес же эта огромная, живая, всплескивающая масса коричневатой прохладной воды не могла одолеть духоту, натекавшую с берегов. Вот она, эта земля, встающая по правому борту «Альбиона». Она поросла мангровым лесом, где вызывающе-резко вскрикивают попугаи, где слоны, отыскивая пастбища, с треском ломают чащобы, где крадутся гибкие леопарды.

Четыре столетия минули с тех недобрых дней, когда европейцы увидели эти воды, этот берег. Зловещими призраками грядущих несчастий означались на коричневой реке медлительные каравеллы португальцев.

За четыре века до «Альбиона» пришли в Конго суда Джогу Кау. А за несколько веков до того, как пришли португальцы, вождь Нтину Беме основал государство Конго.

То была страна земледельцев и ремесленников, торговцев и охотников, широких дорог, проложенных на сотни миль в дебрях тропических лесов. Великим почетом пользовались в этой стране искусники кузнецы, и подчас чернокожие гефесты¹ садились на царский трон в столице Мбанза-Конго, которую населяли несколько десятков тысяч жителей.

Португальцы вползли в страну, как змеи. Медоточивы были уста католических миссионеров, уста, пересохшие не от жажды, а от жадности. Следом за воинством Христовым явилось воинство королевское. Попы чадили ладаном, солдаты — пороховым дымом. Но приспел день, и конголезцы восстали. И уж больше не довелось Лиссабону владеть африканской страной. Однако вскоре захирело детище легендарного Нтину Беме. Есть нечто равное чужеземному нашествию — междоусобные войны. И, обескровленное враждою царьков, поникло Конго, как никнет могучее древо, источенное червями...

¹ Гефест (греч.) — бог огня и кузнечного ремесла.

Главноуправляющий пристально вглядывается в шоколадные воды Конго. Хрящеватые уши мистера Стэнли подпирают поля твердой шляпы. И лицо у него тоже твердое, с резко обозначенной нижней челюстью, с круглой, как пулей вмятой, ямочкой на выбритом подбородке и поперечной складкой над переносицей. Он стоит молча, напряженно вытянувшись. Молчат и его помощники — дюжина европейцев и американцев. Все ждут, что он скажет. И он говорит:

— Смотрите, господа, Конго улыбается нам. Но знайте, это опасная река и шутки с нею плохи. — Он помолчал. — Итак, господа, нам назначено открыть новую эру в истории этой богатейшей страны. Да воссияет над нею золотая звезда нашего синего флага!

4

— Давным-давно, в древние времена, неподалеку от этих мест жила в пещере Леопардица...

Голос у сказителя был добрый, как толстые губы, и теплый, как полночь.

Василий Васильевич закинул руки за голову, гамак челноком качнулся под ним. В шалаше шебаршили термиты, дурнопахляно пахло травами.

— Однажды решила Леопардица нанять слугу. Явился к ней Шакал. Уши у Шакала назад загнуты, глаза у него вразбежку, и все-то он ухмыляется. Поглядела на Шакала Леопардица, и взяло ее сомнение: что это за слуга выискался? Позвала она на совет Собаку...

Вот уже полгода, как Юнкер вновь был в Африке, под сияющим небом, под пылающими звездами. Краем глаза видит он отблески огня на поляне, оранжевые жаркие отблески, темные фигуры носильщиков.

Полгода... За дальними цветными горизонтами остался нарядный Петергоф с медным Самсоном и фонтанным каскадом, с духовым оркестром, звоном шпор и лакированными колясками. Да что там Петергоф! Даже Александрия, египетский порт на Средиземном, даже Александрия с ее отелями и туристами, верблюдами и базарами была далече.

Там, в Александрии, настигли Василия Васильевича европейские газеты, извещавшие об отправке экспедиции Генри Стэнли. Образование комитета по исследованию Верхнего Конго обрадовало Юнкера. Теперь, думал он, европейцы основательно примутся за Центральную Африку. Англия или Франция, Бельгия или Германия — не все ль равно? Каждое из этих государств прекратит губительные для негров междоусобные войны, каждое будет строить больницы, школы, дороги. Генри Стэнли распахнет двери в Центральную Африку.

Стэнли... Громкое имя. Правда, его книги хороши для публики, не для серьезных исследователей. Пусть так. Однако в упорстве и отваге не откажешь Стэнли. А в экспедиции под его начальством наверняка есть настоящие географы и натуралисты — стало быть, и желать лучшего нечего. Они изучат низовье и верхнее течение. Ей-ей, завидно! Ему, Василию Юнкеру, разумеется, не тягаться с экспедицией. Он — одиночка, пустившийся к экватору на свой страх и риск. Ну что ж, каждый несет свой кирпичик для храма Знания...

В шалаше шуршали термиты, дурнопахля травами. Рыжие отблески костра лежали у шалаша, как лисицы.

На рассвете люди взвалили тюки. Тронулись. Пошли. След в след, широким шагом по узенькой, как ремешок, тропке, меж холмов, поросших лесом, по красноватой земле, обдутой ветрами, вброд через речки и ручьи.

Реки, реченьки, ручьи... Поди разберись, угадай: куда стремят они свои воды, то молчаливые, с приглублыми берегами, в мрачноватых тенях, то мелкие, говорливые, отсвечивающие веселой песчаной желтизной. Поди разберись! А разобраться надо. Тут, близ экватора, лежит водораздел Нила и Конго. Где они, точные карты? Нет их, тоскуют по ним картографы.

— Как ты говоришь, проводник?

— Бадуа, господин.

Бадуа — река, принадлежащая к бассейну Конго. Здравствуй, Бадуа! Тебе хорошо ль во мраке лесном? Какие сны тебе снятся в такой духоте? Вечером помечает Юнкер в путевой тетради, что нынче, 15 мая 1880 года, вышел он к реке Бадуа.

Рассвет. Черные люди несут белые тюки. Белые тюки плывут над зеленым травостоем. Травы в крупной, чуть не с виноградины, росе. Рубаха Юнкера промокла насквозь, лицо у него мокрое. Ничего, солнышко высушит. А к полудню он будет на месте.

— Что за река, ребята?

— Уэре, господин.

— Уэре?

— Уэре.

За Уэре уже нет леса, за Уэре — степь, саванна. Плещет, как океан, солнечный свет, великаны-лиственницы высятся, а подле них — хижины с соломенными крышами.

Как-то примут азанде белого путника? Слышишь? Глухим громом громит боевой барабан.

«Конго улыбается нам», — сказал Стэнли, когда винты «Альбиона» врезались в кофейные воды. Тысячемильный речной путь лежал перед Стэнли и его спутниками.

Благословенные недра Катанги, отягощенные золотом и углем, таящие мягкую медь и твердые алмазы, недра Катанги исторгали водоток, сперва зовущийся Луалабой, потом — Конго.

Тысячи миль пути. Неуверенное, лунатическое блуждание в мареве болотистых равнин, где все сочится гнилью, прет и хлюпает. Медлительный, плавный напор — все дальше. И вдруг, рассвирепев, река кидается на горы Митумбы, пересекает их ущельем и падает, задыхаясь, в зыбкие, радужно-мертвые топи Упембы. Но реку не берет в полон эта зыбкая топь, и вновь с тугой неодолимостью движется Конго вперед, к океану. Притоки, как вассалы-данники, несут ей свои воды; их много, этих данников, они по обе стороны экватора, и дважды в год празднует Конго паводок — в период тропических дождей в северном полушарии, в период тропических дождей в южном полушарии. Раздобревшая, могучая, она течет все дальше к океану.

Но Африке жаль расстаться с дочерью своей по имени Конго. Африка обнимает Конго обрывистыми берегами. Конго, не покорствуя, убыстряет ход; Африка, гневаясь, швыряет ей под ноги один порог, другой, третий... тридцать два порога швыряет ей под ноги Африка. Несколько сот миль борется Конго с каменными грядами, взметываясь пеной и рыдая, и Африка уступает, распахивая берега. И тогда победно, горделиво потряхивая волнами, глубокая, широкая, кофейная Конго наплывает на океан, вливается в океан и скользит далеко-далеко по малоподвижным соленым глубинным водам, далеко, на десятки миль, пока наконец не смешивается с Атлантикой, сотрясающей континенты.

«Конго улыбается нам», — сказал Стэнли в тот солнечный, блистающий день, когда пароход «Альбион» вошел в устье великой реки.

Но он не был склонен улыбаться Конго. У него свои счета с этой рекой и с проклятыми дикарями, населяющими ее берега. Сколько порогов на Конго выше Матади? Тридцать два, и ни одним меньше. А сколько крупных кровавых сражений выдержал он с конголезцами? Тридцать два, и ни одним меньше.

По гроб жизни не забыть ему семьдесят шестой и семьдесят седьмой годы, когда он плыл вниз по Конго.

«Это наша река!» — орали дикари, стреляя из старых португальских ружей, и шмелиный гуд свинцовых пуль-кругляшек перемежался злющим посвистом копий. Здесь, на Конго, он околевал с голоду, задыхался в лесах, таких влажных, что там могли бы жить рыбы; каждый час он ждал смерти и лишь с горсткой людей, отошавших и отупевших, добрался до Бома, до нижнего Конго. О, Стэнли знает цену этой реке, ко-

торая умеет так приветливо улыбаться под солнцем и так сказочно мерцать под звездами.

Ему противны болтуны, считающие африканца за человека. Африканец? Что такое африканец? Имеет страсть к наживе, не разбирая средств; ради обогащения готов грабить, убивать, насиловать. Он не уважает ни человеческой личности, ни какого-либо права. Так думает Стэнли.

Прошлое не повторится. Теперь за спиною банк Ротшильда и банк «Сосьете женераль дю Бельжик», теперь в его распоряжении пароходы, винтовки, бочки со скверным виски, куча всяческих припасов и молодцы, не боящиеся замарать руки в крови.

Когда-то вниз по Конго к океану везли рабов. Три века кряду их запихивали в трюмы парусников, отплывавших в Америку. Говорят, еще лет десять — пятнадцать назад в Конго промышляла «черным товаром» фирма Режи... Бог с нею, с работорговлей. Старая песня, вышедшая из моды, как и плавающие тюрьмы под парусами. Зачем возить черных за океан, когда и тут, в Конго, найдется дело! Разве в Европе не сбить золотые слитки и жемчуг Конго? Разве не ахнут европейские дамы при виде пятнистых леопардовых шкур, добытых в Конго? И разве не хороша для галантерейных фабрикантов кожа крокодилов, греющихся на серых речных камнях? А чудесная древесина — красное дерево, тик, окуме? А пальмы, встающие из земли, влажной, как губка? Нет, зачем же волочить невольников за океан!

До самого отъезда из Европы Стэнли неоднократно встречался с королем Бельгии Леопольдом II. Монарх и бывший репортер испытывали друг к другу чувства почти нежные. Оба были энергичны, оба умели держать язык за зубами и оба отлично уразумели справедливость латинской пословицы — *opes advectas annis*¹.

На дворцовых церемониях Леопольд едва удерживал зевоту, но в деловом кабинете, выслушивая биржевых агентов, беседуя с промышленниками или просматривая банковскую документацию, поданную личным секретарем графом Борхгреве, он отнюдь не скучал. В натуре его было то, что называется коммерческой сметкой, он был прирожденным воротилой-комбинатором.

Леопольд, однако, сознавал, что не обладает реальной военной силой для немедленного объявления Конго бельгийским. Не конголезцы его страшили, а «свой брат белый» — европейские державы. И король назвал предприятие интернациональным. К тому же Леопольд покамест не хотел начинать открытые военные действия в Конго. Полноте, он придумал новую методику.

¹ Богатство подвозит река (*лат.*).

Дело короля — думать и платить, дело главноуправляющего — действовать. «Конго улыбается нам». Стоили не улыбается Конго. И к дьяволу дурацкие рассуждения о морали!

Осенью семьдесят девятого года он готовит к плаванию привезенные из Европы паровые суда, сгружает обильные припасы, рассылает по окрестным племенам гонцов и не забывает удерживать в ежовых рукавицах наемников-занзибарцев.

Главноуправляющий! Поперечная складка над переносицей лежит как меч. Нижняя челюсть обозначилась еще резче, голос звучит жестко. Он вездесущ, он не знает усталости. Помощники-европейцы стараются во всем походить на мистера Стэнли, они побаиваются его, здорово побаиваются, не меньше, пожалуй, чем мухи цеце...

Затемно Стэнли возвращается на яхту «Ройял». Яхту подарил ему король Леопольд, шикарную яхту подарил, вся отделана красным деревом, бронзой.

Наскоро записывает он в дневнике свершенное нынче. И заканчивает: «Перед отходом ко сну я, по обыкновению, читал Библию». Поставив точку, валится на кожаный диван. Какая там Библия! Едва коснувшись подушки, он уже спит.

6

Боевой барабан сотрясал над саванной горячий воздух.

У Юнкера колотилось сердце. Он верил: африканские воины не станут нападать на одинокого белого. Не станут... А сердце все же колотилось тревожно.

Носильщики перешли Уэре, выбрались из зарослей. Буйное солнце ожгло, как кипятком, проводников, русского географа.

Рослый мускулистый человек, возвышаясь над воинами, поджидал пришельцев. «Вождь Ндорума», — сказали проводники Юнкеру.

Одних вождей прельщают ордена и регалии, другие к ним равнодушны. Вождь Ндорума знаками отличия пренебрегал, с него было довольно рокко — простой домотканой одежды. Его крупная голова была откинута, лицо изобличало натуру решительную, ум быстрый.

Почетная стража стояла полукольцом, усатые воины с заплетенными в мелкие косички-колбаски волосами. Набедренные повязки из обезьяньих шкур составляли их одежду, овальные щиты и копья с железными наконечниками — вооружение. А позади сгрудились жители селения, азанде, — одни совсем темные, другие посветлее, третьи почти желтокожие.

Носильщики остановились. Василий Васильевич выступил

вперед. Накануне он затвердил приветственную речь. Глядя на рослого вождя снизу вверх, Василий Васильевич начал с того, что расточил ему похвалы. Похвалы, как известно, вождям в отраду. Могучим, непобедимым, мудрым отцом народа называл Юнкер Ндоруму, и вождь, пренебрегавший знаками отличия, не устоял перед сладкими словесами. Он милостиво закивал головою, однако быстро совладал с приступом тщеславия и посмотрел на чужестранца пытливо, настороженно, вопрошительно.

Тогда Василий Васильевич перешел ко второй части своей речи. Он сказал, что прибыл сюда, к азанде, с открытым сердцем, что ему, белому, ничего не надо — ни рабов, ни слоновой кости, не надо ему никаких богатств, а надо только поселиться на берегах Уэре, узнать, как живут они, азанде, какие реки текут в их краях, какие животные водятся в их лесах...

Они слушали Юнкера с плохо скрытым недоверием. Что за чудеса? Ведь белым всегда нужны рабы, всегда нужна слоновая кость, а этот... Но он пришел один, без своих соплеменников, а в одиночку он не страшен.

Закончив речь. Юнкер сделал знак носильщикам распаковать три тюка. И опять — что за притча: не искрометные бусы-стекляшки, не блестящие зеркальца доставал белый пришелец из тюков, но ситцевые рубашки и холщовые портки. Русскую мужицкую одежду привез Василий Васильевич под экватор, в глубины Африки, и русской крестьянской одежкой одарил он всех, кто встречал его теперь «на околице» деревни.

— Чужестранец! — провозгласил Ндорума, и взбудораженная толпа стихла. — Чужестранец, на моей земле ты найдешь покой и кров. Мы примем тебя братски. Если тебе нужна хижина, ты получишь хижину, если тебе нужна жена, ты получишь жену, если тебе нужна пища, ты получишь пищу.

Когда вождь умолк, настал черед колдуна-бинзе. Что скажут духи о чужестранце? К добру иль худу явился белолицый человек?

Старик колдун был увешан амулетами из звериных клыков, какими-то палочками и камешками. Длинные петушиные перья, черные и красные, колыхались над седой головой.

От духов зависело многое. Колдун мог испортить всю обедню. Но тут Василий Васильевич заметил, что старик многозначительно косится на еще не распакованные тюки. Перехватив взгляд колдуна, Юнкер подмигнул ему и успокоился. «Экий меркантильный маг», — иронически подумал путешественник и стал смотреть, что будет дальше.

Тамтамы ударили торжественно и мерно. Все расступились, и старик колдун пошел кругами — медленно, плавно, сытым коршуном. Тамтамы участили ритм, колдун убыстрил

пляску. Амулеты на груди загремели, как галька в час прибоа, петушинные перья метнулись, как верхушка пальмы при порыве ветра.

Все чаще, все громче, все грознее били тамтамы. И все быстрее плясал колдун. Плясали его руки, ноги, скулы, все его жилистое, выдубленное солнцем тело, обвешанное палочками и камешками. Глаза прорицателя налились кровью, он покрылся потом. А тамтамы били уже в бешеном крутящемся темпе, завораживая, гипнотизируя толпу, заставляя всех притопывать, вскидывать плечи, поводить бедрами.

И разом смолкли тамтамы. Тишина рухнула на толпу, как тяжелый шатер, у которого подрубили деревянные стойки, тишина накрыла людей, и было слышно, как с присвистом и хрипом дышит старик колдун. Закатив глаза, налитые кровью, он распростерся на земле, прижал к ней ухо. Лопатки у колдуна ходуном ходили, ребра вздымались и опадали. Колдун слушал духов. Никто не двигался. Все словно бы оцепенели в страхе. И даже Юнкера пробрала нервная дрожь.

Наконец колдун поднялся, пьяно шатаясь. Стрельнул глазами на тюки и заговорил.

Духи, оказывается, вполне благосклонны к белому пришельцу. Пусть, вещают духи, белый пришелец останется здесь, в стране азанде. Юнкер слушал и прикидывал, чем отплатить «доброжелательным» духам...

На другой день географ обратился в строителя. Он мерил шагами расстояния, вбивал колышки, толковал жителям, где строить хижину, где складское помещение, где навес для просушки вещей, где следует разбить грядки под огород. И где возвести высокий плотный тын с затворяющимися воротами: не велика радость, ежели ночью ворвется леопард да и задерет тебя, спящего...

Тут, близ Уэре, в этой лесостепи, будет его маленькая усадьба, приют труда и отдохновения. Отсюда он будет уходить в дальние экскурсии и сюда будет возвращаться, чтобы обработать коллекции, пополнить записи, вычертить планы местности, нанести на карту маршруты.

Василий Васильевич спешил. Все надо было устроить до наступления затяжных тропических дождей. Носильщики, нанятые в Хартуме, доставили в саванну не только табак и материи, но топоры и пилы, молотки и гвозди. Азанде все это было в диковину. Пришлось Василию Васильевичу учить их плотничать. Сказать по чести, географ наш никудышным был мастеровым. Подтрунивая над собой и осторожно дотрагиваясь до волдырей на ладонях, он должен был сознаться, что ученики куда способнее учителя.

А время дождей начиналось. Дожди падали прямые и толстые. Они скрадывали дали, наполняя их равномерным шумом; чудилось, что денно и ночью жужжат десятки вере-

тен. Юнкер укрывался от непогоды в хижине вождя Ндорумы. Ветер тряс лиственницы, кусты на берегу Уэре, шуршал по кровле. Василий Васильевич сидел нахохлившись, ощущая ломоту во всем теле, жар, кружение головы: возвращалась проклятая лихорадка.

О, как он обрадовался, когда его усадебка была наконец готова! Он вошел в просторную хижину и почувствовал упоение бродяги, сделавшегося домовладельцем. Он оглядел балки, стены, обмазанные глиной, и хижина показалась ему прекраснее петергофской дачи.

Он постарался растянуть удовольствие. Долго выбирал место для письменного стола (стол этот, впрочем, ничем не отличался от обеденного), разложил на полке готовальню, геодезические инструменты, поставил жестяной ящик, в котором сберегал от прожорливых термитов дневник и карты. На столбе, подпиравшем середину крыши, вбил крючки, повесил ружья, москитные сетки. Застелив койку, достал книги, придвинул к столу два раскладных креслица... Постоял, огляделся... Ну вот, как будто все... Сел и блаженно затянулся сигарой.

На дворе дождь крутил незримые веретена, шумел, жужжал. Но теперь черт с ним, с дождем. Даже уютнее как-то. Василий Васильевич раскрыл жестяной ящик. Из ящика приятно пахнуло сухой бумагой. Так пахло в кабинете с окнами на Финский залив. Юнкер полистал беглые свои записи. Он вел их на пути из Хартума, с берегов Голубого Нила сюда, к водоразделу Нила и Конго. Беглость записей была неприятна Василию Васильевичу: неосновательность всегда раздражала. Пора привести записки в порядок. И положить на точную карту пройденный маршрут: от Хартума до... Ну да, до вот этой усадебки на берегу реки Уэре. Но тогда надо окрестить усадебку. Негоже ей быть безымянной.

Василий Васильевич перебрал несколько названий и отверг их. Он сидел в приятном раздумье. Будто внезапно, а в сущности потому, что он нынче припомнил петергофскую дачу, всплыли перед мысленным взором нежаркие летние утра, увидел он сад и увидел, как мама ухаживает за цветами, напевая трогательный романс Стигелли «Лакрима». Ах, «Лакрима», «Лакрима»... Он улыбнулся, покачал головой: экая сентиментальность... А впрочем, не такой уж большой грех — малая доза сентиментальности. И решил: его усадебка, его станция будет названа «Лакрима».

Стэнли помирал со смеху. Бельгиец майор Либерехтс вторил тенорком. Лейтенант Гилл, малый лет двадцати с лишним, прыскал в ладоши. И даже мрачноватый пароходный ме-

ханик Ден скалил зубы. А человек корчился, будто змеей укушенный, хватал воздух разинутым ртом.

Чертовски остроумный малый лейтенант Гилл! Дикарь клянчил у него нюхательного табачку, а лейтенант сунул ему горсть перца. Черномазый не раздумывая запустил в ноздри добрую понюшку, и вот — полюбуйтесь-ка на его обалделую рожу.

Четверо белых сидели у костра. Они сидели в стороне от других костров, где грелись зябкие занзибарцы. Неподалеку на темной реке светил фонарь колесного пароходика, ветер нес на берег запах нагретого металла и машинного масла. Ах, этот запах далекой Европы, он хоть немного отгоняет сырую жуть джунглей.

Ужин был готов, кофе варился. Они принялись за еду.

Мистер Стэнли не зря ел хлеб. И не зря акционеры во главе с королем Леопольдом переводили круглые суммы на банковский счет главноуправляющего. Стэнли успешно осуществлял придуманный в Брюсселе *Modus operandi*¹. Никаких фейерверков, господа, поменьше шуму; чем позднее раскусят великие державы наш «способ», тем лучше.

Итак, помимо прочего снаряжения и вооружения, главноуправляющий располагал пачкой печатных договоров. В договорах было оставлено место для наименования географических пунктов и имен туземных вождей: пропущенное заполнялось в Африке. Как это делалось? А вот как. Вы высаживаетесь где-нибудь на берегу Конго и приглашаете местного царька. Вы пьете с ним спиртное (ничего, ничего, потерпите), щедро одаряете бусами, медной проволокой, бочонками веселящей влаги, ветхими камзолами прадедовского фасона, шляпами, которые носили некогда кучера городских фиакров, панталонами, проданными старьевщику каким-нибудь лакеем. И в благодарность просите самую малость: пусть-ка вождь приложит свою царственную ручку к договору. Не забудьте — договор в двух экземплярах: один — в Брюссель, другой — на память конголезцу. Царек, разумеется, не может взять в толк, что это за бумажка, которую ему так настойчиво сует белый господин. Не жалеете виски, не жалеете рухляди. Подписано? Смешные закорючки, но потом царьку будет не до смеху. Ведь согласно договору такой-то участок земли, с лесами, реками, саванной, переходит во владение компании. А если кто-то, смекнув, что его околпачили, вздумает противиться компании, тогда... тогда уж: «Ребята, к бою! Смерть черным обезьянам! Вперед а-а-арш!» Что же до других европейских держав, то и они не вправе предъявлять претензии. Помилуйте, вот договоры, вот

¹ Способ действий (лат.).

контракты. Кто же посмеет не уважить священное право собственности?!

Одoleвая течение, тщательно и звонко припечатывая плитами, рея синими флагами с золотой звездой, шли вверх по Конго пароходы «Бельжик», «Эсперанс», «Авант»... Они плыли то близ берегов, по водам, затененным мангровыми зарослями, то держались на стрежне, над глубиью, то обходили острова, где вились бледные, почти невидимые в ясном дне дымы рыбацких деревенок, и, встречаясь с длинными, выдолбленными из цельного ствола пирогами, издавали шальные свистки, и над прибрежными папоротниками взметывались дикие утки, сновали взад-вперед, как черные челноки.

Пароходы Стэнли шли вверх по Конго. Когда суда становились на якорь, это значило, что на берег съедут занзибарцы, в лесу застучат топоры, с предсмертным стоном рухнут деревья, завизжат пилы. Пароходным топкам нужны дрова.

Но не только занзибарские парни съезжают с кораблей на берег. «Бельжик», «Эсперанс» и «Авант» покидают тогда и белые господа. Белые господа не валят леса, не заготавливают топливо. У белых дела поважнее.

Вон и теперь, ужиная у костра, толкуют они о завтрашней встрече со старшинами деревень, расположенных в этом районе, что называется по-здешнему Виви. Стэнли отлично знает, как вести переговоры с вождями, но тут, в Виви, есть некая закавыка, и требуется пораскинуть мозгами...

На другой день вожди посетили лагерь главноуправляющего компанией мистера Стэнли.

Их было пятеро, пятеро конголезцев. Каждый из них считался независимым друг от друга, хотя все они признавали за старшего Мавунги, жившего на вершине лесистой горы.

Мавунги, хромоногий, хмурый и недоверчивый, представил белому господину своих соплеменников. Один из них был бодрый седовласый старик с медными кольцами на ногах и амулетом из крокодильих зубов. На голове у него сидела сдвинутая набекрень фетровая шляпа. Старик не без грации поклонился Стэнли. Другой, тоже в годах, с достоинством носивший ветхий синий мундир, некогда принадлежавший, должно быть, какому-то солдату, помахал в знак приветствия рукою и посторонился, уступая место совсем еще молодому, пригожему и статному вождю, нарядившемуся ради столь торжественного случая в коричневый сюртук и новую набедренную повязку из белой материи с синим узором.

Всякий раз, увидев на «дикарях» европейские наряды, Стэнли, подавляя усмешку, думал, какую блистательную коммерцию могли бы вести в Африке лондонские, антверпенские, брюссельские старьевщики. Он подумал об этом и теперь, пожимая руки вождям Виви.

Пока они обменивались приветствиями со Стэнли и его

помощниками, телохранители, вооруженные копьями и кремневыми ружьями, разложили под ветвистым деревом циновки. Белые и черные расселись. Хмурый Мавунги сказал:

— Мы, главные вожди Виви, рады видеть вас, белые люди. Если вы хотите поселиться в нашей стране, мы возражать не станем. Мы надеемся, что будем с вами большими друзьями. — Он помолчал и прибавил: — А теперь слово главному белому господину.

— Вожди, — сказал Стэнли, — я рад слышать любезную речь, но, прежде чем говорить о делах, не лучше ли...

Стэнли кивнул Гиллу. Лейтенант встал и пошел распорядиться. Но тут-то и началась «заковыка»: пусть, мрачно возразил Мавунги, пусть сперва будут речи, а после выпивка.

— Так-так... — Стэнли улыбался одними губами. Не врал, выходит, в Бома, предупреждая, что с этим Мавунгой надо держаться начеку. — Так как же, вожди? Нет, я не могу не угостить вас. Это не в моих правилах. Вы пришли ко мне... Вы тут у нас... — Он сделал нетерпеливый жест. — И я не могу...

Мавунги упрямо нагнул голову. Но другие вожди сказали, что и вправду, мол, нехорошо отказываться от угощения, джин не помешает дружеской беседе. Мавунги вскинул голову, глаза его сверкнули, но он промолчал.

Придется, соображал Стэнли, глядя, как занзибарцы тащат угощения и выкатывают из-под навеса бочонок со спиртным, придется повозиться с этим треклятым царьком. А что попишешь? Район Виви нужен позарез. Дело не в плантации. Плевать на плантацию. Здесь, у Виви, кончается судоходство вверх по Конго, вот что важно. Дальше — пороги. В обход порогов будет построена железная дорога. Без железной дороги Конго не стоит и гроша. А Виви — это порт, перегрузочный порт. Правда, берега круты, обрывисты, потребуются опытные инженеры, чтобы устроить порт... Там, где порт, там и город. Майор Либерехтс недаром шатался в окрестностях. Либерехтс утверждает, что на плато, в предгорье, может разместиться населенный пункт на два десятка тысяч жителей... Нет, сделка должна быть совершена во что бы то ни стало!

Четверо белых не скупилась, угощая пятерых черных. Они сидели друг против друга, усердно наполняя кружки. Все развеселилось. Только Мавунги держался отчужденно. Стэнли встал его под руку.

— Разве ты не видишь, вождь, — тихонько заговорил Стэнли, — что земля ваша заросла лесами, дорог нет и мало людей. Если нет дорог и мало людей, вождь не может быть богат и могуч. Поселись тут мои люди, и все изменится. И ты, ты первый, Мавунги, стал бы знатен... Пей, друг мой, пей. Разве ты не слыхал обо мне? Люди Конго зовут меня Буля

Матади¹. И они правы: нет таких скал, которые я не мог бы сокрушить. Ты не слышал, а? Они зовут меня Буля Матади...

Мавунги покосился на высокие зашнурованные ботинки белого господина. Хорошие ботинки, очень хорошие. Буля Матади? Нет, он слышал иное: один старик из Бома назвал этого господина Ипанга Нгунда..² А ботинки на нем хорошие, очень хорошие...

— Что ж ты молчишь, вождь? — продолжал вполголоса Стэнли. — Нам ведь не так уж много нужно. Клочок земли. Мы заплатим, хорошо заплатим. Хочешь деньгами, хочешь джином, хочешь красивыми тканями и одеждой. А? Ну, чего ж ты молчишь, Мавунги?

— Я отвечаю, белый господин. — На его хмуром лице мелькнуло что-то похожее на лукавство, но заговорил он серьезно: — Как-то раз шакал поймал кролика и говорит: «Чего ты хочешь, ушастый, чтобы я перегрыз тебе горло, чтобы я тебя повесил, чтобы я размозжил тебе голову или чтобы я утопил тебя?» — «О шакал, — ответил кролик, — я вовсе не хочу, чтобы ты меня убивал». — «Ну, знаешь ли, — рассердился шакал, — об этом и говорить нечего».

Мавунги поставил кружку, не пригубив ее.

— Очень хорошо, — рассмеялся Стэнли, — очень хорошо, вождь. Отличная басня. Но я не шакал, а ты не кролик. Я не первый год в вашей стране. Я видел такие племена, которых не только ты, но и твои деды не видели. И вот что я тебе скажу, вождь, — Стэнли добродушно прищурился, — все вы, брат, умеете хорошо торговаться. Вот в Бома есть один мальчишка лет восьми, но торгуется он лучше любого белого. Что же о тебе говорить? И я вовсе не браню тебя. Ты — мудрый...

Под ветвистым деревом ложились тени. Солнце закатывалось. Река была багровой. Стэнли вдруг встал, вглядываясь в речную даль. Он поднял руку. Стало тихо. И в тишине все услышали пыхтение машины и удары колес по воде.

— «Авант», — сказал механик Ден. Он был уже сильно во хмелю и сосал пустую трубку. — Разрази меня гром, «Авант».

— Да, — согласился Стэнли, — это «Авант». Вожди, вот идет еще одна большая пирога. Там много моих людей, и у них не только много оружия, но и много товаров. Они везут товары для вас. Кто скажет, что Буля Матади хоть раз обманул своих друзей? Ну что же... Я прошу вас, вожди, принять пока по бутылке джина. Возвращайтесь в свои деревни. Обдумайте все, что я предлагаю. Завтра я снова жду вас. Помните: Буля Матади может отнять то, что ему нужно, но Буля Матади не хочет отнимать, он хочет хорошо платить. Я жду вас завтра. Прощайте!

¹ Буля Матади — Сокрушитель Скал.

² Ипанга Нгунда — Проклятый Пришелец.

Минула ночь, возгорелось утро. Вожди пришли в назначенный час. Мавунги не желал пролития крови, Мавунги соглашался уступить часть земли Виви. Пятьсот акров, не больше. Стэнли обрадовался. Но тут вожди запросили не только подарки, но и деньги. А деньги — это деньги. Бусы и медная проволока — пожалуйста. Но деньги... У Стэнли заходили желваки. Три часа рядился с вождями Виви главноуправляющий акционерной компании. И еще часа два убил на то, чтобы склонить Мавунги подписать договор. Наконец сделка свершилась. Мистер Стэнли мысленно поздравил себя и компанию еще с одним важным приобретением в Конго. Оно обошлось в тридцать два фунта помесячной платы. По европейским меркам — дешево, по меркам, привычным Стэнли, — дороговато. Треклятый Мавунги... Однако черт с ним, теперь — за работу.

Надо было вырубить лес, раскорчевать пни, очистить землю от камней, срезать дерн. Тут, на берегу, скоро встанут бревенчатые укрепления и запоет военный рожок, приветствуя подъем синего флага с золотой звездой.

Из деревень Виви сбежались жители. Было на что поглядеть! Вожди тоже явились, все, кроме Мавунги. Мутными после пьянки глазами, осоловевшие, мучимые изжогой, они молча смотрели, как распоряжаются белые пришельцы, как сгружают с «Аванта» паровой молот и механик с трубой в зубах орет на занзибарцев, размахивая волосатым кулаком. Нецеремонно и властно вторгалась в Виви какая-то новая, непонятная и страшная жизнь, и сквозь шум ее, сквозь командные возгласы, стук лопат, заступов, гудки пароходов вождям слышался голос Мавунги: «Но я вовсе не хочу, чтобы ты меня убивал», — сказал кролик. «Ну, знаешь ли, — рассердился шакал, — об этом и говорить нечего».

8

Вечерами в усадьбу «Лакрима» жаловали гости: вождь Ндорума, его родственники, старик колдун, умевший так ловко извлекать пользу из своего знакомства с духами, земледельцы, растившие похожий на коноплю злак телебун, и охотники, способные сразить на бегу быстроногую чуткую антилопу.

Василий Васильевич не спешил затворять двери. Входите, дорогие гости. Хозяин «Лакримы» в душе ликовал: они стали его друзьями. Он изучит обычаи азанде, узнает о прошлом этого народа. Он не верит тем, кто утверждает, что у африканцев нет исторических воспоминаний. И потом — коллекции. Он пополнит собрание африканских коллекций, переданных им русской Академии наук. В особенности изделиями из железа. Азанде — искуснейшие кузнецы. Стоит только

взглянуть на их копыа: наконечники выделаны превосходно и так разнообразны...

«Я старался соединить полезное с приятным, — записывал в дневнике Василий Васильевич, — показывая Ндоруме и его обществу различные предметы и ведя с ними по этому поводу поучительные беседы. В таких случаях главную роль играли различного рода музыкальные инструменты. В моем распоряжении находилась большая шарманка, музыкальные ящики, гармоника и различные духовые инструменты для детей. Как-то раз я блеснул окариной¹, имевшей форму рыбы. Я умел извлекать из этого инструмента звуки, принесшие мне шумные аплодисменты и возгласы «акоох», которыми азанде выражают свое удивление. Детские флейты и трубки в металлической оправе с клапанами также вызвали удивление. Простая форма флейты — трубка хорошо знакома тамошним неграм. При всеобщем изумлении заиграл я на большой гармонии... Надо не забыть также разного рода музыкальные ящики, которые, как говорили туземцы, без участия человеческой руки издают «такие непостижимо милые звуки из живота». Мои музыкальные энтузиасты просто немели от этих звуков, так что часто наступала прямо-таки священная тишина. Изумление приняло новые формы, когда я дал возможность посетителям посмотреть через стеклянную пластинку внутрь «живота». Ящик стоял на рабочем столе между книгами, и незаметно я пускал его в ход в то время, как посетители осматривались в новом для них мире. Едва только раздавались заглушенные звуки музыкального ящика, причем я сам оглядывался кругом, прислушиваясь с удивленным взглядом, как на посетителей напал страх и они, один за другим, выскальзывали из помещения. И лишь последних я звал назад, показывая на ящик, и под шутки и смех изгонял страшного демона. Известно, что большинство африканцев твердо верит в колдовство и колдовскую силу некоторых людей. Но колдун, не причиняющий никому зла, был для здешних людей, наверное, новостью, и скоро они должны были убедиться в отсутствии сверхъестественного в представленном сюрпризе...»

Неприметно иссякали недели.

Юнкер вычерчивал карту: путь от Хартума до реки Уэре. Все, что видел, все, что узнал он на том пути, ложилось строка за строкой в дневник. Одновременно он писал статью. Василий Васильевич надеялся отправить ее okazji в Хартум, от туда — в Европу. Он преследовал двух зайцев: напечатать статью в научном периодическом издании и сохранить свои записи на случай утраты дневника. Каждодневно заносил он в особую тетрадь метеорологические наблюдения. Его «Лакри-

¹ Окарина — музыкальный инструмент, род флейты.

ма» была не только жильем. Она была первой метеостанцией в стране народа азанде, в глубинах Африки. И еще — первым опытным участком, где росли овощи северных широт. Недаром Василий Васильевич привез из России семена, недаром посадил на здешней земле морковь, сельдерей, свеклу, петрушку, укроп — вот взошли они, обильно политые дождями. С любопытством разглядывают чудные овощи и сам Ндорума, и его подданные, выпытывая с похвальной нетерпеливостью всяческие агрономические сведения. И кто знает, думал Юнкер, не лучшей ли памятью о нем будут те огороды, которые разведут азанде рядом с маисовыми полями, рядом с полями телебуна.

У реки Уэре в селении вождя Ндорумы, на станции «Лакрима», Василий Васильевич отметил годовщину: год минул, как оставил он родину. Должно быть, давно ожидают от него вестей в Петербурге. Но родина далека, и нет оказии в Хартум.

Да, почта не ходит в дебри Африки. Не услышишь стук почтаря в дверь. И стук телеграфного аппарата тоже не услышишь. Нет вестей от Василия Васильевича в далеком Петербурге. Но есть вести о нем в обширных лесах, в саваннах. Но узеньким тропам, по шатким лиановым мосткам, перекинутым через реки, сквозь сумрак чащ идут удивительные вести, и спешат на станцию «Лакрима» гонцы от разных вождей, от разных племен.

Вожди и племена звали к себе чужеземца, которому не нужны ни рабы, ни бивни слонов. И Юнкер говорил гонцам: приду, ждите.

«Меня занимал план, — писал Василий Васильевич, — заключавшийся в том, чтобы уже теперь объездить другие области, тем более что благодаря дружеским посольствам и приглашениям властителей, живущих вокруг нас, дороги для меня были открыты во всех направлениях. Теперешний период дождей не должен был препятствовать путешествию. Я считал, что легче будет путешествовать с небольшим багажом, и надеялся получить еще в этом году удовлетворение от новой работы и от обогащения моих знаний о стране и народе — удовлетворение, которое мне и не могла и не должна была дать спокойная жизнь на станции, как бы ни была приятна эта жизнь... Я бы охотно наслаждался этим счастьем более продолжительное время, но чувство долга постоянно напоминало мне, что я прибыл в эти страны не ради личного удовольствия и что впереди предстояло еще много работы».

И вот однажды — дело было тихим июльским вечером — Юнкер сказал Ндоруме:

— Послушай, я намерен уйти.

Скуластое лицо вождя напряглось и затвердело, хотя он и не переменил своей обычной позы: сидел в раскладном кресле, опустив широкие массивные плечи.

— Слышишь? Я ухожу.

— Тебе здесь плохо? — с обидой спросил Ндорума. — Может быть, тебе не хватает маиса? Или вяленые термиты не пришлись тебе по вкусу?

— Плохо? — Юнкер рассмеялся. — Совсем не плохо, и все мне здесь пришлось по вкусу. Но я ведь не обещал жить у тебя вечно.

Неделю спустя Ндорума проводил Юнкера. С небольшим отрядом носильщиков Василий Васильевич покинул «Лакриму» и вскоре углубился в лес, где бежала Уэре...

Еще в деревне Василия Васильевича предупредили: «Господин, здесь их можно встретить». И он ожидал этой встречи. Но когда проводники закричали: «Бия, скорее!» — его прошиб пот.

— Бия! — громко звали проводники. — Господин!

Юнкер продирался сквозь чащу что было мочи. Падал, спотыкался, хлюпал по болотцам, переваливался через осклизлые, в три-четыре обхвата валежины.

— Вон там, бия! Вон там, господин!

Он сжал ружье и задрал голову.

В густых кронах что-то двигалось очень быстро, ловко, мощно, и ветви прогибались, трещали, а листва вскипала, шумела. Они были там — наверху, в гущине, — их было несколько. Эх, хоть бы одну!.. Юнкер приложился и выстрелил.

Ревом, и воплями отозвались обезьяны. И тотчас посыпались на Юнкера сучья и палки. Шимпанзе были в ярости.

Юнкер увертывался и бежал. Падал, спотыкался, бежал. И стрелял, стрелял, не целясь, вверх, по кронам. Лишь пятым выстрелом сразил он шимпанзе, и обезьяна тяжело рухнула наземь. То было крупное старое животное, тучное, с мускулистыми конечностями. Юнкер нагнулся над ним.

Скорбные глаза стекленели, и Юнкера охватило странное, смутное и неприятное чувство — чувство своей вины; но он постарался отделаться от него, повел плечами и подумал, что вот наконец и Академический музей в Петербурге получит прекрасное чучело человекообразной обезьяны. Однако смутное чувство вины и неловкости не прошло, и Василий Васильевич с поддельной внимательностью стал рассматривать ружье.

Проводники быстро привязали убитое животное к толстым жердям и взвалили на плечи. Надо было возвращаться в селение, чтобы препарировать шимпанзе, изготовить чучело.

Завидев процессию, Ндорума пришел в восторг. Он решил, что белый пришелец передумал и останется у него. Но когда Юнкер сказал, что скоро опять уйдет, Ндорума ответил, что больше не даст проводников.

Ндорума не желал расставаться с Юнкером. Не только потому, что вождь просто-напросто привязался к Василию Ва-

сильевичу, но и потому, что жительство белого в селении придавало Ндоруме особый вес и значение среди окрестных князьков.

Долго упрямылся Ндорума. Юнкер и уговаривая, и страшал, наконец объявил, что уйдет один, без провожатых. Едва уломал Ндоруму. Проводники вновь были собраны, а Василий Васильевич простился с Уэре, с «Лакримой».

Он избрал маршрут, неведомый европейцам, не отображенный на картах, не изученный натуралистами. Итак, говорил он себе, итак, вперед и помни девиз: «Не рискуй, но и не робей». Оглянулся и помахал рукой.

9

Травы вставали в гвардейский рост. Ветер наклонял травы, и они обнимали Юнкера за плечи плотно и властно. После полудня гремел гром. Молнии состязались в метании копий. И водопадом низвергался ливень. Угрюмые болота разевали черные пасти. Сивые испарения клубились над болотами, звенел в ушах стон москитов. И пели свои песни реки...

За реками и лесами лежала саванна и каменистые плато. Там шаг делался легче и тверже, там дышалось вольготнее. Над саваннами и каменистыми плато вставали радуги, и солнце катилось под ними, как под триумфальными арками.

Не пустыми посулами оказались слова гонцов, полной мерой познал теперь Юнкер гостеприимство азанде.

Он живет в деревнях. Для него строят хижины, его угощают сочными дынями, сладким бататом, тягучим медом. А вечерами он слушает повествования о прошлом.

Все достоверно в африканских хрониках, как в сказаниях русских поморов о северных корабельных путях. Они передаются от дедов к внукам, сквозь сумрак времен, как сквозь сумрак лесов передается сигнальный бой барабанов. Эти хроники затверждаются наизусть, память азанде несокрушима и поразительна. И это не просто память об ушедшем, это то, что зовется историческим самосознанием, без которого ни один народ не может свершить великих дел в будущем.

Тени прошлого обступают костер, пышут жаром огня, и они, эти тени прошлого, — в глазах у людей, что сидят рядом с Юнкером.

Не банановая роща окружает рассказчика и слушателей, а хижины больших поселений на берегах реки Шари и ее притоков. Не у костра сидят они, а идут на восток вместе с переселенцами азанде и мангбету, сражаются с лесными племенами и покоряют их. Не возня ночной птицы и не лепетания ручейка слышатся во тьме Юнкеру, а говор и шум многолюдного собрания, на котором азанде и мангбету объединяются

в могущественные племенные союзы и выбирают верховных вождей...

И мысленно видит Василий Васильевич весь бассейн великого Конго. О, если бы и Центральная Африка, думает он, обрела когда-нибудь своего Генриха Шлимана...¹

У радушного вождя Мбимы задержался Юнкер подольше. Селение, расположенное посреди полей маиса и ямса, было, что называется, полной чашей, и Василий Васильевич основательно отдохнул в нем, а кроме того, привел в некоторый порядок свое платье, превращенное лесными странствиями в живописные, как у опереточного нищего, лохмотья.

У Мбимы и разыскали путешественника посланцы князька Земио, и Василий Васильевич тотчас собрался в дорогу.

Земио почтил Юнкера столь церемониальной встречей, что Василий Васильевич почувствовал себя не ученым, а персоной почти королевских кровей. Все было устроено, как подобает для приема особо почетного гостя: дружина с тяжелыми, старого образца ружьями, щитonosцы и копьеносцы, барабаны, знамена. Знамена склонились перед Юнкером. Впервые в жизни сугубо штатский Василий Васильевич ощутил желание взять под козырек. Но, увы, козырек на его тропическом шлеме прикрывал шею, и Василий Васильевич почел за лучшее протянуть Земио руку.

В отличие от своих воинов, высоких и худощавых, тридцатилетний Земио был приземист и дороден. В белой арабской одежде и красных сафьяновых туфлях, он смахивал бы на гуся, когда бы не благожелательное и умное выражение глаз.

Юнкер был приглашен к трапезе. С удовольствием отведал куриного супа, съел омлет и принялся за пиво, поданное в высоких флягах. А в пиве Василий Васильевич знал толк. Недаром еще студентом жил в эстонском городке Дерпте и в немецком городке Геттингене. Тамошние бурши² приохотили его к горьковатому напитку. Юнкер помнил, как это делалось: большая глиняная кружка шла по кругу, каждый отпивал изрядный глоток...

В становище Земио пришлось заняться дипломатией. Дело было в том, что гостеприимный хозяин враждовал с соседними вождями, вражда со дня на день могла вылиться в порядочную драку. Смекалистый Земио воспользовался приездом чужестранца и надменно известил соседей-врагов, что у него, Земио, объявился могущественный, непобедимый союзник, а посему, дескать, шутки с ним плохи. Узнав об этих угрозах, Юнкер рассердился.

— Земио, — сказал он, — я странствую вовсе не для того,

¹ Шлиман Генрих (1822—1890) — знаменитый немецкий археолог, произвел грандиозные раскопки в Малой Азии и Греции.

² Бурш (нем.) — студент.

чтобы потворствовать вашим братоубийственным стычкам. Запомни: где бы ни ступала моя нога, я не допущу пролития крови.

— Хорошо, — согласился Земио, — но тогда позволь мне позвать врагов и скажи им длинное ласковое слово.

Вожди пришли. Все расселись под навесом. Юнкер сказал «длинное ласковое слово». Он убеждал вождей, что худой мир лучше доброй ссоры, что их вражда — их же смертельный враг и что, действуя вместе, они всегда смогут одолеть любое нашествие. Вожди слушали внимательно, кивали головами, поддакивали, и Юнкеру казалось, что в нем пропадает мудрый дипломат. Пропирав за полночь, вожди разошлись, а Василий Васильевич, усталый, обьевший и довольный, убрался в свою хижину.

Утром путешественник долго беседовал с Земио.

«Он, — записал Василий Васильевич в дневник, — проявлял ко многому больше интереса и понимания, чем другие его соплеменники; ему любопытно было услышать от меня различные вещи о наших европейских условиях, а он со своей стороны дал мне ценный материал о стране и людях. С помощью Земио и по его данным я мог уже предварительно набросать карту некоторых участков страны».

О, Земио знал страну азанде, очень хорошо знал. Он со своим отрядом исходил ее вдоль и поперек. Ведь Земио состоял на службе у хартумских арабов. Арабы снабжали оружием и боеприпасами, материей, украшениями. А Земио расплачивался слоновой костью, отнимая ее у соплеменников. Вот и теперь он отправлялся на юг за добычей, за изжелта-белыми бивнями, и, глядя на его сборы, Василий Васильевич предавался печальным размышлениям.

Охота на слонов, как и охота на чернокожих, была злощастьем Африки. Охота на слонов, как и охота на чернокожих, была счастливой статьёй бандитской коммерции европейцев.

В те годы, когда Юнкер исследовал водораздел Нила и Конго, в порт на Темзе пароходы доставили свыше пятисот тонн слоновой кости, и, стало быть, в Африке было загублено ни много ни мало — тысяч семьдесят животных. Денежные тузы заключали сделки с американцами, и часть поистине золотой кости уплывала на фабрики Буффало, Айвортона, Дип-Ривера.

Биллиардные шары — как славно катились они, постукивая, на зеленом сукне. Клавиши роялей — как приятно было касаться теплой их глади, наигрывая венские вальсы. Рукоятки зонтов — как нежили они ладонь джентльмена, вышедшего на прогулку. Прелестные безделки — как уютно прикорнули они на туалетных столиках и мраморных каминных досках. И расплывались в улыбке молодожены, именинники, юбиля-

ры, принимая в подарок коробки с семью слониками. А гребешки, брошки, мундштуки, ножи для разрезания бумаги, миниатюры, рамки, шкатулки — все эти вещицы, свидетельствующие о вашем достатке?

Это — за океаном, в Старом и Новом Свете. А тут, в Африке? Тут рыщут неутомимые банды, вооруженные французскими легкими одностволками, ружьями английскими и португальскими, снабженные бочонками американского пороха. И караваны невольников тащат к океану драгоценную слоновую кость, и из каждой пятерки носильщиков помирает дорогой четверой.

Если бы хоть один кусок слоновой кости, попавший в Европу или в Северную Америку, думает Юнкер, только бы один кусок исторг все стенания, все жалобы, всю кровь, которыми пропитался он в Африке, ужас объял бы белых...

Земио, чернокожий Земио, который получал оружие от арабских торгашей и грабил своих соплеменников, Земио улыбался и говорил Юнкеру, что скоро, очень скоро пойдут они вместе по землям азанде.

Но Василия Васильевича мытарит тропическая лихорадка. Он то в жару, то обливается холодным потом. И бредит. Огни Невского разгораются все ярче, слепят глаза... Петергофские фонтаны гремят, разрывают голову... Таинственные реки несут Юнкера все быстрее, и все ближе, ближе страшные водовороты. И в бреду он выкрикивает названия рек: — Мбому... Уэле... Мбому... Уэле...

Лихорадка изводит как невыплаканное горе. У Василия Васильевича дрожали колени, лицо было в блекло-зеленых тюремных тенях. Но дорога звала, дорога на юг. Вернее, бездорожье.

В молодости он видел Исландию, ее нагие скалы, безмолвные ее ледники, волны цвета селедочных спинок. Он думал тогда, что ничего нет тягостнее путешествия в северных широтах. Оказалось, в тропических не легче.

Но странное дело: минуло несколько трудных, изматывающих душу и тело походных будней, и Василий Васильевич избавился от лихорадки. У него было такое ощущение, словно он сбросил ее с плеч. И тогда же среди банановых зарослей он рассмотрел красивые домики с двускатными крышами — селение мангбету. Неподалеку, значит, Уэле.

Но тут, среди густых лесов, перемежавшихся травянистыми равнинами, настигли Юнкера двое гонцов. Первый был добрым вестником. Его прислал старый знакомец — Ндорума. На голове у гонца покоился объемистый сверток, зашитый в обезьянью шкуру. Почта из России! Восемь месяцев, долгих, как восемь лет, дожидался он известий с родины. И вот дождался!

Темное лицо другого гонца было непроницаемым и важным. Он наклонил голову, украшенную повязкой из тонких

черных шнуров, падавших на лоб и сходящихся на затылке двумя обручами, наклонил голову и сложил к ногам Юнкера два куриных крыла.

Проводники попятились. Куриные крылья означали, что чужеземцу грозит смерть на берегу реки Уэле.

10

Занзибарца повесили.

— Так будет с каждым, кто посмеет напасть на белого человека. — И Стэнли пошел к берегу, его ждала под парами яхта «Ройял».

В Виви оставался майор Либерехтс: артиллерист королевской службы управится с конголезцами, нанятыми для земляночных работ. Правда, главноуправляющий хотел послать майора в деревню Матади, но после убийства лейтенанта Гилла пришлось оставить Либерехтса в Виви.

Бедняга Гилл, плохо кончились твои шуточки. А ведь как ты умел потешить своих товарищей. Уморительно корчился чернокожий, получив щепоть перцу вместо нюхательного табака. Да... А теперь занзибарец на дереве, Гилл же зарыт в земле.

Кто бы мог подумать? Разобитый дикарь на виду у всех саданул лейтенанта ножом в сердце...

Впрочем, мертвых не воротить, как прожитый день. Главноуправляющего одолевают иные заботы. Виви — лишь один из многих укрепленных пунктов на берегах Конго. Есть еще Леопольдвиль, Исангила, есть и другие. И он, Стэнли, должен поспевать всюду. Он должен командовать, писать в Брюссель, принимать новые партии грузов, улаживать споры, ругаться с пароходными механиками... А тут еще надо приступить к вырубке леса. Сперва в обход порогов на несколько сот миль пройдет трасса. Без железной дороги нечего и думать о больших, по-настоящему прибыльных перевозках.

Проложить дорогу. Прорубить сквозь тропические леса, где дышится так, будто тебя посадили в аквариум. Каждую милю дороги отметит крест над могилой какого-нибудь Джона или Петера, служащего компании. А могил конголезцев не будет: черных мертвецов уберут четвероногие хищники. Но пока еще нет этих конголезцев. Вернее, есть — живут в своих деревнях, охотятся, рыбачат, ковыряют землю. У них крепкие мускулы, и — надо быть справедливым — они быстро смекают, как действовать шанцевым инструментом.

Мистер Стэнли снует по деревням. Он предлагает вождям подписать новые договоры: столько-то человек будут работать там-то и столько-то времени. О вожди, твердит мистер Стэнли, я ваш друг, я, Буля Матади, обращаюсь к вам за помощью. Посмотрите на ваших сильных мужчин. Соберите чело-

век сто, двести, триста. Пусть они выйдут на работы. Вы посылаете своих мужчин в Бома, и там они с трудом сбывают рыбу, шкуры, пальмовое масло. А я предлагаю вам продать их сильные руки. Вот вам платки, бусы, материя, браслеты. Разве они не стоят сильных рук, которые ведь останутся при ваших мужчинах?

И вожди, поколебавшись, «подписывали» клочки бумаги с типографским текстом. Конголезцы уходили в леса, они шли на войну с лесами, они шли навстречу своей гибели в лесах. И дорога, необходимая акционерам из Брюсселя, Парижа и Лондона, дорога, где спустя несколько лет сипло протрубит паровоз, эта дорога на берегу Конго начала строиться.

А мистер Стэнли, главноуправляющий, отписывал в Европу: «Я и мои товарищи питаем твердую уверенность, что как бы нас ни поносили люди, движимые завистью, злобой или ревностью, но если бы мы предстали перед строжайшим судилищем, то никакому прокурору не удалось бы выведать на наш счет ничего, кроме самого искреннего самопожертвования. Мы не думаем о наградах. Ничто не может сравниться с тем чувством душевного удовлетворения, которое человек ощущает, когда может сказать: «Я обещал вам честно и добросовестно исполнить такое-то дело, положив на него все свои силы и способности, и вот, с помощью божией, оно исполнено. Посмотрите и скажите, хорошо ли оно сделано?» И если тот, кто задавал задачу, чистосердечно ответит: «Да, это сделано вполне хорошо и добросовестно», то выше этой награды не может быть на свете».

И, заканчивая письмо, осведомлялся: перечислена ли на его имя в Английский банк очередная сумма фунтов стерлингов?

11

Куриные крылья бросил к ногам Юнкера молчаливый посланец вождя Мамбанге. То было честное предупреждение: если чужеземец переступит границу, его настигнет смерть.

Василий Васильевич угрюмо потупился. Крылышки какой-то худенькой, невзрачной, блошливой курочки-рябы, одной из тех, что бродят по африканским деревушкам вместе с рыжими узкомордыми собачонками. Мирная курочка-ряба... и вот на тебе — вещает беду. И это теперь, когда он вышел к долгожданной Уэле.

Уэле широка и спокойна. Рыба всплескивает, тени облаков плывут, ветви никнут к самой воде. Ни один географ в мире еще не знает, что Уэле — правый приток Конго. Исследовать Уэле, положить на карту — об этом думал Василий Васильевич. И вот нежданно-негаданно наткнулся на нежелание

вождя Мамбанге видеть пришельца... Василий Васильевич вздрогнул и прислушался. Низкий протяжный вой доносился из-за поворота реки. Все громче, все громче... Длинная боевая пирога вытянулась из-за мыса. За нею — другая, третья, четвертая... Пятнадцать боевых пирог насчитал Юнкер.

Мерно и сильно ударили короткие весла. Склонялись и выпрямлялись гребцы в черных повязках. Наконечники копий сверкали под солнцем. Гремел и перекатывался над Уэле боевой клич. Смотри, чужеземец, как могуч вождь Мамбанге!

Пришлось опять напяливать «дипломатический фрак». Юнкер посылал заверения в дружбе. Юнкер посылал подарки. Мамбанге отвергал все дары. Мамбанге рассуждал так: белый явился на Уэле вместе с Земио и его людьми; известно, зачем приходит Земио: отнимать слоновую кость; значит, чужеземец пришел за тем же — за слоновой костью.

Юнкера разбирала досада. Черт возьми, он даром теряет время! Мамбанге путает все планы. Однако терпение, терпение всегда было его главным помощником.

Оно выручило и на этот раз. Мамбанге наконец назначил свидание. Василий Васильевич от телохранителей отказался. С ним пойдут только двое безоружных слуг.

Он переплыл реку, взобрался на кручу и увидел толпу подданных Мамбанге.

— Ну, — пробормотал Василий Васильевич, — была не была, — и пошел напрямиком к толпе.

Высокий, стройный вождь выступил вперед. Его большие выпуклые глаза уставились на бородатого чужеземца... Белый протянул руку. Вождь протянул белому руку. И вместе, не произнося ни слова, они пошли вперед. Воины расступались перед ними. Воины смыкались за ними.

Мамбанге и Юнкер сели на скамью. Скамью подпирали деревянные резные ножки, она напоминала бильярдный стол.

Воцарилась тишина. Один из проводников был толмачом. Василий Васильевич велел переводить каждую фразу в отдельности.

— Вождь! Я сердечно рад видеть тебя.

— Тише! Тише! — закричали в толпе, хотя и без того было так тихо, что слышался плеск Уэле.

— Я давно хотел тебя видеть, вождь, — продолжал Василий Васильевич. — Мне жаль, что ты не верил мне. Я пришел из страны, где люди умеют держать свое слово. Теперь я вижу: ты веришь в мою дружбу, и это хорошо, вождь. Я рад нашей встрече...

Мамбанге наклонил голову:

— Слова твои, чужеземец, облегчили мое сердце. В душе твоей нет, наверное, зла. Мои люди успокоятся. Наши дети могут теперь спать спокойно. Ты можешь остаться и жить среди нас. Правда, ты не знаешь наших законов, но, даже

если ты и нарушишь какой-нибудь из них, я все-таки не сделаю тебе зла. Ибо ты белый, а белые ничего не смыслят в приличиях.

Василий Васильевич растерянно заулыбался. Последние слова вождя смутили его. А Мамбанге произнес их без тени насмешки: всякий чужеземец — варвар.

Юнкер остался в селении мангбету. И при свете вечернего огня снова бежало перо по листам дорожной тетради.

Он описывал селение вождя Мамбанге. Нигде в Африке не видел Юнкер, чтобы селение так смахивало на крепость. И даже мост был как в замках. Мост с западной стороны — единственный доступ в селение. На ровной и очищенной от травы площадке был устроен навес: тут, под навесом, сходились жители на собрания и праздники. Вождь и его жены помещались, как и подобает царствующим особам, в отдельной беседке. От нее отходили в сторсны две длинные, около ста шагов, галереи с крышей из банановых листьев. Жилища Мамбанге, как и полагается жилищам владык, были огорожены, представляя собой крепость в крепости.

В отличие от женщин азанде женщины мангбету имели право появляться в кругу мужчин. Юнкеру, который интересовался всеми обычаями, это было кстати. Женщины пришли с детьми, с ручной своей работой, со скамеечками, испещренными красивыми узорами, и расположились без всякого смущения. А ребятишки окружили белого человека, трогали его бороду, его одежду, и когда Юнкер принял от одной женщины полугодовалого младенца и стал качать на коленях, это привело в ликование всю деревню.

Мангбету поразили Юнкера не только укрепленным селением, но и искусной обработкой железа. В особенности хороши были наконечники для копий и лезвия для ножей. Да и в выделке больших щитов они были мастаками, и Василий Васильевич наменял немало щитов, изошренно украшенных медными и железными пластинами.

Но, пожалуй, самое большое удовольствие, переходившее в истинное наслаждение, доставляла Василию Васильевичу музыка. Часами слушал он, как играли на двух маримба, похожих на ксилофоны. Клавиши делались из красного дерева, резонаторами служили выдолбленные тыквы или глиняные сосуды, в ход пускалось одновременно четыре молоточка, по два в каждой руке.

А были еще необычные танцы, необычная ритмика жестов, была поражающая любовь к орнаменту, были песни и сказки. Удивительное искусство таилось в лесном полумраке Центральной Африки, искусство, не похожее ни на какое иное в мире.

Европейцы твердили: на этом континенте, кроме Египта, который-де лишь географически принадлежит Африке, ниче-

го нет достойного внимания искусствоведа. Что ж, когда торгуешь людьми, когда убиваешь людей, надо как-то доказать, что торгуешь вовсе и не людьми, а полуживотными, что убиваешь не людей, а всего-навсего низшие, неполноценные существа. А коли так, то и все их орнаменты, все их изделия из железа и медные бляшки, маски и маримба, музыка и пантомимы — не стоят и ломаного гроша.

А Юнкер хоть и не отчетливо, но сознает, что Красота — многолика. Ему, конечно, и в голову не приходит, что спустя какие-нибудь три десятилетия это искусство околдует таких художников Европы, как Пабло Пикассо. Нет, Юнкеру это не приходит в голову. Но так же, как, слушая древние хроники, он думал, что Африка ждет своего Генриха Шлимана, так и, собирая этнографические коллекции, глядя на танцоров и музыкантов,¹ думал он, что Африка ждет своих Винкельманов² и Стасовых².

География, ботаника, этнография... Разве своротишь эдакую гору? Василий Васильевич в иную минуту поникал: один, как перст один... И завидовал Стэнли. Вот у кого, без сомнения, дела идут полным ходом. Ничего не скажешь: экспедиция! Велики, ох велики будут достижения ученых экспедиции Стэнли.

В свертке, зашитом в обезьянью шкуру, в той самой почтовой посылке, которую доставил гонец вождя Ндорумы, были не только письма, но и объемистая пачка газет. Василий Васильевич рассеянно проглядел политические известия — они никогда по-настоящему не волновали его, но зато внимательнейшим образом прочитал и перечитал несколько статей об экспедиции Стэнли.

Увы, в них ничего не было о научных исследованиях. Василий Васильевич поразмыслил и объяснил это умолчание скромностью и добросовестностью ученых, не желающих торопиться... Ну хорошо, хорошо, подождем, подождем... Наверное, они тоже еще не закончили свои исследования, как и он, Юнкер, свои...

Нет, Василий Васильевич не помышлял о возвращении в Россию. Рано. Сделано мало. Вот здесь, к югу от Уэле, так резко и так отчетливо просматриваются отличия в цвете кожи. Какая богатая шкала оттенков! Он изучит и опишет ее. Потом вернется к Ндоруме, на свою «Лакриму». Отдохнув, отправится к другим племенам. В разных местах следует пересечь Уэле. А еще есть на свете реки Бомоканди и Непоко. Как же не побывать там? А карликовые племена, вызывающие такие споры в ученых кругах?..

Не новичок в Африке Юнкер. Он сознает, что ждет его в

¹ Виннельман Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий историк искусства.

² Стасов В.В. (1824—1906) — музыкальный и художественный критик.

долгих странствиях. Лихорадка притаилась в крови, ноги поражены какими-то язвами. И вечная опасность заболеть дизентерией. И эта подспудная, все увеличивающаяся тоска по родине. Прежде полагал, что с нею нетрудно справиться. А на поверку — ой трудно.

Но как бы там ни было, он пойдет по лесам столь великолепным, что и лесами-то не назовешь, а скажешь возвышенно: лесное святилище. Клубы тяжелых, плотных туманов обрушат на него ураганы, и в шуме бурь покажется он самому себе беспомощной песчинкой. Тропические грозы низвергнут на него белое пламя, и пожары в саваннах окутают удушливым, едким дымом. Гиппопотамы выставят из речных вод широкие ноздрястые морды, и двухметровые ядовитые змеи заползут к нему в палатку, угрожая смертью. На бесконечных болотах «обэ» он будет брести, раскидывая руки в стороны, а забинтованные изъязвленные ноги будут болеть нестерпимо.

Он пройдет по лесам, по саваннам, по болотам. Ему помогут, его выручат и поддержат черные друзья. И старый знакомец Ндорума, и Земио, и вождь Мамбанге, с которым, совершив древний обряд, станет он кровным братом...

Географ знает, что ждет его в долгих странствиях. Но он не позволит увести из Африки упрек самому себе: ты мог сделать больше...

* * *

Они повстречались в марте восемьдесят седьмого года.

Большая гостиница в центре Каира была набита туристами и вещами, о существовании которых Василий Васильевич Юнкер помнил весьма смутно, — умывальниками, кожаными креслами, постелями с перинами и льняными простынями, диванами, зеркалами, картинами в бронзовых рамах. В гостинице можно было услаждаться — о, чудо из чудес! — свежими газетами и пивом со льда.

Василий Васильевич прожил в гостинице неделю. Он отослал багаж с коллекциями, заказал билет на пароход, отправляющийся в Европу, и уже совсем готов был к отъезду, но тут.

Мистер Генри Мортон Стэнли прибыл в Каир по делам чрезвычайной важности. Впрочем, мистер Генри Мортон Стэнли неизменно прибывал в Африку по делам чрезвычайной важности.

С Конго было покончено. Вот уже два года как европейские державы торжественно признали некое «свободное Государство Конго», находящееся под властью короля Бельгии Лепольда II. Свободное... На печальный курьез этот никто не обращал внимания... Итак, с Конго было покончено, но бывший главноуправляющий предприятия не имел ни малейшего

желания видеть закрытым свой расчетный счет в банке. Испытанный «африканец», прославленный журналистами и дельцами всех стран, не мог остаться сторонним зрителем в годы, когда сбывалось его же предсказание о том, что европейские парни локтями и пинками пробьют дорогу к сокровищам Африки. А Сокрушитель Скал, Буля Матади, Генри Стэнли помнил: «Что упущено в мгновенье, того и вечность не вернет».

И вот он снова был в Африке. На сей раз Генри служил не королю Бельгии, не акционерной компании. На сей раз он служил Англии и отправлялся в Судан, где уже несколько лет кряду повстанцы сражались с английскими и египетскими войсками.

Сухощавый, быстрый, он появился в каирской гостинице, вызвав любопытство туристов, провожаемый шепотом: «Смотрите, вот идет Стэнли».

В день приезда, вечером, когда он уже выходил из номера, направляясь в освещенный разноцветными фонариками сад при гостинице, где можно было немного размяться на площадке для игры в крокет, слуга подал ему конверт.

В конверте была записка от доктора Юнкера, действительного члена Русского географического общества. Имя доктора Юнкера напомнило Стэнли газетные сообщения об исчезнувшем в Экваториальной Африке одиноким исследователе. «Ну, вот он и нашелся, этот русский», — подумал Стэнли без особой радости, но тут же сообразил, что ведь Юнкер-то путешествовал именно в тех краях, где ему, Стэнли, очевидно, придется действовать в нынешнем или будущем году. Стэнли опять взглянул на записку. Предлагает встретиться. Хочет вручить коллеге копию своей карты. Ого! Картой верховий Конго пренебрегать не следует. Карты водораздела... Надо идти к нему. Доктор Юнкер, географ Юнкер. Наверное, из этих... из породы изможденных подвижников науки, наивных негрофилов... Черт с ним, но карты стоят того, чтобы пропустить партию в крокет, и не только в крокет.

Все было очень мило. Они сидели друг против друга в покойных креслах. Мартовский вечер по-кошачьему, неслышно ходил за растворенными окнами. Василий Васильевич, блестя глазами, говорил, что очень рад и взволнован встречей с человеком, так много сделавшим, что он отдает господину Стэнли дань высокого уважения... Стэнли улыбался, разглядывая собеседника и думая, что в заочном своем определении не ошибся: так и есть. Юнкер один из тех, кто поглощен картографией да коллекциями.

Но когда Василий Васильевич, воодушевившись, ероша черную, с проседью бороду, стал распространяться о том, сколь вольготно заживут «бедные негры» под эгидой просвещенных старших братьев европейцев, Стэнли почувствовал

прилив раздражения. Он сильно затаился, выпустил дым и, помахав сигарой, сказал:

— Боюсь, дорогой доктор, вы не совсем представляете наши задачи в Африке.

— Простите? — опешил Василий Васильевич.

— Видите ли... Надеюсь, вы не станете возражать? Все эти черные умственно до того мелко плавают, что совершенно не в состоянии оценить великодушия белых.

— М-м-м, — промычал Василий Васильевич. И закивал головой: — Ну да, ну да, понимаю, вы хотите сказать, что они стоят на другой ступени развития?

— Э, ступень развития! — снисходительно молвил Стэнли. — Вам памятли леса Центральной Африки? Мне тоже. Ну, скажите на милость, разве тамошние племена не должны быть признаны наилучшими образцами человечества на всем земном шаре?

Василий Васильевич взглянул на своего гостя; почему-то бросились в глаза большие хрящеватые уши.

— Мои семилетние скитания, — медленно начал Василий Васильевич, — элементарная честность ученого, наконец, простая человеческая порядочность... Да, порядочность... Все это, господин Стэнли, не позволяет мне согласиться с вами.

Стэнли вспомнил о карте, обещанных Юнкером. Не следует, спохватился он, дразнить этого наивного бородача. Стэнли посмотрел на кончик сигары и сказал тоном примирительным, почти добродушным:

— Мои мысли об африканцах, дорогой коллега, не так уж мрачны. Негры, вероятно, так же способны к исправлению, как и каторжники Новой Каледонии. Со временем, быть может, и негры обратятся в народ, соблюдающий порядок и признающий законы... Возможно, возможно, — повторил он с улыбкой, — очень возможно. Как ни свирепы их нравы, как ни отвратительны обычаи, но в каждом ведь теплится божья искра. И дело будущих поколений — раздуть ее в чистый огонь. — Он опять улыбнулся и, доверительно положив на колено Юнкера свою руку, украшенную большим бриллиантовым перстнем, добавил с подкупающей скромностью: — Впрочем, я ведь ни в Геттингене, ни в Оксфорде не обучался и потому высказываюсь с грубостью, быть может излишней.

Василий Васильевич откинулся в кресле: ему было неприятно доверительное прикосновение Стэнли. А тот продолжал:

— Есть люди дела, есть люди науки. Тут существует какой-то водораздел. Черт его знает... — Стэнли развел руками и опять заулыбался. — А помогать друг другу нам бог велел. Вы хотели показать мне вашу карту, дорогой доктор?

Да, он хотел показать карту. Хотел... А теперь? Что же те-

перь? Почему он медлит? Да потому, что господин Стэнли слишком... слишком (как бы это сказать?)... слишком далек от науки. Но он этого и не скрывает. И потом, не один Стэнли представляет Европу в Африке.

Василий Васильевич поднялся. Достал копию большой карты водораздела Нила и Конго. Помешкал. И разложил ее на столе.

Часа полтора спустя, выслушав объяснения доктора Юнкера, мистер Генри Мортон Стэнли вернулся в свой номер.

Василий Васильевич остался один. Каирская ночь двумя черными прямоугольниками была прибита к окнам гвоздиками-звездами. Василий Васильевич курил. Как это сказал Стэнли? Водораздел... Есть, говорит, водораздел между людьми науки и людьми дела. Да-с, во-до-раз-дел... А он, географ Юнкер, полагал до сей поры, что водоразделы бывают лишь на земле, но не в душах человеческих...

Василий Васильевич курил. На сердце у него было скверно.

В апреле 1883 года «Принцесса Фатима», эдакая грязнуля с ржавой трубой, положила якорь поблизости от кораллового рифа, за которым скучно белел африканский городишко Эль-Кусейр.

Капитан Уго Марчеллини сел в шлюпку и отправился на берег узнать, много ли набралось пассажиров и нет ли почты из Суэца от судовладельцев.

В Эль-Кусейр только что пришел большой караван с богомольцами, и они — арабы, суданцы, нубийцы — толпились у берега, радостно указывая друг другу на пароход, отдувавшийся там, за коралловым рифом. Богомольцы почтительно расступались перед капитаном, он двигался сквозь толпу, чуточку прихрамывая, ни на кого не глядя, с выражением застарелой тоски на длинном лице, и думал, что нынче же, приняв паломников, снимется с якоря.

Вдруг кто-то окликнул капитана. Марчеллини оглянулся. Перед ним был человек лет двадцати пяти, с рыжеватой молодой бородкой и серыми смеющимися глазами. Марчеллини знал всех здешних европейцев, но этого не знал.

— Доктор Елисеев. Из России.

— Из России? — Марчеллини приподнял одну бровь. — Здравствуйте, синьор доктор. Какими судьбами?

Елисеев отвечал, что путешествует по Африке, был в Александрии, плавал вверх по Нилу, потом прошел с караваном аравийские пески, а теперь просит место на борту «Принцессы Фатимы».

— Место? — Марчеллини приподнял вторую бровь, отчего его длинное лицо показалось Елисееву еще длиннее. — Сделайте милость, доктор. Но... какой курс вы держите, прошу прощения?

— Держу в море, — весело сказал Елисеев. — Хочу увидеть, какое оно, Красное море.

Кто-кто, а Марчеллини знал это проклятое море, и веселый тон доктора неприятно задел капитана.

— Хотите видеть Красное море? — Уго потер ладонью колючую худую щеку. — Отлично, синьор доктор, вы увидите Красное море. — Это прозвучало почти угрожающе.

В тот же день корабельная шлюпка доставила на борт «Принцессы Фатимы» Александра Васильевича Елисеева, его небольшой багаж и неизменную дорожную аптечку.

К вечеру на пароход повалили богомольцы. Великие тяготы снесли они, прежде чем добрались в маленький приморский Эль-Кусейр. Неделями шли, месяцами. Где вплавь, где вброд переправлялись через реки. Брели в лесах, брели пустынями. Все вытерпели ради того, чтобы сесть на пароход, переплыть Красное море и ступить на берег Аравии. В Аравии, в порту Джидда, начинался караванный путь, путь в Мекку.

Босые, в изодранных одеждах, изможденные, поднимались они, перебирая четки, на палубу «Принцессы Фатимы»: жители нильских побережий, суданские охотники, обитатели сахарских оазисов, алжирские горцы.

Когда небо и море померкли, последние лодки вернулись в Эль-Кусейр, «Принцесса» вспугнула винтом акул, и рейс начался.

Ночь пришла душная, море светилось, как гнилушка. Елисеев, утомившийся за день, решил соснуть. Он спустился в каюту, но в каюте было как в парилке. Елисеев задохнулся, выругался и поспешил наверх.

Богомольцы уже разлеглись вповалку на палубе. «Принцесса» пыхла и переваливалась на волне. Капитан Марчеллини лунатиком шатался по баку.

— Доброй ночи, — вяло сказал Марчеллини.

— Да уж до-о-обрая, — протянул Елисеев. — Я понял, капитан, состояние курицы, из которой готовят бульон.

— А ведь это только апрель, — все так же вяло заметил Марчеллини.

— Воображаю, какво летом.

Они стали прохаживаться рядом.

— Впервые в Африке?

— Вторично, капитан.

— О! Когда же успели?

— Два года назад приезжал, студентом. Был в Александрии, в Каире.

— Вы богаты?

— Как церковная мышь, — рассмеялся Елисеев.

— Жаждете приключений?

— И да, и нет.

— Как прикажете понимать?

— Долго толковать, капитан.

— А куда спешить? Клянусь мадонной, не уснете.

— И так будет?

— Пока не привалю кноте.

— Скоро ли привыкну, капитан?

— Я привыкаю десять лет...

— Что ж вас удерживает?

Марчеллини нехотя ответил:

— Об этом долго рассказывать.

Елисеев возразил его же словами:

— А куда спешить?

— Э! — крикнул Марчеллини. — Ловлю вас на слове. Спешить действительно некуда. Уснем под утро... Знаете, доктор, давайте-ка сперва вашу историю, потом — мою. Впрочем, в моей нет ничего любопытного.

— Да и моя, — улыбнулся Елисеев, — отнюдь не «Тысяча и одна ночь».

— Э! — сказал Марчеллини.

Елисееву нередко приходилось рассказывать о себе всякого рода попутчикам, но рассказ его всегда отличался краткостью, пожалуй чрезмерной. На упреки в лаконизме, присущем скорее военному человеку, чем медику, он отшучивался: во-первых, говорил, жизнь его недолга, ибо родился он в 1858 году, а во-вторых, краткость речи должна быть ему присуща, ибо он не просто лекарь, а военный лекарь.

Так и теперь, душной апрельской ночью, посреди Красного моря, прохаживаясь по грязной и склизкой палубе «Принцессы Фатимы», он недолго разгонял тоску капитана Марчеллини. Александр Васильевич сказал только, что объявился на белый свет в крепости Свеаборг, у Финского залива, в семье армейского офицера, с малолетства кочевал вместе с полком, учился сперва в Кронштадтской гимназии, потом в Петербурге, в университете и Медико-хирургической академии, немного служил и порядком странствовал, испытывая душевную потребность в смене впечатлений.

Елисеев не стал объяснять капитану свою, как он иронически выражался, «философию путешествий». Между тем ирония была напускной, потому что Александр Васильевич в самом деле составил для себя систему взглядов на путешественников и путешествия, исходя из убеждения в том, что странствия — самое лучшее, чем только может быть наполнена жизнь человеческая. И он чурался оседлого бытия, как черт ладана, хотя каждая экспедиция пожирала без остатка его скудные сбережения, добытые жесточайшей экономией и сотрудничеством в журналах.

Когда же Марчеллини спросил, в каких краях довелось побывать синьору доктору, тот перечислил:

— Финляндия, Урал, Скандинавия, север России, Африка, Малая Азия...

— Да вы — энциклопедия.

Елисеев ухмыльнулся:

— Странствия, как фруктовый напиток: пьешь — приятно, а жажду не утоляет.

Он не распространялся, что с детства полюбились ему походная жизнь, что заветный, всегда волнующий смысл слышал он в словах «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит», что мир прекрасен и полон тайн, что он обожает (хотя и терпеть не может этого слова), да, обожает старую нашу землю и хотел бы всю ее объять своей любовью...

Нет, обо всем этом он не говорил капитану «Принцессы». Да и как было передать состояние полуголодного студента, три четверти года сидевшего в аудитории или шнырявшего по Питеру в поисках уроков, как было передать тот восторг, то чувство раскованности, обновления всего существа, когда летней порой вдыхал он запах рыбы и честного труда в Скандинавии, когда шел с полесовщиками Приуралья, когда ощущал буслаевскую силушку северной Руси, слышал шум беломорских волн и тишину скитов?

Зачем было рассказывать сие капитану Марчеллини?.. Что такое? А-а, он спрашивает, что привело синьора доктора в Африку?

— В Африку? Да... В Африку... Чары одного соотечественника, капитан. Вы слышали — Юнкер?

— Нет, — сказал Марчеллини, — не слышал. Я уже десять лет только и слышу: «Лебьяк Алла хума лебьяк!»¹ — Капитан ткнул пальцем туда, где белели в темноте богомольцы. — Что тут, черт побери, услышишь?

— Почему же?.. О Юнкере писали газеты. Вы ведь бываете в Суэце?

— И все же ничего я о нем не слышал, прошу прощения.

— Господин Юнкер, — внушительно начал Елисеев, — известный ученый, путешественник, исследователь Африки.

— Э, — усмехнулся Марчеллини, — очевидно, ваш Стэнли? Теперь ведь все стремятся заполучить своего Стэнли.

Елисеев неодобрительно покачал головой:

— Можно спорить, капитан.

— Разве я не прав?

— До некоторой степени.

— До какой же, доктор?

— Видите ли... Впрочем, мы сильно отклонимся...

— Но все же?

— Хорошо, я скажу. Стэнли, разумеется, великий путешественник. Но наш Юнкер — ученый. Ученый и еще раз ученый. А Стэнли — литератор, разведчик, потом уж, попутно, так сказать, географ. Теперь примите в расчет: ведь нашей державе нечего искать в Африке.

— Что верно, то верно, — согласился Марчеллини. — Куда

¹ «Мы твои слуги, боже!» — обычное восклицание мусульманских паломников.

вашему царю еще и Африка? Он недавно заглотнул Кавказ, а теперь закусывает Туркестаном.

Елисеева покорило. Он сердито сказал, что синьор капитан не слишком утруждает себя выбором выражений и что присоединение Кавказа и Туркестана к Российской империи было совершенно необходимо «со всех ракурсов».

— Вот-вот, — кивнул Марчеллини, — у великих держав всегда есть про запас несколько «ракурсов». — Он остановился и принялся раскуривать сигару.

Елисеев облокотился о фальшборт. Над морем дышал юго-восточный ветер, сухой и горячий, как дыхание тифозного. В небе дымилась и текли звезды... У Елисеева совсем пропало желание беседовать с Марчеллини.

Но Марчеллини не хотел обрывать разговор с первым русским пассажиром «Принцессы Фатимы». Сказать по правде, ему, Уго Марчеллини, в сущности, наплевать на всю эту заваруху в Африке. И на то, что французы захватили Тунис, и на то, что англичане рыщут в Египте и целят на Судан, и на то, что бельгийцы прибирают к рукам Конго... Марчеллини давно понял, что политика — грязное дело, но пусть этот эскулап не задирает свой короткий нос. Они, видите ли, рыцари науки, они, видите ли, не имеют притязаний на Африку. Хорошо, не имеют, это так... Но просто-напросто оттого, что у них и под боком добра хватает... А эскулап, гляди-ка, тотчас взвился, лишь только были упомянуты Кавказ и Туркестан. Э, нет, постой-ка, милейший, Уго Марчеллини припрет тебя к стенке...

И, раскурив сигару, капитан тоже облокотился о фальшборт. Елисеев отодвинулся. В этом движении чувствовалась неприязнь. Уго усмехнулся и закинул удочку:

— Вы, помнится, упоминали Александрию, синьор доктор?

— Да... Это ужасно...

Обугленные развалины Александрии действительно были ужасны, и Елисеев уехал оттуда удрученным. За несколько месяцев до его вторичного путешествия по Африке в Александрии возгорелось восстание против европейского засилья, и командир британской эскадры адмирал Сеймур обрушил на город такой артиллерийский ураган, что назвать это нападение пиратским значило бы жестоко оскорбить пиратов.

— Вы находите это ужасным? — Марчеллини со злобной иронией сломил брови и затянулся сигарой.

Елисеев покосился на него. Капитан в ту минуту смахивал на Мефистофеля.

— Не так ли? — допытывался Уго. — А не находите ли вы ужасными пепелища кавказских аулов и резню в Туркестане?

Елисеев резко выпрямился.

— Знаете что, — гневно процедила доктор. — Знаете что... Оставьте меня в покое. Это все у вас от бессонницы.

— У вас, вероятно, тоже, — с жестяным смешком ответил Марчеллини.

Елисеев ушел в каюту. Ему показалось, что там стало свежее. Он разделся донага и вытянулся на койке. А капитан «Принцессы Фатимы» так и остался в неведении, какими чарами зачаровал его пассажира некий Юнкер.

Не поведал капитану доктор Елисеев про тот зимний день 1879 года, когда он, студент-медик, желтый от недоедания, пахнувший формалином и дешевым табачищем, сидел в зале Географического общества и слушал, притаившись, отчет Василия Васильевича Юнкера. Не узнал Марчеллини и про то, как шел этот студент в своем пальтишке на рыбьем меху рядом с Василием Васильевичем — усталым и вежливым, шел, изливаясь сумбурно и сбивчиво в своей страсти к путешествиям; как потом долго сидел в своей бедняцкой каморке с ложем, напоминавшим рахметовское, с шатким столиком, на котором чесночная колбаса и кислый хлеб соседствовали с человеческим черепом и учебниками анатомии; как сидел он в этой каморке и завидовал Василию Васильевичу Юнкеру... Впрочем, и теперь, спустя годы, уже дипломированным доктором, обзаведясь глянцевыми визитными карточками, отпечатанными в типографии Кноре, что на Кировной, и круглой медной печаткой для рецептов, изготовленной в граверной Сидорова, что у Сенного рынка, и теперь еще Елисеев зачастую испытывал зависть к Василию Васильевичу. Не дача Юнкеров в Петергофе, не щегольской удобный экипаж, который следовал за Юнкером, возвращавшимся с заседания Географического общества, не вывески банкирского дома Юнкера, что со скромной солидностью поблескивали на Невском в Петербурге и на Кузнецком в Москве, нет, не они вызывали зависть Елисеева. Он завидовал тому, что Василий Васильевич, снаряжая свои экспедиции, не стеснялся в средствах, а путешествуя, никогда не заглядывал с тревогой в кошелек.

Елисеев вздохнул и натянул на себя простыню. Нда-с, а ты, дружок, строчишь журнальные статьи и бегаешь по редакциям. Гонорар же, известно, что свидание с любимой: ждешь долго, проходит незаметно... Разумеется, врачей в империи меньше, чем исправников или, скажем, попов. Можно бы осесть в любом уездном городишке с заплесневелыми прудами и бесконечными заборами, а то и в губернском, где каменные лабазы и колоннада дворянского собрания. И была бы у тебя, доктор Елисеев, практика. И навещал бы тебя плешиный провизор, заучивший дюжину латинских изречений, а по воскресеньям апоплексический почтмейстер потчевал бы кулебякой и вкуснейшей водкой, настоящей на почках смородины. Нда-с... И барыни, жалуясь на мигрень, заводили бы с тобой речь, шитую белыми нитками, о неудобстве холостого

житья, о негодницах кухарках, которые завсегда обсчитывают холостых господ, и еще о том, что Катенька или Оленька покорнейше просят Александра Васильевича принять участие в любительском спектакле «Проказница Жанна». И не посмел бы ты даже сообразить, что к чему, как сия «проказница» замкнула б твою жизнь в кольцо семейных хлопот и забот...

2

Немало лет таскалась «Принцесса Фатима» по Красному морю, узкому, как веретено. Она плавала к Аравийскому полуострову, похожему, если присмотреться к карте, на разношенный валенок, она плавала вдоль Африки, напоминающей грубо отесанный топор каменного века, плавала туда и обратно и сызнова, опять и опять.

Море изобиловало рыбой, черными кораллами, матовым жемчугом. Море издревле знавало искусных кормчих. Теперь, после открытия в 1869 году Суэцкого канала, оно по праву звалось большим морским проспектом. И все же это море было обездоленным. Ни одна река — ни одна! — не впадала в Красное море. Ни капли пресной влаги. Жадность безводной Аравии еще можно понять. Но Африка? Африка с ее огромными реками? А Красному морю, наверное, очень хотелось пить, очень хотелось коснуться своей соленой губою какого-нибудь пресноводного устья, веселого и легкого. И ветры не облегчали участи Красного моря. Северо-северо-западные дули с мая по сентябрь; юго-юго-восточные дули с октября по апрель; но и те и другие не приносили ничего, кроме колючего злого песка и дыхания пустынь. Клубы песчаной пыли, смешиваясь с тяжелыми солеными испарениями, заволакивали горизонт, задерживали, как пологом, солнце, все багровело, и Красное море было поистине красным...

Пароход вползал на плотные островерхие волны, сваливался с волн и опять вползал. Казалось, время кружит вместе с морем и небом, а стрелки часов движутся сами по себе, без всякой связи со временем.

После ночного разговора капитан Марчеллини стал молчалив, как финн-дровосек. Капитан редко сходил с мостика и почти не отрывался от ветхих навигационных карт. «Принцесса Фатима» и Марчеллини давно плавали по Красному морю. И они знали, что погибнуть здесь легче, чем почесать затылок: море было набито рифами, как пасть акулы зубами.

Капитан был озабочен безопасностью плавания. Доктору Елисееву пришлось заботиться о пассажирах.

Красноморское солнце и быка могло бы свалить, оно так и норвило грохнуть по темени. Казалось бы, паломники привы-

кли к жару. Но тут, на море, палил не просто зной, тут обливал их, мутя рассудок, зной душный, соленый и такой плотно ощутимый, что хоть черпай его, словно расплавленную медь.

И люди падали в сильном ознобе, теряя сознание от солнечных ударов.

Елисеев перед выпуском из Медико-хирургической академии вместе со всеми коллегами дал торжественную клятву оказывать медицинскую помощь всегда, везде, при любых обстоятельствах, любому страждущему. Доктор так и поступал. Путешествуя, он не расставался с аптечкой. К тому же звание лекаря охраняло его в самых диких и пустынных местах надежнее вооруженных стражников и внушительных грамот. Но теперь, на борту «Принцессы Фатимы», в эти яростно знойные дни и ночи он почти жалел о том, что был медиком...

Обмотав голову полотенцем, Елисеев брел по палубе. Он опускался на корточки, нащупывал пульс, поднимал смеженные веки, совал под нос склянку с нашатырем, впрыскивал камфару. Хуже всех было сребробородому старику с тонким, чуть горбатым носом и прекрасным высоким лбом. Елисеев, опасаясь, не разбил ли старика паралич, велел перенести его в свою каюту и уложить на койку. Потом приказал какому-то паломнику доставать забортную воду ведром и обкладывать больному мокрыми тряпками. Когда это было исполнено, Елисеев впрыснул камфару и спросил у арабов:

— Откуда старик?

Ему ответили:

— Из Гадамеса.

Елисеев решил, что он ослышался. Гадамес? Сахара, что ли? Такая даль? Ему повторили:

— Из Гадамеса. Его зовут Ибн Салах.

Елисеев покачал головой: великий путь свершил Ибн Салах. И зачем? Затем только, чтобы испустить дух посреди Красного моря? К вечеру, однако, старик очнулся. У него были голубые печально-покорные глаза...

На третьи сутки плавания, проскользнув узким проходом между подводными скалами и банками, судно пришло в Суакин.

Бухта кишела и всплескивала, полная, как садок, косяками рыбешки, напомнившей Елисееву балтийскую корюшку. «Фатима», отдуваясь, залегла среди множества паровых и парусных судов. Елисеев отправился на берег; в его распоряжении были сутки.

Недавно еще захолустный порт с открытием Суэцкого канала обратился в подобие постоянного двора на столбовой дорожке. Многие торговые караваны, прежде устремлявшиеся в низовья Нила, в Каир и Александрию, теперь, сокращая путь, сворачивали на восток, к Суакину. В тяжелых вьюках везли они слоновую кость, шкуры хищных зверей, камедь. А палом-

ники зачастую приводили еще и «живой товар». Они сбывали его в Суакине и пускались в вожделенную Мекку с легким сердцем и тяжелым кошельком.

От Суакина до Джидды считалось миль триста, две ночи и два дня на валкой «Фатиме». Вновь вовсю жарило солнце, ветры гоняли злую игольчатую пыль, багровым пламенем горело тяжелое, душное море. Ничто не переменялось от того, что пароход под командой Уго Марчеллини шел не с севера на юг, как раньше, а с юго-запада на северо-восток.

Немного приноровившись к этому, по выражению Марчеллини, «проклятому корыту», Елисеев устроил в каюте амбулаторию, безвозмездно открытую для всех в любой час.

В его врачебной практике крылся некий расчет.

На борту «Принцессы», а стало быть и в елисеевской амбулатории, можно было видеть представителей многих африканских народностей и племен. И вот, осматривая пациентов, наш доктор проделывал антропологические измерения.

Антропологией он увлекся еще на студенческой скамье. Виною тому был профессор Кесслер. Его лекции многим казались убедительно-скучными. Многим, но только не студенту Елисееву. Почтенный профессор обратил на него нежное внимание. В 1878 году он повез студента в Москву на антропологическую выставку, и с той поры наука, изучающая физическую природу человека, именно то, что некоторые студенты насмешливо именовали «кесслеровской тарабарщиной», стала любимым предметом Елисеева.

Путешествуя, он никогда не упускал случая сделать антропологические измерения. Врачевание много в этом помогало. Не являясь к нему больные, как бы тогда подступился он со своими инструментами к африканцам, опасавшимся, и не без основания, всяческих пакостей от европейцев?

И теперь, на борту «Фатимы», Елисеев продолжал совмещать врачевание с антропологией, намереваясь послать собранные материалы не только в русское, но и в парижское Географическое общество, членом которого он был избран совсем недавно.

Вблизи Аравийского полуострова занятия доктора были прерваны происшествием неожиданным и трагическим: самоубийством Уго Марчеллини.

Капитан застрелился в полдень. Марчеллини лежал, скорчившись, на койке. Он был без рубахи. На левой стороне груди чернела дырочка. На полу валялась подушка и пистолет. Из подушки лезли перья, в каюте пахло жженым пухом.

— Через подушку в сердце, — негромко сказал Елисеев.

Лицо Марчеллини утратило скучающее выражение. Оно было решительным, жестким, со множеством морщин и складок. На столике с песочными часами и корабельными документами лежала тщательно сложенная красная рубаха, поно-

шенная и вылинявшая, а рядом — английское наставление по навигации, раскрытое на заглавной странице. Книга была с двумя дарственными надписями. Первая гласила: «Храброму Уго от Дж. Гарибальди». Ниже, другим почерком, значилось: «Бенедетто, возьми на память. Уго».

Елисеев взглянул на помощника капитана. Бенедетто Боско, волосатый, с бугристыми мышцами и мясистым лицом, обросшим седой щетиной, мотал головой, щеки у него тряслись.

— Уго! — вскрикнул он тонким голосом.

И стиснул кулачищи. Постоял неподвижно, шагнул к столу. Осторожно взял книгу и красную рубаху.

Елисеев тихо сказал:

— Ничего не поделаешь.

Итальянец взмахнул рубахой, как флагом:

— Вы знаете, что это такое? А? Вы знаете, кто такой Уго Марчеллини? Вы думаете... А... — Бенедетто поник. — Эх, да что вам объяснять, синьор доктор!..

Через час пароход застопорил машину. Сухопарое тело капитана, зашитое в парусину, с колосником в ногах, было спущено за борт. «Принцесса Фатима» сипло заголосила.

Смерть Марчеллини сильно подействовала на Елисеева, хотя он и не испытывал никакого расположения к покойному. Елисеев догадывался, что понапрасну принял Уго Марчеллини за мрачного ипохондрика, за одного из тех нервнобольных, которым не мил божий свет. Елисееву казалось теперь, что тоска Марчеллини была несколько иного свойства, что причина ее коренилась не только в постылой жизни на борту «Фатимы». А к этим мыслям-догадкам примешивалось томительное чувство неясной вины перед Уго Марчеллини, и хотя Елисеев сознавал, что вины-то за ним не числится, он не мог отрешиться от этого чувства.

Капитан Боско ничем не выразил своего удовлетворения, когда русский путешественник поднялся к нему на мостик и оперся на позеленевшие медные поручни. Но Боско был рад Елисееву. Боско нужно было хоть кому-нибудь рассказать об Уго.

Бенедетто Боско говорил долго, с несвойственной итальянцам медленностью, мешая английские слова с французскими, потому что слушатель его плохо разбирался в итальянском, и, рассказывая, пристально вглядывался в пустынный, дымчато-розовый горизонт.

— Ему было пятьдесят три, синьор доктор, всего-навсего пятьдесят три, — говорил Боско, — это не мало, но и не так-то уж и много. Не правда ли? Вы видели его красную рубаху? Ту, что лежала рядом с книгой? Д-да, вы правы: рубаха волонтеров и солдат Гарибальди. Великого Джузеппе, сэр... Уго пришел к нему в сорок девятом. Мальчишкой, юнцом. Он

сражался за Рим с этим чертовым генералом Удино, и Уго чуть было не угробили, когда мы брали виллу Корсини... Что? Да, синьор, я тоже бывал в переделках... Так вот, доктор. Потом он ходил на пароходах фирмы Руббатини. Много плавал Уго. Но не в этом суть, совсем не в этом, черт возьми. А дело в том, синьор, что Уго всегда откликался на клич Джузеппе. Уго дрался с австрияками при Трепonti, и он был в том Сицилийском походе, когда мы били солдат короля. Ох, как мы дрались, синьор доктор, славная была битва... Если бы вы видели Уго, когда мы штурмовали гору под Калатафими. На пушки короля, и вперед, черт побери, только вперед...

Гарибальди, борьба за свободу и единство Италии — все это представлялось Елисееву делом давно минувшим. А Боско, как видно, жил отзвуками прошлого, былыми волнениями и радостями. Они же не то чтобы вовсе были чужды или непонятны Елисееву, но он, однако, не умел разделить их сердцем, как в мальчишестве разделял со слезами на глазах солдатские воспоминания о Крымской войне, о защите Севастополя, о том, как Свеаборг — город, в котором он родился, — выстоял под сорокачасовой бомбардировкой британской эскадры.

— А потом? — спросил Елисеев: его больше интересовало, почему же Уго Марчеллини из республиканца и гарибальдийца обернулся унылым человеком с тоскливыми глазами. — Что же было потом? Боско помолчал.

— Потом? — повторил он угрюмо. — Что же могло быть потом, синьор?.. Разве о такой Италии мы мечтали?.. А Гарибальди старел, уединился на острове Капрере. Мы встретились с Уго в Палермо, в астерии. Уго сказал: «Провались она ко всем чертям, эта лживая Европа. Давай уедем, Бенедетто». Мы отправились на Капреру, к Джузеппе. Он жил бедняком, скрученный болезнью. Никогда не позабыть его лицо, даже сердце заньло. Он хотел нам дать письма к друзьям в Америке. Но прибавил: «В Америке, ребятки, человек забывает свою родину. — И спросил: — А вы что ж, хотите ее забыть?» Мы сказали: нет, не хотим. И ушли. Но Уго все повторял: «Не могу я тут жить». И мы решили уехать на Красное море. Думали: дело нам найдется, а до дома близко. Вернемся, как только кликнет нас старик Джузеппе... И мы ждали. Ждали, как здесь можно ждать ливня, сэр! А прошлым летом наш старик умер. Уго сказал: «Послушай, приятель, пора и мне убираться. Больше делать нечего». Я думал, мрачная шутка, а видите...

Боско умолк. Потом крикнул рулевому:

— Эй, держи левее на квартиру!

На другой день «Принцесса Фатима» пришла в Джидду. Паломники, торопясь, подталкивая друг друга, бормоча молитвы, с просветленными и торжественными лицами, стали высаживаться в баркасы и шлюпки.

Ибн Салах, опираясь на палку, волоча ногу — это было

следствие солнечного удара, — произнес благодарственную, витиеватую и изящную речь, в которой от имени всех исцеленных восхвалял странствующего доктора, его доброе сердце, мудрость его родителя и красоту его родительницы, его далекое прекрасное отечество Москов, а засим произнес прочувствованное напутствие и кончил заверениями в том, что если странствующему доведется побывать там, где живут они, исцеленные паломники, то доктор всегда найдет преданные ему сердца, очаг, воду и пищу.

В продолжение его речи Елисеев сперва только улыбался и кивал головой, но затем, глядя на осанистого сребробородого Ибн Салаха из Гадамеса, на все эти обращенные к нему разнохарактерные лица, выразившие искреннюю признательность и почтение, растрогался.

Приняв паломников, возвращающихся в Африку, пароход вновь вышел в море. После смерти Марчеллини Елисеев тяготился «Принцессой», но в Джидде не оказалось другого судна, отправлявшегося в южные воды Красного моря, и он вынужден был остаться.

На пути в африканский порт Массауа «Принцесса» с превеликой осторожностью пересекла архипелаг Дахлак. То была гряда больших, средних и малых вулканических островов с коралловыми рифами и барьерами.

Перегнувшись за борт, Елисеев всматривался в невысокие волны бесчисленных проливов. Их полосовали, как нагайкой, акулы плавники. В подводных джунглях проносились акулы-черноперки и тигровые акулы, плыл величественно богатырь-многоколючник, таились могучие мурены, блаженствовали желтые скаты. Красное море, думалось путешественнику, не только берега и портовые городишки, не только марево над синим рассолом и не только багровые горизонты, но и многоликая, мерцающая жизнь глубин. Однако попробуй-ка узреть ее хоть краем глаза...

Массауа мало отличался от Эль-Кусейра и Суакина. Глянешь — и тотчас сведет скулы как недозрелым крыжовником. Но в ландшафтах Елисеев разбирался лучше, чем в людских душах. Он не доверял первому взгляду, знал, что повсюду можно сыскать нечто особенное, примечательное. Вот и в Массауа, где был он меньше суток, поразил его гигантский водопровод. Водопровод этот тянулся издалека, доставляя воду в цистерны, которые, чудилось, под силу было соорудить лишь сотне Геркулесов.

Как и предполагал капитан Боско, в Массауа находился пароход, отправляющийся дальше, на юг: «Фердинанд Лес-сепс» шел к Мадагаскару. Двухпалубный, белый, он айсбергом высился посреди других судов, всем своим видом выражая презрительное превосходство.

Когда доктор Елисеев пересел на французский пароход и

посмотрел с его верхней палубы на «Принцессу Фатиму», ему вдруг стало жаль бедняжку, он почувствовал какое-то раздражение на этого шеголя «Лессепса» и с грустью подумал о Бенедетто Боско, который, наверное, кончит так же, как Уго Марчеллини.

Пароход «Лессепс» разнился от «Принцессы Фатимы» не только удобствами, чистотой, бравым видом капитана и его подчиненных, но и скоростью хода. Выбравшись из Массауа, он быстро и горделиво побежал на юг.

В Баб-эль-Мандебском проливе близко сходились берега Африки и Аравийского полуострова.

Пролив пестрел островками. Среди них был и остров Перим, покрытый вулканической лавой, черной, как агат, и красной, как рубин. Британский лев цепко держал Перим в своей когтистой лапе. Проходя остров в закатный час, Елисеев слышал, как гарнизонный сигнальщик протрубил протяжно, а на борту серого английского броненосца, может быть, одного из тех, что в прошлом году обстреливал восставшую Александрию, оркестр исполнил гимн «Боже, храни короля».

Миновав Баб-эль-Мандебский, «Лессепс» вынес Елисеева в Аденский залив. Тут уже слышалось богатырское дыхание Индийского океана, и путешественник почувствовал, что кровь в жилах побежала веселее.

«Лессепс» шел близ Африки. Желто-бурые берега внезапно вспыхнули густо-зелеными пятнами: это леса ринулись к океану. Поутру пароход входил на рейд Обока. Обок, якорная стоянка на краю Эфиопского нагорья, недавно был захвачен французами. Когда-то в Обок сбегались караванные тропы из Эфиопии, с берегов великих озер, из лесов Экваториальной Африки. Этот старинный торговый путь можно было проторить сызнова, и тогда потекут во французский Обок кофе Каффы и благовония Сомали, слоновая кость, индиго, сахарный тростник...

Пока, правда, Обок был маленьким местечком. Тотчас за Обоком вспухали холмы, за ними лезли к небу горы, а там, в горах, схватывались насмерть тропические заросли. Французы остерегались отлучаться из Обока: в горах и чащах их убивали «дикари». «Дикарям» почему-то не пришлись по вкусу французские пушки, французские сержанты, французские казармы, французские попы. «Дикари» никак не могли взять в толк, что пушки, казармы и сержанты — символы добрых намерений, что проповеди полупьяного монаха — само просвещение и что все это вместе — цивилизаторская, высокая и святая миссия белых пришельцев. Нет, никак не могли взять это в толк кочевники-данакили. Однако белые пришельцы были оптимистами: они полагали, что у них достанет и терпения, и головорезов, и ружей, чтобы образумить «дикарей».

Елисеев взобрался на башню, возведенную французами на берегу Обока. Он стал на верхней площадке, навел подзорную трубу туда, где за пустынями и горами, за лесами и реками крылась Южная Эфиопия, загадочная страна Каффа... Влажный ветер бил в лицо Елисеева, он чуял запах тайны, и размечтался, размечтался Александр Васильевич о путешествиях в Эфиопию.

После Обока Елисеев побывал в Адене, на другом берегу залива. Там, на краешке Аравийского полуострова, громоздилась британская крепость. Там тоже были сержанты, пушки, казармы. И они тоже были символами добрых намерений белых пришельцев.

От южных пределов Красного моря к северным его водам Елисеев отправился на египетском пароходе. Вновь мучила путешественника душная жара, и вновь паломники набивались в его амбулаторию.

Поднимаясь на север, к Синайскому полуострову, Елисеев завершал круговое плавание. Но он знал, что не сможет написать в своих очерках: «Я видел Красное море», если хоть краем глаза не взглянет на «жизнь бездны».

Надо было взять шлюпку и плыть вдоль побережья. Плыть медленно, всматриваясь в подводные джунгли. И только после этого можно направиться через Синайскую пустыню к Средиземному морю и сесть на судно, идущее в Одессу. Только после этого. Но легко сказать — «шлюпка», «медлительное плавание». Как-то оно все еще обернется?

Обернулось как по писаному.

Есть на свете городок Эт-Тур: песок, пальмы, домики, монастырь, рыбаки-арабы. Перед ними — залив, позади — горы.

Среди рыбаков и кормчих небольших торговых посудин отыскал Елисеев некоего Юнуса. Старик прошел морем верст четырехста, сбыл кое-какой товарец и собирался восвояси, в городок Акабу. Плавание порожняком не очень-то радовало Юнуса, но тут судьба свела его с русским странником. Русский предложил две лиры.

— Две лиры? — изумился старик. — О, господин, зачем шутить? Зачем обманываешь старого Юнуса, господин?

Господин, однако, не шутил и не обманывал. Вот пожалуйста: две лиры, двадцать рублей на русские деньги.

Баркас был, наверное, ровесником своему хозяину. Восемь матросов служили на баркасе. Как и Юнус, матросы были тощими и жилистыми. Кожа, выдубленная солнцем, так плотно облегла их скелеты, что даже самый тупой из бывших товарищей Елисеева по Медико-хирургической академии без труда указал бы любую кость, не раскрывая анатомический атлас.

Глядя на баркас и команду, Елисеев не испытывал особой уверенности в благополучии предстоящего плавания. Впро-

чем, успокаивал он сам себя, почему именно в этот раз должна приключиться беда? А когда хлопотами Юнуса и его «морских волков» на баркасе соорудили для почтенного путешественника что-то вроде нар, да бросили на них соломки, да сколотили из двух дощечек подобие столика, Елисеев вполне удовлетворился.

Десять дней длилось последнее плавание доктора Елисеева Красным морем. Разлегшись на широкой низкой корме, он глядел, восхищаясь и млея, на рифы и отмели.

Казалось, не волны, а солнечные лучи, трепеща и тая, колеблют стебли морских лилий, голубые nereиды и пышные трубчатники. Казалось, не телесное усилие, а солнечные лучи колышут плавники тунцов с фиолетовыми полосками на спинке и плавники красных крылаток, развевают длинные хвосты скатов-тритонов и шевелят бахрому разноцветных медуз.

Солнце, луна, звезды, воздух, свечение моря создавали феерию, порой сочную и резкую, порой мягкую и теплую, будто все, как говорят живописцы, было слегка протерто умброю.

3

Триполи наплывал медленно. Дважды Средиземное море выносило Елисеева на берег Африки. Оба раза в Александрию. Александрия была «печкой», откуда он начинал свои африканские пути-дороги. В феврале 1885 года Средиземное море в третий раз несло Елисеева в Африку.

После плавания на баркасе Юнуса Александр Васильевич вернулся в Россию. Прожив в Петербурге несколько месяцев и отчитавшись перед Географическим обществом, затем вновь посетив Малую Азию, он надумал совершить путешествие по Северной Африке.

Елисеев знал: двое ученых, тоже члены Русского географического общества, Чихачев и Эйхвальд, уже там побывали. Обстоятельство это ничуть не смутило неугомонного Елисеева. Ну, и что из того, размышлял Александр Васильевич, Эйхвальд с Чихачевым изучали природу, я же потружусь как антрополог.

И вот в феврале 1885 года он глядел с паровой палубы на город Триполи.

Пароходик двигался «самым малым». Лоцман-мальтиец лениво перекатывал на губе сигарку, но глаза его, черные и блестящие, как кусочки антрацита, были зоркими: подходы к Триполи загромождали рифы.

На палубе томились пассажиры, самые нетерпеливые пассажиры в мире — итальянцы и греки. Один из них, греческий торговец — длинноусый, в феске, — дергал Елисеева за рукав и радостно вскрикивал:

— Видите? — Он тыкал пальцем в сторону западной оконечности города. — Это караван-сарай.

Елисеев прикинул к биноклю.

— Видите? — снова радостно вскрикивал грек, ничуть не интересуясь, разглядел ли молодой человек караван-сарай. — Это Мальтийский квартал.

Елисеев кивал. Он уже не старался отыскать Мальтийский квартал. Он только всматривался в снежные глыбы городских строений, в купола и башни Триполи.

— Ай хорошо! — ликовал грек. — Послушай, — кричал он лоцману, — наддай ходу!

Лоцман не отвечал.

Пароходик по-прежнему шел «самым малым».

Грек дергал Елисеева за рукав.

Кочевая жизнь научает легко сходиться с людьми. Кого только не перевидал в свои двадцать шесть лет Елисеев! Вздумай он перечесть знакомцев, наверняка сбился бы. Финские рыбаки и охотники Чардынского края в Приуралье; удалыцы белозерцы и шведские великаны-лесорубы; владельцы вертких ел, норвежских суденышек, пропахшие насквозь сельдью; отшельники с островков Онежской губы; арабы — погонщики верблюдов; черкесы-переселенцы, встреченные им в горах Сирии; садоводы-евреи в старинном палестинском городке Сафед, многие из которых были выходцами из России... И вот теперь на пароходике — этот грек, негодующий на лоцмана и ликующий так, будто в Триполи ждет его что-то необыкновенное, а не привычные коммерческие сделки.

Никриади мараковал по-русски. Он привязался с расспросами об Одессе. Ему надо было знать, играет или не играет ныне оркестр Форхати на приморском бульваре, держит ли кривой Алексис ресторацию близ порта или передал дело зятю, цветет ли торговый дом братьев Мавромихали или прогорел... Елисеев в Одессе бывал мимоездом: вполне угодить Никриади он не мог. Но грек и не дожидался ответов, сыпал вопросы, вопросы — ему хотелось поболтать.

Наговорившись, грек окончательно проникся к Елисееву симпатией и обещался помочь «на этом Варварийском берегу».

Едва пароходик застопорил машину, его облепили баркасы и лодки, Никриади потащил Елисеева к трапу, приказав какому-то матросику снести багаж. В мгновение ока грек нанял полуголого лодочника с красной тряпкой на курчавой голове. Лодочник плюнул на ладони и налег на весла.

С пристани Никриади с той же стремительностью увлек Елисеева в улицы и через четверть часа представил доктора как своего закадычного приятеля из России другому греку — разумеется, длинноусому, разумеется, в феске, — владельцу кофейни, в которой имелось несколько комнат для приезжих.

В кофейне пахло бараниной и прогорклым маслом. Низкая

зала с вытертыми, как передник сапожника, коврами была полна хмельными моряками. Тут сидели тулонские боцманы, шкиперы из Палермо, палубные служители, кочегары, корабельные плотники и слесари из разных портов веселого Средиземного моря. Одни пели, другие резались в карты, третьи ругались, сводя старые счета.

Елисеев подсадовал: в таком соседстве не очень-то отдохнешь. Одно было утешительно: номер в подобном «отеле» не мог стоить дорого. И точно, грек-хозяин запросил столь дешево за постой, что у Елисеева тотчас отлегло от сердца, а когда он увидел комнату — тихую, опрятную и прохладную, — то и вовсе успокоился.

Не успел он расположиться, как Никриади вернулся с арабским мальчуганом.

— Вот, — сказал грек, — его зовут Али, он калякает по-французски, может водить по городу с закрытыми глазами.

— Да, месье, со мной не пропадешь. — У Али была быстрая и открытая улыбка.

— Пхэ! — сказал грек. — Прикуси язык.

Никриади сел и принялся наставлять Елисеева.

У грека смешно шевелились усы и пальцы. Инструкции его сводились к следующему: не гулять допоздна, не разговаривать с прохожими, не лакомиться на базаре сладостями и не заглядывать на девиц, которые, как известно, до добра не доводят.

Все это было говорено тоном заботливого папаша. У Елисеева задрожали брови, он готов был расхохотаться. Никриади крикнул и прищелкнул пальцами.

— Все это гораздо серьезнее, чем вы предполагаете, — строго сказал грек. — Тут могут зарезать в одну секунду!

Елисеев похлопал по карману — в кармане у него был увесистый надежный «бульдог», пожал руку Никриади и легонько подтолкнул Али к дверям.

На дворе стояла жара.

— Али!

— Да, месье.

— С чего начнем, братец?

Мальчуган важно избоченился:

— Эрба-Эсет, месье.

На Эрба-Эсет, главной улице беспорядочного и путаного Триполи, высилась мраморная триумфальная арка. Это была древность. А по сторонам теснились грязные лавчонки. Это была современность. На Эрба-Эсет разгружались верблюжьи караваны, пришедшие из Судана, с берегов Нигера. Это была и древность и современность вместе.

— Что скажете, месье?

— Прекрасно, Али.

Мальчуган снисходительно улыбнулся. Пусть ему отрубят мизинцы, если этот рыжебородый останется недоволен.

— Сид-Хамуд, месье?

— Сид-Хамуд, Али.

Если Эрба-Эсет была главной улицей Триполи, то Сид-Хамуд была главной мечетью Триполитании. Обширную площадь перед храмом запрудила разноплеменная толпа.

— Что скажете, месье?

— Большая мечеть, Али, очень большая.

Али скривил губы. Большая? Этот неверный не понимает, как она красива, мечеть Сид-Хамуд. Где ему понять, неверному? Али не догадывался, что его подопечный мысленно сравнивает мечети Каира с мечетью Сид-Хамуд и что это сравнение не в пользу последней.

Впрочем, храм не долго занимал Елисеева. Он разглядывал толпу. Ух и раздолье было бы здесь этнографу! Ходи и смотри: тут столько африканских племен! Всматривайся пристально, запоминай. Откуда только не сошлись на эту обширную площадь богомольцы! Нынче-то, оказывается, мусульманский праздник.

Али выказал себя блистательным этнографом. Он частил, называл племена и указывал Елисееву на их представителей. Вот так же русские деревенские ребятишки поражали некогда Елисеева своей осведомленностью в цветах и травах, в рыбной и птичьей живности.

— Глядите, глядите, месье, — туареги!

— О! — выдохнул Елисеев.

Вот уж кого не гадал он встретить в Триполи.

Три всадника с длинными копьями восседали на верблюдах. Голубая широкая блуза и такие же шаровары, схваченные красным кушаком, черное покрывало, алый плащ, наброшенный на плечи, — все это придавало туарегам вид живописный. Но вся их стать, сдержанная, упругая, могучая сила, веявшая от всадников, и в особенности мгновенный, пронзительный взор заставляли тотчас позабыть о пестроте одеяний и рождали одну мысль: вот они, вольные сыны бескрайней Сахары, вот те, кто не признает ни французских завоевателей в Алжире, ни триполитанских чиновников, поставленных султанской Турцией; вот они, туареги, недавно разгромившие вооруженный до ноздрей отряд полковника Поля Флаттерса, а еще раньше прикончившие других французских соглядатаев — Жубера и Дурно-Дю-пере...

— Послушай, — негромко сказал Елисеев, — я хотел бы поговорить с ними.

Али смешался. Даже он, Али, проживший на свете добрый десяток лет, никогда не вступал в беседу с туарегами. Признаться, и видел-то всего два раза да и побаивался почему-то. Но ведь не скажешь рыжебородому, что он, Али, страшится туарегов. Нет, Али никого не боится. «Никого», — повторял мальчуган, не двигаясь, однако, с места.

— Ничего страшного, месье, — пролепетал он, — но только они не станут разговаривать с чужеземцем.

Елисеев улыбнулся:

— Я бы, братец, сам подошел, но, верно, будет лучше, если это сделаешь ты и скажешь, что доктор-чужеземец шлет им свой привет.

Али вспыхнул и направился к всадникам. Елисеев шел поодаль... Вот Али приблизился к одному туарегу. Всадник склонился к мальчугану, что-то сказал ему и поехал своей дорогой.

— Месье, — закричал Али, подбегая к Елисееву, — месье, он велел сказать, что доктор должен быть святым человеком! Он сказал... извините, месье... заморские люди текут сюда, как слюни злого духа. Это он сказал, месье.

В кофейню возвращались молча. У Елисеева не шли из головы туареги. Они казались ему обликом африканской Свободы. И его уже манил новый замысел. Он знал об опасностях. Но он знал, что все равно не устоит перед искушением. Никогда и никому не признавался Елисеев в любви к опасностям. На миру, говорится, и смерть красна. Он же любил рисковать в одиночестве. Так бывало не раз: и на севере, в Скандинавии, когда он едва не убили, карабкаясь по отвесной стене фьорда, и на юге, когда он пытался совладать с расходившимися волнами Мертвого моря, бившими ему в грудь, как молотом, а потом валялся без сознания на берегу...

О своих намерениях Елисеев сказал Никриади. У того вздыбились усы.

— Пхэ! Зачем?

Елисеев объяснил: хочу увидеть Ливийскую пустыню, побывать в Мурзуке, в Гадамесе. Ведь была в Мурзуке английская экспедиция, были там Ричардсон, Барт, Овервег.

— Когда? — недоверчиво справился грек; он не помнил таких.

— Лет сорок назад.

— Вот-вот, — обрадовался Никриади. — Сорок лет, а? — Ему казалось, что срок этот — сам по себе веский довод в пользу нелепости проекта. — Сорок лет, черт возьми. И потом, э к с п е д и ц и я, черт возьми.

— Мда... А вы... вы примостите-ка меня к какому-нибудь каравану.

— Караван... караван... — недовольно пробурчал Никриади.

Его возмущало «дурацкое» желание доктора. Добро бы еще коммерческий расчет. Или — бог с ним — слава слепила очи: дескать, первый из европейцев и прочее.

— Но вы обещались мне помогать, — вкрадчиво заговорил Елисеев и расхвалил угощения и вина, выставленные Никриади, и даже отведал маслины, которые терпеть не мог.

— Обещал, — мрачно молвил грек. — Но пеняйте на себя.

Ни один человек с головой на плечах не стал бы рисковать без толку.

— Отчего же без толку? — мягко заметил Елисеев. — Меня как раз и привлекают головы на плечах.

Грек вытаращил глаза:

— Что-о-о?

У Елисеева, как давеча при «инструкциях», задрожали брови. Он ухватил смысл этого изумленного восклицания. Почтенный негодник вообразил, что доктор надумал заняться добычей «черного товара», который тайно, но с барышом можно продать в притонах Триполи. «Головы на плечах», — сказал Елисеев, а Никриади и слыхом не слыхал про антропологию.

У него, впрочем, хватило сметки тут же опровергнуть свою догадку. Во-первых, русский доктор и... добыча черных было нечто несовместное. Во-вторых, живой товар добывали не в пустыне. И если в первом он еще мог ошибаться (мало ли какие души сокрыты в докторях с располагающей внешностью?), то уж второе было вне сомнений.

— Решили твердо? — спросил Никриади после паузы. — Твердо? Хорошо. Мое слово тоже твердо. Я справлюсь у одного итальянского купца. Он собирает снарядить караван в Мурзук.

— Сделайте милость.

Ночью Елисееву снились туареги. Один склонился с верблюда и кричал: «Ты слюна злого духа!» Елисеев порывался объяснить, но туарег потрясал копьем и сверкал глазами...

К завтраку явился Никриади. Он было снова взялся отговаривать доктора. Елисеев хмурился. Никриади вздохнул и объявил, что итальянец разрешает путешественнику присоединиться к каравану, который отправится в Мурзук в следующую среду.

До следующей среды оставалась неделя. Дня два Елисеев знакомился с Триполи, отвечая похвалами на ревнивые вопросы Али. По чести же говоря, он не находил в городе ничего любопытного. Улицы точно загогулины, базары, лавки, «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний», солнце, пыль, шум, суета, турецкие чиновники — все это он зрел не единожды.

Они выбрались с Али за городскую черту. Там были сады и пальмовый лес. А за лесом, в нескольких верстах, открывалась пустыня.

Дни напролет шатался Елисеев с Али в подгородном пальмовом лесу. Веселые у них получились прогулки. Доктор ловил себя на том, что радуется лесной тишине и прохладе, как и мальчишка Али. Не без некоторого удивления он замечал в себе что-то похожее на нежность к этому постреленку из Триполи.

Много привелось Елисееву переменять проводников, но такого малолетка у него еще не случалось. Ишь шагает рядом версту за верстой и не жалуется на усталость. Елисеев спрашивал, не притомился ль, дескать, месье Али, а тот отвечал: «Если вы, месье, хотите отдохнуть — отдохайте. Али, месье, араб, арабы, месье, могут идти без отдыха». Он говорил это с гордостью, даже несколько вызывающе; Елисеев одобрительно ухмылялся.

У Али, правда, был один недостаток: он любил прихвастнуть своими похождениями в Триполи, которые непременно ознаменовывались схватками с разбойниками, и Али непременно выходил победителем. Елисеев старательно делал вид, что вполне верит во все эти ужасы.

Лишь однажды, не выдержав, он рассмеялся и шелкнул Али по носу. Мальчуган покраснел, его красивые выпуклые глаза подернулись слезами, и доктор поспешил загладить свой промах совершенно неожиданным для Али образом: он протянул мальчугану тяжелый вороненый пистолет «бульдога».

Али замер. С превеликой осторожностью, сдерживая дыхание, он принял пистолет. Никогда в жизни не держал он в руках такое прекрасное оружие. Нечего и говорить, что обида его истаяла мгновенно. В довершение, когда они зашли по дальше в чащу, доктор позволил выстрелить из «бульдога».

Если доктор видывал многих проводников, то Али видывал немало чужеземцев. Хозяин кофейни посылал мальчугана с постояльцами в город. Разные попадались. Одни заставляли вести их туда, где красивые девушки плясали, сбрасывая свои одежды, и Али становилось противно и стыдно. Другие только и знали, что шляться по лавкам, и Али делалось нестерпимо скучно. Третьи хаживали с визитами к богатым купцам, и Али дожидался их на солнцепеке так долго, что его мутило с голоду, а перед глазами все плыло.

Рыжебородый был не таков. С ним было хорошо. Он не таскался по лавкам и не гостевал у купцов. Рыжебородый подолгу пропадал в лесу. Закусывая, он не смотрел на Али так, будто мальчишки и не существовало. Он усаживал его рядом, и они закусывали вместе, как равные... Хорошо было с рыжебородым, одно горько: скоро уедет...

Во вторник вечером Елисеев рассчитался за постой. Никриади принес ему на дорогу несколько бутылок ласкового хиосского вина. Елисеев, прощаясь, наказывал греку навестить его при случае в Петербурге. Грек смеялся: в Петербурге не бывать, да и доктор, мол, бывает там не чаще самого Никриади. Они простились дружески. Ничего лучше мимолетных дорожных знакомств не знал Елисеев.

Поздним вечером доктор отправился с вещами к итальянскому купцу. Грустный Али брел следом. У дверей оба остановились. Елисеев дал Али несколько серебряных монет и по-

гладил по голове. Али прерывисто вздохнул, пробормотал «прощайте, месье», всхлипнул и убежал. Елисей растерянно посмотрел в темноту. Пожалуй, впервые его провожали со слезами на глазах...

Али прибежал в кофейню, свернулся на куче тряпья под лестницей. Его печаль была так велика, что он... скоро уснул. Встал Али ранехонько с намерением еще раз увидеть рыжебородого. Едва, однако, собрался улизнуть со двора, как хозяин схватил за руку:

— Ступай полы мыть, бездельник. Живо!

Грязная вода растекалась под столами, подхватывая окурки, обрывки игральных карт, рыбы кости. Пот заливал лицо Али, во рту было солоно... И вдруг дело пошло легче: Али стал думать, что доктор подарил ему прекрасный пистолет; Али ночью подкрадывается к хозяину; хозяин храпит, причмокивает, бормочет что-то во сне; под широкой деревянной кроватью — ночная посуда, над изголовьем — кипарисовый крест; долго и тщательно целит Али в хозяина; тот открывает глаза, и глаза у него — вот смех-то! — делаются большие-большие, как блюдца; и хозяин — о, жалкий трус! — молит о пощаде, сулит «миленькому мальчику» кучу денег, но Али отказывается от денег, перечисляет все обиды, которые вытерпел от хозяина за два года; хозяин — подлая собака! — дрожит под одеялом... Подзатыльник едва не сбивает Али с ног, он тычется носом в мокрую грязную тряпку.

— Долго возишься, дурак!

Это кричит хозяин. Али видит его остроносые туфли, низ широких шаровар. Али с трудом поднимается, сжимая в руке тряпку. Теперь он видит округлое хозяйское брюхо, обтянутое белой рубашкой, и край вишневой, расшитой серебром жилетки.

Эх, вот если б служить русскому доктору... Почему не повернулся язык сказать об этом? А теперь поздно. Русский далеко. Долог путь: несколько месяцев, никак не меньше. Долог и страшен. Из Мурзука он должен вернуться в Триполи. Должен, если ничего худого не случится. А ведь случиться в пустыне может многое... Надо бы помолиться за рыжебородого. Только вот задача: можно ль просить Аллаха за неверного, христианина? Али задумался. Потом решил, что Аллах не обидится, ибо Али просит для того, чтобы неверный вызволил его, мусульманина. Стало быть, что же? Стало быть, помогая неверному, Аллах пособит правоверному.

Разрешив сложный богословский вопрос, Али направился в мечеть Сид-Хамуд. Поблизости от кофейни тоже была мечеть, но он отправился в главную мечеть Триполи: молитва, вознесенная в Сид-Хамуд, будет услышана незамедлительно.

Али наговорил богу много, очень много сладких слов. Мальчуган молился долго и так увлекся, что кончил просьбою

вернуть русского с полдороги. Тут Али струхнул: уж не хватил ли он лишку, обременяя Аллаха столькими хлопотами? Но ведь богачи и правители досаждают Аллаху куда больше в куда чаще, и бог терпеливо печется о них...

Дни потекли за днями. С отъезда доктора Елисеева минуло две недели. Али приуныл. Нет, Аллах не захотел вернуть доктора с полдороги. И вдруг... вдруг доктор появился в кофейне. Он был худ и черен. Его глаза, прежде такие веселые, выражали досаду. Али обрадовался и огорчился вместе. Он обрадовался потому, что Аллах исполнил его просьбу. Он огорчился потому, что, сам того не желая, кажется, сильно насолил рыжебородому.

— Здравствуйте, месье, — робко сказал Али, входя в комнату.

Доктор сидел на стуле и барабанил пальцами по столу.

— А! — сказал он рассеянно. — Это ты, братец. Здравствуй. Али переступил босыми ногами:

— Месье что-нибудь нужно?

— Хорошо... хорошо... — молвил задумчиво доктор. Он еще побарабанил пальцами по столу. Потом сказал: — Сделай одолжение, сбегай в порт и узнай, когда будет пароход в Тунис.

Мальчуган стоял перед Елисеевым и смотрел ему в лицо. Доктор задумался, он не замечал Али. Али кашлянул.

— Ты чего?

— Одну минутку, месье... — вздрогнув, ответил мальчуган, осекся и опроретью выбежал из комнаты.

Али помчался в порт так, точно хотел убежать от своего горя. Свернув за угол, он опомнился: зачем торопиться? Может, нынешний пароход уйдет, а другой будет не скоро... Дорогою в порт мальчик встретил Никриади. Али сообщил ему, что доктор «москов» сидит у них в кофейне.

— Пхэ! — радостно фыркнул грек.

Никриади уже прослышал, что караван повернул вспять, достигнув долины Бени-Улид. Оказывается, тамошние турецкие власти напугали купцов известием, что где-то поблизости появились «разбойничьи шайки» арабов-повстанцев. Взаправду были те отряды, нет ли, но у страха глаза велики. Так-то и пришлось вернуться в Триполи доктору Елисееву.

Прибежав из порта в кофейню, Али застал доктора вдвоем с Никриади. Доктор расхаживал по комнате и почем зря костил караванщиков. Грек, напротив, всем своим видом выказывал удовлетворение. Он щурился, «пхэкал», крутил ус, приговаривал:

— Ну и слава богу, ну и слава богу. А я тут ночей не спал. Ваша поездка камнем на душе лежала.

— А, — с сердцем отмахнулся Елисеев, — просто срам, да и только.

Он увидел Али, притаившегося у шкафа, нетерпеливо спросил:

— Когда?

И Али ответил упавшим голосом:

— Завтра, месье.

Али так хотелось соврать, так хотелось оттянуть отъезд русского. И вот... не сумел.

4

Судно разводило пары, палуба подрагивала.

Елисеев был доволен: в путь, в путь!.. И все ж немного грустил, как всегда при виде ночных огней. Он думал о незнакомых людях, об их судьбах, таких различных и таких, в сущности, схожих. Вон там, справа, отчего в том доме не спят? Быть может, кто-то отходит в вечность, быть может, кто-то приходит в мир. Может, свершается страшное, может, кипит веселье... Хорошо бы написать стихи о ночах под чужим небом, о тех, кто путешествует не ради корысти, а потому, что слышит зов матери-природы, звучащий в душе неумолчно, как в раковине — море. Он усмехался: э, нет, стихи слагать ему не дано...

Елисеев сидел в кресле, положив руки на колени. Палуба вздрагивала все сильнее, что-то урчало и ухало в пароходном чреве, озабоченно проходил по палубе помощник капитана в белой фуражке, пронося впереди себя красную точку сигарки.

Наконец послышался свисток боцмана. С железным громом двинулась якорная цепь, пароход загудел, качнулся и пошел туда, где уже не было никаких огней, а были темные волны и глухое небо.

Пассажиры разбрелись по каютам. Елисеев остался в кресле. Сберегая деньги, доктор взял палубное место. Стоило ль тратиться на каюту, когда завтра же пароход придет в тунисский порт Габес?

Морю что-то снилось. Оно вздыхало и ворочалось. Облака застили звезды. Без звезд было скучно. Елисеев зевал, лениво развалился, хотел курить и не хотел шевельнуться, чтобы достать табаку и спичек.

Он уже задремывал, как вдруг услышал позади, за креслом, не то шелест, не то шепот. Он прислушался, разобрал: «Месье, месье», поглядел через плечо. Позади кресла смутно вырисовывалась маленькая шуплая фигурка:

— Простите, месье. Это... я... Али.

— Али?

Черт побери, это был он, мальчишка из Триполи.

— Поди сюда, — резко приказал Елисеев, начиная понимать, в чем дело. Али медлил. — Поди, поди, — строго повторил Елисеев. — Выкладывай все начистоту.

Али выскользнул из-за кресла, отблеск фонаря упал на него. Елисейев увидел молящие глаза, полураскрытые губы, белую полоску зубов.

— Ну? — сурово проговорил доктор.

Глаза Али приняли выражение отчаяния и решимости.

— Если месье меня не примет, брошусь в море.

Минуту оба молчали.

— Та-ак, — глухо проворчал доктор. И разозлился: — Я тебе дам, дурак, в море, я тебе покажу море, вот я тебя отстегаю сию минуту, я тебя!..

Он ругался и махал указательным пальцем перед носом Али. Но странно: чем дольше ругался рыжебородый, тем спокойнее становилось на душе у Али.

— Месье?

Они оба вздрогнули, увидев помощника капитана, стройного моложавого человека в белом кителе и белой фуражке.

— Откуда черномазый, месье?

Елисейев растерялся.

— Да-с... понимаете ли... — растерянно пробормотал он по-русски.

Помощник капитана стоял перед пассажиром — вежливый и неумолимый. Пассажир вдруг сердито глянул ему в лицо:

— Сколько платить за провоз этого негодяя?

— Простите, месье, — заметил помощник капитана, — судя по всему, вы не очень-то в нем нуждаетесь?

— Э... Гм...

— Видите ли, месье, — снисходительно продолжал француз, — вы, очевидно, не знакомы со здешним нахальным сбродом. Я вас в два счета избавлю от этого прощельяги.

Елисейев молча достал кошелек. Помощник принял деньги и козырнул.

— Спокойной ночи, месье.

Доктор, ломая спички, принялся раскуривать сигару. Али переминался с ноги на ногу.

— Ну-с, — начал Елисейев, сильно затянувшись и пыхнув густым дымом, — как прикажете поступать с вами, милостивый государь?

«Милостивый государь» виновато улыбался. Доктор умолк. С каждой затяжкой сигара его разгоралась, борода казалась оранжевой. «О господи, — раздраженно размышлял доктор, — вот незадача: что делать с мальчишкой? Высадить в Габесе? Пропадет ни за грош, а не пропадет, так будет маяться пуще прежнего. Ну а с другой стороны рассудить, не могу ж я за собою тащить...»

Постепенно сигара словно бы притихла, и борода у доктора потемнела... Елисейев успокоился.

— Эй, негодник! — негромко позвал он Али. — Как ты пролез на пароход?

— О месье, — быстро отозвался Али, — это не так трудно. Даже вы можете научиться, месье, обманывать франков.

— Даже я? — Елисеев рассмеялся. — Впрочем... что ж... давай-ка учи, может, пригодится твоя наука.

Али попросил разрешения сесть.

— Когда ты сбежал, моего дозволения тебе не потребовалось...

Али сел на палубу, поджал ноги калачиком и приступил к подробному и в высшей степени поучительному рассказу о трех способах незаметного проникновения на пароходы, умолчав, однако, что узнал все это от одного приятеля, прославленного среди ребят Триполи своими корабельными похождениями. Елисеев слушал, улыбаясь рассеянной и доброй улыбкой. «Ну, бог с ним, — думал Елисеев, — бог с ним со всем, как-нибудь пристрою...»

Облака расплзлись, звезды сеялись на море. Морю отснились сны, шумело покойно и ровно. Пароход шел на восток, горизонт за кормой чуть светлел, близилось утро, близился Тунис, все было хорошо...

Вчера еще видел наш путешественник флаг султанской Турции: колыхался над зубчатой башней в Триполи. На другой день, когда солнце стояло в зените, Елисеев увидел два флага над Габесом: тунисского бея и Французской республики. В Триполи властвовали наместники стамбульского монарха. В Тунисе княжил феодал, а правили французские колонизаторы. Это было трогательное соседство — бей без царства и республиканцев без республики.

Французский флаг — полосы синяя, белая, красная — реял на высокой мачте, а на берегу французы предпочитали два цвета: синий и красный — синие мундиры и красные шаровары своих солдат. Колко было тунисскому бею на кончиках французских штыков, зато он «царствовал». Худо было от этих штыков тунисскому народу, зато он приобщался к «европейской культуре».

Разве не приобщались тунисцы к культуре, когда вот же они — мужчины, женщины, дети, — вот же они тут, в порту Габес, нагружают суда тяжелыми снопами альфы. Альфа — злак, растущий в пустыне, за морем из него делают бумагу. Превосходную и гладкую бумагу, на которой там, в Париже, что ли, гладко пишут о свободе, равенстве, братстве. Пожалуйста, тунисцы могут читать все, что там напишут, если только тунисцы умеют читать.

Разве не приобщались тунисцы к культуре, когда никто не воспрещал им восхищаться французскими особняками? Пожалуйста, тунисцы могли выстроить себе такие же, а не прозябать в подземных норах, где чалят масляные плошки, блеют козы и ковыряются в отбросах рахитичные дети.

И наконец, разве это не счастье для тунисца, когда синий

мундир прельщается его дочерью? «Разрази меня гром, — картавит синий мундир, — я подарю ей сережки».

Нет, это было трогательное соседство — флаг тунисского бея и флаг французской республики...

Пароход старательно взбалтывал волны. Низкий желтый берег льнул к морю, но у моря не было никакой охоты играть с ним, как играло оно со скалистыми берегами; море только небрежно поплевывало на песок мелкой волной.

В желтизне берега с внезапной яркостью вспыхивали зелено-белые пятна. Пароход приближался, и пятна эти, дробясь, обращались в пальмы и крепостные башни, в минареты и дома приморских городков.

Сфакс...

Вокруг взметывались облачка пыли. И высоко возносилась колокольня. Несколько лет назад, добиваясь дружественного соседства своего флага с тунисским, французы обрушили на Сфакс огонь броненосцев. Повергнув в прах мечети, колонисты возвели церковь.

Махдия...

Городу более тысячи лет. Он дремлет у моря, как старик на завалинке. Что тебе грезится, Махдия? Битвы у крепостных стен или стаи пиратских кораблей? Венецианские нефы, словно кубышки с драгоценностями, или бывшее величие ислама?.. Над городом — цитадель. Выбеленная солнцем и временем, вся в трещинах, она взирает на рыбацкие флотилии, что ловят в заливе тунцов и макрелей, осьминогов и сардин. И это вся добыча Махдии? Махдии, где несколько веков звон золота глушил цокот копыт?

Монастир...

Он прелестен издали, как старинная миниатюра на голубой эмали. Четырехугольные крепостные башни; пестрые, из цветных кирпичиков минареты; овечье стадо крыш. И все — в переменчивом блеске финиковых пальм... В городке есть пушки. Изъеденные ржой, в зеленовато-белесых налетах морской соли, они беспомощны, как и сам тунисский бей. Пушки отслужили свое: когда-то они защищали Монастир от пиратов. Пираты нынешние, те, что в красных шароварах и синих мундирах, от нечего делать царапают на шербатых жерлах площадную брань.

Сус...

Этот покрупнее, чем Махдия и Монастир, вместе взятые. Покрупнее — значит, важнее. Важнее — значит, больше манит «друзей»-французов. И на рейде — броненосец. Он лежит, как дог. Орудия его наведены на Сус. Конечно, для спокойствия самих тунисцев. И вьется в Сусе флажок бея подле стяга Франции, как рыбка лоцман рядом с акулой...

Во всех этих городках пытался Елисеев пристроить мальчишку. Отдать Али в какую-нибудь французскую кофейню, которых столь много в Тунисе? Да разве там ему будет лучше,

чем у грека в Триполи? Попросить пристанища в какой-нибудь местной семье? А кому нужен лишний рот? Куда ни кинь, все клин. Того и гляди, завезешь мальчишку в Питер. Ну, добро, в Питер. Тоже, знаете, не ай-люли, ни кола ни двора. Мда, задача... Может, что-нибудь подвернется в главном городе Туниса — в Тунисе?..

Встарь город величали «благоухающей невестой Магриба» Елисееву открылся он французской таможей и сине-красными унтерами, от которых за целое лье несло грабежом и марсельским ромом.

Завзятый холостяк Елисеев отложил смотрины «невесты». Ведь близ Туниса, совсем неподалеку... Господи, от этого даже дух перехватывало. Подумать только: нынче он может воочию увидеть то, что мысленно представлял себе еще в Кронштадте, в гимназии, на уроках истории и географии, которые он предпочитал всем остальным, к неудовольствию латиниста и математика... Ужели нынче увидит он места, о которых рассказывает Флобер, автор «Саламбо»?

Али беспокойно поглядывал на доктора. Тот был взволнован. Поспешнее, чем всегда, подхватил чемодан, сунул Али дорожную аптечку. И походка переменялась. Всегда широкая, уверенная, стала сбивчивой и неровной; Али то семенял за ним, то бежал, размахивая свободной рукой. Что же случилось?

И в гостинице доктор Елисеев все торопился; даже не стал торговаться за номер и оглядывать комнату не стал, бросил чемодан, велел Али разложить вещи и ушел.

То, что вскоре увидел Елисеев, отнюдь не радовало глаз. Это были унылые необозримые развалины. Елисеев медленно брел по руинам, подбирая осколки мрамора, черепки, камешки. Он держал их на раскрытой ладони. Чем они были когда-то, эти крохи? Огромными домами или храмом? А может, башней, где сидели воины, не ведавшие страха? Что было в тех пустынных гаванях, сколько было там кораблей с резными роcтрами? А вот тут, где стоит он в эту минуту, шумела пестрая толпа? А там, вдаль, где невысокая груда бурых обломков?

Какая, однако, тишина, какое безлюдье! Только брешут за холмом псы, охраняя отару. Псы брешут за холмом, венчаным некогда храмом Памяти... Так вот они, развалины, вот они, руины Карфагена, великого города исчезнувшего мира.

Впрочем, что за притча? В отдалении, за тридевять земель, видения Карфагена вставали с поразительной рельефностью. Нынче же на том самом месте, где высился он, в виду стен, где насмерть стояли карфагеняне перед легионами Сципиона, нынче что-то мешает видеть Карфаген, абрисы его смутны, а

¹ Магриб (*арабск.*) — Запад — название, данное средневековыми арабскими географами и историками тем странам, что расположены к западу от Египта.

взор блуждает, блуждает по холмам, и ничего нет, кроме избитых истин, вроде *sic transit gloria mundi*¹.

Он покидал развалины Карфагена, не изведав того волнения, которое испытывал, предвкушая увидеть их, недовольный собою, будто пристыженный сознанием собственного скудоумия. Али дождался его в номере. Вещи не были распакованы.

— Что такое, Али?

— Месье... — Али всхлипнул. — Месье... Я... думал, вы меня бросили. — И он опять всхлипнул.

Елисеев расхохотался.

— А вещи? — проговорил он сквозь смех. — А багаж, дурень, тебе подарил, да?

Али робко улыбнулся.

Елисеев заходил по комнате. Странно, стоило случиться пустяковине — «я думал, вы меня бросили», — как улетучилось недовольство собою, непонятное и тяжелое чувство, охватившее на карфагенских развалинах. Елисеев пожал плечами. Он поглядел на Али и задумался.

— А знаешь ли, — заговорил он, садясь в кресло, — ведь нам все-таки придется расстаться. Погоди, погоди! — Елисеев поднял палец. — Не могу я тебя в Европу тащить. Домой, говорю, не могу везти. И уж ты на меня, братец, не сердись. Ну, посуди сам. Ежели б у меня семья была, тогда иное дело. Но я один, и птица я перелетная, гнезда не вью. Нет, нет, и не упрашивай. Нельзя. Стой, утри нос. И тебе не стыдно, Али? Послушай-ка, братец. Я тебя не оставляю до тех пор, пока не сыщу тебе хорошее место. Согласен?

Али горестно молчал.

5

Чудовище взревело, потом что-то свистнуло, лязгнуло, и в ту же минуту люди за окном, хоть и не двигали ногами, будто невесомые поплыли назад. Казалось, их уносило медленное, но упругое и неодолимое течение.

Люди за окном уплывали все скорее. Уже не медленное течение, но ветер, но вихрь относили их назад, как листья на мостовой. И тогда опять взревело чудовище. Еще громче, еще радостнее... Али был ошеломлен.

Елисеев не любил железнодорожные поездки. В тряском вагоне, попивая чай, не многое разглядишь. Это не путешествие. Тех, кому даль открывается из купе, Елисеев не причисляет к племени странствователей... Увы, в Алжир придется следовать не пешим ходом, а вот эдак — паровой тягой.

¹ Так проходит слава мирская (*лат.*).

Сберечь время — сберечь деньги. А деньги пригодятся в Алжире. Оттуда он повторит попытку проникнуть в великую пустыню, попытку, которая из-за трусости купцов сорвалась в Триполи. Вот б приходится скучать в поезде, поглядывая искоса на холмы и шатры арабов, на плантации европейцев, на руины времен римского владычества и горные кручи, гордые своей независимостью.

Клочковатый дым хищно реял за окном. Поезд низвергался в угольные ночи туннелей, весенним громом прокатывал по мостам и, замедляя ход, подходил к новеньким веселым станциям. На станциях переводил дух и, как только слышал повелительный удар колокола, вновь трубил самозабвенно и бросался на сизые рельсы, швыряя в африканское небо искры и чад индустриальной Европы.

У Али горели глаза, он так и светился восторгом.

— Месье, кто все это сделал?

— Французы, Али, — машинально ответил Елисеев, — французы...

Али опять прилип к окну, а Елисеев, закурив, вдруг подумал, что и в вопросе мальчугана, и в его, Елисеева, ответе на этот вопрос есть что-то знакомое, памятное. Но что же? Он никак не мог припомнить, что же такое было в этом вопросе и в этом ответе. Елисеев стал думать о другом, все так же покуривая и поглядывая искоса в окно, а память делала свое дело и вдруг подсказала:

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Чу! Восклицанья слышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

Памятные смолоду стихи Некрасова. К ним был эпиграф: мальчуган, едуци в поезде, спрашивает, кто строил железную дорогу, а папенька-генерал отвечает: «Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!»

Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

Стекол вовсе не было: окна были отворены. И на дворе не русская зима, а знойный африканский день. Но толпа призраков неслась в клочковатом хищном дыме, в угольных ночах туннелей, по мостам, отзывающимся громом. То были африканцы, погибшие на строительстве вот этой, французам принадлежащей железной дороги. Французы проектировали ее, французы доставили из-за моря паровозы и вагоны, машинистов и кондукторов. А тунисцы? Тунисцы отдали ей сущие пустяки: свою землю, свои жизни, свой труд. Эти аф-

риканцы должны быть нам благодарны, говорили французы, забывая прибавить, что многие-многие не могут благодарить их по той причине, что подстилают своими костями шпалы и насыпь. «А я, — подумал Елисеев, — сказал ему: французы сделали все». Он посмотрел на Али, посмотрел и промолчал...

Конечная станция Гардимау стояла в ущелье. Отсюда до первых поселений Алжира ходил омнибус. Однако рожок его вот уж несколько дней молчал: ливни размыли дорогу, сообщение было прервано.

Известие это раздосадовало Елисеева. Не велика радость торчать на вокзале, отдав на съедение комарам свое брненное тело. И Елисеев решил приискать хорошего проводника да и двинуться в окрестные горы дня на три, пока дорога не установится.

Не долго думая, доктор обратился за советом к какому-то французскому офицеру, слонявшемуся по станция в поисках развлечений. Офицер вызвался отвести путешественника к некоему Ибрагиму, который, как уверял лейтенант, получше Куперовых следопытов.

На проводников у Елисеева был глаз наметан. Ибрагим ему понравился. Это был человек вежливый без подобострастия, сдержанный без угрюмости. Да и плату он запросил умеренную. Ибрагим и Елисеев начали собираться в поездку. Вскоре все было готово, и Елисеев, мельком взглянув на Али, поманил Ибрагима во двор. Али ничего не заметил, он влюбленно созерцал огнестрельное и холодное оружие, развешанное по стенам.

Выслушав Елисеева, Ибрагим задумался, ковыряя землю носком сапога, потом отвечал, что есть одно очень подходящее место, однако нужно, чтобы согласился Исафет, а для этого придется ему, Ибрагиму, примостить мальчишку у себя за спиною, потому что лошадей-то всего пара.

Лошади у Ибрагима были очень уж хороши: мавританские, сухоногие — загляденье. Ибрагим принялся седлать коней. Вороны затанцевали. Ибрагим негромко и гортанно говорил им что-то, обряжая в красивую сбрую с металлическими чеканными бляшками, похлопывая и оглаживая ладонью.

Глядя на охотничью снасть, на коней, на все эти несуетливые, но скорые и ладные приготовления, Елисеев чувствовал, как овладевает им то бодрое, приятное волнение, то ощущение «силушки по жилушкам», какие он испытывал лишь в предвкушении одного рода странствия — лесного. Он с мальчишества, проведенного под соснами и елями Финляндии, сознавал себя полесовщиком. Подумывая иной раз о старости, он рисовал себе жизнь именно лесную; впрочем, не бирючью, а такую, чтобы иногда наведываться в губернию или уезд, забирать почту да и возвращаться в лесные дебри. Так рисовался ему «склон лет». Но этот «склон» был еще за перевалами десятилетий...

Час спустя они уже ехали под сенью пограничных лесов Туниса и Алжира. Над вершинами тополей и кедров, над пробковыми дубами влеклись синебрюхие тучи. Розовым духом исходили олеандры, тихо мерцали ивы над пересохшим ручьем, нежились тамариски, затененные каштанами.

Елисеев отстал, придержал коня, осмотрелся. Все, что окружало его, давно уж распределили ботаники по гербариям согласно строгой системе Карла Линнея. Но сейчас Елисееву не было дела до коллекций. Он видел нечто живое, дышащее, высокодумное, и от всего этого сердце его билось медленно и счастливо.

Весь день ехали верхами. Сумерки поднимались с земли, как дым, заволакивали лес, и небо со своими тучами, казалось, ложилось на кроны.

— Ибрагим, скоро?

— К ночи будем.

— Мы не сбились, Ибрагим?

Проводник промолчал, но Елисееву почудилось, что он усмехнулся. Али робко пожаловался:

— Я устал, месье...

— Подождешь, сударь, — сердито ответил Елисеев: ему было неловко за свой боязливый вопрос к Ибрагиму.

Темнело быстро. Где-то всплакнул шакал. За ним всхлипнул козодой. Али уцепился за пояс Ибрагима и забормотал молитву. Ибрагим, не оборачиваясь, тронул щеку Али ладонью. Ладонь пахла лошадиным потом.

— Потерпи, малыш, — сказал Ибрагим. — И не трусь.

Взошла молодая луна. Неподалеку захрюкал кабан. Похрюкал и смолк, а москиты загудели, словно прялку пустили.

Часа в два пополуночи Ибрагим осадил коня и мягко спрыгнул наземь. Елисеев озирался. Никакого жилья он не видел.

— Идите за мной, господин.

Елисеев спешил, пошел следом за Ибрагимом. В темноте вдруг бешено залились собаки.

— Ибрагим, ты? — спросил старческий голос.

— Доброй ночи, Исафет, — почтительно отвечал проводник. — Гость со мной.

— Да будет вам благословение Аллаха, — отозвался старик и прикрикнул на собак.

Охотнику Исафету, наверное, давно уж минуло семьдесят. Он был худ, жилист, подвижен. Его светлые глаза глядели жестковато, точно прицеливаясь. В лесах прожил Исафет жизнь и считал себя хозяином лесной округи. Леса кормили его, Исафет согнулся под лесной сенью, как старый матрос под парусами, и он знал округу, как рыбак свою реку. Кому же, если не Исафету, принадлежали эти горы и эти леса?

Он подал приезжим козье молоко, холодную дичь, сладкие финики. Али был голоден, но сон свалил его. Елисеев поже-

вал финик и тоже растянулся на овчине. Ибрагим принялся за дичь.

Засыпая, доктор слышал тихий разговор проводника с охотником. Он слышал, как старик несколько раз с особенной, значительной интонацией произнес «эс-сбоа», хотел было разлепить веки, но не смог.

Долго ли спал, нет ли, но проснулся Елисеев внезапно, охваченный ужасом. И тут вновь — низкий устрашающий рокот.

— Эс-сбоа, — хрипло проговорил Исафет. Он стоял у дверей. В руках у него было ружье. Притухший очажок бросал слабые отсветы на его ноги и ружейный приклад. — Эс-сбоа, — проговорил Исафет и выскользнул из хижины.

Лев опять пророкотал низко, со сдержанным нетерпением, с какой-то вулканической мощью. У Елисеева мелькнула мысль, что он должен следовать за одиноким стариком. Ведь ходил же он, доктор Елисеев, ходил же он в Чардынских лесах с рогатиной на медведя. Но там... в ночи... там — эс-сбоа!.. Елисеев лежал на овчине, не смея потянуться за своей берданкой и своими револьверами.

— Ибрагим! — тихонько позвал доктор. — Ибрагим, что же ты медлишь?

— Нельзя. Львиная ночь, господин.

Елисеев понял, что его проводник тоже не шибко обрадован львиным рыком. «Да, — подумал Елисеев, — но что это он шепчет про львиную ночь? Тс-с... Ах, Али какой счастливец: спит себе, ничего не ведая... Тс-с... Что там происходит?»

«Там» ничего не происходило. «Там» все смолкло, затаилось. Ни гиен, ни шакалов, ни козодоя. Летучие мыши и те сгнули... Скрипнула дверь, длинная тень пала на земляной пол. Доктора как током шибануло, он вскочил, но тотчас сел, с трудом переведя дух. Старик Исафет поставил в угол ружье.

— Где он? — спросил Ибрагим.

Старик усмехнулся:

— Бежа-а-ал. Он знает ружье старого Исафета. У старого Исафета лишь несколько коз, а он, наглец, хотел и тех утащить.

Елисеев отвернулся к стене, подложил руку под голову. «Нда-а, — подумал доктор, — отпраздновал-таки труса, ой, какого труса отпраздновал. Срам, ей-богу, срам...» Он попытался найти себе оправдание: Ибрагим, местный следопыт, а и тот ведь носа не высунул. Ах, да — львиная ночь...

Кто-то когда-то рассказывал Елисееву об этом поверье африканских охотников: бывают ночи, когда боги не заботятся о человеке, когда боги хотят, чтобы лев явился царем не только над животными, но и над людьми. Ну, хорошо, львиная ночь. А старик-то пошел на льва, пошел в одиночку... Не тебе, стало быть, чета. Не мне, это так. Но и не Ибрагиму

тоже. Вот-вот, утешайтесь, синьор, утешайтесь, месье. Лежи на овечьей шкуре, уткнув физиономию в стенку, и утешайся...

И наутро еще Елисеев не мог оправиться от презрения к самому себе. Разговаривая с Исафетом, он слышал в своем го- лосе льстивые нотки. Что значим все мы, думалось доктору, со своими пароходами и телефонами, вексельями и доктрина- ми, пред таким вот Великим Паном?¹

А старик разложил огонь, мясо режет ломтями, берет ско- вороду и неторопливо, как о чем-то обыденном, рассказыва- ет, что лев, эс-сбоа, повадился в соседнюю деревню, что жи- тели ее умоляют избавить их от злой напасти и что он, Исафет... И тут он посмотрел на чужестранца:

— Ты пойдешь, господин?

Елисеев сидит, поджав ноги, и оторопело смотрит на ста- рика, смотрит так, будто не понимает ни слова.

— Ты пойдешь, господин? — переспрашивает Исафет и ставит сковороду на огонь.

— Почтенный Исафет, — философически замечает Ибра- гим, — жизнь каждому дорога, а ведь теперь — львиные ночи.

Али глядит то на Елисеева, то на старика Исафета. На Исафета — обожающе, на франка — насмешливо. И доктору делается совсем уж не по себе, он краснеет. Ах черт тебя за- дери, проклятый мальчишка! Откажись, так этот негодник каждому встречному-поперечному уши прожужжит, как пере- трусил «москов».

— Да, ночи львиные, — медленно молвит старик и наклад- ывает ломти мяса на сковороду. — Но Исафет заговорит пули. — Он помолчал и спросил в упор: — Ты пойдешь, гос- подин?

— Я пойду, — говорит Ибрагим. — Я пойду, почтенный Исафет.

Теперь все они трое, трое арабов, смотрят на «москов». И Елисеев... смеется. Смех у него фальшивый, натянутый. Но он смеется. И все трое смотрят на москов, который смеется.

— Не верю я в заговоры, почтенный Исафет, — отвечает наконец Елисеев. — А пойду я с тобой, потому что верю тебе.

— Нет, — сердится старый охотник, — пусть не говорит так мой гость. Отвагой в львиные ночи не возьмешь. Эс-сбоа отважнее, мой гость. Но ты увидишь: старый Исафет загово- рит пули.

И все четверо усаживаются завтракать. В деревушку отпра- вились после полудня. В густом горном лесу Исафет вел своих не очень-то добровольных добровольцев одному ему ведомы- ми тропками. Шествие замыкали Али и маленький вислоухий песик.

¹ Пан (*греч.*) — бог природы.

Али ругал себя за то, что проспал такое событие, как появление у хижины эс-сбоа. О, сели б он не спал! Уж он бы, он бы выскочил за Исафетом, и тогда... А старик вышел на льва один. Что за охотник дедушка Исафет! Он самый храбрый, самый мудрый на свете человек, дедушка Исафет!.. Эй, лев! Берегись, лев, на тебя идут дедушка Исафет и Али. И хотя Али знал, что в засаду его не возьмут, а велют сидеть до утра в деревушке, он стал рисовать себе ужасные картины кровавой битвы со львом, той битвы, в которой постепенно главная роль отводилась не Исафету, но ему, бесстрашному Али из Триполи. И уже был не один эс-сбоа, уже было их два, потом три... И Али с Исафетом стреляли, сражались с ними... Али тихонько рычал, размахивал руками, прыгал в кусты, снова выскакивал на тропку, и маленький песик, трусивший, поматывая длинными ушами, позади всех, решил, что мальчишка задумал поиграть с ним.

У песика тоже было очень хорошее настроение. Как ни скулили, как ни ластились к хозяину два больших лохматых пса, но хозяин позвал с собою его, маленького, а тем, лохматым, приказал коз сторожить. Песик гордился доверием хозяина, песику было весело. «Ишь ты, — думал он, — как распрыгался этот мальчишка, а ну-ка, кусну его за ногу». И куснул.

«Ой-ой, мальчик, честное слово, я не хотел тебе сделать больно. Что же ты так перепугался? Что ты смотришь так, будто видишь не меня, а самого эс-сбоа?..»

Али дал ему пинка. Песик обиделся: «Ты, мальчик, совсем не понимаешь шуток», — и побежал вперед, к старому Исафету.

Старик, завесив глаза бровями, слушал Ибрагима. Ибрагим говорил ему про Али.

— Возьми его, почтенный Исафет, — толковал Ибрагим, — будет тебе за внука, помощником тебе будет, вырастишь из него охотника, и люди скажут, что почтенный Исафет сделал в жизни все, чему учил пророк, — дом выстроил, мальчишку вырастил.

— Слова твои мне по сердцу, — медленно ответил Исафет.

— Вот и хорошо, — обрадовался проводник. — А господин, я думаю, и денег за это даст.

— Э, Ибрагим, зачем спешишь? Я отвечу после охоты...

Они шли уже несколько часов. Солнце садилось. На деревьях лежали красноватые блики, на траве — тени. Предвечерний покой лесов... Елисеев любил его. Конечно, здесь не соновый бор, который краше всех на закате, но и здесь «очей очарованье», и этот четкий хруст веток под сапогом, какой бывает только на вечерних зорях.

Впрочем, нынче нашему доктору было не до ландшафта. Он думал о том, что предстоит ночью. Только бы не ударить

лицом в грязь... Он докажет старому Исафету, он ему докажет, черт побери... Но, храбрясь, собираясь с духом, Елисеев нет-нет да и ловил себя на тайном желании: а хорошо бы не явился эс-сбоа.

Деревенька была в узкой ложбине. Несколько шалашей из тростника и соломы, загон для скота — вот и вся деревенька. И жителей было десятка два, босоногих, в грубых рубахах до колен. Старшина, кланяясь, радостно приветствовал охотников и повел их в хижину — угощать.

Пока они угощались, ночь быстро и решительно потекла в ложбину. Наполнив ее тьмою, она деловито вывесила в небе молодой месяц, похожий на дынную корку. Арабы затаили стихи из Корана, а Елисеев подумал, что ему не худо бы прочесть «Отче наш»...

— Пора! — сказал старик Исафет.

Все поднялись.

Деревня как вымерла; где-то тьякнула собака — и как подавилась; прошумел ветер — и словно хвост поджал.

Охотники разошлись по местам: Исафет с Елисеевым в шалашик, что был напротив загона со скотом, Ибрагим — влево, двое деревенских стрелков — вправо.

Никогда еще Елисеев не ощущал такую чугунную тяжесть ожидания. Зрачки у него ширились, ширились, слух напрягался, и спирало дыхание, и билась, трепетала на виске жилка. Он стискивал берданку до боли в суставах, едва удерживался, чтобы не прижаться к Исафету.

А Исафет? Право, не старик — гранит. Вот он слегка поправил ремень на ружье. Глаза у него совсем не старческие — блистающие, зоркие, жесткие... Который теперь час? Долго ли ждать? Нет, уж пусть он явится. Пусть явится, потому что не хватит духа еще одну ночь высидеть в этом шалашике...

Кто-то назвал льва царем зверей. Этот кто-то сильно обидел льва, если только его можно обидеть. Царь... Экое жалкое словцо, когда говорят о... Но тут и мысли и дыхание Елисеева пресекались: рев сотряс воздух, рев такой, что звезды дрогнули, как свечи при порыве ветра, и эхо понесло львиный рык по горам, по лесам, по всему, должно быть, миру.

Лев помолчал, прислушиваясь, и опять пустил на таких басах, с такой безмерной мощью, что дынная корка молодого месяца дважды качнулась.

Елисеев вроде бы и существовать перестал. И вдруг всем своим съжившимся, оцепеневшим существом ощутил, как н е ч т о очень большое, тяжко-весомое и одновременно упруго-легкое с устрашающим, хотя и негромким, шелестом пронеслось во тьме рядом с шалашиком, и секунду спустя там, в загоне, раздался отчаянный, тотчас захлебнувшийся взвизг.

Старик Исафет подтолкнул Елисеева. Надо было выходить из укрытия. Еще полчаса назад, крепясь и подбадривая себя,

Елисеев полагал, что самым трудным будет именно то мгновение, когда Исафет прикажет покинуть шалашик, но теперь он с неожиданным хладнокровием последовал за Великим Паном.

Они увидели с пригорка загон, освещенный луною. Лев свалил бычка. Огромный и косматый эс-сбоа, насупленный, выпачканный кровью, властно и неторопливо раздирал добычу. В дальнем углу загона обреченно теснились овцы, козы, коровенки. У них даже не было сил блеять и мычать, как мычат и блеют они на бойнях, чуя смерть...

Исафет подал знак — не то свист, не то пронзительное шипение, — залп грянул, и все исчезло в плотном пороховом дыму.

В загоне для скота послышался хрип, в том хрипе слились и гнев, и боль, и что-то похожее на удивление... Сердце у Елисеева прыгнуло в горло и застряло там, мешая дышать.

Эс-сбоа медленно всплыл из порохового дыма. Положив на зарезанного быка передние лапы, он стоял в лунном свете как из бронзы вылитый. Его очи металы желтую ярость, его бугристая грудь, голова с огромным лбом и широким носом были повернуты в ту сторону, откуда только что прогремели выстрелы.

У Елисеева дрогнули руки. Не от страха. От чего-то иного. Ему почудилось в ту минуту, что лев глядит на него в упор, глядит с презрительным вызовом и поистине львиным бесстрашием, и Елисеев мгновенно и остро почувствовал себя подлецом, убийцей.

Исафет выстрелил первым. Елисеев механически — следом. И опять загон заволокло пороховым дымом, словно затем, чтоб скрыть от всех агонию льва.

Все было кончено. Он разметался подле бычка, его гривастая окровавленная голова была откинута, в луже крови плавал лунный серпик.

Деревня ожила. Загон окружили факелы. Люди вопили и плясали. Велик Аллах! Все спасено! Велик Аллах! Вот он валяется, дохлый эс-сбоа, его можно пинать ногами, его можно дергать за хвост.

Елисееву был неприятен восторг толпы. Еще четверть часа назад все эти люди дрожали при одном имени эс-сбоа, а теперь... Благородно ль радоваться, видя мертвого льва? Но, думал Елисеев, твои чувства определяются тем, что ты, ты-то сам ничего не терял оттого, что лев жил в этих лесах, ты ничего не терял, доктор Елисеев, они же могли потерять все, ибо что еще есть у этих бедняков, кроме коровенок да коз? Да-а, труп врага хорошо пахнет... А вот и Али. Ишь, так и жметя к старику Исафету. А в глазах-то восторг, почтение, любовь... Ну-с, на сей раз мальчишка, кажется, распростится

с тобой, доктор Елисеев. И, чувствуя что-то похожее на зависть к старому охотнику, чувствуя неожиданную грусть от того, что Али словно бы бросает его, Елисеев растерянно улыбнулся.

6

Алжир, Алжир... Благодать земная, солнечная благодать. Алжир — это Африка, но до Алжира рукой подать из Европы.

Еще Наполеон повелел военному министерству начертать план алжирской кампании. Однако у Наполеона не достало для нее времени. Девять лет спустя после того, как английские тюремщики зарыли труп Наполеона в долине Лонгвуд, что на острове Святой Елены, в 1830 году, король Франции Карл X спустил на Алжир генерала Бурмона.

Генерал располагал солдатами, пушками, маркитантами. Он не располагал только совестью. И поэтому Бурмон имел честь сделаться родоначальником так называемых «африканских генералов». Это были дикари в эполетах, повторявшие «цивилизация, цивилизация» чаще, чем «черт побери», и считавшие, что там, где начинается Африка, там кончается все человеческое.

В восемьсот тридцатом Алжир услышал французские пушки, и воспитанники французских военных училищ доказали, что они натасканы расшибать не одни лишь парижские баррикады и умеют стрелять не в одних лишь парижских блузников.

Взять штурмом Константину и учинить в ней такую резню, что жители, обезумев, кинутся в бездонные пропасти? Отлично! Вперед, ребята, во имя бога и короля!.. Сабли вон, руби руки арабским горожанкам — где там возиться, срывая с них браслеты? И да здравствует Франция!.. В этих пещерах попрятались тысячи алжирских женщин, стариков, детей? Полковник Пелисье приказывает заложить входы в пещеры сухими дровами. Теперь — огня! Оля-ля-ля, мы заставим их поплясать в дыму. Живей, молодцы, живей!.. Но что это? Алжирцы не сдаются? Они поднимают мятежи? Они бьют французское воинство? Пусть пеняют на себя. «Африканские генералы» зывают к отечеству: солдат, солдат и еще раз солдат, пушек, пушек и еще раз пушек, свинца, побольше свинца... Десятого Карла сменяет Луи Филипп, Луи Филиппа — Луи Бонапарт, племянник императора, замыслившего покорение Алжира... Многое меняется во Франции. Одно неизменно: плывут в Алжир войска, артиллерия, боеприпасы. А следом спекулянты, авантюристы, разорившиеся помещики, попы, коммивояжеры, трактирщики, подрядчики, ростовщики. И вся эта сволочь, урча и закатывая зенки, рвет Алжир — его земли, его пастбища, его оазисы.

Скорее! Хватай! Набивай мощну! И да здравствует король, император, республика, черт, дьявол!..

Елисей приблывает в Алжир в пору, когда отпылали восстания. Вот уже два года как угас в изгнании Абдаль-Кадир, арабский Шамиль. Французские колонизаторы напрочно, надолго располагаются в стране. Алжирцы прокладывают дороги, которые принадлежат французам. Алжирцы строят артезианские колодцы, которыми владеют французы. Алжирцы возводят отели, в которых живут французы, рестораны, где они пьют и танцуют канкан, магазины, в которых они торгуют, причалы, у которых грузят свои корабли... В стране царит строжайшая законность: француз — гражданин полноправный, алжирец имеет полное право на кандалы и смертную казнь, и притом — зачем бумажная волокита? — без следствия, без суда.

Елисеева не прельщает э т о т Алжир. Его тянет, как замечает доктор в дневнике, «далее от европейской показной культуры, в глубину алжирской Сахары, где власть цивилизации не успела еще тронуть особенностей жизни, развившейся при естественных условиях, а не внесенных пришлыми цивилизаторами Европы».

Он торопится еще и потому, что его гонит хронический недуг, неподвластный медицине, — нехватка денег. Он торопится, хотя и не любит быстрой езды. Он любит следить, как природа и люди постепенно меняют облик, любит переливы и полутона, панораме предпочитает миниатюру. Но пока ему приходится сидеть в поездах и дилижансах. А быстрая езда — как современные живописцы: отменяя частности, пренебрегая мелочной отделкой, создают пейзаж летучими штрихами. И потому северный Алжир запечатлелся в его памяти широким полотном, выполненным свободной кистью.

Горы, воспетые древними как «опора неба», горы, то в шапках и шубах лесов, то нагие; города с разительной несхожестью арабских и европейских кварталов; долины в молниях узких потоков и геометрия плантаций...

Наконец последний дилижанс. Высокий, поместительный экипаж с кондуктором в картузе, как у питерских дворников, и четверкой лошадей цугом. И в лицо Елисееву бьет золотистый ветер пустыни. И словно бы вместе с ним несется череда видений: «Принцесса Фатима», капитан Марчеллини, паломники... Кондуктор на козлах щелкает бичом, лошади разом выносят дилижанс на перевал. Возница осаживает четверку и снимает картуз. Уф-ф, можно и передохнуть малость.

Елисей вышел из дилижанса. Вот она! Вот она, великая Сахара... Она впереди, до горизонта, распаханная, бесконечная. А справа и слева отроги гор. Но глазу наскучили горы. Взор тянется, скользит и скользит, отдыхая, по песчаным далям до красновато-желтого горизонта. И так же, как на ру-

инах Карфагена в голову не приходило ничего, кроме избытого латинского изречения, так и сейчас, на перевале, одно лишь избытое сопоставление: словно море, настоящее море...

И опять гремит дилижанс. Там, за холмами, — Бискра. Но прежде, конечно, форт. Он тезка парижского предместья, его зовут Сен-Жермен. Пушки, часовые, казармы, шест с флагом. Алжир умиротворен? О да, разумеется. А форт с пушками? С ними, знаете ли, надежнее. Никогда нельзя положиться на благоразумие алжирцев, которым сделано столько добра. Шальные головы, спят и видят, знаете ли, избавление от франков...

Итак, форт Сен-Жермен, за ним кипарисовая аллея. Кипарисовой аллеей запыленный дилижанс вкатывается в Бискру, где есть гостиница «Сахара», где выстроились кирпичные домики, обвитые плющом, где раскинулся базар, окруженный кофейнями.

Из Бискры путь один — на верблюдах. Теперь забота — найти попутчиков. Хозяин отеля «Сахара», пузатый краснощекий плут, подсказывает русскому путешественнику: потолкуйте, сударь, вон с теми господами. Господа оказываются коммивояжерами. Они везут товар в Туггурт и Уарглу. Бог торговли покровительствует Елисееву, хотя он в жизни и пуговицы не продал. Может, потому, что он исправный покупатель? Вот и в Бискре он набивает целый тюк покупками. Местный аптекарь разводит руками: «Я вас правильно понял, месье доктор? Вы хотите даром лечить любого туземца?» Елисеев объясняет: антропология. Носатый аптекарь, с бородкой как у короля Генриха IV, пожимает костлявыми плечами: «Если месье нужны антропологические измерения, то вы идите к местным властям, и вам без долгих слов пригонят сколько угодно туземцев». — «Нет, — говорит Елисеев, — сие не в моих правилах. Я уж лучше распущу слух, что странствующий москов собирает целебные травы, и это привлечет ко мне кочевников».

От Бискры на юг до оазиса Уаргла верст триста. Если все пойдет ладно, доктор доберется туда в несколько дней.

Началось ладно. Верховые верблюды — голенастые, сильные, отъевшиеся — взяли с места бодро. Верблюды вьючные — тяжелые, мохнатые, горбастые — вышли раньше.

Елисеев не заметил, как пропал из виду городок. Он не оглядывался. Перед ним пустыня. Ее дали манили. Доктор знал это чудодейственное притяжение и был рад вновь его испытать. Он знал и ту особенную зоркость, которую обретает в пустыне зрение, и это тоже было в отраду. Прозрачный, как дистиллированная вода, воздух разливался над пустыней. И все виделось удивительно четко: куст тамариска и альфа (та самая альфа, что тяжелыми связками ложилась в корабельные трюмы и доставлялась в Европу на писчебумажные фабрики),

высохшие, как мумии, ложа рек, и змеиный волнистый след, и одинокий колодец с десятком пальм, и оазис с тысячами пальм.

От оазиса к оазису плыл караван, как пирога полинезийцев плывет от атолла к атоллу. Мерой пространства были теперь не километры, а дневные перегоны, мерой времени — не часы, а восходы и заходы.

По ночам шевелились, шуршали, ползли полчища желтых и полчища темных скорпионов. Ни костер, ни ножи, ни палки не могли остановить их натиска. Вздрагивая, ежась, вскакивая и яростно топоча ногами, Елисей отбивался от этих батальонов. А они ползли, шуршали, шевелились. Казалось, вся пустыня каждой своей песчинкой обратилась в желтых и темных скорпионов. Не было сна, не было роздыха, не было ровного, ясного, немерцающего света звезд, а был только этот гнетущий, этот устрашающий шорох...

Ночи сменялись ослепительными днями, и вновь баюкал Елисея вековечный ритм караванного шествия.

Глиняная Уаргла рассыхалась под солнцем и плесневела в испарениях окрестных болот. Настоящая Уаргла, великий город Сахары, ведомый еще Геродоту, приказал долго жить. Река, струившаяся некогда подле города, сгнула в песках, оставив по себе память в задумчивых легендах и унылых топких озерах.

Прежде в Уарглу хаживали богатые караваны из Судана, с берегов Нигера.

Теперь коммивояжеры везли сюда залежалую галантерею марсельских и тулонских лавок.

Глиняная Уаргла гибла: мечети осыпались, дома кособочились. Сахара грозила начисто поглотить ее, как некогда лава Везувия поглотила Помпею. Но люди жили в Уаргле, как жили они в Помпее, не думая о гневе вулкана. Люди растили детей и финиковые пальмы, ходили на базар и в мечеть, спорили и смеялись в узеньких улочках-коридорчиках, и зажиточный араб задирал нос перед бедняком, и все угрюмо подчинялись чужеземцу-правителю.

Самих же французов было немного: они обосновались за городом, в пышнейших фруктовых садах и виноградниках, пред которыми меркли Шампань и Анжу. Один из таких колонистов, некий господин Албаньель, прослышав о приезжих, зашел в грязный караван-сарай и был столь любезен, что пригласил Елисея под свой кров.

Клод Альбаньель, господин лет шестидесяти, умеренно упитанный, чистюля с аккуратно подстриженной бородкой и густыми, не очень поседевшими волосами, являл тип человека, довольного «самим собой, своим обедом и женой». Тридцать с лишним лет назад студент Клод мечтал о славе романиста и, сидя с приятелями в кабачке на бульваре Сен-Ми-

шель, стучал кулаком по столу, суля свернуть шею новоявленному императору Наполеону III и всем его присным. За эти свои посулы студент Клод, как и многие его собутыльники, поплатился высылкой в Алжир. Некоторое время он хранил верность заветам Робеспьера. Потом сообразил, что заветами сыт не будешь, и пустился в спекуляции. Дела у него шли не очень-то удачно, но все же Клод сколотил круглый капитал. Приобретая некоторый коммерческий опыт и блондинку Лауру, прошлое которой было не совсем ясно, он забрался в далекую Уарглу.

Именуя себя «пионером культуры», Альбаньель обстроился, обжился, пустил, что называется, корни, а блондинка Лаура подарила ему дочь. Как раз накануне приезда Елисеева ей исполнилось двадцать.

То ли заботы о подходящей партии для нежно любимой Эжени, то ли любопытство, а может, и то и другое привели Альбаньеля в караван-сарай к Елисееву.

Как бы там ни было, но Елисеев вполне оценил уют просторного дома Альбаньеля, стол, сервированный на террасе, где был слышен перезвон ручья и пахло олеандрами и жасмином.

Нельзя сказать, чтобы он остался совсем равнодушен и к Эжени. Девушка не была дурнушкой: красивые волосы, унаследованные от матери, и шустрые глазки, точь-в-точь как у самого Альбаньеля.

Коротко говоря, наш доктор премило убил вечер. Он болтал о том о сем и прилежно отдавал должное кулинарному искусству мадам Лауры. А потом он с наслаждением растянулся на свежих простынях в отведенной для него комнате.

На другой день затеяли верховую прогулку. Эжени оделась амазонкой; ей хотелось выглядеть наездницей Булонского леса, о которых она вычитала у Альфонса Карра и Жюль Жана — давно позабытых во Франции сочинителей. Мадам для пущей авантюристки покрывалась неимоверно широкополой шляпой из пальмовых листьев. Месье Альбаньель был в костюме жокея. Взглянув на дам, Елисеев не без труда подавил усмешку: вспомнилась городничиха и ее дочь из «Ревизора».

Для начала доктору была показана вотчина. У «пионера культуры» невольников не было. А вот эти работники? Оказывается, если бы не месье Альбаньель, они окопали бы с году.

Покинув владения доброго семейства — а владения эти, помимо всего прочего, были показаны доктору и для того, чтобы он имел представление о приданом Эжени, — кавалькада устремилась дальше.

Проехав верст шесть пальмовым лесом, всадники выбрались на рубеж оазиса. Лошади встали, как на краю бездны.

Пустыня лежала рыжая, гневно горячая. Оттуда, из кристальной дали, валом накатывал густой раскаленный воздух.

Елисеева так измучили «скорпионовы ночи», что его уже не трогала магия пространств и воздуха пустыни. Но чуть передохнув, он вновь ощутил таинственное притяжение Сахары. И, позабыв о своих спутниках, весь охваченный нетерпением, замороженно глядел на пустыню... Уаргла — последний французский пункт в Сахаре. Уаргла — ворота великой Сахары. И грош ему будет цена, если он не выйдет за эти ворота...

— Что с вами, месье доктор? — рассмеялась Эжени. —

У вас такой вид, точно вы влюблены. — И она опять рассмеялась.

— Влюблен, — отвечал Елисеев совершенно серьезно.

— О-о-о! — протянула мадам Альбаньель.

— О! — произнес месье Альбаньель.

А мадемуазель опустила короткие реснички.

«Какой пылкий молодой человек», — со вздохом подумала мадам. «Однако он скор», — с некоторым беспокойством подумал месье. «Но зачем же здесь?» — с легкой досадой подумала мадемуазель: согласно рецептам Карра и Жанена влюбленный сперва признается наедине с возлюбленной.

Несколько затянувшееся молчание удивило Елисеева. Посмотрев на Эжени — ее лошадь стояла ровнень с его лошадью, — Елисеев вспыхнул. Черт возьми, да они вот что... Доктор почувствовал ужасную неловкость. Объясниться? А, глупости... Объясниться все-таки следовало не мешкая, потому что мадам Альбаньель, доверительно тронув его кончиком хлыстика, сказала с ласковой задумчивостью:

— Мой милый, у нас есть еще время поговорить обо всем.

— Да нет, вы только взгляните, — решительно начал Елисеев, — вы только взгляните. — И он протянул руку в сторону Сахары. — Так и влечет остаться один на один с этим безмолвием... — Доктор воодушевился, он не желал замечать гримаску мадемуазель Эжени. — Но, господа, пустыню только тот поймет, кто увидит ее ночью, — говорил Елисеев, радуясь своему красноречию. — Да-а, лунной ночью, когда вся она полнится серебристой голубизною, когда звезды горят как планеты — не мерцаая, и все это в молчании, которое, право, действует сильнее говора волн. Ну как же не почувствовать себя влюбленным?! Только там сознаешь правоту и мудрость древних египтян. С пустыней отождествляли они божество всеобъемлющего пространства и божество всепоглощающего времени. — И он обратился к Эжени, точно у нее одной надеялся найти полное понимание: — Помните у Леконта де Лилля? Как это?.. Вы не подскажите, мадемуазель?

Мадемуазель дернула плечиком: нет, она не помнит никаких стихов, и вообще она не терпит этого Леконта де Лилля.

— Поедемте, господа. Я боюсь мигрени. — И мадам Лаура повернула лошадь.

После обеда, сидя вдвоем с хозяином в удобных креслах и закулив сигару, Елисеев сказал, что его самое пылкое желание — проникнуть подальше в Сахару, хотя бы за несколько переходов от Уарглы, а при счастливом случае, так и в Гадамес.

— В Гадамес?! — воскликнул Альбаньель. — Полноте шутить, доктор!

Елисеев отвечал, что не шутит.

— Да вы знаете, что случается на пути в Гадамес? Елисеев отвечал, что знает, отлично знает.

— Нет, вы ничего не знаете!

Альбаньель вскочил с кресла, заходил по террасе и, размазывая сигарой, зажатой меж пальцев, принялся живописать, как кочевники-туареги несколько лет назад расправились с отрядом полковника Поля Флаттерса и как изрубили на куски трех французских миссионеров.

— Теперь вам ясно? — заключил Альбаньель, взмахнув рукой, и дым его сигары оставил в воздухе сабельный след.

Елисеев подождал, пока хозяин уселся в кресло.

— Поверьте, месье, я тронут вашей заботливостью. Право, тронут. Но я вовсе не кидаясь очертя голову в авантюру. Некоторые соображения... Да, вот вы говорите о злосчастном полковнике Флаттерсе. Совсем другое дело, месье. Ведь полковник шел с разведочной миссией, и туареги могли видеть в ней (между нами, не без основания, не правда ли?)... туареги могли видеть в ней угрозу своей свободе, своей назависимости. А она им, разумеется, дорога. А я? Я, месье, странствую как географ, как врачеватель, как москов. И в одиночку. У меня только аптечка...

— Аптечка... — пробормотал Альбаньель. — Плевать они хотели на вашу аптечку, сударь. Укокошат, и все тут.

— Позвольте не согласиться. Вы же знаете, молва быстрее телеграфа. И я убедился в этом здесь, в Уаргле. Мы еще только подходили к вашему прелестному оазису, а меня уже окружили жители. Они приветствовали доктора и просили медицинской помощи.

— Но, сударь, здесь вам покровительствует Франция!

Елисеев улыбнулся на это горделивое восклицание и продолжал свои доказательства, из которых выходило, что путешествие в Гадамес (при наличии попутного каравана, конечно) будет хотя и нелегким, но успешным.

В конце концов Альбаньель нехотя согласился разослать своих слуг по караван-сараям Уарглы. Пусть поищут, нет ли кого-нибудь из Гадамеса.

К вечеру гонцы стали приходить один за другим. И все с неутешительными вестями. Елисеев приуныл и затворился в

комнате с каким-то дурацким романом, взятым у мадемуазель Эжени. Перед ужином хозяин заглянул к нему.

— Не знаю, к добру или к худу, но... нашелся.

Елисей отбросил книгу.

— Кто такой? — И весело отмахнулся: — Впрочем, его имя мне ничего не скажет.

— Да, вам оно ничего не скажете Но я свидетель — почтенный старик.

— Как мне теперь быть, месье?

Альбаньель улыбнулся его нетерпению.

— Вам? Да никак. Я пошлю за ним и сам столкуюсь.

— Не знаю, как и благодарить...

— Благодарить будете небо, коли вернетесь подобру-поздорову.

— О месье, надо верить в судьбу, — отшутился Елисей.

А вечером пришел старик, житель далекого сахарского оазиса Гадамеса. Он приехал в Уарглу по каким-то делам и завтра же отправлялся обратно. Старика звали Ибн Салах.

7

Серебробородый голубоглазый старец с тонким, чуть горбатым носом и прекрасным высоким лбом вежливо слушал месье Альбаньеля.

Альбаньель взялся за переговоры рьяно. Он и радел о русском, денежные средства которого были невелики, и ему доставляла удовольствие сделка сама по себе. Альбаньель приготовился торговаться хоть до ночи и был сбит с толку, когда Ибн Салах, не размышляя, принял плату, назначенную «благородным франком» за доставку путешественника в Гадамес. Альбаньель был озадачен сговорчивостью араба. Уж не хочет ли старикан завести молодого человека в объятия туарегов?

— Господин, — усмехнулся Ибн Салах, видимо догадавшись, о чем думает «благородный франк», — господин, я стар для коварства. Аллах не прощает лжи. Я молю бога, чтобы доктор живым и здоровым приехал ко мне в Гадамес. В доме моем печаль, господин. В доме моем два сына, прекрасные, как пальмы, но они тяжело больны. И я буду беречь моего гостя, как воду.

— А! — вырвалось у Альбаньеля. — Хорошо, хорошо... — Он понял, что мог бы предложить старичку еще меньше. — Хорошо, я тебе верю. А господин доктор, несомненно, исцелит твоих сыновей. Он — великий доктор.

Ибн Салах поднял на Елисея улыбающиеся глаза. Елисею показалось, что он где-то видел старца, когда-то знал его... Но припоминать было некогда, потому что Альбаньель уже расспрашивал Ибн Салаха, много ли в караване людей и

животных, сколько дней возьмет переход в Гадамес, да как, по его мнению, отнесутся к чужеземцу туареги.

Ибн Салах отвечал, что людей с ним двое, что верблюдов шесть, что в Гадамес они придут за полмесяца в что среди туарегов у старого Ибн Салаха найдутся друзья.

Караван выступил утром. На радостях Елисеев неоднократно приложился к ручке мадам Лауры и наговорил комплиментов мадемузель Эжени.

А в полдень путник уже изнывал, как каторжник. Страда началась. И завязалась у Елисеева тягостная распря с солнцем: кто кого. Не спасал ни берберский головной убор, ни советы Нгами, слуги Ибн Салаха, скуластого толстогубого парня, выросшего в Нигерии, тысячи за две верст от Гадамеса. Да и что могло помочь, когда солнце работало как локомотив? В висках у Елисеева будто поршень стучал, глаза слепило белым сиянием солончаков, желтым пламенем дюн. И таких вот, впадая в уныние, думал Елисеев, таких дней будет пятнадцать, шестнадцать, семнадцать...

В четыре пополудни Ибн Салах велел разбить шатер. Нгами со вторым слугой Юсуфом принялись за дело. Шатер был черный с белыми полосами. Внутри настелили красно-черно-желтый ковер с вышитыми шелком павлинами и «древом жизни». И Елисеев свалился на это «дерево» в полуобмороке. Ибн Салах почти силком заставил его проглотить чашку крепкого кофе. Нгами принес влажную тряпку — великая милость в пустыне, — обтер Елисееву лицо, грудь.

В шесть вечера караван опять пустился на юго-восток. Ехали допоздна — голубые в голубом, почти незримые, плыли рядом тени — густые, как деготь.

Караванная тропа то спускалась в котловины, то сливалась с ложем давно умершей реки, то огибала высокие дюны, напоминавшие издали изображение лунных кратеров в книге Фламариона.

— Тебе не скучно? — Тень всадника легла рядом с тенью Елисева и его верблюда.

— Скучно? — рассеянно отозвался Елисеев. — Какая ж скука в такую ночь?

— Ты прав, — продолжал Ибн Салах, — в такую ночь скучают лишь глупцы. И ведь это не ночь, не тьма. Это только отсутствие солнца. Звезды и луна заменяют его, и морем света не перестает быть Сахара. — Он помолчал. Их тени сдвинулись, означив на серебристо-голубом песке многоногое и четырехголовое чудовище.

Ибн Салах негромко окликнул Елисева. Тот не ответил. Он плыл в этом море света, на звезды и тени не глядя, а попросту существуя под этим небом, на этой земле. А Ибн Салах, словно бы для себя одного, с той терпеливой искусностью, которая досталась от предков, резчиков по платано-

вому дереву, сказывал о своих странствиях в земли черных людей, где растут злаки и хлопок, о великой реке Нигер, о славном городе Тимбукту... Он говорил и о последнем дальнем своем странствии из Гадамеса в благословенную Мекку. Елисеевым исподволь завладела напевная речь старика. Елисеев слушал все внимательнее. А Ибн Салах вил свой сказ о корабле с огненной машиной и о том, что даже люди пустыни, где камни вопиют от зноя, где жалобным протяжным гулом и звоном, как египетские сосуды из горного хрусталя, поет дрин, даже они, люди пустыни, падают под тамошним солнцем, точно овцы под ножом мясника, и что так было с ним, Ибн Салахом из Гадамеса, но бог послал спасение в облике путника из далекой неведомой страны «Москов»...

— Тебя зовут Ибн Салах? — У Елисеева был такой вид, будто он впервые услышал имя старика. — Ибн Салах из Гадамеса? — И разом все вспомнилось: палуба «Принцессы Фатимы», изнывающие паломники и вот этот старик («чистейший арабский тип»), которого он велел перенести в свою каюту. — Так это ты, Ибн Салах?

— Вот уже семьдесят лет, как меня зовут Ибн Салах. А тебя я признал, как только увидел в доме франка.

— Но... но отчего же молчал?

— Старый Ибн Салах никогда не делает того, чего не хочет тот, кого он считает своим другом. Я думал, ты меня тоже признал, но не хочешь подавать виду при этом франке. А потом, когда мы выступили в путь, я ждал, ждал и наконец понял, что ты забыл меня, ибо встретил за это время многих арабов.

— Вот так штука! — протянул Елисеев по-русски и даже руками развел. И прибавил по-арабски: — Здравствуй, Ибн Салах, здравствуй, почтенный хаджи. Рад тебе, очень рад!

— И я тебе рад. Ты будешь в Гадамесе дорогим гостем. Тот франк пугал тебя? Скажи по совести?

— Пугал, это верно. Да ведь и не зря?

— Ты будешь гостем пустыни. Ни один волос не упадет с твоей головы. Это говорю тебе я, старый Ибн Салах, который прожил в пустыне долгую и честную жизнь. Лживый франк! Кто посмеет обидеть в пустыне странствующего? В пустыне убивают франков, ибо они несут нам неволю и свою поганую веру... — Он поднял руку и громко позвал Юсуфа. — Видишь колодец? Там будет ночлег. Пospеши и набери воды.

Елисеев не мог объяснить, почему последующие переходы пустыней дались ему куда легче, чем тот, первый, когда он обессилел уже к полудню. Быть может, двухдневная нега в доме Альбаньелей подействовала расслабляюще? А может, потребовалось время, чтобы войти в походную колею? Или после ночной беседы с Ибн Салахом он уверовал в свою безопасность? Как бы там ни было, но теперь он не чувствовал

себя при последнем издыхании. Напротив, мог даже предаться честолюбивым мыслям.

И впрямь: ведь он, доктор Елисеев, первым из всех своих многомиллионных соотечественников проник в глубь Сахары. Первым!.. А в первенстве всегда есть прелесть. Вернувшись в Россию, он явится на Чернышеву площадь, ту, что позади Александрийского театра и впереди лабазов Апраксина двора, промарширует по чистым кафельным плитам входной залы, мимо щитов с этнографическими экспонатами, мимо бюстов знаменитых мужей географии, мимо публики, шепчущей: «Вот он... вот он... Елисеев», и войдет в сводчатую залу с рядами кресел, с тяжелой бронзовой люстрой и высокой дубовой кафедрой. И посмотрит в залу, набитую публикой, как смотрел Василий Васильевич Юнкер. И положит на кафедру рукопись. Для нее уже придумано название: «Антропологическая экскурсия в Сахару через Триполи, Тунис и Алжир». Название точное. Правда, несколько скромное. Какая же это экскурсия? Настоящее путешествие. Нет, пусть так и будет: экскурсия; скромность украшает... Да, ну так вот... Он положит на кафедру рукопись, а старый служитель в усах и подусниках, который звал некоторых учредителей общества, таких, как Даль Владимир Иванович и барон Врангель, не говоря уж об адмирале Литке, умершем три года назад, этот служитель поставит на кафедру стакан крепкого чая. Настоящего китайского чая... Настоящего чая...

И тут мысли доктора приняли в теперешних его обстоятельствах естественный оборот. Елисеев уже не думал о своем докладе на заседании Русского географического общества, а думал об ароматном, изумительном, свежезаваренном чае, об этом непревзойденном напитке с таким потрясающим запахом, уютным и усладительным, таким... ну, одним словом, таким чайным... И ему кажется, что он вдыхает этот запах... Ах, господи!.. Да-с, чай... А не желаете ли, милостивый государь, «живой водицы» из вонючего бурдюка? Впрочем, и такой, кажись, нет... Однако что такое? Сиуфы, эти громоздкие продолговатые дюны, будто расступаются?

— Айн-Тайба, — говорит Ибн Салах.

Со вчерашнего дня караван томился ожиданием небольшого озера с топкими тростниковыми берегами. Дюны скрывали озеро, как драгоценность. Вот оно сверкает и переливается, точно алмаз Великих Моголов. И верблюды мычат, вытягивая шеи, а лица у Нгами и Юсуфа, у Ибн Салаха и Елисеева делаются сладостными.

Озерцо напоило караван. Озерцо наполнило кожаные мешки водой. Но Ибн Салах не снялся с привала, он сказал: «Дневка». И это была благодать. Водная рябь бодрит в пустыне, как проблеск огня в заполярной тьме. Можно растянуться под пальмой, можно внимать шороху тростников, возне пер-

натых, вскрику и всплеску озерной суеты, которая не внушает, как пустыня, высоких и важных мыслей о «всепоглощающем времени и всеобъемлющем пространстве», но так и сыплет, так и брызжет беспечной радостью...

— Нгами!

— Да, господин!

И они уходят.

Вечное огорчение: изо всех странствий Елисеев привозит небогатые коллекции. И только потому, что никогда не может нанять больше одной лошади, больше одного верблюда, никогда не может нанять носильщиков. Но растения пустыни он соберет. И передаст ботаникам в Петербурге.

Взобравшись на дюну, видишь далеко. Днем пустыня — не лунный пейзаж. Она как молоко, жирное, желтоватое, как закипающее молоко в пузырях, готовое вот-вот убежать. И на этой неверной, на этой коварной, прокаленной земле, которую и землей-то назвать язык медлит, с терпеливым мужеством бедствуют пасынки и падчерицы пышной капризницы по имени Флора. Они похожи друг на друга, как люди, обойденные судьбой: внешне сухие, колючие. И, как люди, обиженные, затворившиеся в себе, не тянутся они ввысь, не разбрасываются вширь, а уходят в глубину, чтобы там, в темноте, схоронить, сберечь, удержать всю свою затаенную нежность и любовь к жизни.

За озерцом Айн-Тайба, в котловинке, среди блекло-золотистых дюн, отбрасывающих фиолетовые тени, стояли, не шелохнув, заросли дрина. «Я иссох, как трава, и дни мои как уклоняющаяся тень...» Любила матушка читать вслух псалмы, они трогали ее до слез; Елисееву почему-то особенно запало в душу: «Я иссох, как трава, и дни мои как уклоняющаяся тень...» И теперь эта скорбная жалоба вспомнилась ему, и он подумал, что исторг ее тот, кто видел заросли дрина, эти пустые, выбеленные солнцем стебли.

Набежал ветер. Дрин нехотя колыхнулся и замер. Но ветер не унялся, и в лоштинке потянул сквозняк. И тогда повеял над песками колокольный благовест, мелодичный и грустный.

— Добрые джинны играют, — улыбаясь сказал Нгами.

Елисеев, опершись на берданку, прикрыл глаза. Дрин звенел, дрин пел, колеблемый ветром. И колокольный благовест веял над песками, и чудились поле поспевающей ржи... речушка, деревня... и там — церковка... Далекое-близкое чудилось в песнях и звоне дрина, но ветер утих, и все смолкло. И снова только коротенькие синие и фиолетовые тени от блекло-золотистых дюн да белое солнце.

В одних долинах росли тамариски, в других — альфа. Песчаные куропатки, смурье и толстенные, перепархивали в тамарисках. Тушканчики, присев на задние лапки, воровато поводили усиками. Тонконогие пауки шастали, легонько

пританцовывая, как старички на балу. Крупные ящерицы вараны охотились за пауками, а за варанами охотился худобкий фенек — лисица пустыни. И нырял, и нырял в небе жаворонок...

После Айн-Тайба Ибн Салах удлинил дневные перегонь: так он укорачивал разлуку с сыновьями. Ибн Салах предвкушал радость сыновей. О, великий доктор-москов изгонит печаль из дома Ибн Салаха, сделает то, что не могут сделать знахари. И старый Ибн Салах гнал караван.

А пустыня изводила Елисеева. Она покрыла его кожу зудящей сыпью, секла, как бритвой, щеки и губы, заливала глаза потом, как кислотой, душила, как астма. Елисеев, изнемогая, часто терял сознание. В пылающей голове ходили резкие цветные круги и скорпионом шуршала мысль об увесистом «бульдоге». Легкий нажим на курок — и сгинет все. И удушье, и зуд, и спазмы в желудке. И не надо никакого Гадамеса... Зачем этот Гадамес? И туареги ни к чему.

Он потянулся к «бульдогу», но дернулся от боли и очнулся. Черная рука стискивала ему кисть. Нгами! Нгами ехал рядом. Нгами не спускал глаз с него. Жалкая улыбка тронула губы Елисеева, из трещин на губах выступила кровь. Он слизнул ее языком и опять утонул в забытья, беспомощно покачиваясь на верблюде. Нгами и Ибн Салах поддерживали его с обеих сторон.

Шесть верблюдов идут Сахарой. Трое едут в ряд. Позади — молчаливый и мрачный бербер Юсуф. День-деньской он следит за верблюдом-водоносом и за верблюдом с багажом москов. Шесть верблюдов идут Сахарой.

Только ночь была сестрой милосердия. Она умирляла зудящую сыпь, отгоняла удушье. Елисеев доставал тетрадку. Жалобы? Ни полслова. Сетования? Никаких. Размышления? Нет. Это был анамнез — подробное описание болезни. Записи медика, а не больного. Записи больного, не забывающего, что он медик.

Так было и в ту ночь...

Они остановились в зарослях дрина. Костер дожирал последние стебли. Гадюки и скорпионы кралась к шатру. Нгами спал, похрапывая и бормоча. Юсуф спал, не шевелясь, колодой. Елисеев сидел, завернувшись в плащ. Он уже спрятал дневник и теперь то подремывал, то вздрагивал и отмахивался от скорпионов, то слушал Ибн Салаха. Старый Ибн Салах досказывал долгую историю, начатую еще позавчера, историю, в которой правда мешалась с вымыслом, как два сорта доброго вина. Ибн Салах рассказывал про Абд-эль-Кадир.

— О уважаемый, — говорил старый араб, — много ты видел на свете разных людей, но такого, как Абд-эль-Кадир, клануться Аллахом, не видывал, ибо такого, как Абд-эль-Кадир, может породить только наша земля.

И, проговорив так, старый Ибн Салах продолжал повест-

вание о битвах повстанцев, о победах армии Абд-эль-Кадира над франками, о том, как Абд-эль-Кадир, неутомимый наездник, слагатель стихов, мудрец и воин, основал свободную страну арабов со столицей в городе Маскара, что в Северном Алжире. В голосе старого араба было восхищение и любовь. А потом Елисеев услышал в его голосе печаль. Ибн Салах стал рассказывать, как подлые франки пленили Абд-эль-Кадира и увезли его за море, в свои вонючие темницы. Но теперь, говорил Ибн Салах, и глаза его сверкали, теперь он опять появился на родине. О, Абд-эль-Кадир скрывается, он ждет своего часа, как мы ждем его... Что? Ты говоришь — умер? Скажи мне, где и когда он умер? В Дамаске, два года назад? Прости, ты легковерен, как молодая девушка. Абд-эль-Кадир не умер. Он вечен, как наши пески, ибо он посланец Аллаха. Старик не договорил и прислушался.

Елисеев поднял голову и вздрогнул. Нет, не от прикосновения змеи или скорпионов. Перед ним было чудо: огромный всадник с длинным копьем, в красной, тихой колышущейся мантии. Всадник, как видение, выплыл из-за дюн. Елисеев еще не успел осознать, явь это или ночной мираж, как Ибн Салах степенно поднялся с ковра.

— Хозяин дешеских песков, — объяснил он Елисееву. — Мой друг. — И пошел навстречу всаднику.

...Туарег приближался.

Елисееву, который по-прежнему сидел, поджав ноги и завернувшись в плащ, казалось, что всадник делается все огромное, вес выше, что еще немного — и звезды, словно бублики, нанижуются на его копье. И опять, как в Триполи, Елисеев чувствовал, какая могучая сила веет от одного из тех сынов Сахары, что не признавали ни французских властей в Алжире, ни турецких в Триполи. Еще тогда, в Триполи, Елисеев подумал, что было бы хорошо проникнуть к туарегам, о которых так мало знают географы и антропологи. И недавно в Уаргле, покамест Альбаньель живописал разгром отряда Флаттерса, Елисеев твердил себе: «А все-таки я буду среди них». Но теперь, при виде огромного всадника в красной, тихо колышущейся мантии, он содрогнулся: вдруг Альбаньель окажется прав?!

Всадник был у костра. Елисеев встал и приложил руку ко лбу. Туарег приветствовал его тем же жестом.

— Благородный москов, — торжественно произнес Ибн Салах, — вот могучий Татрит-Ган-Туфат, следуя праху ноги твоей, пришел к нашему шатру. Он друг старого Ибн Салаха, а значит, и твой друг.

Татрит-Ган-Туфат, что значит Утренняя Звезда, наклонил копье и протянул Елисееву пучок целебных трав. Татрит-Ган-Туфат сказал длинное и вежливое приветствие, из которого Елисеев заключил, что молва о странствующем докторе обогнала караван.

Они сели у костра. Елисеев подбросил дрину; обдало приятной задымью. Огонь разгорелся. Ибн Салах потянулся за кофейником. А Елисеев, вопреки правилам европейских приличий, не мог отвести глаз от туарега.

Татрит-Ган-Туфат был в таком же одеянии, что и те туареги на празднике в Триполи: голубая блуза, шаровары, схваченные широким красным кушаком. На левой руке висел кинжал, на груди и на правой руке — амулеты. Татрит-Ган-Туфат приподнял черное покрывало, и Елисеев увидел гордое бронзовое лицо с редкой черной бородкой.

Ибн Салах разлил кофе.

Утренняя Звезда воткнул копье в песок, положил щит из кожи антилопы, саблю, два дротика. Но пистонное ружье за плечами да кинжал на левой руке оставил. Это уж всегда было при нем. Даже на ночлегах. В любую минуту он готов к бою.

Они выпили по чашке кофе в церемонном молчании. Ибн Салах налил еще. Татрит-Ган-Туфат сказал, что долго не может быть в шатре достойных друзей, ибо должен возвратиться к своему племени, но если москов пожелает, то Утренняя Звезда поведает ему о целебных свойствах трав, вот этих, которые он привез доктору в знак своего расположения.

Елисеев поспешно согласился и достал тетрадь.

Татрит-Ган-Туфат знал целебные травы как заправский фармаколог. Они просидели у костерка до рассвета. Прощаясь с Утренней Звездой, Елисеев сказал ему, что прошедшая ночь была лучшей из всех ночей, какие он, москов, знал в пустыне.

И Татрит-Ган-Туфат исчез.

«Как садился Илья на коня, все видели, а как уехал, того никто не видел».

А караван пошел своей дорогой.

Солнце уже в зените стояло, как вдруг лазурь неба обесцветилась, пески зазвенели, будто тонкая пластина пружинной стали.

— Слышишь? — Лицо Ибн Салаха осунулось, голубые воспаленные глаза потемнели. — Слышишь, как поют пески? Пески зовут ветер, ветер зовет смерть.

Нгами с Юсуфом скучили верблюдов, принялись стаскивать шатер. Верблюды гнули головы к земле и жалобно мычали. Солнце меркло, как при затмении. Горизонт с грозной внезапностью покрылся бурой клубящейся мглой. Взвыл ветер, ударил песком, как дробью из дробовика, и вырвал из рук Нгами и Юсуфа черно-белый тяжелый шатер. Соседняя дюна закурилась, колыхнулась, низринулась, и вот уж все исчезло в метушемся песчаном хаосе.

— Ложись! — крикнул Ибн Салах.

Елисеев лежал ничком, завернувшись в плащ, но плащ не спасал. Мелкие песчинки кололи крепко зажмуренные глаза, как иголки стрекочущих швейных машин, песок набивался в

рот, хотя рот был плотно сжат. Елисейев задыхался. И не было в голове у него никаких мыслей, а было лишь затухающее сознание своего бессилия да мутное непрестанное гудение, словно бы густого пчелиного роя.

8

Его подняли Нгами и Юсуф. Елисейев едва отдышался, едва отплевался, но веки не разлепил, да так, с закрытыми глазами, и услышал голоса своих спутников, фыркание и шумные вздохи верблюдов.

Но он только слышал. Он ничего не видел. Стоило чуть-чуть приоткрыть глаза, как страшная режущая боль сжимала мозг. И Елисейева зазнобило, словно при солнечном ударе, он облился холодным потом. Он понял, что с ним произошло: началось сильнейшее воспаление глаз... Слепота... Елисейев закусил губу... Стоп, сердце! Спокойствие, только спокойствие. Надо собраться с мыслями. Врач, исцелился сам... Промывание, атропин, повязка. Так? Да, промыть, атропин, повязка...

— Нгами!

— Здесь, господин?

— Воды!

Не вода была на дне бурдюков, а кисловатая вонючая жидкость. Промывать глаза все равно что соль сыпать на рану. До Гадамеса еще три перехода, три дня и три ночи. За эти три дня... И Елисейева опять бросило в холодный озноб.

А старый Ибн Салах распорядился. Он велел слугам насобирать дрину. Дрин, загубленный самумом, устилал ближайшую ложбинку, как павшая рать — поле брани.

Развели костер. Потом другой, третий, четвертый. Юсуф и Нгами подтаскивали дрин. Ибн Салах сказал Елисейеву:

— Возьмем уголь и процедим воду.

Мудрец Ибн Салах, ей-богу, мудрец, он сам никогда бы не догадался, а ведь так просто... Однако воды мало, совсем мало, промывание же надо делать часто, как можно чаще. Тогда еще есть надежда. Значит, что же? Значит, он изведет всю воду? Все, что осталось людям на три перехода?

Это было так. И Нгами, и Юсуф, и Ибн Салах знали, что придется отдать весь запас воды. Елисейев был уверен в Ибн Салахе. Да еще, пожалуй, в Нгами. Но Юсуф, этот мрачный молчаливец? Что, если Юсуф, мучимый жаждой, утаит часть воды? На кой ляд, скажите, страдать Юсуфу из-за него, москов? И вообразилось Елисейеву: бербер Юсуф, поотстав с верблюдом-водоносом, припадает к бурдюку и пьет, пьет, сливает в свою чертову глотку последние капли воды. Голова у Юсуфа запрокинута, кадык прыгает. Все это возникло перед Елисейевым так четко, ярко, что он застонал.

Костры догорели. Нгами с Юсуфом проворно собрали уголь. Когда уголь остыл, Ибн Салах осторожно процедил воду. Елисеев, дорожа каждой каплей, промыл глаза. Пустил атропину. Наложил повязку. И сказал жестко:

— Ибн Салах, гони что есть духу. Если спасете меня, отдам все. Понял? Ты где? Слышишь, Ибн Салах? Ибн Салах слышал.

Ибн Салах понял. И, помедлив, ответил:

— Ты говоришь, как франки говорят с франками.

И погнал верблюдов.

Елисеев всегда доверял проводникам, полагая, что доверие — надежная защита. Впервые он не доверял проводникам. Но ведь и впервые он был так беспомощен. Вот он подпрыгивает, как куль, на своем верблюде. Плотной повязкой отторгнут от мира, от времени.

— Юсуф! — кричит он.

— Да, господин?

У Елисеева отлегло от сердца... нет, не пьет. А ему все казалось, что тот пьет его воду. На первом же ночлеге Елисеев открыл старику свои страхи.

— Хорошо, — ответил Ибн Салах, — мы погрузим мешок с водой на твоего верблюда.

С полуночи они опять были в пути. Елисеев ощупывал бурдючок, тощий, как вымя давно не кормленной коровенки. Все в порядке, бурдюк под руками. Но теперь он страшился другого. Он знал, что люди от жажды впадают в безумие. Нгами с Юсуфом могут отнять бурдюк. Елисеев взвел курок револьвера, хотя и понимал, что у проводников хватит сметки сперва обезоружить его.

Минули сутки. Минули вторые. Елисеев все еще не снимал повязки. Может, так и в Гадамес войдет. Да, в Гадамес... ежели придется... А солнце, будь оно неладно, ярится пуще. И лопаются известковые камни. Лопаются, звеня, как струны. Ни один, кажется, европейский путешественник не был удостоен Сахарой вот эдакой-то чести: слушать «звук солнца». Итак, все получено сполна: и песни дринов, и самум, и «звук солнца», и встреча с туарегом, грозой франков. Полной мерой. Даже с лихвой. А резь-то как будто уменьшилась. Глазам лучше, право, лучше. Впрочем, тсс... Не дразни судьбу!.. И Елисеев безбожник, Елисеев медик нет-нет да и прошепчет «полмолитвочки».

И вот пришло утро, когда он ощутил слабую, но необыкновенно приятную перемену в воздухе. Будто в театральном зале, когда поднимается занавес. Елисеев даже ладонью провел перед собою.

— Ибн Салах?

— Да-да, скоро.

И точно: к вечеру караван окунулся в пальмовый лес. Еще несколько верст — волшебных верст, — и Гадамес, вожделенный Гадамес, край песков — Большой Восточный Эрг, Гада-

мес почти легендарный, ибо до Елисеева там побывали лишь несколько европейцев.

Но в Гадамес теперь не спешил старый Ибн Салах. Нет, мы заночуем у колодца. Мы отрясем пыль пустыни. И ты снимешь повязку. Москов войдет в Гадамес с открытыми глазами. Правда?

Правда, Ибн Садах, твоя правда. Вот он, бурдючок, совсем ледащенький. А Нгами с Юсуфом молчат, глотки у них пересохли.

Остановились у колодца, раздался веселый всплеск, и полнехонькое кожаное ведро, покачиваясь, быстро заскользило кверху. Елисеев едва не сорвал с глаз повязку.

Он снял ее ночью. Лунный блик светлой медью лежал у шатра. И тихонько сипел сгасший костерок. Елисеев прерывисто вздохнул. Все трое смотрели на него: Ибн Салах, Нгами, Юсуф.

— Да будет благословен Аллах, — прошептал старик.

Нгами засмеялся, а Юсуф улыбался. И эта улыбка, первая улыбка Юсуфа, которую видел Елисеев, и эта порывистая радость Нгами, и сдержанное волнение Ибн Салаха, и лунные блики под пальмами, и теплое сизое пятно погасшего костерка... Лицо Елисеева дрогнуло, он опрометью бросился в чашу. Никто его не удерживал.

Караван пожаловал в Гадамес утром. Там уже знали от посланцев Татрит-Ган-Туфата, что с Ибн Салахом едет доктор-москов.

Все мужское население встречало караван, и Елисеев подумал, что его принимают куда сердечнее, чем в Питере разных иностранных принцев, когда полицейские, лавочные сидельцы, шпики да извозчики изображают ликующий народ.

Гадамес для Елисеева не просто очередной африканский город, куда завез его пароход, локомотив или дилижанс. Гадамес Елисеев выстрадал. И теперь, когда город встречает его лаской, а его верблюда, запыленного, грязного, со свалывшейся шерстью, глядят незнакомые люди, теперь Елисееву кажется, что иначе и быть не могло. Проплывая над толпой, шумливой, пестрой, он прикладывает руку ко лбу, кланяется радостно и спокойно. А между тем для него не тайна, какой враждебностью обдавал этот самый Гадамес редких чужестранцев.

Глиняный дом Ибн Салаха стоял под сенью финиковых пальм. В доме было много старинной посуды: и тонкогорлые бутылки с эмалевой росписью, и бронзовый водолей в виде орла, и кувшины, выделанные из цельных кристаллов горного хрусталя, и чаши с цветной глазурью — все накопленное предками, резчиками по дереву, украшателями мечетей и странствующими торговцами, посещавшими рынки Туниса, Триполи, Алжира. И еще были в доме ковры и ткани, срабо-

танные марокканцами, сирийцами, коптами, ткани-странницы, проделавшие дальние пути с верблюжьими караванами.

В доме Ибн Салаха не только добро. В его доме — сыновья, внуки, правнуки, невестки. И рабы, черные рабы, пригнанные из Судана, купленные в Нигерии, такие, как Нгами. Вот они все толпятся, шушукаются, кланяются, глядят во все глаза на чужеземца, которого так почтительно, так озабоченно ведет старый хозяин.

В тот же день Елисеев осмотрел сыновей Ибн Салаха. Сильные мускулистые погодки внешне напоминали отца, но один был черноволосый, чернобровый и черноглазый, а другой — светловолосый, светлобровый и светлоглазый.

Александр Васильевич заранее настроился на длительное и сложное лечение и даже побаивался, что обнаружит у наследников Ибн Салаха что-то такое, с чем не справишься скудными средствами дорожной аптечки. И поэтому, увидев язвы, вызванные ревматизмом, доктор обрадовался. Несколько порошков салицилки — и боль как рукой снимет. Ей-богу, он хотел потрудиться для Ибн Салаха. Впрочем, памятуя о петербургских лекарях, пользующихся состоятельными семействами, напустил на себя встревоженную мину. Он долго выслушивал и выстукивал пациентов, считал пульс и щупал мускулы. Последнее не очень-то понравилось и самому Ибн Салаху, и его сыновьям, ибо весьма смахивало на куплю-продажу рабов, но они держались смирнехонько. Засим Елисеев велел распаковать свой аптечный тюк, приобретенный в Бискре у носатого аптекаря, извлек пакет с салицилкой, отмерил порции снадобья и тоном чудодея отдал директивы.

Покончив с этим, Елисеев отправился к ручью. Ручей был рядом, в роще финиковых пальм; он булькал и пускал младенческие пузыри. Елисеев не купался, не мылся, не плескался в этом светлом потоке. Елисеев, что называется, вкушал блаженство. Он распластался на песчаном дне, раскинул руки и глядел, как перебегают по груди солнечная рябь, тени, соринки, и вслушивался в лепет струй, и зажмуривался, и мурлыкал, и пошевеливал пальцами, и прихлопывал по воде ладонями.

А утром в сопровождении Нгами он осматривал Гадамес.

Гадамес похож и не похож на городки в оазисах Сахары, на те, что уже посетил Елисеев. Похож: тонет в песках, которые грозят поглотить его, глиняный, тесный, с пестрым населением, живущим в отдельных кварталах. И не похож: его улицы — не коридорчики меж домами, а крытые галереи, катакомбы с редкими продушинами, напоминающими люки в палубах морских судов. Да и весь Гадамес словно двухдечное судно. Нижний дек, это подземный город, где и днем ходи с фонарем, а верхний дек — белые крыши, пригнанные вплотную. Не крыши, а будто скатерть. Нижняя палуба — для муж-

чин; верхняя — крыши и террасы — для женщин. Но весь день по крышам катится солнце, хлещет белым пламенем. Женщины сидят дома. Они появляются на крышах вместе с луною и звездами. Должно быть, в этом есть символ, ибо женщины Гадамеса на редкость пригожи.

Только для него, хоть он и чужак, и мужчина, только для него допускается нынче послабление. Он может выйти на «верхнюю палубу». Он выходит и зажмуривается, побаиваясь за свое зрение. Но посмотреть стоит. Ведь прекрасные дамы не прячутся на плоских горячих террасах. Правда, они пугливы. Но как не взглянуть на молодого чужестранца из далекой неведомой Москов? О да, хорош собою — и высок, и строен, а борода отликает золотом.

И Елисеев, признаться, заглядывается на эти «мимолетные виденья» в длинных, как и полагается призракам, голубых, синих, красных не то плащах, не то накидках, в шапочках, изукрашенных и расшитых, точно русская кика, а поверх шапочек — белые покрывала, а на ногах — туфли красного сафьяна. Что за прелесть эти чеканные тонкие лица! И как только уберегли они белизну своих ланит от этого солнца?..

Нгами дожидается Елисеева внизу, в сумеречных катакомбах. Нгами окружила, притиснула толпа. Его спрашивают, его теребят. Он отвечает степенно и снисходительно. Нгами — раб, но Нгами — друг доктора. И поэтому сегодня все относится к нему с почтением.

Да-да, кивает Нгами, доктор исцелил сыновей старого Ибн Салаха. (Нгами опережает события: болезненные припадки утишились, но еще не совсем.) Да, продолжает Нгами, доктор будет жить у нас в доме столько времени, сколько надо для перехода в Уарглу. (Тут он не грешит: Елисеев решил пробыть в Гадамесе недели две, а после Ибн Салах пристроит его к надежному каравану.) Да, внушает Нгами, доктор будет лечить всех, кто этого захочет. Но пусть все помнят, что больных к доктору пускать будет он, Нгами, и Нгами делает выразительный жест. Все ясно: нужен бакшиш — приношения. (Тут уж, конечно, его собственное законодательство.) Но вот Нгами умолкает и машет фонарем:

— Я здесь, господин!

И, гордо шествуя рядом с доктором, освещая ему фонарем и отодвигая локтем встречных, Нгами ведет Елисеева по катакомбам Гадамеса, самого южного города в Тунисе. Нгами ведет Елисеева по городу, где еще никогда и никто не видел человека из России. А позади неотступно следует толпа, покинувшая ради такого события и базар, и лавчонки, и мастерские...

Амбулатория была открыта. Для всех, бесплатно. Сыновьям Ибн Салаха и впрямь полегчало. Лучшей рекламы Елисееву и придумать нельзя было. Кто же в Гадамесе не знал,

что почтенный торговец Ибн Салах не выторговал у Аллаха исцеления своим сынам, хотя и совершил хадж в Мекку? Кто же в Гадамесе не знал, что самого-то Ибн Салаха избавил от смерти вот этот москов? А теперь — слышали? слышали? — теперь и его сыновьям полегчало.

Доктор Елисеев принимал больных — жителей Гадамеса и кочевников из окрестностей, богатых и нищих. И, принимая больных, раздавая лекарства, не забывал антропологические измерения. Он уже открыл другую тетрадь, на обложке вывел то же, что и на первой: «Антропологическая экскурсия в Сахару через Триполи, Тунис и Алжир».

Но бывали дни, когда амбулатория закрывалась: вместе с Нгами он отправлялся к туарегам. То-то бы поразился «пионер культуры» месье Клод Альбаньель, когда бы видел Елисеева в стане тех, кто совсем недавно изничтожил многочисленный отряд полковника Флаттерса.

Елисеев жил среди туарегов, как Алеко среди цыган.

Он сидел с ними у вечерних костров, ел асинко — вкусную кашу, ел мясо, жаренное на углях и приправленное ароматными травами, пил кислое молоко. Он спал в шатрах туарегов и ездил с ними охотиться на страусов.

Диву давался Елисеев, когда туарег, даже не склоняясь с седла, по едва приметному, заметенному песком следу определял, сколько верблюдов прошло здесь, тяжела или легка их ноша, спешат погонщики или нет. Диву давался, наблюдая, как туарег рассчитывал направление в пустыне по виду дюн, по полету птицы, по движению облаков... Глаза у туарегов были поистине орлиные. Ибо как иначе назвать глаза, которые за версту отыскивают среди песков тушканчика? И обоняние у туарегов было тончайшее. Ибо как иначе назвать обоняние людей, за версту слышащих запах трав? Прибавьте неутомимость, равную неутомимости перелетных птиц, и твердость мускулов, равную страусовой, и честность, не позволяющую туарегу, хоть помирай он с голоду, тронуть чужую провизию и воду, и нерушимую верность данному слову — и вот вам кочевник Сахары.

Да, доктор положительно бы влюбился в туарегов, когда бы не одно обстоятельство: в шатрах он видел невольников. Туареги, эти свободолюбцы, неусыпные стражи своей независимости, владели черными рабами. Что за проклятие тяготее над Африкой?

И это чувство недоумения и печали бередило Елисеева даже на том пиршестве, что задали туареги перед его отъездом из Гадамеса.

Пиршество устроил Ахарехеллен, вождь одного из племен туарегов, следопыт из всех следопытов, знаменитейший охотник, могучий, седоголовый человек.

Пировали ночью, под огромными, безлучными, добрыми

звездами. Почетного гостя усадили рядом с вождем на желтой львиной шкуре, среди стариков, которые, как все старики на свете, «знавали лучшие времена». Все племя, мужчины и женщины, расположилось у дымных костров, пахнущих дрином и сухим верблюжьим пометом.

Было много душистого мяса, много свежего козьего молока и сладкого густого меда, и вдоволь вкусной воды, и вдоволь крепкого табака. А черные рабы, молчаливые и незаметные, подносили все новые блюда.

Ахарехеллен глянул на небо и подал знак. И в два круга пошел хоровод: юноши — слева направо, девушки — справа налево. В ночной синеве, подсвеченной пламенем костров, медленно и плавно кружил голубой обруч. А посреди него, центром его была недвижная девичья фигура в белом платье и в красной накидке.

Но вот звезды пожухли, ночь поблекла: взошла луна — полная, ясная, смеющаяся. И тогда разомкнулся, рассыпался голубой обруч, словно бы порвалась нить ожерелья. И осталась Афанеор — изваяние в белом и красном. Дочь вождя запрокинула голову, выбросила вперед руки, будто вплавь пускаясь, и запела гимн во славу Луны. Она пела вполголоса, но было так тихо, что гимн ее, казалось, звучал на всю пустыню, и слушали его небо, дюны, люди, все сущее в великой Сахаре.

Сперва несколько голосов, молодых, свежих, забили, как родники, вокруг голоса Афанеор, потом еще и еще, и вот уже все туареги, стар и млад, славили полную, беззвучно смеющуюся Луну, покровительницу ночи.

И только черные рабы стояли в стороне от пирующих, немые и чуждые и этой ночи, и этому пиршеству, и этому согласному пению...

ЗЕМНАЯ АТЛАНТИДА

1

Граф Абай, кавалер ордена «Печать Соломона», мурлыкал под нос:

Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

В давнишние годы, когда он еще не был военным советником негуса и не нашивал на мундире красивый золотой орден с изумрудом, в давнишние годы, когда граф не был графом, а был простым армейским офицером, один из его приятелей кавалеристов говаривал: «Не тот наездник, кто первым прискачет, а тот, кто сто верст шагом проедет».

Пословица среднеазиатская, туркменская, кажется, была справедливой и здесь, на дорогах Эфиопии, и граф Абай, вспоминая ее, не горячил, не прищипывал темно-гнедого, с подпалинами в пахах и на морде жеребца.

За караковым жеребцом шествовал с тяжелой и внушительной грацией белый слон. Слон погромыхивал цепью, как колодник, и оставлял на дороге круглые, точно сковороды, оттиски, рядом с которыми ложился легкий след Алямо — проводника, эфиопского юноши, почти еще мальчика, губастого и задумчивого.

Всадник и слон открывали процессию в несколько сот человек: чернокожие солдаты в светлых плащах-шаммах с ружьями и саблями и какие-то изможденные европейцы в лохмотьях, кто с костылем, кто с палкой.

Три дня назад все эти люди вышли из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и теперь двигались на восток, к городу Харару. Оттуда побредут они пустыней к соленому мариу Красного моря и останутся в душном портовом городе Джибути, где с каждым годом все бойчее звучит французская речь. Из Джибути эфиопские солдаты повернут домой. Чернявые европейцы в лохмотьях взойдут на пароход, и прощай Африка, детям закажут они совать нос в Эфиопию... А граф Абай, темнолицый Алямо и слон поедут далеко на север, в город с адмиралтейским шпилем, вонзающимся в низкие облака, и выпуклой рекою, гложущей береговой гранит.

Но все это еще как бы в ином мире. А тут, над рудым плоскогорьем, вальсируют цветастые бабочки, тут топорщатся небритые кактусы, грозящие своими иглами неосторожному путнику, тени огромных сикомор манят свернуть с дороги, бьют в ущельях серные источники, окутываясь парами, и у берегов озер шумят крылья толстоклювых гусей.

Итак, был третий походный день. Он же — второй день июня 1896 года. День как день, не отличимый от вчерашнего.

Граф Абай ехал шагом, мурлыча под нос:

Не пылит дорога...

И вдруг привстал на стременах: дорога пылила. Ничего бы, пожалуй, не было в том удивительного — торопится какой-то гонец в Аддис-Абебу, и все дело. Однако встречи на караванной тропе — событие, и граф Абай приложил к глазам полевой бинокль.

Он увидел двух верховых и тотчас определил, что они не эфиопские гонцы и не эфиопские воины, но европейцы. И не какие-нибудь там комми, а... «Впрочем, — прикидывал граф, — нашим еще рано... Однако... Эге-ге-ге...» Не белые тропические шлемы и не белые распахнутые плащи, не винтовки и не револьверы конников рассматривал, прильнув к окулярам, военный советник императора Эфиопии. Совсем иное занимало его. У одного всадника была кожаная сумка, русская офицерская сумка для всякой малости, а у другого, плечистого бородача, — котелок, настоящий кавалерийский котелок драгунского образца. И вот они — две эти вещицы — все объяснили графу Абаю. Он понял, что... «Нет, черт возьми, отчего только двое? Где остальные?»..

Тень огромной придорожной сикоморы накрыла обоих — графа Абая и незнакомца, который сидел в седле тем несколько небрежным и уверенным манером, каким отличались офицеры-гвардейцы. Граф осадил коня, козырнул и, удерживая волнение, спросил громко:

— Ежели не ошибаюсь, лейб-гвардии гусарского?

У незнакомца взлетели брови.

— Так точно, — отвечал он с быстротою растерянности. — Поручик лейб-гвардии гусарского полка Булатович. Простите... с кем имею честь?

— Леонтьев, — представился граф. — Поручик в отставке Николай Степанович Леонтьев. — И прибавил не без гордости: — Надеюсь, слышали?

Еще бы! Как было Александру Булатовичу не знать этого имени? В прошлом году отставной офицер Леонтьев снарядил маленькую научную экспедицию в Эфиопию, сам доктор Елисеев в ней участвовал. «Леонтьев — человек благородный и бескорыстный», — говорили и писали в прошлом году. А потом пошли слухи о близости Леонтьева к эфиопскому императору

Менелику II, говорить и писать стали: «Леонтьев — авантюрист»... Как бы там ни было, а Булатович очень рад встрече с Леонтьевым. Удача, настоящая удача! Ведь могли и разминуться. А теперь сядут они под этой сикоморой, и поручик дотошно расспросит Леонтьева, с чего ему начинать в Аддис-Абебе...

— Займись-ка, — кивнул Булатович своему спутнику, кряжистому бородачу с широким малиновым лицом, и рядовой Зелепукин принялся развязывать тюк, притороченный к седлу.

— Те-те-те, — заулыбался Леонтьев, глядя на Булатовича. — Сразу и видно нашего брата. Небось угощать меня?

— Со свиданьем, ваше благородие, — ответил вместо Булатовича Зелепукин, — без этого никак невозможно.

Булатович рассмеялся, а Леонтьев сказал:

— Невозможно... Да только не вы меня, а я вас должен потчевать. Вы тут, — он сделал широкий жест, — вы тут в гостях, а я, можно сказать, дома.

Обернувшись к Алямо и проводникам-эфиопам, он приказал разбить палатку и достать провизию.

— Да, вот еще что, — договорил Леонтьев, удерживая Алямо за рукав, — передай, чтоб отряд двигался, я догоню.

Палатка у Леонтьева была шелковая, золотом расшитая, не палатка, а шатер атаманский. И харчи были отменные. Но когда Булатович извлек из своего тюка бутылку шампанского, Леонтьев щелкнул пальцами и прищурился:

— Давненько мы не видали «Мадам Клико». Ну, уж доберусь до Питера, берегись ресторатор Палкин.

— Эка хватили — до Пи-те-ра...

— Не так уж и хватил. Я — прямехонько в Санкт-Петербург. И по государственной надобности.

Твердое лицо Булатовича с обветренными, загорелыми до черноты скулами выразило мальчишеское любопытство.

— Николай Степанович, — взмолился он, расстегивая ворот фланелевой рубахи, — вы все загадки загадываете.

— Да какие же загадки, — отвечал Леонтьев, — все весьма загадочно. — Он поглядел на бутылку. — Нет, так не пойдет. — И весело поторопил Зелепукина: — Ну-ка, братец, тряхни «Мадам Клико».

Зелепукин откупорил бутылку; шампанское было теплое, обильно пенное, и он неодобрительно заметил:

— В таком разе лучше б беленькой.

— Вина кометы брызнул сок, — улыбнулся Булатович.

Выпили. Булатовичу не терпелось послушать Леонтьева, Леонтьеву не терпелось послушать Булатовича, и разговор пошел в прискокку, сбивчивый: один все о России выпрашивал, другой — про Эфиопию.

— А вы Александра Васильевича-то знавали?

Булатович отвечал, что с Елисеевым познакомиться не успел, хотя слушал его доклад в мае девяносто пятого в Гео-

графическом обществе и тогда же возгорелся желанием посетить Эфиопию; написал письмо Елисееву, хотел рандеву получить, но ответа не было.

— И признаться, обиделся. А через неделю, кажется, гляжу в газетах: после непродолжительной болезни скончался... Так, знаете, на душе тяжело стало, я ведь с юности все за его книжками и статьями охотился... Из каких только опасностей живым выходил, а тут на тебе: приехал в Питер и...

— При жизни не оценили, а уж после того, как на Смоленское свезут... — Леонтьев махнул рукой.

— Ну хорошо... — начал Булатович и смешался: — То есть... чего уж тут хорошего... Но вы-то, Николай Степанович... По чести, разное в Петербурге судачили.

— Пусть их. — Леонтьев презрительно дернул плечом. И загорячился: — Я, батенька, выгод под огнем не искал. Почему застрял? Думаете, славы ради? Оригинальности ради? Не скрою, наградами негуса польщен, титулом тоже горжусь. Каким? А-а, да об этом не слышно еще было? Графским титулом, первым в Эфиопской империи. Вот тут, — он кивнул на дорожный саквояж, — грамота Менелика припрятана. — И титулом, и наградами. Да-с, не в министерских прихожих высидел. Я еще в прошлом году, с Елисеевым, как в Харар приехал, да пожил среди эфиопов, да присмотрелся к черному народу, еще тогда полюбились мне крепко и страна эта, и народ. А как итальянцы на них грянули, да еще генерал Баратьери поклялся, что привезет негуса в клетке, а подданных его в рабов Италии обратит, так вот с того самого времени мысли мои такое направление приняли... Вы уж извольте выслушать. Первого соотечественника в вашем лице встречаю, не обессудьте...

Булатович сделал протестующий жест: дескать, я весь внимание.

— Ну-с, — продолжил Леонтьев, — мысли мои были следующие. Я их, батенька, и в дневнике напечатлел, эдакое, знаете ли, пристрастие довериться бумаге, коли больше некому. Вот я и подумал: а имеет ли нравственное право распрекрасная Италия, имеет ли она право-то с пушками своими идти на незащитных эфиопов? Где же, думаю, прописные истины о любви к ближнему? В последний раз, помните, когда Германия с Францией лоб в лоб столкнулись, какое сочувствие вызвали жертвы и обездоленные в Европе! И теперь еще вспоминают братоубийственную войну. Так? А вот на наших глазах Япония безоружных китайцев громила — и что же? Ну что? Да ничего! Никто в Европе и пальцем не шевельнул, никто китайцам ни словечка сочувствия... Почему же? Почему? — Леонтьев говорил с такой горячностью, что Булатович пошел за нужное несколько успокоительных слов вымолвить, но Леонтьев лишь досадливо отмахнулся. — Почему же? Ведь и там и там погибали люди, и там и там кровь лилась. А те-

перь возьмите Африку. Темнокожих-то, Александр Ксаверьевич, и вовсе ни в грош не ставят. То есть что я хочу сказать?.. — Леонтьев облизнул сухие губы. — Разодрали по частям, и баста. А вот если бы нашелся кто-нибудь и расспросил наших черных братьев, тогда бы, поверьте, явилась история Африки, вопиющая к небу. — Ему не хватило дыхания, он быстро и пристально взглянул на Булатовича и вдруг смущенно прибавил: — Однако я распалился...

Булатович задумчиво покачал головой, ответил медленно:

— Много вы сказали справедливого. Я и не помышлял... в таком... общем-то абрисе. Но хочу заметить, Николай Степанович, война абиссинцев против Италии большое сочувствие вызвала в русской публике. Должно быть, нечто подобное испытывали русские в начале века, когда тоже единоверные нам греки против турок восстали. Большое сочувствие, да. И при сборах нашего отряда, и сам этот отряд что ж иное, как не выражение нашего сочувствия?

— Знаю, — перебил Леонтьев, — благое дело. Но вот обо мне... Не взыщите, самолюбие мое действительно страдает. Поручик Леонтьев — авантюрист! Я и раньше слыхивал то же: когда приехал в Петербург с первым эфиопским посольством. Говорят, министр Витте изволил выразиться: оффенбаховское, мол, посольство, а Леонтьев руки на нем греет. Противно-с, ей-богу. Ну а потом, что же предосудительное совершил отставной поручик Леонтьев? Да, стал военным советником императора Менелика. Да, был в сражениях, в дни кампании не засиживался... — Он поджал губы, подумал, сказал просто и доверительно: — И этим горжусь.

— Очень вас понимаю, — искренне ответил Булатович. — И завидую. Теперь что ж? Отряду нашему дело, разумеется, найдется, а я... Кстати, Николай Степанович, вот что еще хотел спросить вас. Совсем как-то из виду выпустил вашу обмолвку...

— Какую?

— Да про Петербург. Вы, кажется, сказали, что в столице будете?

— Шествие мое видели? — улыбнулся Леонтьев. — Слона с погонщиком да этих калик переходящих? Видели? Ну, так вот, калики сии — пленные итальянцы. Я вызвался препроводить их в Джибути. А слон... О, это храбрец! Стоило поглядеть на него в бою! Император шлет его в подарок нашему государю. А я вам по секрету скажу: неловко как-то, верите ли, эдакого-то воина заслуженного да в клетку... «По улицам слона водили»... Ей-богу, неловко. — Леонтьев хмыкнул в усы. — Ну-с, и дипломатическое есть поручение: войти в переговоры с Италией относительно условий мира... Впрочем, ладно, это потом. Скажите: наши где? В Хараре? Так-так... А сколько людей идет?

Выслушав Булатовича, Леонтьев спросил бумаги.

— Я вам, Александр Ксаверьевич, несколько рекомендательных писем к друзьям своим напишу. Император, конечно, ждет не дождется наших, но в столице, как и на «брегах Невы», рекомендательные письма весьма полезны...

Час спустя Зелепукин подвел офицерам оседланных лошадей.

— До скорой встречи. — Леонтьев пожал руку Булатовичу.

— Буду ждать, Николай Степанович.

И они разъехались, взвихря горячую красноватую пыль.

2

Каково, брат?

Меднолицый, косая сажень в плечах, Зелепукин, не обращившись, роняет в бороду: — Да уж, ваше благородь, не в Красное на рысях ходить...

Не в Красное, верно... Совсем не похоже на форсистый марш лейб-гвардейцев из столичных питерских казарм в лагерь красносельские. И-эх, и разлюли малина! Трубачи играют, горит амуниция, начищенная пути-помадой, и так ладно, слитно, крепко идет поэскадронно весь лейб-гусарский.

Да-а, думает свою думу Зелепукин, что было, то сплыло. А вот не желаете ль из Джибути в Харар на верблюдишках? Ни много ни мало триста пятьдесят верст, пропади они пропадом. Верблюд не конь, на верблюде что на море в качку. Затылок ломит, точно обухом тюкнули, в глазах мальтешение, виски стучат, как машина в ходу, и дремлет, дремлет, словно бы на веках гирьки повешены. Чем дальше от моря, тем жарче, дух, спирает, ни дать ни взять — головою в печь лезешь. А верблюда под кладью не накормишь, не напоишь. Это тебе не кобыла. Его, дьявола, рассупонь, ослобони, тогда он еще пищуводу примет. А так — ни за какие коврижки. А кругом — камень... В селениях, конечно, повеселее. Бабы в кожаных юбочках улыбаются сахарно, ладошкой заслонившись, вослед глядят... Ну, ближе к этому самому Харару леса пошли, первеющие, надо сказать, леса, а дичи — и-и! — спасу нет. К ружьишку так и тянуло. Да только его благородие не дозволил поохотиться, на что завзятый охотник, а не дозволил: нам, говорит, дожди обскакать надо. Дожди, говорит, здесь что потоп, и ежели для отряда все в Хараре не приготовим, пиши пропало. Вот и жарили на верблюдах день и ночь. А уж в Хараре, слава те господи, лошадьми раздобылись...

Поручик Булатович об ином размышлял. Сильное впечатление сделал на него отставной офицер Николай Степанович Леонтьев, и он завидовал Леонтьеву, сожалея об упущенных возможностях. И как только можно было сносить петербургское существование? Производства по линия, полковые раз-

говоры, цыгане на островах да тайные свидания с замужней дамой в богатом доме рядом с Мойкой. Какая гиль! А в то самое время... Булатовичу представилось: бешеная лава черных кавалеристов, рукопашные схватки, тревожные огни ночных биваков, засады в горах... И опять он подумал про Леонтьева: бросил все, заложил херсонское имение и уехал. И вот — граф и кавалер. Кто еще из русских может надеть на мундир золотую звезду с изумрудом посередине? Булатович вздохнул: уж очень явственно вообразил себя при ордене «Печать Соломона» первой степени... Впрочем, чего же после драки кулаками махать? Кто знает, не доведется ли ему, поручику лейб-гвардии Александру Булатовичу, снискать иную, не ратную славу? Кто знает, кто знает...

У него был тайный план, он никому не говорил о нем, даже Василию Васильевичу Болотову, петербургскому профессору, знатоку эфиопской истории, у которого брал уроки амхарского языка, даже Болотову ничего не сказал. А ведь не кто иной, как Болотов, подвел его однажды к полке, на которой грузно, в толстенных переплетах, как рыцари в кирасах, стояли двенадцать томов сочинения кардинала Лоренцо Массаи. Профессор не навязывал гусару все сочинение. Он дал ему лишь один том.

Этот том одолел Булатович. «Ну как?» — справился профессор, когда Александр вернул книгу. «Нда... Какая-то земная Атлантида», — ответил Булатович и пожал плечами: сия, дескать, грамота не для нас, гусаров, писана.

Отчего не открылся профессору? Он и сам этого объяснить не умел. А единственный человек, с которым хотел поделиться — Елисеев, — скоропостижно скончался тридцати семи лет от роду, и увидел его Булатович в тот майский день, когда Александр Васильевич отправился в свое последнее путешествие — на Смоленское кладбище.

Булатович пошел на похороны. Провожали Елисеева немногие: литераторы, географы, несколько художников. Дорога была неблизкой — с Выборгской стороны на Васильевский остров. Рядом с Булатовичем шел какой-то господин, мля шляпу и, обращаясь к соседу (тот печально, по-лошадиному кивал головой), говорил негромко: «Когда-то, понимаете ли, целые народы были путниками, потом — отдельные индивидуумы... Но духовное-то начало, понимаете ли, одно: тоска по светлому граду Китежу. И в особенности у наших! Да-да, у наших, у россиян. Как сказал Афанасий Никитин: «И от всех наших бед уйдем в Индию». И вот он, Александр Васильич, не из тех ли взыскующих града был, а?» Взыскующие града... Почему-то запомнились Булатовичу слова эти, и как-то слились они с его тайным замыслом...

— Ваше благородь!

Булатович будто спросонок взглянул на Зелепукина.

— Попоить бы, ваше благородь? — Зелепукин кивнул ва озерко.

Они спешили, стали прохаживать лошадей. Кони фыркали, перебирали ногами...

И вот снова с бодрой четкостью били копыта по твердой дороге. И снова владело Булатовичем то чувство остроты восприятий, какое испытываешь на дорогах, тобою не хоженных, будь то стежка на опушке где-нибудь в средней России, будь то тропа в джунглях или степной шлях.

Не первый десяток верст мчал Булатович по дорогам Эфиопии, а нет-нет да и вздрагивал в радостном, самому казавшемся наивном удивлении: да это же Африка, Африка, черт побери!

Выше всех иных областей великого континента лежало над уровнем моря Эфиопское нагорье. Огромное и массивное, оно воздымало к солнцу снеговые вершины-главицы. Его речные долины давали жизнь притокам Нила. Были тут и тропически-влажные леса, и обширные, к горизонтам уходящие поля, где вызревала кукуруза, были тут бескрайние пастбища, поля пшеницы и ячменя. Поселяне этого нагорья одарили мир некоторыми видами культурных злаков, и отсюда, с крыши Африки, отправились в свое победное странствие по белу свету бобы, кофе...

Куча камней сложена на краю дороги. Булатович уже знает: неподалеку, стало быть, часовенка-тихоня или бедный монастырек. Точь-в-точь как в Греции... И верно, поворот — и монастырь. Может, один из тех, что хранят в своих кельях стариннейшие летописи, старательно скопированные грамотеями-затворниками. «Исполнен долг, завещанный от бога мне, грешному»... В тех хрониках прочтешь о славном государстве Аксум. Аксум... Небольшой городок на севере Эфиопии. В древности же — столица могучего государства. И прочтешь в монастырской хронике про Эзану, царившего в Аксуме в IV веке нашей эры, об удачливых его войнах, о рабах, возводивших дворцы, и о том, как Эзана союзничал с римлянами, как насаждал христианство и как в ту пору была создана эфиопская система письма, сохранившаяся донныне...

Но времени нет посещать монастыри. Двое русских торопятся в Аддис-Абебу. И в деревнях задерживаются они ненадолго. Зайдут на крестьянский двор с глинобитными службами — медоварницей, закромами, конюшней, зайдут и в дом, в круглую хижину-тукули с соломенной кровлей конусом. В доме опрятно, пол циновками выложен или свежей травой услан, пахнет в нем, к удовольствию Зелепукина, сеновалом. Из задней половины, где женщины хлебы месят, жарено жарят, выйдет темнолицая хозяйка в длинном белом платье, босоногая, иногда платком повязанная, иногда простоволодая, вынесет гостям угощение, а хозяин в чистой рубахе, вы-

пущенной поверх узких портков, подаст буйволы рога с медами. За трапезой, уважая обычай, Булатович с Зелепукиным отгораживаются полотенцами, ибо на людях пищу жевать почитается неприличием. После еды разговоры бы разговаривать, да опять недосуг. Булатович и Зелепукин благодарят за радушие, поручик кладет на круглый столик серебряную монетку, и оба путника, поклонившись, идут со двора...

На третий день после встречи с Леонтьевым подъезжали они к Аддис-Абебе.

Аддис-Абеба означает «Новый Цветок». Булатович слышал, что цветок этот еще не распустился, не расцвел, что город только рождается, и все же поручик был удивлен, когда увидел беспорядочную толчею шалашей и палаток. Столица? Скорее военный лагерь, временное пристанище. А красная черепичная крыша на самом высоком холме? Это, должно быть, и есть дворец императора Менелика II...

Булатович с Зелепукиным вымылись в ручье, побрились и переменили дорожное платье на форменную одежду.

3

Аддис-Абеба действительно походила на военный лагерь. Только теперь уже в нем не таилась напряженная тревога, какая бывает в канун битвы. Теперь обнимала Аддис-Абебу великая радость победы — победы африканцев над европейцами.

О, сколько тут было воинов-храбрецов со знаками ратной доблести — золотой серьгой в ухе, с головным убором из лвиной гривы! И сколько боевых плащей — зеленых, как свежая трава, черных, как полуночное небо, огненных, как закатное солнце, фиолетовых, как отсветы в горах, и малиновых, и желтых, и розовых. Далеко слышалось ржание застоявшихся коней, рев мулов, говор пирующих. Весело пировали воины, те, что смяли войска генерал-майора графа Дабромиды, отпрыска старинной фамилии, сына военного министра, те, что рассеяли колонны генерала Аримонди, выкормыша Моденской военной школы, и опрокинули батальоны генерала Эллены, рьяного поборника захватных войн. Кто здесь, в Аддис-Абебе, не помнил, как бежали офицеры итальянского генерального штаба, пехотинцы, артиллеристы, альпийские стрелки. Кто не помнил, как улепетывали они, бросая раненых, бросая винтовки системы Ремингтона и пушки системы Максима-Норденфельда, бросая продовольствие, боеприпасы, знамена. А грозный гимн эфиопов «Пойте, коршуны, пойте» хлестал по их жалким спинам, как бич.

Все это было совсем недавно, и все это никогда не пожухнет в памяти. Певцы-азмари уже сложили героические песни

и поют, подыгрывая себе на однострунных лирах, а песни народных певцов остаются во времени, как запах леса на засеках.

Праздновали победу живые. Мертвым были отслужены панихиды, по мертвым плакали вдовы.

Вечный покой убитым. Но что делать тем, кого мучат, лишая сна, осколки итальянских гранат, чьи руки и ноги раздроблены пулями, кто ранен в живот, в голову, в грудь? Что делать им? А их сотни, их тысячи.

Об исцелении увечных возносятся молитвы в храмах, где лик Распятого напоминает эфиопа, где позвякивают цепочками и бубенцами старинные, как в московских соборах, серебряные кадилницы. Но молитвами не одолеть телесную боль, а ладаном не осилить сладковатый запах запекшейся крови. И толпятся у дворца Менелика, толпятся у монастыря святого Георгия сотни, тысячи калек. Царь царей, помоги! Вызволи, Спаситель!..

Калек и раненых усаживают к столам-корзинам на широкошумных пирах. Им выносят дары из хором императора. Они могут есть и пить у каждого, пусть самого бедного очага. Но ни ласка, ни яства не избавляют от боли телесной. Затравленные болью, измученные, они просят у неба смерти. И когда разносится по всей Эфиопии весть, что откуда-то издалека, из неведомой стороны московской спешат в Аддис-Абебу хахимы — исцелители, калеки недоверчиво качают головами: ведь чудо ниспосылает только небо...

Тем временем отряд Русского общества Красного Креста, снаряженный на добровольные пожертвования, отряд врачей, фельдшеров в санитаров-солдат со своими хирургическими инструментами, лекарствами, корпией, одеялами, бельем, медленно двигался из Джибути в Харар.

А впереди отряда, стараясь обогнать надвигающиеся дожди, летели поручик Булатович и рядовой Зелепукин. Надо было поспеть в Харар быстрее быстрого: пусть харарцы собирают мулов и лошадей для громоздкого каравана! И они примчались в Харар за девяносто часов. На полсуток скорее, чем это удавалось привычным к зною верблюдам и курьерам-сомалийцам. И, не отдыхая, помчались в Аддис-Абебу: пусть столица готовит госпитальные помещения!.. Синим июньским полднем очутились они на холмах столицы Эфиопии. Без задержки, минуя стражников, через много дворов и ворот повели Булатовича во дворец царя царей, императора Менелика II.

Тяжело, но плавно отворяются кипарисовые створки высоких дверей. Еще несколько минут, и поручик предстанет перед вождем африканского народа, еще несколько минут, и он увидит человека, от которого зависит исполнение его, Булатовича, замысла.

Бурная судьба была у негуса негести¹, у этого отдаленного потомка израильского царя-мудреца Соломона и ослепительной красавицы легендарной царицы Савской! Еще в России, читая о Менелике, Булатович всякий раз забывал, что речь идет о его современнике. Казалось, читаешь старинную хронику, ибо все в судьбе Менелика несовместным представлялось с прозаическим временем акционерных компаний, биржевой суеты, скандальных уголовных процессов. Чего только не было в жизни Менелика! И плен при дворе негуса Федора, и побеги, и темницы, измены друзей и союзы с недругами, интриги и кровь... Череда сцен, точно бы вышедших из-под пера сочинителя. Но то были доподлинные события и правдивые сцены. В 1889 году Менелик овладел наконец царской короной. И он стал эфиопским Иваном Калитой, эфиопским Петром Первым. Разрозненные царства собирает он воедино, приглашает европейских инженеров, строит плотины и каналы, прокладывает дороги, вместо брусков соли, заменявших деньги, вводит серебряную монету, сурово отчитывает попов, ненавистников европейских новшеств. Он знает, что не всем по вкусу его праведное дело, и потому зорко присматривает за вассалами и с меньшей зоркостью наблюдает за белыми пришельцами...

И вот этого-то человека увидит сейчас Булатович.

В сопровождении царедворцев, одетых, впрочем, без всякой пышности, в простые и даже грязноватые шаммы, Булатович, держась по-военному прямо и собранно, идет в коридорах и комнатах жилища негуса, расположенного среди многочисленных дворцовых построек. Все здесь напоминает богатые арабские дома; десятки балкончиков выкрашены пестро; из окон видна зелень лужайки, где иногда заседает царский совет.

Булатович слышит стук своих каблучков, говор провожатых, замечает убранство комнат и вдруг ловит себя на странной и пугающей мысли, что все вокруг нереально, что вот сейчас, как на сцене Мариинского театра, падет занавес, и конец сказке... Провожатые умолкают, он слышит какое-то движение, суету, миг спустя все приходит в порядок и двери растворяются.

Менелик ждал его. Подле трона негуса разместились слуги. Булатович поклонился, император с улыбкой указал ему на стул. И странное дело: вместо того чтобы смотреть на Менелика, смотреть во все глаза, Булатович, не поймешь почему, воззрился на стул. А стул был самый обыкновенный, старенький, венский, как в номере дешевой гостиницы где-нибудь на Петербургской стороне. И при виде этого стула Булатовича опять охватило ощущение нереальности того, что с ним про-

¹ Негус негести — царь царей.

исходит. Но едва он уселся, как с неожиданной легкостью произнес давно приготовленный и заученный вопрос о здоровье и благополучии императора Эфиопии, а едва только произнес все это, как овладел собою и поднял глаза.

Булатович увидел пятидесятилетнего человека с умным рябоватым лицом, чернота которого оттенялась серебрящейся бородою и кисеей головной повязки. Одет он был вовсе не в духе «Тысячи и одной ночи», как раньше представлялось Булатовичу: шелковая в лиловую полоску рубаха, а на плечах черный плащ с золотым позументом.

Добродушной улыбкой темных глаз ответил Менелик на банальный, этикетом предписанный вопрос о здравии и благополучии его величества, но голову наклонил он при этом с царственным достоинством, и голос его прозвучал негромко и серьезно:

— Покорно благодарю, хорошо. Благополучен ли его величество государь Всероссийский?

Распросы подобного рода продолжались недолго, живые темные глаза Менелика светились добродушной иронией, словно бы говоря Булатовичу: «Что поделаешь — ритуал. А мы-то с вами понимаем...»

И, покончив с ритуалом, Менелик заговорил иным тоном — деловито и быстро. Булатович подумал, что так вот и должен говорить тот, кто, подобно Петру Великому, встает на заре, едет в лес, где валят деревья и расчищают дорогу, знает по именам мастеровых и арсенальных служителей и слезает с коня, чтобы таскать камни для плотины.

Менелик спрашивал, сколько людей в отряде Красного Креста, что нужно приготовить для них, скоро ль они будут в Аддис-Абебе. И, спрашивая, все больше оживлялся, глаза его сияли, весь он так и лучился морщинками... Его секретарь Ато Иосиф, знающий по-французски и по-русски, записывал просьбы Булатовича в маленькую тетрадь.

Аудиенция продолжалась около часа.

У внешних ворот дворца дождался Булатовича гусар Зелепукин. Жарко ему приходилось. С полсотни, а то и больше людей, раненых и больных, притиснули гусара к воротам.

— Хаким москов!

— Хаким!

И показывали искалеченные руки и ноги, обнажали раны.

— Москов, носков! — растерянно кричал Зелепукин. — Не хаким, а москов. Хаким едут, понимаешь? Едут, говорю, понимаешь? Скоро! Жди, говорю, жди! — надрывался гусар, стараясь втолковать эфиопам, что он хоть и москов, но не хаким-дохтур и что «дохтуры вскорости объявятся».

Выйдя из дворца, Булатович с минуту наблюдал мучения Зелепукина, потом поднял руку, требуя тишины, и стал объяснять, что «хакимы» недели через две-три будут в Аддис-

Абебе и что император распорядился выслать навстречу им много мулов.

Булатович хотел было вскочить на коня, но тут поручика подхватили на руки и понесли, ликуя, крича что-то. С Зелепукиным попробовали управиться тем же способом, но крижистый, почти квадратный гусар был точно чугуном налитый да к тому же еще барахтался отчаянно, и его отпустили, выкрикивая со смехом:

— Зохон! Зохон!¹

— Кишка тонка, братцы, — грохотал Зелепукин, стараясь не потерять из виду их благородие.

4

Июльским днем девяносто шестого года — а день был душный, с кучевыми облаками, похожими на окрестные холмы, — почти все население Аддис-Абебы вышло спозаранку на Харарскую дорогу.

Солдаты и жители столицы были в белых праздничных шамах, большинство босоногие, редко кто в сандалиях. Офицеры красовались в пестрых плащах-накидках, с саблями, у одних обоюдоострыми, как старинные русские мечи, у других серпообразными, удобными при рубке навесно, поверх щита. Были тут и кавалеристы на отличных, хотя и низкорослых лошадях с зачесанными на правую сторону гривами; были и священники в полном облачении, то есть в ризах, в высоких сквозных митрах и... под разноцветными шелковыми зонтиками с бубенцами; были и приближенные негуса в широких туниках и серебряных патронташах, заменявших кушаки, со львиными и тигровыми шкурами, наброшенными на плечо; были, наконец, как водится, мальчишки, ужасно взбудораженные и уже успевшие вымазаться в пыли, несмотря на то, что из дому их выпустили умытыми и принаряженными.

Движение, звон оружия, говор, фырканье коней, звяканье бубенцов — весь этот разнообразный шум многотысячного людского скопища пронизывали протяжный писк камышовых флейт и густые приятные звуки деревянных рожков, увенчанных на концах раструбами из полых тыкв.

Булатович с Зелепукиным были тут же, на Харарской дороге, немного размытой вчерашним ливнем. Были они верхами, в парадной гусарской форме, вызывавшей всеобщее любопытство.

Зелепукин уже свел знакомство с соседями и переговаривался с ними на смеси нарочито изломанных русских слов и

¹ Слон.

двух-трех ненароком испорченных французских. Смесь эту он полагал наиболее подходящей для переговоров с новыми своими приятелями. Те, в свою очередь, по неосознанному, но обычному при таких пассажах стремлению изъясняться «птичьим» языком, обращались к Зелепукину, мешая и коверкая слова амхарские, галлаские и сомалийские. Беседа, подкрепленная улыбками, прищелкиваниями и притоптываниями, выглядела комически, но велась оживленно, к обоюдному удовольствию, и, казалось, Зелепукин понимал эфиопов, а эфиопы, казалось, понимали Зелепукина.

Булатович поглядывал по сторонам с задумчивой полуулыбкой и сдерживал гарцующего коня, которому передавалось общее возбуждение и праздничность.

Множество караванов видала Африка: приходили купцы и охотники за рабами, пушкари и солдаты, миссионеры и географы. И какие только знамена не всплескивали над Африкой: королей и султанов, республик и акционерных компаний. Но никогда еще не проходил Африкой караван, весь вьючный груз которого состоял из лекарств и медикаментов, и никогда еще не всплескивал над Африкой белый флаг с красным крестом.

И вот он выплыл из-за холмов, белый с красным крестом флаг и показался на Харарской дороге, немного размытой давешним ливнем, большой караван санитаров и врачей.

Толпа зашумела пуще, задвигалась, разваливаясь надвое, становясь и теснясь по обеим сторонам дороги.

Отнюдь не парадным маршем двигался отряд Русского общества Красного Креста. Девятьсот верст пути дались крайним напряжением сил. В выгоревших одеждах, в разбитой обуви шли по Харарской дороге врачи, шли фельдшеры-студенты, солдаты-санитары — шестьдесят русских, покинувших свои семьи и больницы, кафедры и госпитали, чтобы оказать помощь африканской стране.

Солдаты взяли ружья на караул, копыеносцы воздели копыя, народ преклонил колена, как при встрече победоносного полководца. Потом все смешалось, и в окружении мужчин, женщин, детей, стариков, при колокольном звоне монастыря Святого Георгия, в реве труб и верещании флейт отряд Красного Креста вступил в Аддис-Абебу. И не помешала никому гроза, неистовая гроза, от которой засветились, сухо потрескивая, голубоватые огоньки на частоколах, неистовая гроза с ливнем, который сотрясал деревья, срывал с русских медиков фуражки и взметывал, как паруса, белоснежные шаммы эфиопов...

Отдыхали лишь двое суток.

Негус предоставил врачам поместительный круглый дом. Санитары разбили восемь больших палаток. Жители нанесли ковров и циновок, лепешек, меду, баранины, масла, яиц. На

дворе запылали костры, в медных армейских котлах с крышками закипела вода. В круглом доме устроили хирургическую, в одной из палаток сложили запасы медикаментов, другую приспособили под глазное отделение, третью — под стационар, четвертую — для заразных больных. Врачи и санитары надели халаты. В присутствии Менелика и придворных подняли на высоком древке флаг Красного Креста.

Верно, ни один монастырь, ни одна церковь в Эфиопии не видывали такого стечения паломников. Ковыляли в госпиталь воины с незамысловатыми камышовыми лубками на сломанных конечностях, тянулись слепцы, потерявшие зрение при взрывах итальянских снарядов, брели прокаженные.

С утра и долго еще после заката, при фонарях, металлически звякали инструменты в хирургической, слышались вскрики и оханье в палатках, и густой дух йодоформа и сулемы держался, как облако, над госпиталем, заглушая домовитый запах походной кухни.

В госпитале всегда было людно. Не одних лишь жителей Аддис-Абебы лечили русские медики. С плоскогорий, выглаженных ветрами, из речных долин, пойманных в лиановые тенета, тропами и бездорожьем, пешком и на мулах, в одиночку и семьями сходились сюда северяне тигре и южане сидама, харари из Харара и окрестностей его, амхарцы, самые в Эфиопии многочисленные, и люди из племени хамир, самого, наверное, в стране малочисленного... Разноязыкий говор звучал у стен госпиталя — то богатый гласными, плавный, как колыханье трав на пастбищах, то бурно-восклицающий, как громкий горный ручей, то глухо-гортанный, словно бы доносящийся из душных ущелий. И наряды, и нравы, и привычки — многое было разным у пациентов русских медиков, но выражение глаз одно — доверчивое и признательное.

Тысячи три, а случалось и более, приходило каждый день на эту улицу Аддис-Абебы, которая и ныне зовется улицей России. День-деньской не покидали палаток и молчаливый доктор Бровцын, и насквозь прокуренный доктор Бобин, и порывистый, вечно теряющий пенсне доктор Радзевич. Допоздна не снимали халатов, покрытых бурыми пятнами йода, выученики питерской Военно-медицинской академии фельдшеры Щусев и Федоров. И усердствовали, не покладая рук, солдаты-санитары, старательные и сильные мужики — рязанские, тульские, саратовские...

С открытием госпиталя Булатовичу уже нечего было делать в Аддис-Абебе. «Пора, пора, рога трубят», — твердил он себе и видел мысленно: они с Зелепукиным, десятка два эфиопов-

проводников; караван идет на юг, туда, где в безмолвных лесах лежит «земная Атлантида» — таинственная страна Каффа.

Лишь в XVII веке просочились в Европу слухи об этом африканском государстве. Неверные зыбкие слухи. Спустя десятилетия, на закате XVIII века, англичанин Джеймс Брюс, исследователь Голубого Нила, скороговоркой упомянул о Каффе. И снова молчание, ибо под страхом смерти воспрещалось чужеземцам переступать каффские рубежи.

Фабричным дымом был повит мир. Змеились рельсы железных дорог, винт двигал паровые суда. Белые господа в пробковых шлемах утверждались на перекрестках торговых дорог. А Каффа по-прежнему была неведомой и призрачной.

Во второй половине XIX столетия капуцин Лоренцо Массайн, впоследствии носивший пурпурную мантию кардинала, проник в каффский город Бонга. Массайн был слугой Ватикана, а каффичо крепко веровали в бога солнца Хекко, и проповедник христианства был очень скоро выдворен из Каффы. Все, что Лоренцо Массайн успел вызнать о Каффе, кардинал изложил в одном из дюжины томов своих трудов, в том самом, который дал прочесть Булатовичу петербургский профессор Болотов.

Итак, XIX отсчитывал последние свои годы, а до сей поры лишь пятерым европейцам довелось видеть окраины Каффы. Никто из белых не сумел пройти по земле древнего африканского царства из конца в конец...

«Пора, пора, рога трубят», — повторял про себя поручик Александр Булатович.

Он бил челом императору Эфиопии, царю царей Менелику II. Он открыл Менелику II заветный замысел: пересечь Каффу от северных границ до южных.

Негус молчал. Он смотрел на Булатовича, и тот ощущал тугую пронизывающую силу его темных, с яркими белками медленных глаз. Булатовичу чудилась улыбка на губах негуса, улыбка Сфинкса, а Менелик в упор смотрел на напряженное лицо русского, в его светлые вопрошающие глаза.

— Нет, — сказал наконец Менелик, сказал мягко, сожалеючи, — нет, не могу я дозволить эту поездку. Я не хочу, чтобы наш друг погиб...

И аудиенция закончилась.

В книгах такой оборот событий зовется «ударом судьбы», «изменой фортуны», «велеием рока» и еще как-то. Булатович, выйдя из дворца, употреблял, по правде сказать, не столь красивые выражения.

Он медленно сел на коня и шагом поехал в дом французского коммерсанта, у которого жил с первого дня пребывания в Аддис-Абебе.

Все прахом... И зачем теперь полугодовой отпуск, выхло-

потанный с таким трудом?.. Он тяжело вздохнул и проговорил, не глядя на Зелепукина:

— Вот видишь, братец...

Зелепукин на аудиенции у негуса не был, планы начальства знать не знал, а потому, разумеется, «видеть» ничего не мог, но он понял, что Александр Ксаверьевич, что называется, не в себе, и утешил его не мудрствуя:

— А вы, ваше благородь, не убивайтесь. Это так, в горячах... А после, глядишь, оно и того... образуется.

— Образуется! — вскипел Булатович. — Экий дур-рак!

Вокруг же все было по-прежнему, будто ничего и не произошло, будто и не постигло никакое фиаско поручика Булатовича.

За низкими плетнями во дворах жужжали веретена. Из хижин кожевников несло кислятиной, слышно было, как переговаривались и шутили мастера, занятые выделкой богатых чепраков и седел, футляров для походных рогов с медами и напитками, ножен для сабель, всяческих добротных и в хозяйстве нужных вещей. Ювелиры, щуря глаз, корпели над брошками и кольцами, потные оружейники оттачивали клинки. Женщины шли к реке, делившей Аддис-Абебу на неравные части; там, на бережку, каждая прачка выроет ямку, наподобие лохани, выстелит ее козьей шкурой, чтобы вода в песок не уходила, и начнет постирушку: станет белье ногами топтать, потом, заголив руки, звеня браслетами, будет мылить его мылким домашним мылом, потом полоскать в быстрой, холодной речке. И тут уж смеху да прибауток не оберешься...

А поручику Булатовичу какой смех! Заперся он у себя и приказал Зелепукину не пускать к нему ни единой души. Весь вечер запивал поручик горькое свое настроение плохим греческим коньяком. Плохой коньяк, будь он неладен, а плочено полтора талера за бутылку.

И на другой день, и на третий глядел Булатович тучей.

Но потом... потом осенил его новый замысел: придумал он, на что употребить шестимесячный свой отпуск. Придумал и повеселел.

6

Прежде Вальде-Тадик служил в армии. Золотая серьга сверкала в его правом ухе, свидетельствуя, что солдат не кланялся итальянским снарядам, не бегивал итальянских пуль.

Теперь он нанялся старшим проводником к русскому путешественнику и, хотя знал, что боевых наград не выслужит, был доволен, так как до смерти не любил оседлое житишко.

Нынче, ноябрьским днем, когда отряд Булатовича — семнадцать человек, восемь вьючных и верховых животных — пошел к реке Дидессе, Вальде-Тадик самозабвенно дирижи-

ровал великолепным кошачьим концертом и, дирижируя, принимал в нем участие, что есть мочи колотя дубиной по дереву.

Над рекой ревело, свистало, верещало и ухало. Лесное эхо ошалело от этих мятущихся, наскაკивающих друг на друга, невообразимых звуков и, не зная, что делать, просто-напросто понеслось сквозь чащу: «аааа-оооо-уууу»...

Какофония продолжалась не менее получаса. Наконец умолкла, но аплодисментов не последовало. Булатович, Зелепукин, Вальде-Тадик, проводники — все вытянули шеи и пристально вглядывались в речные воды.

Дидесса, приток Голубого Нила, была здесь широка и полноводна. Лес, старый, тенистый, привольно-могучий, в лианах и в травах, скрывающих всадника, лес как бы нехотя обрывался у реки и глядел на Дидессу с задумчивой укоризною.

Но Булатовича не лес занимал, а река. Его страшила переправа. В притоке Голубого Нила обитало столько крокодилов, что их хватило бы на целое море, если бы только нашлось море, согласившееся пустить на жительство крокодилов. Поскольку такого доброхота не было, крокодилы облюбовали Дидессу. Вот и извольте-ка переправляться.

Кошачий концерт был устроен в крокодилью честь. Кажется, они оценили его по достоинству и убрались куда-то не то вверх, не то вниз по течению.

Галла, нанятые в соседней деревеньке, народ не такой черный, как эфиопы, с медным отливом кожи, высоколобые и длиннолицые, подогнали большие долбленые челноки, принесли грузы, часть людей. Пятеро проводников верхами пустились вплавь.

Переправа длилась несколько часов. Несчастия не произошло, крокодилы упустили знатную добычу.

Но это была не просто переправа. Это был рубеж. За ним менялось многое, и менялось разительно.

Позади, в минувшем двухнедельном путешествии, остались тяжеловесные контуры базальтовых плоскогорий и крутых вершин. Теперь же, за Дидессой, открывалось плато, постепенно понижающееся к благодатным равнинам Верхнего Нила, открывались леса и саванны.

Лишь трое европейцев побывали за Дидессой прежде Булатовича, да и то мимоходом. Не горы, не пропасти на пути к Дидессе отпугивали исследователей, а войны эфиопов с галла. Совсем недавно присоединил эти земли неутомимый Менелик, и Булатович мог странствовать в здешних краях сколько угодно.

И все же нет, не трепещет душа, не тут, на юго-западе Эфиопии, видится ему заветный путь.

Он опускается на корточки и погружает ладони в прозрачную быструю воду ручья, впадающего в Дидессу. Он зачерпы-

вает пригоршню, подносит ее к лицу. Вода пахнет не сыростью, не травами, не холодным камнем — она пахнет Каффой. Она пахнет Каффой, потому что ручей сбегает с каффских гор, и Булатович слышит зов неведомой страны. Страны, о которой много лет назад, стоя на башне в Обоке, мечтал покойный доктор Елисеев, страны, о которой думал в Петербурге профессор Болотов...

Булатович снова зачерпывает полную пригоршню из ручья, пригоршню каффской воды, и медленно пьет ее, прикрыв глаза. Он говорит себе: «Ты испил воду Каффы». Это — клятва, это — зарок...

Середина ноября стояла. Тепло было, влажно, совсем повесеннему. И пахло акацией. Как в Одессе, когда русский отряд уезжал в Эфиопию.

Акации держались сомкнуто, неподступно. Банановые рощи зеленели щеголевато, а вровень с ними выбрасывали свои частые толстые ветви молочаи, похожие на огромные канделябры, но только без свечей. Лес гудел густым деловитым гулом. Поблизости от селений галла все высокие деревья были увешаны ульями. Мед здешний был на редкость духмяный и не только людям на радость, но и зверьку с густым мехом — сластене рателю. Ратель обитал в норах, «наводчицей» служила ему маленькая, но горластая птаха; она отыскивала улья и подзывала рателя-«взломщика» настойчивым, громким и весьма противным писком.

За Дидессой, как и повсюду в Эфиопии, бродили стада мартышек. Но здесь Булатович впервые увидел угрюмое существо с красным мехом. Поручик усмехнулся: «Экий мизантроп»¹, а Зелепукин хохотнул в бороду: «Ишь, в мундире-то нашенском!» Но ни Булатович, ни Зелепукин не знали, что зоологи и впрямь зовут «красномундирную» мартышку «гусарской обезьяной».

Было бы гвардейцам лестнее, если бы зоологи назвали так красавицу гверecu. Но что было делать, когда гверeca была совсем иной расцветки?

Ох и хороша была гверeca, так хороша, что Булатович закусил губу и позабыл про ружье. А стройная гверeca, словно сознавая победительную силу красоты, позволила всаднику налюбоваться своим бархатисто-черным телом с белыми перевязями, каждый волосок которых был украшен бурными кольцами, отчего белые эти перевязи серебрились... Гверeca исчезла в зарослях, Булатович с прерывистым вздохом вскинул ружье, но было уже поздно.

Его утешила новая краса. Теперь уже не в зарослях явившаяся, а в небе. Неподалеку от реки Габбу он услышал мер-

¹ Мизантроп (*греч.*) — человеконенавистник, нелюдим.

ные удары и в первую минуту решил, что где-то плывет лодка. Но в этих мерных ударах не было весельного переплеска, и Булатович, задрав голову, увидел медлительный лет венценосного журавля. В гармоническом изяществе сочеталось журавлиное двуцветье — черное и белое. Оно, казалось, создано было природой для того, чтобы явить превосходство простоты над пестротой.

А следом за венценосным журавлем... Нет, поначалу тоже был звук. Станный, доносившийся будто из иного мира, и Булатовичу на миг почудилось, что стоит он в Красном Селе, на дебаркадере, дожидаясь поезда. Поезд приближался. Булатович слышал это отчетливо. Он ошеломленно взглянул на Вальде-Тадика. Парень засмеялся:

— Нагедгуад!¹

Но то был не гром и уж, конечно, не поезд. То был рогатый ворон, или птица-носорог, отличающаяся от всех своих сородичей невероятно шумным полетом.

За рекою же Габбу, в прибрежных зарослях, похрюкивали всамделишные носороги. И боже мой, какое свинское наслаждение было в носорожьим похрюкивании Вальде-Тадик объяснил Булатовичу: ничего так не боятся носороги, как слепней, да комаров, да мух. И это те, кому нипочем колючки и шипы, пронзающие кожу слонов. А вывалявшись в грязи, облепленные илом и глиной, они были неуязвимы. Вот и похрюкивали, вот и торжествовали.

Реки Габбу и Сор отряд перешел по узеньким мосткам и двадцать первого ноября достиг крайнего на юго-западе Эфиопии городка Горе.

С помощью Зелепукина и Вальде-Тадика Александр Ксавьеревич слез с коня и вошел в дом, приготовленный для него местным начальством. Чувствовал себя Булатович прескверно. Едва выдержал последний перегон по дурной дороге: коржил его жестокий приступ тропической лихорадки. Благо медики преподали в Аддис-Абебе несколько уроков, и Булатович сам впрыскивал себе хину.

От захолустного Горе было уж совсем недалеко до реки Баро. Но поездку туда пришлось отложить. Не на неделю, как думал поначалу Булатович, а на три недели: лихорадка прочно угнездилась в его крови, а хина от чрезмерной, наверное, дозировки уже не оказывала своего целебного действия, а в довершение несчастий слег и Вальде-Тадик. Один лишь Зелепукин казался скалой неприступной и, вороша пятерней бороду, посмеивался:

— Солдату что? Солдату хвороба ни к чему.

Накануне рождества Булатович кое-как совладал с лихорадкой, купил в местном гарнизоне еще одну лошадку, сна-

¹ Нагедгуад — гром.

рядился да вдвоем с провожатым поутру последнего декабрьского дня пустился в путь к реке Баро.

Горная дорога часто пересекалась шумливыми потоками, петляла, как во хмелю, и сужалась чуть ли не до размеров шнурка. Перевалив возвышенность Диду, дорога нырнула в лесную полутьму, но от этого лучше не стала. Кони вязли в глине, взбрыкивали, мотали мордами. А седоки, слышав еще верст за восемь рев водопада, нецеремонно понукали их и прищипывали.

В три часа пополудни Булатович был у реки Баро. Река роилась в глубоком ущелье. Прозрачная в сухое время, она бурела в период дождей. Глинистую землю несла Баро в Собат, приток Белого Нила, глинистую землю нес Белый Нил египетскому земледельцу. А тут, под обрывом, Баро — омутистая, в громах и плесках водопадов. И робко глядясь в нее заросли кофе.

Булатович тронул лошадь. Проводник закричал испуганно: — Нельзя! Нельзя!

За Баро начиналась область Моча, там жили племена, враждебные Эфиопии... Нельзя? Булатович даже не оглянулся. Он первым из европейцев вышел к реке Баро, он первым из европейцев перейдет Баро.

Где-то он встретит новый, 1897 год?

7

День был смуглый. Леонтьев залюбовался палевыми облаками, красновато-коричневой далью и тремя бабабами, вставшими у развилля, как три богатыря. Скупая прелесть окрестностей взволновала Леонтьева, он снял фуражку, провел рукой по ежику жестковатых темных волос.

Граф Абай, он же армейский офицер в отставке Леонтьев, возвращался из Европы в Аддис-Абебу. Поручения негуса были исполнены. В Петербурге Леонтьева заверили, что в будущем девяносто седьмом году в Эфиопию отправится чрезвычайная дипломатическая миссия. И там же, в Петербурге, Леонтьев принял решение поступить на службу к африканцам. Он сделает все, что сможет, для черных братьев. А нынче, когда он чувствовал прилив счастья, любясь этим днем, Леонтьев думал, что он не только будет служить Эфиопии, но, может быть, обретет здесь второе отечество.

В октябре он был в Аддис-Абебе. Русский госпиталь собирался в отъезд. Леонтьев справился о Булатовиче. Ему сказали, что поручик получил отпуск и странствует где-то за Дидессой. Леонтьев улыбнулся в усы. Николаю Степановичу было приятно, что молодой лейб-гвардеец не изнывал от скуки, не околачивался в императорском дворце.

Впрочем, мысли о Булатовиче не долго занимали графа

Абая. Царский совет обсуждал дела большой важности, присутствие Леонтьева было весьма необходимо. И когда Николаю Степановичу сказали, какие планы обсуждает совет, ему отчетливо вспомнился недавний праздник победы над итальянцами.

...Тот праздник начался пальбой из трофейных орудий, отбитых в генеральном сражении при Адуа. Потом фанфары возвестили, что негус негести идет к своему народу. В парадном марше, под торжествующий раскат барабанов прошли сперва придворные, полководцы, пажи, и казалось тогда, что радуга пала на землю — так пестры и ярки были одежды свиты. А негус был на белом коне. В полной тишине провозгласил он здравицу в честь полководцев, воинов, народа. И вновь на холмах раскатился пушечный бас, но его заглушил ликующий вой толпы. Менелик снова поднял руку, пушки смолкли, и в тишину упали слова императора, как удары колокола. Менелик произнес: «Каффа», и над толпой пронеслось: «Каффа...» В прошлом не раз пытались вернуть Каффу эфиопы. Но Каффское царство выстояло, и каффский царь, почитаемый живым богом, не утратил своих священных регалий: золотой короны, зеленой, затканной золотом мантии, золотого меча. Каффа выстояла. Еще не приспели, видно, сроки. Но теперь белые подбираются к Каффе: с одной стороны — французы, с другой — англичане. И теперь приспело время эфиопам присоединить к своей империи Каффу, ибо нельзя позволить чужеземцам завладеть древним царством... «Рас Вольде Георгис, — говорил Менелик, — ты вернейший, ты способнейший из моих испытанных воинов, тебя избрал я полководцем, первым воином в грядущей борьбе с великим Каффским царством». И старый сподвижник Менелика, годами деливший с ним радости и беды, фельдмаршал Вольде Георгис, храбрейший из храбрых, чернобородый силач, горделиво сверкая черными глазами, склонился перед императором...

Отчетливо памятен Леонтьеву тот день, когда Аддис-Абеба праздновала победу над итальянцами, тот день, когда возвестил Менелик о грядущей войне с царем Каффы...

С того дня минули месяцы. Теперь заканчиваются последние приготовления. И совет заседает подолгу.

Менелика и его военачальников совсем не смущает мысль о том, что они, недавние защитники своего отечества, пойдут войной на соседа. Ясно: не они, так фрэнджи — белые дьяволы, захватчики — свалят Каффу, великую Каффу, входившую некогда в состав Эфиопского государства. Не они, так фрэнджи...

Но у графа Абая нет на душе ясности. Он понимает, очень хорошо понимает: Менелик не может отдать фрэнджам богатую область на юге. И потом — что может быть хуже для каффичо, для всех африканцев, как очутиться под пятой европейцев? Лучше эфиопы, чем европейцы. Он, Леонтьев, не

разделяет наивных мечтаний «корифея географических исследований в Африке», как называли в России Василия Васильевича Юнкера; нет, Леонтьев не верит в цивилизаторскую миссию держав европейских. А вот в цивилизаторскую миссию эфиопов он верит.

Но все же тревожит Николая Степановича то обстоятельство, что Менелик затевает, в сущности, войну ненужную, напрасную. Не следует ли добиться союза с Каффой? Не лучше ли африканцам взяться за руки, чтобы противостоять натиску фрэнджей? Леонтьев осторожно высказывает свои мысли негусу и расу Вольде Георгису. Очень осторожно: хоть и друг граф Абай, хоть и советник, но ведь тоже белый, тоже фрэндж, а Менелик недоверчив, Менелик знает, как повадливый фрэнджи на измены и хитрости. Выслушивая Леонтьева, негус и фельдмаршал качают головами. Нет-нет, какой же союз? Молодой и гордый каффский царь Гаки Шерочо никогда не согласится разместить в своей стране эфиопские гарнизоны с их пушками и ружьями. Увы, это невозможно...

На дворцовом пиру рас Вольде Георгис клянется захватить в плен бога-царя Гаки Шерочо и его священные регалии: лишь после того каффичо признают неприсоединение. Рас залпом осушает огромный серебряный кубок с вином и подбрасывает его к каменному потолку, подбрасывает с такой чудовищной силой, что серебряная посуда разлетается на куски, как глиняный горшок.

И вот уж по всей империи гонцы напрягают горло:

— Слушай! Слушай! Слушай! Кто не слушает, тот враг господы и богородицы! Слушай! Кто не слушает, тот враг Менелика! Воины! Собирайтесь все до единого. Кто опоздает, тот не пойдет в поход! Кто опоздает, тот упустит славу!

И тысячи воинов приходят в Аддис-Абебу. Вольде Георгис объезжает войска. Он знает по именам всех офицеров и многих солдат. И они тоже знают раса, этого плотного, чернобородого человека с резкими складками на лбу и сверкающими черными глазами. Они давно знают своего фельдмаршала, верят в его мужество и — это, пожалуй, главное — прочно верят в то, что рас Вольде Георгис никогда не бросит своих людей в беде.

8

Лагерь разбили в долине реки Дидессы. Тут было почти полторы тысячи человек и четыреста лошадей. Сотни костров горели в долине.

Становище утихает. Сейчас начнется переключка — не то приказ, не то молитва. Вот — начинается...

— Завтра мы выступим рано, — кричат с той стороны бивака, где расположился начальник — азадж.

- Хорошо, хорошо, — отвечает лагерь.
- С нами гость, — напоминает начальник.
- Знаем, знаем, — несется над кострами, над шалашами, над темной лесистой долиной Дидессы.
- Пока он не выстрелит, другим не нападать.
- Хорошо, хорошо.
- Идти тихо, не разговаривать.
- Хорошо, хорошо.
- Пусть бог поможет нам найти слонов.
- Да будет так!
- Пусть бог остановит их на удобном для нас месте.
- Да будет так!
- Пусть отвратит от нас клыки и хобот слонов.
- Да будет так!

С той новогодней ночи, которую Булатович провел за рекой Баро среди нескольких эфиопов, осмелившихся собирать кофе во враждебной области Моча, прошло два месяца. Теперь уж на дворе март 1897 года. Несколько недель остается до конца отпуска. Булатович уже знает: войска Вольде Георгиса ушли на юг, туда, где за лесистым хребтом лежит его «Атлантида». Еще раз поручик бил челом императору. И еще раз отказал ему негусты. Не могу я отпустить тебя, повторил царь царей, я боюсь потерять тебя. Так ответил Менелик поручику Булатовичу, так во второй раз не сбылась заветная мечта. Но Менелик подсластил пилюлю: он предложил Булатовичу участвовать в увлекательной охоте на слонов. Что же оставалось делать? Правда, еще есть проблеск надежды: Леонтьев сообщил, что вскоре Россия отправит в Эфиопию посольство. Может, удастся снова приехать в Эфиопию? А тогда уж, о, тогда он не отступится от своего, ни за что не отступится. Либо пан, либо пропал... А пока — охота на слонов так охота на слонов.

Первая партия насчитывала восемьсот лихих охотников — галла, вооруженных копьями. Одни — короткими, другие — длинными и тяжелыми, с очень острыми наконечниками. Длинные тяжелые копья назывались джамби; их бросали, взобравшись на дерево, били слона наповал. Булатович имел ружья системы Гра; Зелепукину и Вальде-Тадику достались трехлинейки.

Полторы недели отряд плутал по берегам Голубого Нила, потом в долине Дидессы. Как назло, слоны не показывались в тех самых местах, где стада их видели в прошлом году, и Булатовичу приходилось довольствоваться созерцанием ландшафта, который и в самом деле был хорош со своими рощами фруктовых деревьев. Когда б не множество малярийных комаров, считалась бы долина Дидессы раем.

А слонов все-таки не было.

В марте охотники возвратились в городок Лекемти, распо-

ложенный в нескольких сотнях верст на запад от Аддис-Абебы. Спешно снарядили другую партию, вдвое больше прежней, и пошли туда, где вот уж года три не показывался ни один истребитель слонов.

Расчет оказался верным. Разведчики донесли: «Они там, в ручье». И тотчас, как ветром подхваченные, всадники припустили галопом, а пешие галла изо всех сил заработали голенастыми ногами.

Не прошло и получаса, как тихие, безмятежные окрестности обратились в поле сражения. С храбростью мух налетела полторатысячная орда на слоновье стадо, разлегшееся в глинистом мелком ручье. Окружила, осыпала копьями, криками, выстрелами. И стадо заметалось. Ошеломленно взвизгивая, хлопая ушами, воздымая хоботы, топоча ногами-тумбами, шарахаясь от подоженных охотниками трав.

Булатович занял позицию на опушке леса. Он позабыл обо всем и не видел ничего, кроме серо-красного метущегося облака.

Но вот один из слонов, раненный тремя копьями, бросился напрямик к опушке. Он летел огромным снарядом, в слепой ярости хоботом швыряя в черное небо траву и песок. Булатович выстрелил, но в тот же миг лошадь под ним взвилась на дыбы, он промахнулся и почувствовал, что сердце в груди у него словно бы лопнуло.

Шагах в двадцати от Булатовича был всадник. Слон сбросил охотника наземь, притопнул по нему ногой, подцепил клыком и, хрипя, подкинул в воздух: он отправил на небеса душу убийцы. А еще мгновение спустя слон тоже был мертв: его сразили выстрелы Зелепукина и Вальде-Тадика.

9

Весной девяносто седьмого года, когда Булатович и Зелепукин отплывали из Джибути, в Аддис-Абебе были получены очередные донесения фельдмаршала Вольде Георгиса.

Война с Каффой, начатая в ноябре прошлого года, сперва была успешной для эфиопов. Пользуясь оружием, частью закупленным в Европе, частью добытым в сражениях с итальянцами, войска Вольде Георгиса сломали отважное сопротивление каффичо и завладели каффской столицей, городом Андерача.

Однако с падением Андерача война не потухла. Каффичо продолжали сражаться в лесах. Каффские воины умирали от пуль, посланных «огненными трубками», каффские женщины, дети, старики дрогли в сырых пещерах, но Каффа все еще защищалась.

Отряды раса Вольде Георгиса преследовали стойкие войска

Гаки Шерочо упорно, неутомимо. Но и самих преследователь настигли бедствия. Холодные дожди обрушила Каффа на войска эфиопов. Пушки и кони вязли в глинистой, жадно чмокающей грязи. Подвоз продовольствия почти прекратился. Сожженные селения не кормили завоевателей. Голод пришел об руку с болезнями, и дизентерия принялась за косовицу, уносившую больше жизней, чем все копыя каффичо, взятые вместе. Трупный запах и мрачный дым пожаров стлались над Каффой.

Быть может, только один воин из тысяч и тысяч, быть может, лишь рас Вольде Георгис не допускал и мысли об отступлении. Не зря он клялся негусу присоединить Каффское царство, осушал огромный кубок и швырял его в потолок пиршественной залы. Рас требует новых войск, продовольствия и боеприпасов. И Менелик ни в чем не отказывает своему старому верному сподвижнику...

Осенью девяносто седьмого года, когда Булатович, добившись новой командировки, торопился в Аддис-Абебу, там были получены радостные донесения фельдмаршала: победа, полная победа. И Аддис-Абеба, столица государства, поднимающегося как тесто на дрожжах, начинает готовиться к новому великому торжеству.

Известия эти застигают Александра Булатовича в дороге. Путь в Каффу открыт! Теперь уж нет резонов для отказа у негуса негести Менелика II. Но как ни сильна надежда Булатовича, он в тревоге. Что-то он увидит в Каффе? Ведь многое замела война, многое, может быть, погигло... Скорее! Нужно поспеть увидеть то, что еще сохранилось.

И вот Зелепукин подводит коня, и они вдвоем выезжают из Джибути.

Полтора года назад Булатович и Зелепукии мчались, далеко обогнав отряд Красного Креста, по этим вот рыжим в бурый дорогам. С той поры здесь помнят двух лихих наездников, двух русских кавалеристов, летевших быстрее ветра. И теперь они тоже летят во весь опор, не боясь загнать лошадей, разбрызгивая грязь, перемахивая через разлившиеся ручьи, не задерживаясь ни в городе Хараре, ни в селениях.

Они прибывают вовремя. Аддис-Абеба встречает войско Вольде Георгиса. И поручик Александр Булатович получает приглашение негуса присутствовать во дворце на церемонии необычайной. Необычайной не потому, что там будут чествовать раса-фельдмаршала, нет, совсем по иной причине.

В ночь накануне праздника замолк дождь. День возгорелся в тишине, чистый и солнечный, пахнувший дымом и мокрой глиной. Земля парила, в лужах дробились солнечные блики, над окрестными горами плавали ястребы, и казалось, что плавают они на волнах монастырского колокольного звона.

Как и полтора года назад, Аддис-Абеба напоминала воен-

ный стан; город был переполнен войсками. Но еще больше, чем прежде, видит Булатович воинов, украшенных знаками ратной доблести — золотыми серьгами в ушах и головными повязками из лвиной шкуры: это герои каффской кампании.

Леонтьев зашел в дом французского коммерсанта, где остановился Булатович, и вместе с поручиком отправился на торжество. В тронной зале, большой и длинной, у великолепного трона, над которым простирался бархатный с золотой каймою балдахин, замерли пажи-отроки, в руках у них нетрепетно горели свечи.

Менелик вошел при барабанном тяжелом бое. Пажи тотчас завесили трон белоснежными покрывалами, ибо никто не смел глядеть на негуса негести, когда он опускался на трон.

Рядом с Менеликом занял кресло рас Вольде Георгис. Все в зале стояли. Только двое сидели в день великой церемонии: сам царь царей и его победоносный полководец.

Негус был неподвижен. Его огромные руки, знакомые и с эфесом сабли, и с гладким топорищем, покоились на подлокотниках трона. Его черное рябоватое лицо, опущенное седой бородою, было сдержанно радостным.

— Слышите? — шепчет Леонтьев.

На дворе бьют барабаны. Все ближе, все грознее... Тишина залы полна учащенным дыханием сотен людей, стуком сердец. Тишина залы делается пронзительной, как холод, сотрясающей, как жар. И в этой неслыханной тишине медленно растворяются двери, и в залу вводят человека, сокрытого белыми покрывалами. Он медленно движется к Менелику. Он проходит мимо Булатовича, и у Булатовича пересыхает во рту.

Человек, сокрытый белыми покрывалами, останавливается перед троном. Редчайшее мгновение в императорском дворце: ни одна пара глаз не обращена к Менелику. Все, кто есть в зале, от мальчонки-пажа до раса Вольде Георгиса, все смотрят на белые покрывала. Покрывала ниспадают, и все видят того, кого прежде не могли видеть даже его подданные каффичо, а не только чужеземцы: последнего царя, «живого бога» Гаки Шерочо.

Последний царь-бог в золотой короне, древней, как сама Каффа, в зеленой, затканной золотом мантии, со священным мечом за поясом.

Каффичо веками верили: пока регалии царей-богов находятся в Каффе — царь несокрушим. Но вот и регалии и сам их обладатель — во дворце императора Эфиопии.

Гаки Шерочо стоит перед троном Менелика. Император-победитель смотрит на побежденного царя. Старый воин видит молодого еще человека, очень стройного и, кажется, очень изнеженного, высоколобого, черноволосого, с ясными горестными глазами. Секунду глядят они друг на друга. Ни малейшей жалости, ни тени сострадания в глазах Менелика;

ни малейшей надежды, но и ни тени подобострастия в глазах Гаки Шерочо.

Вольде Георгис поднимается с кресла. Походка у Вольде Георгиса плавно-тигриная, ноздри у него раздуваются. Он снимает с Гаки Шерочо священную корону, которая несколько веков венчала царей Каффы; он снимает с Гаки Шерочо зеленую мантию, которая несколько веков покрывала царей Каффы; он снимает с пояса Гаки Шерочо золотой меч, который несколько веков отягощал чресла царей Каффы. И корону, и мантию, и меч он передает своему повелителю, своему императору. Регалии без царя кое-что значат как вещи искуснейшей работы. Но что значит царь без регалий? Гаки Шерочо обращается в раба: на него набрасывают черную шамму, на шею ему вешают камень и сковывают цепью с другим рабом, и он уходит в темницу, где ему предстоит провести больше двух десятков лет, до того дня, когда небо ниспошлет ему смерть... Отныне торжественной и символической церемонией отречения Гаки Шерочо древняя Каффа окончательно, навсегда присоединена к империи, имя которой Эфиопия.

10

Перевалив хребет, спустились в долину.

Тут было сумеречно, пахло прелью и мхами. На тропе к водопою лежали львиные следы. В стороне на камнях легконогие козы плясали свой мистический танец в честь бога лесов. Антилопы, ломая кусты, бежали в чаще. И слышен был звон воды. В долине жила речка Годжеб. У нее был резвый характер, она строила гримасы, набегая на камни, и прыгала, как мальчишка.

Обыкновенная горная речка, какие Булатович видывал сотнями. Но Булатович стоит у речки Годжеб, его глаза блестят, он волнуется и он не скрывает своего волнения. Говорят, у каждого в жизни бывает неповторимый день. Если это так, то у Александра Булатовича такой день нынче — 7 января 1898 года: там, за рекой Годжеб, — его заветная мечта, его «земная Атлантида». Ни один белый, никто и никогда, не бывал в глубине Каффы.

Александр Булатович стоит у речки Годжеб. Для него она как для Цезаря Рубикон. Нынче, 7 января 1898 года, он бросает жребий и переходит Годжеб, и он будет первым европейцем, который пересечет Каффу от северных рубежей до южных.

А Вальде-Тадик, спутник Булатовича по экспедиции к реке Баро, и рядовой лейб-гвардии Зелепукин, не помышляя ни о каких рубиконах, со спокойной осмотрительностью переправляют на каффский берег Годжеба мулов и лошадей, груженых провизией, палаткой, ящиком с геодезическими инстру-

ментами, тюками с медикаментами и патронами. И деловито помогают им три десятка эфиопов, все, как один, прежние спутники Булатовича.

На январской земле цветы цвели, и январское небо сияло над Каффой. Высокие травы чуть колыхались, и недвижим был лес в патлах серых мхов. А черноземные поля зарастали бурьяном. Пустовали селенья. Куда ни глянь — на черную ли землю, на зеленые ли травы, — куда ни глянь, всюду кости белеют да черепа. Вымыли их дожди-прачки, высушило солнце-гончар. Поди узнай, чьи они — каффичо иль эфиопа?

Ближе к Андерача все больше костей, потому что близ Андерача недавно шли бои. Ближе к Андерача все угрюмее Габру, переводчик-каффичо. Вот он и возвращается из плена. Господин обещал отпустить его на волю. А какая теперь воля? Какая воля, когда на холмах Андерача жгут костры эфиопы, когда живет в Андерача не царь Гаки Шерочо, а рас Вольде Георгис? Но все же Каффа — это Каффа, и Габру ждет не дождется последнего поворота знакомой дороги, за которым откроется родной его город Андерача.

Бывшая столица царства лежала среди гор, взбрызнугая обильно росой и освещенная таким спокойным закатом, что даже пожарища утратили свой зловещий вид. На холмах, на склонах, на берегу реки Гичи лепились круглые, как караваи, хижины солдат и офицеров, расположившихся в Андерача со своими домочадцами и пленниками, обращенными в рабство. На самом высоком холме, на месте сожженного дворца каффских государей, теперь были не очень-то казистые, возведенные на скорую руку строения и службы резиденции правителя Каффы раса Вольде Георгиса.

От царского дворца сохранилось лишь круглое святилище, спрятавшееся под гигантскими сикоморами. Совсем еще недавно вершили здесь свои таинственные, веками неизменные ритуалы каффские жрецы. Совсем еще недавно в этом святилище испрашивал совета у бога-творца Хекко последний царь Каффы Гаки Шерочо. И в ту страшную ночь, когда гонец с пограничной заставы сообщил о нападении эфиопов, в ту страшную ночь перед этим святилищем объявил верховный жрец огромной толпе каффичо: «Войеботе! Внимайте! Все мужчины, независимо от возраста, призваны к оружию. Всякий, кто достиг восьмидесяти лет, а также мальчики до восьми лет, должны остаться дома. Все прочие да придут! Слушайте! Мы вновь отправляемся на войну, на священную войну с эфиопами, которые вновь хотят уничтожить и поработить нашу страну. Мы же будем бороться по примеру и во славу нашего праотца Миндшо. Мы будем сражаться до тех пор, пока война не закончится нашей победой!» И тогда за-

жжен был священный костер, и множество гонцов зажгли от него свои факелы, и, неся пламя сквозь ночь, разгласили они приказ царя-бога во всех городках и селениях царства Каффского. На рассвете костер погас, и погасли огни в горах. Они должны были вспыхнуть лишь в день великой победы. Но день этот не настал. Сгинул каффский дворец, в святилище теперь не жрецы Хекко, а эфиопские священники...

Рас Вольде Георгис встречает Булатовича. Фельдмаршал знает: император благоволит русскому. Но Вольде Георгис радужен не из угодливости. Вольде Георгису тоже по душе этот настоящий наездник, отмахавший по дорогам Эфиопии сотни и сотни верст.

По обычаю, рас не задерживает приезжего. Долгие беседы будут потом. Сперва нужен отдых. Рас осведомляется, в каких удобствах нуждается гость. Булатович благодарит. Нет, спасибо, ему не нужны никакие особенные удобства, он привык к эфиопскому образу жизни, с него достаточно палатки и бурки. На открытом, в тяжелых складках лице Вольде Георгиса появляется широкая улыбка, он пожимает руку Булатовичу и велит своим солдатам поскорее разбить палатки для гостя и его людей.

Переход из Аддис-Абебы не был ни долгим, ни утомительным, но Булатович полагал необходимым отдышаться, перед тем как ринуться в путь через всю Каффу к берегам озера Рудольф.

Впрочем, были и заботы: он привел в порядок дневниковые записи, вычертил карту, положив на нее пройденный маршрут, определял координаты Андерача и занялся фотоснимками. Непроявленных пластинок накопилось изрядно, а возить хрупкое стекло боязно.

Вечерами, прослышав, что фрэндж опять принялся за свое колдовство, солдаты толпою сбегались к палатке, где жили Булатович и Зелепукин. Все норовили просунуть голову в палатку, толкались, перебранивались, и если бы не полицейские действия Вальде-Тадика, то поручик вряд ли бы скоро закончил загадочные манипуляции в темноте.

Иной раз его одолевало желание насладиться удивлением своих простодушных соглядатаев, и тогда он показывал им, как на матовой пластинке обозначаются, словно из тумана проступая, изображения людей, животных, скал, деревьев. И каким восторгом разражались солдаты при виде отпечатанных фотографий! Вот Вальде-Тадик, точь-в-точь такой же, что стоит рядом с ними, горделиво улыбаясь. А вот портрет раса Вольде Георгиса. Ей-богу, как живой. А вот отряд, и эфиопы, пихаясь и пересмеиваясь, стараются отыскать себя в этой группе воинов...

Ночи стояли влажные, фиолетовые; горы в ночах казались очень черными, как из черного коленкора, и будто выше, и

грознее, и таинственнее; а в небе дымились крупные каффские звезды.

Заворотив полу палатки, укладывались на ночлег Булатович и Зелепукин.

Само собою как-то вышло, что именно в эти донельзя усладительные минуты, когда оба умащивались и вытягивались под одеялами и бурками, непременно заходил у них разговор о родине.

Там, в России, Булатович никогда не любопытствовал о мужицком бытѣ или о том, чем жив в казарме «нижний чин». А здесь, под каффскими звездами, в этих влажно-фиолетовых ночах, лежа в палатке и рассеянно, вполуха прислушиваясь к дальним хорам эфиопских воинов, он ощущал настоящую потребность обо всем этом выспрашивать, и расспросы его были приятны Зелепукину, и тот отвечал с тихим и немножко грустным удовольствием. И говорили они про деревню, про старост, про десятины, про то, как уходит мужик в солдатчину, а дома остаются старики да бабы, говорила про мальчика зелепукинского Ваську, как хотел бы Зелепукин, чтоб Васек грамоте обучился, и про то, какие теперь, в январе, морозы дома, и как в Питере пахнет нынче елками, и что скоро будет масленица, и метели, и «кривые дороги»...

В ночной же Андерача горели костры, и у костров, отуживав, хлебнув хмельного, пели солдаты. Они пели о битвах, о воинской доблести. Они пели об охоте на слонов, солнечных зорях и затяжных дождях. Одни песни сопровождалась мрачным припевом: «Убийца, убийца, бродяга пустыни!», другие — припевом насмешливым: «Чи-чи-ко чи-чи-ко!»

Долго не засыпала Андерача.

11

Быть в Андерача теперь уж не значило быть в Каффе. Каффичо лишь изредка появлялись в своей прежней столице. Придут на базар с медами и кофейными зернами да и уберутся в леса, в деревни.

Покамест рас Вольде Георгис готовился к большому походу на юг, в земли горских племен, к озеру Рудольф, на берегах которого Менелик замыслил поднять эфиопский флаг как знак южных рубежей его империи, покамест в Андерача сходились и отдыхали войска, Булатович со своим отрядом объезжал Каффу.

Переводчик-каффичо Габру по-прежнему был с ним, и «земная Атлантида» рисовалась Булатовичу двоящейся, словно отраженная в озерной воде: Булатович видел нынешнюю Каффу воочию, и Булатович видел Каффу былую — ее воссражали рассказы Габру.

Каффа послевоенная предстала Булатовичу в облике нагих, похожих на скелетики ребятишек. Покачиваясь на ножках-спичках, выпятив раздувшиеся от голода животишки, подошли они к биваку с запавшими глазами, сглатывая слюну, смотрели, как проводники готовят завтрак.

— Ваше благородь... — начал было Зелепукин.

Но Булатович проговорил торопливо:

— Да-да...

И Зелепукин с напускным сердитым ворчанием принялся кормить малышей.

В то самое время из леса вышла толпа каффичо. Исполняя приказ местного начальника, они несли последние запасы продовольствия. Но Булатович отказался принять «дары», и каффичо ударили себя в грудь, выказывая признательность первому белому, которого они видели в жизни.

По обыкновению, раньше всех оставляли бивак Булатович, Габру и Зелепукин. Булатович наносил на планшет местность, в полдень делал солнечные наблюдения, взбираясь на возвышенности, осматривал окрестности, нацеливая на них громоздкий фотографический аппарат и прославляя мысленно Луи Дагера¹.

Горная дорога шла лесом. Лес, как повсюду в Каффе, был исполнен силы необыкновенной. Даже папоротники достигали тут высоты пальмы, бамбук — толщины пушечной.

Поблизости от проезжей дороги оказалась одна из тех усадеб, где проживал некогда в окружении своих рабов и данников помещик-каффичо. Усадьба была огорожена высоким плетнем и сикоморами, высаженными в ряд. Были в усадьбе ворота, сторожевые вышки; были дворы со службами, огороды, хижины для челяди, барский дом, дом главной жены и флигеля для женщин второстепенных, так сказать младших по чину. Позади усадьбы начинались кукурузные поля, кофейные плантации, пасеки и банановые рощи.

И вот в этой-то усадьбе жили теперь пленные царицы каффские. Булатович отправил Габру узнать, не захотят ли пленницы поговорить с чужестранцем. Женам, потерявшим мужа, да не простого мужа, а царственного супруга, «живого бога», надлежит, кажется, пребывать в неизбывных печалях. Однако соблазн был велик, и они милостиво согласились принять чужеземца.

Молодые женщины сидели под банановыми деревьями на буйволовой шкуре. Женщины были в белых одеяниях, с золотыми серьгами в ушах. Одна из них, черноволосая, с косой вокруг головы, сдержанная и грустная, была каффичо; другая,

¹ Дагер Луи (1787—1851) — французский художник, изобретатель первого получившего распространение способа фотографирования.

очень красивая, гладко причесанная, большеглазая, бойкая и кокетливая, была, наверное, из дальних южных краев.

Держались обе непринужденно, ничуть не дичась, отвечали Булатовичу и, как все низложенные царицы, со вздохом вспоминали своего любимого, ласкового и щедрого повелителя. Прощаясь, поручик не преминул запечатлеть государынь на фотографическую пластинку и раскланялся с почтительной галантностью светского человека.

Нерушим походный порядок. Вездесущий Вальде-Тадик придирчиво осматривает каждый тюк — хорошо ль упакован, накрепко ли приторочен — и докладывает Булатовичу: «Все в порядке». Трое проводников, Вальде-Тадик, разумеется, в их числе, едут на лошадях. Жеребца Дефара, принадлежащего Булатовичу, ведут под уздцы. Булатович бережет Дефара, едет на муле. За верховыми следуют пешеходы — неутомимые эфиопы, совсем еще юноши; все они знают Булатовича еще по странствиям в долинах Голубого Нила и Дидессы. А позади каравана замыкающим едет на своей кобылке, ухоженной по всем кавалерийским правилам, багровый, точно из чугуна отлитый лейб-гвардии рядовой Зелепукин... Нерушим походный порядок. Планшет всегда при Булатовиче, мул, несущий среди прочего груза фотографический аппарат и геодезические инструменты, вышагивает рядом, помаргивая задумчиво.

Дорогою в область Бута переводчик указывает на гору Шошу и, понизив голос, опустив темные веки, говорит, что там, на этой священной горе, — усыпальница царей-богов. Ой, нет, господин, умоляет Габру, нет, он, каффичо, не смеет подниматься на эту гору. Господин может посмотреть усыпальницы, а потом Габру расскажет ему о погребении царей, расскажет все, что слышал от стариков.

Ну, решает Булатович, надо, пожалуй, уважить парня, пусть ждет на дороге, а он поедет с Зелепукиным и Вальде-Тадиком. И они отправляются втроем к царским усыпальницам. Воображение рисовало нечто мрачно-величественное. Но мрачно-величественным оказался лишь лес, а усыпальницы, увы, были почти не приметны и похожи на обвалившиеся шахты.

Зато Габру не обманул ожиданий Булатовича. Его рассказ звучал как легенда, но то был достоверный рассказ, Габру ничего не присочинил.

— Когда умирал наш царь, — говорил Габру, — весь народ шел в Андерача. Все шли, господин, все до единого. Мужчины обривали головы, женщины, плача, рвали на себе волосы. Придя в Андерача, народ стоял тихо, не приближаясь к покойнику, который лежал в шатре. А у шатра стояли двенадцать жрецов с двенадцатью золотыми щитами. Столько щитов, господин, сколько месяцев в году. Так стояли все каф-

фичо четыре дня и четыре ночи, не думая ни о пище, ни об отдыхе. Потом начиналось шествие к горе Шоше. Гроб несли жрецы. Зеленая царская мантия закрывала гроб. И мертвым царь был невидим, как и при жизни. За гробом несли царскую корону и меч. За гробом шел мул с большим царским барабаном. Один из жрецов через равное число шагов сильно ударял в барабан двойным ударом. За гробом шел будущий царь. Он был одет как все простые крестьяне. После коронации никто уж не мог его видеть. Шестнадцать жрецов вели шестнадцать жертвенных быков. Дорогой их закалывали и орошали кровью путь, чтобы смыть грехи. А народ, господин, все до единого, тоже шел за гробом. И плач стоял над нашей Каффой... На горе Шоше тем временем лучшие из лучших, избранные народом, рыли могилу. Оттуда, от могилы, господин, несколько жрецов уносили царскую мантию, меч и корону. Они уходили вместе с будущим царем в храм Хекко для коронации. Народ не всходил на Шошу. Народ стоял внизу. А гроб возносили на гору и опускали в могилу. И в это время били барабаны, все быстрее и все громче. И могильщики радостно прощались с жизнью: их закалывали мечами, и они уходили в другой мир, чтобы там быть слугами своему царю. И тогда умолкали барабаны...

Булатович выслушал Габру, не проронив ни слова. Перед глазами Булатовича маячил тропический лес, которым он только что шел, но виделся этот лес по-иному: в сиянии золотых регалий и щитов, в блеске пышных одеяний, сотрясаемый грохотом царского барабана. И виделись Булатовичу нагие каффичо, с радостью принявшие смерть. Но тут ему вдруг вспомнился осенний день, когда в Петербурге хоронили Александра III. За катафалком шли в Петропавловскую крепость наследник Николай, русские великие князья и иностранные принцы, генералы и сенаторы, священники и пажи. Но никто не рыдал, и ни одна душа не согласилась бы лечь рядом со своим «обожаемым монархом»...

Все дальше лесистыми горными дорогами уходит Булатович. Он останавливается в селениях, сидя в круглых хижинах, составляет звонкий словарик (мито — дерево, гэпо — гора, кэто — дом, город), выменивает утварь (плетеную корзинку для кофе, браслет из слоновьей подошвы, рог из слоновьего клыка, чашечку, похожую на большой желудь), беседует с крестьянами и охотниками, расспрашивает злобно-недоверчивых жрецов, и каффичо исполняют для него боевой танец, быстрый и страстный, как лезгинка.

На гору Бонга-Бене Булатович поднялся в сопровождении каффичо Даке-Декараша, знатного вельможи, недавно еще заседавшего в «совете семи», без которого сам царь ничего важного предпринять не мог.

Сухой, мускулистый Даке-Декараша отлично управлялся со

своей рыжей лошадью, белый плащ картинно развеялся на нем. Позади следовали приближенные — рослые красавцы, и один из них зычно трубил в рог. С вершины Бонга-Бене — высота два с половиной километра — виднелась вся Каффа. Тучи бродили по небу, застыл солнце, нельзя было пустить в ход инструменты, пришлось ограничиться записью названий хребтов и рек, на которые указывал Булатовичу Даке-Декараша.

Но досада была мимолетной. Ведь вот же она пред ним — «земная Атлантида»! Он первый русский, он первый европеец, первый среди всех живущих не в Африке, обозревает легендарную Каффу.

Почти семь веков назад среди этих гор возникло африканское государство. Семь веков назад... И наплывает на Булатовича из школьных лет: тринадцатое столетие... тринадцатое столетие... По Руси, обездоленной, обугленной, катились орды Батые... На льду Чудского озера страшным звоном звенели мечи... Княжили Ярослав Всеволодович, Даниил Александрович... Над маленькой Москвою завивались молодые дымы... А тут, в долинах, меж этими горами, жили каффичо, вот такие, как переводчик Габру, такие, как Даке-Декараша. Тут жили каффичо — воины и крестьяне, жрецы и пастухи. Были и у них свои города и капища, свои песни и воспоминания...

Тучи открыли солнце, и Каффа, от ближних скал до дальних синеватых горизонтов, глянула в лицо Булатовичу, словно для того, чтобы резче оттиснуться в памяти его, чтобы никогда в ней не потускнеть.

Солнце светило над Каффой. У Даке-Декараша дрогнули темные брови. И, повернувшись к солнцу, нараспев произнес он древнее, древнее:

Прекрасно твое появление на небесном своде,
Ты — живое солнце, которое существует извечно,
О Хекко!
Восходишь ты на востоке
И наполняешь красотой всю землю!
О Хекко!
Заходишь ты на западе,
И погружается все земное во тьму, словно мертвое,
О Хекко!
Когда сияешь ты и победно сверкаешь на небе,
Зверь тешится травой,
А каждое дерево, каждый куст зеленеют и цветут!
И чудесен ты, и велик, о бог, и никто не сравнится с тобой,
О Хекко!

Булатович смотрел на Каффу, озаренную солнцем, и все его мысли, все его прошлое отошло куда-то, а были только вот эти горы, леса, реки да двое каффичо, что молча стояли рядом.

И в молчании, боясь спугнуть что-то очень значительное, вошедшее в сердце, думая каждый свое, спустились они с вершины Бонга-Бене.

«Венец желаньям! Дорогой Николай Степанович, наконец-то я в Каффе. Счастлив не только потому, что пришел первым, но (и это главное) оттого, что смогу теперь рассказать, хоть и немного, о легендарном царстве. С великим сожалением видел я разорительные последствия военных действий. Многие, очень многие погибли. Но ведь еще больше исчезнет, изменится под цивилизаторским влиянием Эфиопии. И я надеюсь, что мои правдивые записи принесут пользу науке.

В стремлении расширить пределы своих владений Менелик *выполняет традиционную задачу Эфиопии как распространительницы культуры и объединительницы всех родственных племен*. Да, в Африке есть черная раса, могущая постоять за себя и имеющая все данные для независимого существования!

Пишу Вам накануне выступления из Андерача войск Вольде Георгиса. Эфиопия делает следующий шаг, и обширные области будут присоединены к ней. Вольде Георгис, человек, по твердому моему убеждению, выдающийся, не устает повторять своим офицерам, что проникновение на юг, к озеру Рудольф, должно быть мирным.

Я, как и говорил Вам, решаюсь следовать с войсками. Хотя и сознаю свои скромные возможности, но предприятие имеет громадный научный интерес, ибо никому из европейцев не доводилось еще странствовать за южными границами Каффы. Передо мной целый ряд неразрешенных наукой вопросов: куда течет главная река южной Эфиопии — Омо? Впадает ли она в озеро Рудольф или, огибая Каффу с юга, течет в Собата и затем в Средиземное море? Если же Омо не есть верховье Собата, а впадает в оз. Рудольф, то где истоки Собата? Кроме того, области, находящиеся к северо-западу от оз. Рудольф, — в полном смысле terra incognita¹. Итак, завтра, 4 февраля 1898 года, отправляюсь в путь. В надежде на добрую встречу в середине года остаюсь вашим преданным слугою...»

Письмо это, написанное Булатовичем и адресованное Николаю Степановичу Леонтьеву, повез гонец раса Вольде Георгиса вместе с донесением фельдмаршала императору Менелику.

Было свежо и ветренно, моросил дождь, туманы ползли по холмам Андерача, когда при звуках сигнальных рожков, прозвучавших в волглом воздухе неуверенно и глухо, тридцатитысячная армия начала поход к озеру Рудольф.

Движение столь большой массы людей по горным дорогам, в ущельях, по узеньким и шатким, как сходни, мостикам и неизведанным бродам должно было бы происходить медленно, с частыми заторами и остановками. Так оно наверняка

¹ Неизведанная земля (лат.).

и было бы, окажись тут любая европейская армия. Но колонны Вольде Георгиса, при всей их внешней нестройности, при отсутствии показной дисциплины, колонны эти продвигались проворно, неутомимо.

Дни теперь ограничивались сигнальными рожками, утром возвещавшими выступление, вечером — бивак.

Биваки полковые разбивались четырехугольником; в центре — палатка командира, окруженная шалашами личной его охраны. Ставка главнокомандующего, при которой находился и Булатович, располагалась вкруговую, с диаметром круга примерно в триста шагов. Тут уж, в ставке, охрана стояла двумя кольцами — большим и малым; последнее оцепляло с наступлением темноты два шатра Вольде Георгиса.

Все было иным на этих биваках, все отличалось от того, что видывал Булатович на войсковых стоянках в окрестностях Петербурга: и сама ночь, и походный ужин, и люди у походных костров. Но во всех воинских биваках, воспетых еще поэтом-гусаром Денисом Давыдовым, есть особенная прелесть походного равенства, мужского дружества и тех душевных разговоров, которые бывают лишь у походного огонька.

Булатович любил бивачную жизнь. Он любил затихающий шум лагерь, хруст сена у коновязи, запахи дымов и лошадиного пота, тихое бряцание оружия и переключку часовых.

Вечерами в просторной палатке Вольде Георгиса, обтянутой зеленым шелком, сходились его друзья, рассаживались, поджимая ноги, на коврах, и начинался неторопливый разговор, но без шуток, не без смеха и не без споров, никогда, впрочем, не переходящий в брань. Вспоминают минувшие дни, но говорят и про дни будущие. И говорят всерьез, не скрывая беспокойства, ибо не пристало настоящим храбрецам бабье легкомыслие.

А будущее было неведомым. Что они знали о тех краях, куда шла тридцатитысячная армия с десятью тысячами мулов и лошадей, со своими обозами и семьями? Что они знали? Знали только, что обитают там какие-то племена, которые, как надеялся Вольде Георгис, при виде столь внушительного войска изъявят желание примкнуть к Эфиопии.

Армия Вольде Георгиса спускалась к югу, переваливая хребты, втягиваясь в долины, пересекая реки. Каффа осталась позади, начались земли неведомых племен.

Булатович шел с авангардом. А чаще — впереди авангарда. Ведь у него были свои заботы: если армия шла дорогами, он шел бездорожьем, если армия обходила высоты, он взбирался на них. Он производил маршрутную съемку местности, астрономически определял координаты приметных точек, «винтил солнце», как говорили проводники, наблюдая за его колдовскими приборами.

Дело было небезопасное. Горцы, хотя и видели бог весть

откуда свалившихся на них пришельцев, хоть и сознавали силу неприятеля, скачущего на каких-то зверях и вооруженного огненными трубками, — горцы нет-нет да и налетали на эфиопов с копьями, наконечники которых были смазаны смертоносными ядами. Жители гор — народ, как известно, отважный, и не так-то легко соглашались они подчиняться Вольде Георгису.

Неделю спустя после выхода из Андерача уже были убитые и раненые. И вечерами на биваках Булатович усердно исполнял роль медика, сожалея, что так недолго общался с докторами из русского госпиталя в Аддис-Абебе. Хорошо еще, Зелепукин оказался умелым лекарским помощником. И вот вдвоем они накладывали повязки и лубки, зашивали раны, лили коллодиум и щедро раздавали касторку не только потому, что раздавать касторку проще простого, но и потому, что желудочные болезни одолевали солдат... А стычки с горцами были каждый день. К Вольде Георгису приводили пленных. То были люди ладно скроенные, мускулистые и рукастые, как все труженики на земле. Вольде Георгис, не жалея времени, терпеливо внушал им: отправляйтесь по домам и вразумите соплеменников — лучше присоединиться к эфиопам, нежели подпасть под иго фрэнджей, надвигающихся с юга.

Было отдано строжайшее распоряжение не применять оружия без крайней необходимости. Но кровь все же лилась. И однажды, увидев множество трупов и разоренную деревню, старый фельдмаршал остановил войска. В полках забили литавры: всем повелевалось слушать приказ командующего.

«Разве мои слова — слова стряпухи? — с суворовской неожиданностью начинался приказ Вольде Георгиса. — Зачем убиваете безоружных и даром тратите патроны? Я не считаю героями тех, которые сегодня убивали. Я их считаю мышами. Да знают все, что с теми, кто станет убивать, я поступлю так, как поклялся сегодня моему духовнику. Соберите весь скот и пленных. Пусть каждый верный солдат, который узнает про другого, что он преступил приказ, убивает туземцев или отбирает скот и режет его, пусть донесет об этом мне».

В молчании были выслушаны слова Вольде Георгиса. И все командиры и солдаты поклонились до земли. А потом пленные — было их около тысячи — получили свободу...

Минули недели. В горах бушевали ветры ураганной силы. Они словно стремились остановить эфиопский вал. И хлестали дожди, и с пронзительным змеиным шипом летели ядовитые дротики, пушенные из зарослей, и все чаще среди воинов-галла вспыхивала эпидемия черной оспы.

Кончился февраль. А конца пути не было. Никто из горцев даже слыхом не слыхивал о большой воде на юге. Все мрачнее были солдаты. Недобро косились они на Булатовича с Зеле-

пукиным, ворчали: «Куда нас ведут? Это они виноваты, чертовы фрэнджи. Мы тут сдохнем, как мулы, а им нипочем, колдунам...» Роптали и офицеры. Вольде Георгис гневался: «Пусть трусы убираются! Я не вернусь, не увидев озера. Даже если вы все сбежите, как бабы, я дойду до озера вдвоем с Булатовичем».

В середине марта отряды выбрались к пересохшей реке Кибиш. Встали. Банный воздух полнил долину, как пар. Землю усеивали следы диких коз, зебр, антилоп. За рекою опять возвышенность. А с нее открывался вид на низменную, всю в трещинах равнину.

Неподалеку, предполагал Булатович, должна быть Омо, большая река, берущая начало в Эфиопии и впадающая.... Куда впадает Омо, Булатович не знал. Или в озеро Рудольф, или в реку Собат, приток Белого Нила. Или...

Сцепив зубы, двинулись. Пошли солончаками. Густые колючие кустарники встали на пути. Сабли вон, руби их, режь!

А солнце палит. Ни ветерка. И никакой реки впереди. Но вот местность как будто бы понижается. Терпение! Руби кустарник, руби! Понижается, ей-богу, понижается... И проклятья, от которых и небо может рухнуть. Брань, угрюмое молчание. Никакой реки. Пересохший ручей лежит, как труп.

Широкое лицо Вольде Георгиса окаменело. Пусть убираются трусы... Когда же кончатся эти кустарники, насаженные самим дьяволом? В голове гул. Лошади задирают морды. Падают воины, сраженные замертво солнечным ударом. Один, другой... Трое... Четверо... Восемь... Десять...

А Булатовича сильнее солнца сжигает мысль: ошибся в числении пути? Четыре часа как четыре года...

И тут крик:

— Уаха! Вода!

И тут вопль:

— Уанз! Река!

Мутная река струилась под песчаными обрывами. Она была широкой, эта Омо, шагов триста — четыреста шириной, не меньше. И они скатились по обрывистым берегам и припали к водам Омо.

Омо впадает в озеро Рудольф. Теперь это уже была непреложная истина, как пресловутое «Волга впадает в Каспийское море».

А Булатовичем владели чувства противоречивые. Он был удовлетворен, и он был растерян. Путешествие, в сущности, окончено. Мысль об окончании многотрудного дела, как это часто случается, рождала в душе ощущение беспокойной грус-

ти и пустоты. Правда, Булатович продолжал свои географические занятия, отображая на карте нижнее течение Омо, невысокую горную цепь на правом берегу, заливы солоноватого озера Рудольф, собирая этнографическую коллекцию, и не оставлял в бездействии фотографический аппарат. Все это он проделывал вопреки солнцу и духоте, но все это не избавляло его от чувства беспокойной пустоты, какой-то, как он сам говорил себе, «пресыщенности энергии».

Тем временем солдаты Вольде Георгиса подкреплялись мясом и напитками, нанося, что там греха таить, весьма заметный урон ближним и не ближним деревням. А рас был поглощен устройством укреплений и размещением гарнизонов, которые должны были охранять южные рубежи Эфиопии от англичан, утверждавшихся в соседних краях.

В устье Омо, неподалеку от озера Рудольф, водрузили флаг Эфиопии. Каждый воин, невзирая на чин, звание и заслуги, в том числе и фельдмаршал, принес на плечах по два камня. Из камней сложили вокруг толстого и высокого шеста пирамиду, и на шесте взвилось шелковое зелено-красно-желтое полотнище. Войска салютовали ему залпом из пяти тысяч ружей, к которым присоединился и маузер Булатовича. А следом грянули трубы, литавры, флейты и грозный боевой гимн «Пойте, коршуны, пойте»...

Незадолго до того, как часть отряда собралась в обратный путь, рас Вольде Георгис подошел к палатке Булатовича с толпою своих солдат. Появление их было вызвано необычной причиной: они принесли мальчишку лет трех, подобранного в кустах. Ребенок был весь изранен, на пузе у него вздувался нарыв, на головенке, вытянутой, как тыква, были струпья.

— Сделай милость, помоги ему, — попросил Вольде Георгис Булатовича.

Солдаты поставили карапуза на землю. Гражданин Африки смотрел на белого человека разинув рот.

Но вот белое чудище вооружилось каким-то сверкающим предметом, а другое, тоже белое, чудище легко положило мальчугана на лопатки, оба нагнулись над ним, и мальчуган разразился отчаянным криком.

— Ну, будя, сынок, будя, — приговаривал Зелепукин, крепко удерживая пациента. — Для тебя ж стараемся...

Булатович вскрыл нарыв, принялся обрабатывать раны. Малец захлебнулся такими горячими слезами, что все зрители, а первым из всех рас Вольде Георгис, жалостливо сморщились и ретировались.

Через полчаса уроженец побережья озера Рудольф лежал, перевязанный, в палатке Булатовича. На черном личике еще не высохли слезы. А белые колдуны, присев рядышком, вели разговор, из которого больной, конечно, не понимал ни полсловечка.

— Ну, что нам с ним, а? Как думаешь, Зелепукин?

— Дак что ж, ваше благородь, — отвечал Зелепукин, разводя руками, — дитя сирота всем родня...

Булатович пожал плечами.

— Может, приютим, — осторожно предложил Зелепукин.

— В Питер, что ли? — усмехнулся Булатович.

— А чего загадывать, ваше благородь? Он, гляди, совсем слабенькой, что воробьишка, право. Ну, оставим, ну и что? Пропадет, ей-ей, совсем пропадет. Грех, ваше благородь... Ишь, какой... Так и зырит, так и зырит... — Зелепукин ткнул мальчонку в бок корявым пальцем, и мальчонка вдруг рассмеялся так неудержимо и звонко, что Булатович с Зелепукиным расплылись в улыбке.

Ничего они не решали, ничего не говорили больше. Прижился сирота, и вся недолга. Неприметно для себя стали они кликать его Васькой. Может, потому, что так звали зелепукинского мальчика. Васька да Васька... И Булатович на карте озера Рудольф пометил точку, где солдаты нашли трехлетнего африканца, и написал — Васькин мыс.

Поправлялся герой быстро, час от часу наливался силенкой. «Эдакий молодец», — хвалил его Зелепукин, искоса поглядывая на Булатовича: не передумал ли, случаем, их благородие? А Булатович посмеивался, наблюдая, как Зелепукин обратился в заботливую нянюшку, слушая, с каким усердием Васька повторяет за гусаром русские слова.

Вскоре большая часть войск раса Вольде Георгиса оставила северный берег озера Рудольф.

Булатович по-прежнему ехал на своем сером муле. И по-прежнему рядом с ним ехал Зелепукин. Но теперь они ехали с Васькой, попеременно держали его на руках; мальчишка то дремал, убаюканный мерным покачиванием, то, озорничая, теребил мула за уши.

А на одном привале, когда Зелепукин отлучился за хворостом для костра, Васька требовательно потянул Булатовича за рукав:

— Дядя Саша... пить...

«Дядя Саша»? И когда только Зелепукин выучил его? Никто еще не называл Булатовича дядей Сашей. Он рассмеялся, подхватил Ваську под локотки, подбросил, поймал и опять подбросил, и малыш тоже стал смеяться, и все вокруг так и засверкало в блеске его зубов...

СОДЕРЖАНИЕ

СМУГЛАЯ БЕТСИ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКОГО ВОЛОНТЕРА

5

НА ШХУНЕ

203

РАССКАЗЫ

261

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДАВЫДОВ

СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ

Том третий

Редактор *И. Шурыгина*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Г. Шитоева*
Компьютерная верстка *А. Мынко*
Корректор *Н. Андреева*

ЛР №030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 04.04.96 г. Уч.-изд. л. 26,0
Цена 21000 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Scan Kreyder - 29.12.2019 - STERLITAMAK

